

2001 ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

ИСТОРИЯ  
III  
ИСТОРИКИ

2001



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ  
КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

ИСТОРИЯ  
И  
ИСТОРИКИ  
2001

Историографический вестник

*К 100-летию академика М. В. Нечкиной*

Ответственный редактор  
член-корреспондент РАН  
А. Н. САХАРОВ



МОСКВА «НАУКА» 2001

УДК 93/94  
ББК 63.3  
И 90

Редакционная коллегия:

Г.Д. АЛЕКСЕЕВА, М.Г. ВАНДАЛКОВСКАЯ, Р.А. КИРЕЕВА,  
Л.П. КОЛОДНИКОВА, В.Л. МАЛЬКОВ,  
Л.А. СИДОРОВА (ответственный секретарь)

Рецензент

кандидат исторических наук А.Е. ШИКЛО

**История и историки.** 2001. Историографический вестник. – М.: Наука.  
2001. – 338 с.

ISBN 5-02-008764-5

Выпуск посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного историка академика М.В. Нечкиной (1901–1985). Он продолжает и развивает традиции, присущие этому изданию, у истоков которого стояла Милица Васильевна. Книга включает статьи по общественным проблемам отечественной и всемирной исторической науки, работы, посвященные научной деятельности и творчеству отдельных историков и истории научных учреждений, а также документальные публикации. Издание отличается объективный подход к рассматриваемым сюжетам, привлечение новых архивных и документальных данных.

Для историков, преподавателей общественных наук, широкого круга читателей.

ТП-2002-1-№ 14

ISBN 5-02-008764-5

© Коллектив авторов, 2001  
© Издательство “Наука”, 2001

# ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ



**М.Г. Вандалковская**

## **ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В ТВОРЧЕСТВЕ МИЛИЦЫ ВАСИЛЬЕВНЫ НЕЧКИНОЙ**

Замысел создания историографического ежегодника “История и историки” принадлежит Милице Васильевне Нечкиной. Она была его основателем, вдохновителем и первым ответственным редактором. Это издание завоевало большую популярность в среде профессионалов и имеет уже свою историю. В свет вышло 16 книг. Этот том посвящается памяти Милицы Васильевны.

Известный историк академик М.В. Нечкина (1901–1985) внесла вклад не только в изучение истории России, русского освободительного и общественного движения, но и в изучение истории исторической науки. Эта область исторического знания недооценивается в нашей науке. Историю исторической науки часто сводят к проблемной историографии, полагая, что каждый историк, занимающийся какой-либо конкретной проблемой, сам является историографом.

Милица Васильевна Нечкина вкладывала в понятие истории исторической науки широкий и объемный смысл, связанный с процессом развития научного исторического знания. В него включались теоретические и методологические основы науки, творчество историков (концепции, источниковая база, проблематика), инфраструктура, в которой реализуется научное знание, учреждения и институты научного профиля и т.д. Предмету истории исторической науки М.В. Нечкина уделяла особое внимание.

Милица Васильевна глубоко осознавала роль и значение этой научной дисциплины. “У историографии, – писала она, – есть свой предмет и содержание, есть структура и, следовательно, функция”. Эту функцию Милица Васильевна признавала, по ее словам, “очень значительной”. Историографии она предназначала роль “рычага внутри исторической науки, который содействует повышению научного уровня исторических исследований”<sup>1</sup>.

И сейчас, когда историческая наука избавляется от идеологизации и политизированных схем и решений, когда перед ученым стоит задача повышения профессионализма, историки вновь и вновь должны обращаться к опыту своих предшественников, к их завоеваниям и заблуждениям, рассматриваемым в контексте эпохи. Историзм в подходе к осмыслению научных традиций – неперемненное условие их оценки.



В 50–70-е годы XX в. развитие истории исторической науки достигло высокого подъема. Определяющая роль в этом принадлежит Милице Васильевне Нечкиной.

Этой областью исторического знания она начала заниматься еще в молодые годы. В 1927 г. в сборнике “Русская историческая наука в классовом освещении” была опубликована статья Нечкиной “Густав Эверс”. Эта блестящая и по содержанию, и по форме историографическая работа выгодно отличается от опубликованных в том же сборнике статей. Она раскрывает принципы подхода автора к истории науки, служит и по сей день эталоном написания историографического сочинения. Разумеется, идеологические установки и замысел издания наложили печать известной политизации на освещении фигуры Эверса: слишком жесткой была привязанность его творчества к экономическим интересам вестфальского зажиточного крестьянства, от которого он вел свое происхождение. Но этой статье были присущи существенные компоненты историографического сочинения – глубокое осмысление эпохи и процесса развития науки.

Г. Эверс органично включен автором в атмосферу общественно-политических и научных идей времени. В своем творчестве он воплощал запросы общества и науки, интерес к политике, государству, к изучению исторического процесса, в центре которого находились не цари, а народ. Милица Васильевна подчеркивала, что Эверс вырос не на русской, а на германской научной почве, его воспитала западная наука, поставившая перед ним основные проблемы диалектики государства, которые он внес в изучение русской истории. Гегель и Гердер, Нибуэр и Ранке, Савиньи и Эйхгорн были его научными авторитетами. Милица Васильевна, таким образом, решала проблему теоретических основ русской исторической школы в лице Эверса на западной почве, включала историческую науку в контекст мировой науки и не ставила вопрос о заимствовании, приоритете и т.д. Научное творчество историка рассматривалось ею в связи с потребностями времени и науки, закономерностями развития, отношением к источникам как решающим условием для научных выводов.

Анализ трудов Эверса (Милица Васильевна читала их в подлиннике на немецком языке) привел автора к определению его роли в исторической науке как первого диалектика русской историографии, основателя историко-юридической школы. Заслугой Эверса Милица Васильевна признавала понимание им русского исторического процесса как постепенного перехода родовых отношений в государственные, внимание к различным правовым институтам, тесно связанных в своем развитии с эволюцией государства. Новый подход Эверса к русской истории как к закономерному, диалектическому и противоречивому процессу обусловил, по справедливому мнению М.В. Нечкиной, и новую проблематику исследования: историю государства, его учреждений, гражданско-го состояния, ремесла, законов, нравов, народного быта, религии и т.д.

Возглавив историографическую работу в стране, Милица Васильевна не только определила ее взлет, но и воспитала целую плеяду профессионалов-историографов.

В 1958 г. по инициативе В.П. Волгина, М.Н. Тихомирова и М.В. Нечкиной был создан Научный совет по проблеме “История исторической науки” при Отделении исторических наук АН СССР. Деятельность Совета (также как и группы по изучению революционной ситуации в России) – одно из ярких проявлений таланта М.В. Нечкиной как организатора науки. Совет вел огромную работу по организации и координации историографической деятельности в стране. С 1961 г. и до конца своих дней Милица Васильевна возглавляла этот Совет.

Главными направлениями деятельности Совета являлись разработка методологических и теоретических основ историографических исследований, анализ трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, истории советской исторической науки, историографии истории СССР, историографии дореволюционной России, а также таких проблем, как историография и современность, преподавание истории исторической науки в высшей школе.

М.В. Нечкина определила многообразие форм деятельности Научного совета: проведение пленумов, международных, всесоюзных и зональных конференций, организацию совещаний заведующих кафедрами историографии и т.д.

Совет установил действенные связи с институтами, научными советами Секции общественных наук Президиума АН СССР, с историческими учреждениями Академий наук союзных республик, а также с историческими кафедрами университетов, педвузов, с союзными и республиканскими министерствами высшего и среднего специального образования и просвещения. Все это способствовало интенсивному росту зональных секций Совета, с которыми поддерживалась постоянная связь и которым Милица Васильевна оказывала необходимую научно-методическую помощь.

Совет проводил конференции, посвященные вопросам теории и методологии, исторической концепции В.И. Ленина (Киев, 1965), кризису буржуазной исторической науки (Рига, 1979), основным направлениям изучения исторической науки в социалистических странах (Москва, 1978) и др.

Самое пристальное внимание М.В. Нечкина уделяла вопросам преподавания историографии. Этой проблеме было посвящено несколько конференций. Широкий резонанс получили конференции преподавателей историографии истории СССР и всеобщей истории в Смоленске (1973), в Калининне (1978), в Калининграде (1980) и др. Итогом работы этих конференций явились сборники, вышедшие под редакцией М.В. Нечкиной: “Вопросы историографии в высшей школе” (1975), “Изучение и преподавание историографии в высшей школе” (1981) и др.

Огромную роль в выявлении важных научных проблем, повышении профессионального уровня и поощрения творческих замыслов историков сыграли созданные по инициативе М.В. Нечкиной заседания Научного совета, так называемые “Историографические среды”. Их создание Милица Васильевна связывала с необходимостью развития историографической работы в стране, помощи преподавателям историографии, а главное – обсуждения актуальных историографических про-

блем, выявления “точек роста науки”. “Выявление таких точек роста науки, – писала Милица Васильевна, – крайне важно. Они позволяют вовремя заметить зарождение новых исследовательских направлений, определить их значение и перспективность и, следовательно, способствовать их становлению и развитию”<sup>2</sup>.

Заседания “Историографических сред” становились своеобразной лабораторией, где “специалист по истории исторической науки имеет возможность выступить с докладом в среде специалистов, своих коллег и, вернувшись к себе в вуз, на кафедру, продолжить исследовательскую и преподавательскую работу обогащенным новыми мыслями и идеями”<sup>3</sup>.

В сфере истории науки Милица Васильевна включала и атмосферу, в которой происходил процесс научного творчества, влияние окружения, господствующие этические нормы. В связи с этим особое внимание она обращала на рецензии как историографический источник, стимулирующий или тормозящий развитие той или иной точки зрения, призвала усиливать научную аргументацию рецензий.

Обсуждение историографических проблем на организованных Советом научных заседаниях в их разных формах вызывало огромный интерес всей научной общественности. На эти заседания приходили не только историки, но и философы, литературоведы, юристы, приезжали ученые из разных концов страны. Они собирались не только для того, чтобы обменяться научными мнениями, но и послушать Милицу Васильевну.

Ее выступления всегда отличались ясностью мысли, простотой, с какой она излагала самые сложные научные вопросы, и необычайно яркой художественной формой. Речь Милицы Васильевны завораживающе действовала на аудиторию, она умела внести в научную атмосферу одухотворенность, всегда служившую ей стимулом научной деятельности, и заряжала ею свое окружение.

В 1959 г. в Институте истории АН СССР (Институт российской истории РАН) был создан Сектор истории исторической науки, который объединял как старые профессиональные кадры историографов, так и молодых исследователей. Опыт научного общения молодежи с учеными старшего поколения создавал творческую атмосферу, воспитывал навыки историографического мастерства, формировал научную школу историков исторической науки.

В Секторе под руководством М.В. Нечкиной осуществлялось издание “Очерков истории исторической науки в СССР” (Т. 2–5), первого обобщающего труда по отечественной историографии. В советской историографии впервые было предпринято издание, в котором развитие исторических знаний с древнейших времен до современности давалось на материалах русской и всеобщей истории, археологии, этнографии, источниковедения, вспомогательных исторических дисциплин. Хронологический принцип изложения материала обеспечивал возможность представить картину исторических знаний в их эволюции. Само название издания предусматривало рассмотрение исторических знаний в республиках Союза ССР.

В “Очерках” были представлены разные историографические направления (дворянское, либеральное, народническое, марксистское), творчество наиболее крупных историков.

Разумеется, освещение исторической науки и ее деятелей основывалось на господствующей общей концепции русской истории и соответствующих подходах к историческому материалу. Многие общие положения и оценки исходили из идеологизированных схем; политизацией были отмечены многие представления о развитии науки, ее отдельных периодах и историках. С позиций современности это издание устарело, многое из того, что там написано, следует переписать заново, осмысливая историографический материал раскрепощенным от догматизма и стереотипного мышления взглядом. Однако надо признать, что в рамках науки того времени это издание имело большое научное значение: оно обобщало, подводило итог достигнутого дореволюционной и советской наукой, несло большую информативную нагрузку, намечало пробелы в исследовании многих тем по истории науки. А главное – стимулировало развитие истории исторической науки.

В 1965 г. Милица Васильевна опубликовала интересную и значимую в историографическом отношении статью под названием “Монография: ее место в науке и в издательских планах”. Наряду с положениями идеологического свойства, с которыми сейчас трудно согласиться, Милица Васильевна высказала ряд ценных соображений, имеющих непреходящее научное значение. Она давала разъяснение понятию “актуальность” в науке, подчеркивая, что его нельзя связывать лишь с потребностями сегодняшнего дня. «Есть “актуальное” в самой науке, – писала она, – остро необходимое для ее собственного дальнейшего роста», т.е. актуальность должна определяться необходимостью прежде всего собственно научного знания. В этой статье Милица Васильевна выступила в защиту творческой индивидуальности. Ее тревожила “перманентно возобновляемая традиция” издавать многотомники, которые нередко не только создают видимость исследования, но и “отрывают” и “отучают” от исследовательской работы. Воплощение индивидуальности она видела только в монографических исследованиях. Однако монографии, как считала Милица Васильевна, должны быть сосредоточены на новом комплексе вопросов; исследователь должен отталкиваться от завоеваний предшественников, избегать монотонных повторений общеизвестного материала. Неотложной задачей монографического исследования она считала также “живую литературную форму изложения”<sup>4</sup>.

Проведенная в 1960–1962 гг. журналом “История СССР” дискуссия о периодизации истории советской исторической науки, которую открывали и закрывали статьи М.В. Нечкиной, способствовала решению многих актуальных проблем. Милица Васильевна развитие советской науки связывала с развитием общества и его отдельных периодов. Вместе с тем она подчеркивала, что “критерии для выделения фактов, знаменующих переход от одного периода науки к другому, должны быть почерпнуты в собственном развитии науки, внутренне принадлежат ему”<sup>5</sup>. Критерии или принципы периодизации должны быть разносторонними и отражать главные стороны развития науки: общую концепцию исторического процесса, связанную с ней проблематику, а также включение новых источников и методов исследования. Научность все-

гда являлась неременным свойством ее отношения к решению научных вопросов.

Историографический ежегодник “История и историки”, основанный Милицей Васильевной, являлся в своем роде уникальным изданием, в котором разрабатывались проблемы историографии как отечественной, так и всеобщей истории. Во введении к этому изданию Милица Васильевна подняла ряд важных методологических проблем историографического исследования: о предмете истории исторической науки, ее источниках, об историографическом факте, закономерностях развития науки и факторах, влиявших на ее развитие, об историографическом подходе к историческому материалу и методах работы историографа. “Развитие исторической науки, – писала М.В. Нечкина, характеризуя путь ее изучения в предисловии к первому ежегоднику, – должно браться исследователем в целом, без искусственного отсечения ее живых, хотя и своеобразных ветвей. Истина конкретна, и ее изучение для развития исторической науки каждого периода отличается своеобразием”<sup>6</sup>.

Принцип историзма, учет многообразных влияний, связанных с жизнью и деятельностью историка и его эпохи, являлись исходными в изучении науки и ее создателей. Именно Милица Васильевна выдвинула требование при изучении личности историка обязательно изучать его архивы, документы личного характера, творческую лабораторию. “Понять историка и его творчество, – говорила она на одной из историографических сред, – можно при одном неременном условии: анализировать как объективные, так и субъективные моменты его биографии, вплоть до его чувств, личных привязанностей, особенностей его психологического склада и т.д.”<sup>7</sup>. Личность всегда играла большую роль в осмыслении Милицей Васильевной творческого процесса историка и исторической науки в целом.

Большую научную ценность представляет публикация подготовленных под редакцией М.В. Нечкиной двух томов библиографии “История исторической науки в СССР” (1965; 1980). Цель этого издания состояла в том, чтобы собрать воедино литературу, посвященную истории изучения в стране отечественной и всемирной истории, а также археологии, этнографии, специальных и вспомогательных исторических дисциплин. Это справочное издание приобрело большую популярность, и стало библиографической редкостью.

Одна из самых значительных историографических работ Милицы Васильевны – монография “Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества” (1974). К личности этого историка Милица Васильевна обратилась еще в 20-е годы, опубликовав о нем несколько статей. Интерес к Ключевскому был данью памяти юношескому увлечению историей. Именно этот историк пробудил в Милице Васильевне любовь к истории, именно он, с его блестящим ораторским мастерством и остроумием, служил эталоном профессора, которым стремилась стать и стала сама Милица Васильевна. Своим ученикам она говорила, что хотела бы закончить свой творческий путь книгой о Ключевском. И действительно, монография о Ключевском завершала цикл ее историографических исследований.

Раскрывая научный вклад известного историка и его место в исторической науке, М.В. Нечкина показала, как эпоха влияла на формирование его взглядов, как шел процесс становления его мировоззрения, обусловленный, с одной стороны, традициями исторической науки и, с другой, – обстановкой в стране. Давая значительный обзор литературы о Ключевском, Милица Васильевна сформулировала замысел своей работы: “Историческое развитие творческих процессов, взаимосвязанных с его (Ключевского. – М.Н.) временем и с влетающими в них биографическим потоком событий”<sup>8</sup>. В изложении материала она следовала словам самого Ключевского – “главные биографические факты” в жизни ученого – его книги. Монография о Ключевском построена по хронологии выхода основных трудов ученого: “Шесть лет работы над Житиями святых”, «Десять лет работы над “Боярской думой”», “Лекционные курсы” и т.д. Творчество Ключевского органично включено в эпоху; показано влияние политических и революционных событий на его мировоззрение.

Большим достоинством работы является мастерство автора в умении раскрыть творческую лабораторию ученого: выбор темы, замысел, его развитие, подбор источников, их критическая проверка, история текста и др.

Определяя значение каждого из рассматриваемых трудов Ключевского, Милица Васильевна характеризовала их роль в раскрытии той или иной проблемы, в становлении исторических взглядов Ключевского. Для историка исторической науки большую поучительную ценность представляет анализ научной концепции Ключевского, ее составных элементов, политической и сословной истории, экономического развития, роли природно-географических факторов. Милица Васильевна проследила в трудах Ключевского периодизацию русской истории, ее хронологические грани и принципы – от географического до экономического и т.д.

Заслуживает внимания и освещение вопроса об отношении Ключевского к своим предшественникам: И.Н. Болтину, Г.Ф. Миллеру, Г.З. Байеру, М.М. Щербатову, С.М. Соловьеву и др. Освещение творческого процесса историка Милица Васильевна не ограничивала изучением его научных приемов, она раскрывала индивидуальные, психологические черты его личности, особенности его душевного склада, увлечения, ярко нарисовала его внешний облик. В книге показан не только Ключевский-ученый, но и Ключевский-человек, с его любовью к природе, искусству, со многими биографическими подробностями, часто дающими ключ к пониманию научного творчества.

В итоге Милица Васильевна создала сложный, противоречивый и, по словам Л.В. Черепнина, “правдивый образ историка переломной эпохи конца XIX – начала XX в.” Однако по замечанию того же Л.В. Черепнина, давшего в целом высокую оценку этого труда, “иногда следовало бы несколько изменить оттенки при характеристике соотношения либерализма Ключевского с демократическими чертами его облика”<sup>9</sup>. Это верное замечание Л.В. Черепнина не снижало общего впечатления о книге как талантливом исследовании.



Под руководством М.В. Нечкиной были изданы документальные материалы, связанные с научным наследием В.О. Ключевского: неизданные произведения, мысли об истории и историках, письма, дневники и др.<sup>10</sup> Для историка исторической науки подобные материалы, подчеркивала Милица Васильевна, сохраняют особую притягательную силу. “Тут нередко блестит драгоценная россыпь данных о формировании личности ученого, о развитии его мировоззрения, о поисках себя самого, об осознании смысла жизни и своего в ней места. Тут часты штрихи синтеза как своей жизненной задачи, так и понимания эпохи. Без этих драгоценных свидетельств иной раз просто мертвы ученые выписки, черновики и поиски научных выводов. От этих человеческих документов струится особый свет на научное творчество”<sup>11</sup>.

М.В. Нечкина значительно расширила и обогатила представления о научном творчестве, вообще, и историка, в частности. Она считала, что в будущем должна возникнуть самостоятельная дисциплина, изучающая сложный процесс создания художественных и научных трудов. Развитие этой дисциплины требует большой эрудиции, знания исследовательских навыков историка, литературоведа и законов психологии.

Обладая большими познаниями в области истории, литературоведения и психологии, Милица Васильевна создала ряд исследований, объединенных темой “функция художественного образа в историческом процессе”. Под этим же названием в 1982 г. был опубликован сборник ее статей.

Девизом в разработке этой многоаспектной проблемы Милица Васильевна взяла слова В.О. Ключевского: “Тайна искусства писать – уметь быть первым читателем своего произведения”. Этими словами В.О. Ключевского Милица Васильевна подчеркивала важность восприятия художественного произведения в общественной среде, действия функции созданного автором образа в человеческом обществе.

Вопросы, связанные с творчеством писателя и действием функции художественного образа, Милица Васильевна считала необходимым рассматривать в единстве. Талант писателя, способность с помощью нескольких доминирующих признаков вызывать понимание целого явления и характер восприятия в читателе художественного образа, обогащение познавательного, эмоционального и этического опыта – все эти свойства и особенности находятся в обусловленной взаимосвязи.

Картину формирования общественного сознания под влиянием художественной литературы Милица Васильевна раскрыла на примерах вольнолюбивой лирики А.С. Пушкина, произведений И.И. Лажечникова, А.С. Грибоедова, художественных образов Шекспира, Бомарше и др.

Большое внимание М.В. Нечкина уделяла литературному оформлению научного труда, обоснованно считая изложение и стиль исторического сочинения одной из малоизученных, но необходимых сторон научного творчества. Вместе с тем, она подчеркивала, что художественные элементы в литературном оформлении научной работы, – подчиненный, а не самостоятельный момент, и подчиняются они особенностям научного, а не художественного замысла. Сама Милица Васильевна, как известно, обладала не только искусством письма, но и магией слова.

Научное творчество Милицы Васильевны Нечкиной в области истории исторической науки ознаменовало значительный этап в развитии этой научной дисциплины. Он был связан с огромным подъемом в изучении истории исторической науки. Создалась историографическая школа М.В. Нечкиной. Ее ученики и коллеги, испытавшие на себе влияние ее таланта историографа, продолжают трудиться в вузах и научных учреждениях страны. В Институте российской истории РАН научные традиции Милицы Васильевны сохраняет Центр “Историческая наука России”.

- <sup>1</sup> *Нечкина М.В.* Послесловие // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки. Калинин, 1980. С. 133.
- <sup>2</sup> *Нечкина М.В.* Предисловие // Там же. С. 3.
- <sup>3</sup> Там же.
- <sup>4</sup> *Нечкина М.В.* Монография: ее место в науке и в издательских планах // Коммунист. 1965. Июнь.
- <sup>5</sup> *Нечкина М.В.* О периодизации истории советской исторической науки // История СССР. 1960. № 1. С. 80–81.
- <sup>6</sup> *Нечкина М.В.* История истории. Некоторые методологические вопросы истории исторической науки // История и историки. М., 1965. С. 15.
- <sup>7</sup> Стенограмма историографической среды. 1963. 25 мая.
- <sup>8</sup> *Нечкина М.В.* Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. С. 53.
- <sup>9</sup> *Черепнин Л.В.* Выдающееся исследование о Василии Осиповиче Ключевском // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 6.
- <sup>10</sup> *Ключевский В.О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968; *Он же.* Неопубликованные произведения. М., 1983.
- <sup>11</sup> *Нечкина М.В.* Предисловие // *Ключевский В.О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 5.

**А.В. Сидоров**

## **ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ НА СТРАНИЦАХ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-х ГОДОВ**

В начале XX в. отечественная историческая наука накопила большой опыт историографических исследований, постоянно обращаясь к изучению процесса развития исторических знаний. В предреволюционный период сложились традиционные подходы к историографическому анализу, позволявшие вести исследовательскую работу по моделированию процесса развития отечественной исторической науки как в целом, так и отдельных ее аспектах. Хотя в 20-е годы в силу ряда причин это исследование не получило своего обобщающего завершения, тем не менее проведенный анализ позволил поставить (а в ряде случаев и решить) целый ряд важных историографических проблем.

Единого, общепризнанного подхода в отечественной науке начала XX столетия не сложилось, но достаточно явно обрисовалось согласие ученых в целом ряде принципиальных теоретических подходов к исследованию истории науки, а также определились теоретико-концептуальные проблемы, вызвавшие наибольшие расхождения в понимании процессов историографического развития.

Как правило, историографический анализ сосредоточивался на изучении двух основных проблем процесса развития отечественной исторической науки: исследование структурного состояния исторического познания в определенный период его развития, с одной стороны, и анализ динамики процесса исторического познания, включающий изучение его причин, механизмов и направленности, с другой. Результатом являлось конструирование общей схемы и периодизации развития отечественной исторической науки с определением характерных черт и особенностей каждого периода.

Уже дореволюционная историография приступила к обобщению результатов историографических исследований<sup>1</sup>. Но эта работа сталкивалась с недостаточной разработанностью конкретных историографических проблем. В итоге ряд работ превращались в ходе проводимых конкретных исследований либо в расширенные библиографии, либо в сборники статей о вкладе в научное познание отдельных исследователей, либо в конструирование недостаточно обоснованных схем.

Вместе с тем о назревшей потребности в осмыслении пройденных этапов научных разработок свидетельствовал и тот факт, что в исторических исследованиях все больше внимания уделялось историографической разработке рассматриваемых проблем. Д. Егоров в анализе научного творчества известного германского ученого Альфонса Допша заметил, что исследователи вынуждены повиноваться «недавней, нужно думать, неудачной, но как будто всеобъемлющей, моде приводить непременно исчерпывающую, дотошную историографию „вопроса“»<sup>2</sup>. Но историографическая часть исследования была уже не только «модой», а потребностью, вызванной значительной активизацией научной деятельности и появлением все большего числа конкретно-исторических исследований. Н.И. Кареев, автор одной из самых крупных историографических работ начала 20-х годов, считал, что историографические элементы могут являться важной частью исторического знания в целом. «Настоящее историческое знание, – писал он, – заключается не только в знании того, что было, как оно было, но и того, как то или другое понимается или понималось, если по данному вопросу нет полного и совершенного согласия»<sup>3</sup>. Подобный подход к историческому исследованию, по его мнению, обуславливался тем, что сложность и многогранность действительности объясняла трудность ее научного познания, появление споров и противоречий в среде историков. В этих условиях, по мнению Н.И. Кареева, «на помощь и приходит возможно полное знание если не самих фактов, как они на самом деле были, то, по крайней мере, того, как они представлялись людям, их изучавшим»<sup>4</sup>.

Еще в дореволюционный период курсы лекций по отечественной историографии закрепились в учебных планах высших учебных заведе-

ний. Их большое значение для формирования нового поколения исследователей отмечал А.Е. Пресняков в своей работе, посвященной творчеству одного из ведущих историографов конца XIX века К.Н. Бестужева-Рюмина<sup>5</sup>. Традиции преподавания историографии студентам были сохранены и в начале 20-х годов. В 1919–1920 учебном году С.В. Рождественский прочитал курсы лекций “Русская историография от Карамзина до новейшего времени” в Петроградском университете и “Новейшая русская историография” в Первом высшем педагогическом институте. В течение ряда лет А.Е. Пресняков читал курс лекций по отечественной историографии для студентов архивно-археологического отделения Археологического института: в 1919–1920 учебном году – “Русская историография”, в 1920/1921 году – “Русская историография в связи с обзором источников русской истории”, в 1921–1922 году – вновь “Русская историография”<sup>6</sup>. Работа над этими курсами была тесно связана с проведением историографических исследований, результаты которых нашли свое отражение на страницах периодических изданий начала 20-х годов. В этот период в области историографии также активно работали М.М. Богословский, С.А. Голубцов, И.М. Гревс, Н.И. Кареев и целый ряд других исследователей, продолжавших и развивавших традиции дореволюционной отечественной науки.

Характерной особенностью отечественной историографии начала 20-х годов, унаследованной от дореволюционного периода ее развития, явился многоуровневый подход к пониманию процесса развития исторического познания. Эта многоуровневость, базировавшаяся на понимании диалектики общего и особенного, определялась степенью обобщения процессов историографического развития. Исследователями истории исторического познания выделялись в начале 20-х годов следующие уровни историографического обобщения: мировая историческая наука; национальная (или как отмечалось в ряде исследований – “местная” наука); направления (школы) национальной науки, а также историография важнейших исторических проблем; творчество отдельного историка или конкретных этапов его научной деятельности; историографическая оценка конкретных исследований. При этом необходимо отметить, что историографы 20-х годов, выходя на определенный уровень обобщения, держали в поле своего внимания всю многоуровневую систему исторического познания.

Конечно, в начале 20-х годов не существовало исследований, охватывающих весь всемирный процесс исторического познания. Наверное, не будет преувеличением сказать, что и в настоящее время историческая наука не готова представить труд, обобщающий весь мировой опыт постижения прошлого человечества. Но теоретический посыл, указывающий на единство общечеловеческого процесса познания, присутствовал в историографических исследованиях начала 20-х годов. Во многом это объяснялось уже установившейся к тому времени традицией рассмотрения отечественной истории как части мирового исторического процесса. «Само изучение национальной истории, – писал А.Е. Пресняков, анализируя труды А.С. Лапшова-Данилевского, одного из крупнейших представителей отечественной исторической науки начала XX сто-

летия, – представлялось ему лишь частичным подходом к построению “главного объекта исторической науки – исторического целого или истории человечества”, развитие которого представлялось ему “единым непрерывным процессом”, который идет через ряд временных состояний культуры к все более сознательной реализации “исторического целого” во взаимодействии с мирозданием»<sup>7</sup>.

“Всемирно-исторический взгляд” на процесс развития общества считался необходимым условием в творческой деятельности историка, недаром, обращаясь к работам древних авторов, особо подчеркивался этот подход к изучению истории. И.М. Гревс указывает на его появление еще в работах Полибия и Диодора Сицилийского, отмечая важность отражения “в сознании летописателей идеи *всеобщей истории*, то есть связи между судьбами всех народов и необходимости их объединенного обозрения”<sup>8</sup>. О распространенности этого всемирно-исторического подхода в теоретических воззрениях историков 20-х годов свидетельствует и использование его в качестве критерия историографической оценки выходивших исследований. Примером может служить рецензия А.Г. Вульфуса на нашедшую работу О. Шпенглера “Закат Европы”, второй том которой в этот период попал в руки отечественных исследователей. Именно отношение к всемирно-историческому процессу Шпенглера и привлекает внимание Вульфуса: “В первую голову следует подчеркнуть, что Шпенглер совершенно отвергает какое бы то ни было единство исторического процесса в мировом масштабе. Всемирной истории не существует”<sup>9</sup>.

Всемирно-исторический уровень обобщения, ставший общепризнанным теоретическим подходом к изучению исторического процесса, находил свое отражение и в историографии тех лет. И.М. Гревс, говоря о творчестве А.С. Лаппо-Данилевского, особо отмечал тот факт, что ученый “много работал над также поручавшимся ему курсом русской историографии, которую рассматривал и в ее своеобразии, и в связи с развитием западноевропейской”<sup>10</sup>. Вполне понятно, что для отечественных историков тех лет понятие всемирной науки связывалось прежде всего с достижениями европейских и североамериканских ученых.

Успехи западноевропейской историографии в изучении хода познания человечеством своего прошлого позволяли отечественным историографам путем сравнительного анализа определять особенности развития российской исторической науки. В связи с этим интересны наблюдения, сделанные А.С. Лаппо-Данилевским, касающиеся специфики развертывания общемировых тенденций развития исторического познания в средневековой России<sup>11</sup>. Такое сравнение позволило четче обозначить на конкретном историографическом материале общее и особенное в развитии мировой научной мысли. Это касалось не только общих оценок состояния отечественной науки в тот или иной период ее развития, но и отдельных отраслей знания, и даже отдельных работ. Ф.И. Успенский, один из крупнейших отечественных исследователей истории Византии, отмечал в связи с этим особенности российской школы, подчеркивая, что “византиноведение направилось у нас совершенно другим путем, независимо от западноевропейских в этом отно-

шении течений, приняв в большинстве своих проявлений национальную русскую окраску, т.е. сосредоточившись на темах, имеющих отношение к русской истории”<sup>12</sup>.

Сравнение с мировым научным опытом приводилось и при анализе отдельных работ отечественных исследователей. В 1920 г. вышел в свет первый том исследования П.А. Сорокина “Система социологии”, вызвавший неоднозначную реакцию в научной среде. Позитивистская направленность работы встретила резко негативную реакцию у ряда историков. С рецензией на этот труд выступил Н.А. Рожков, который завершил свой анализ выводом о том, что «основные черты труда П.А. Сорокина не составляют его особенности: они общи ему с целым рядом социологических работ, которые выходят в большом количестве, главным образом в Америке: и там мы встречаем обычно и недостаток анализа конкретного, фактического материала, и “плюралистический” метод, и бледность и бессодержательность выводов»<sup>13</sup>. Не рассматривая справедливость упреков, высказанных Н.А. Рожковым в адрес книги П.А. Сорокина, необходимо отметить тот всемирно-исторический подход в историографической оценке, высказанной автором рецензии, и подчеркивание общности научных процессов, развертывавшихся как в России, так и за рубежом.

Проблема взаимосвязи с мировой исторической наукой в 20-е годы наиболее остро стояла для ученых, специализировавшихся на изучении истории зарубежных стран. Первая мировая война, революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская война фактически на несколько лет прервали международные научные контакты российских ученых. Опасность оказалась на периферии научного мира, утратить достигнутый в начале XX в. авторитет в международной научной среде серьезно беспокоила российских историков. Необходимо учитывать, что достижения российской науки не только в изучении отечественной истории, но и в исследовании ряда исторических проблем зарубежных стран были неоспоримы. С. Данини, анализируя историографию аграрного вопроса в Великой Французской революции, отмечал достаточно показательный факт: “Интерес французов к работам русских ученых, особенно к исследованиям проф. Лучицкого, был так велик, что в 1913 году Парижское Общество новой истории в двух заседаниях заслушало два доклада, посвященных работам Лучицкого: Мариона (противника) и проф. Анри Сэ (сторонника Лучицкого) и вынуждено было перенести прения на третье заседание”<sup>14</sup>.

Тем самым, задача, стоявшая в начале 20-х годов перед отечественными учеными, изучающими историю зарубежных стран, заключалась в том, чтобы несмотря на неблагоприятные условия для международных научных связей не утратить достигнутый отечественной наукой потенциал. Не удивительны поэтому строки заявления “От редакции”, открывающие первый номер журнала всеобщей истории “Анналы”, поставившего в качестве одного из программных пунктов издания “ведение возможно более полной регистрации появляющейся на западе исторической литературы” и обещавшего, что “чем более будут облегчаться ученые сношения с



Западом, тем больше места будет отводиться критике и библиографии, учету прибывающих книг и их анализу”<sup>15</sup>.

Если стремление к обобщению истории мировой исторической науки осталось в 20-е годы лишь в качестве общетеоретического подхода, то осмысление пути отечественной истории нашло свое выражение в изданном в 1920 г. “Очерке развития русской историографии” А.С. Лаппо-Данилевского<sup>16</sup>. Несмотря на то, что автор, скончавшийся в феврале 1919 г., не смог завершить свой труд, публикация в “Русском историческом журнале” введения, первой и начала второй глав “Очерка” стала заметным научным событием. Эта работа явилась обобщением многолетнего научного и преподавательского труда А.С. Лаппо-Данилевского.

На основании разработки большого фактического материала и учета достижений историографической мысли начала XX столетия А.С. Лаппо-Данилевский попытался создать схему развития отечественной исторической науки, выделение периодов которого определялось внутренними особенностями развития науки, “господство того, а не иного исторического интереса или течения придавало каждому из них свой особый отпечаток”<sup>17</sup>. Опираясь на этот подход, А.С. Лаппо-Данилевский выделил пять периодов развития русской исторической мысли: “Вообще, начиная приблизительно с конца XI века, русская историография отличалась преимущественно традиционным характером летописного свода; с XVII-го века она стала принимать вид более сложной компиляции, притязавшей на ученость и приукрашенный стиль; после реформ начала XVIII-го века она несколько усвоила себе начала критики и требования прагматического изложения; в первые десятилетия XIX-го века она приобрела наряду с критическим аппаратом, научно-литературный оттенок; с 1830-х годов она обнаружила более сознательное стремление к цельному построению нашего прошлого, основанному частью на философских предпосылках, частью на началах строго научного исследования, благодаря которому ей удалось, наконец, достигнуть современного нам высокого уровня своего развития”<sup>18</sup>.

Эта периодизация, базирующаяся на имманентно присущих характеристиках развития исторических знаний, не только сама явилась результатом конкретного исторического анализа, но и позволяла подойти к проведению дальнейших историографических исследований с пониманием общего хода исторического познания. В отличие от иных типов периодизаций, основанных на понимании переживаемого наукой этапа как вершины научного прогресса, подход, предложенный А.С. Лаппо-Данилевским, опирался на констатацию исторической реальности, создавая тем самым эффект незавершенности познавательной деятельности в области истории и открывая возможность будущему историографу выделить последующие этапы развития исторической мысли.

Схема развития русской историографии, предложенная А.С. Лаппо-Данилевским, базировалась на достижениях отечественной исторической науки и являлась своеобразным итогом осмысления дореволюционной наукой пройденного пути. Вместе с тем, она отразила ту научную традицию в постановке узловых историографических проблем, которая

воспринималась и продолжалась в работах историков начала 20-х годов, посвященных изучению ряда конкретных явлений в отечественной историографии.

Большинство историографических работ, опубликованных в начале 20-х годов касалось проблем творчества отдельных историков или истории научной разработки конкретно-исторических проблем во второй половине XIX – начале XX в. Данная постановка проблем так или иначе не могла найти успешного решения без конструирования схемы развития исторической науки в этот период. С.А. Голубцов, исследуя вопрос о теоретических взглядах В.О. Ключевского, отмечал, что “исторического мировоззрения Ключевского нельзя понять вне атмосферы той скрытой и явной борьбы научных направлений, какая волновала русскую историографию в молодые годы Ключевского”<sup>19</sup>. В первую очередь Голубцов обратил внимание на споры славянофилов и западников в публицистике того времени, которые не могли не коснуться исторической науки. Одни историки, вслед за С.М. Соловьевым и вопреки его заявлению, что историческая наука имеет дело с жизнью человека во всех ее проявлениях, на первый план выдвигали историю государства. Другие, сосредоточив свое внимание на судьбах народности, доходили почти до полного устранения государства из своих представлений о русском историческом процессе<sup>20</sup>. При этом Голубцов замечал, что «как те, так и другие, в сущности, шли по родственным путям: оба направления усердно искали в русском историческом развитии обнаружения “начал”; и если одни стремились найти общечеловеческие начала, других влекли своеобразно-русские»<sup>21</sup>. Эти направления, по его мнению объединял “идеалистический монизм”, десятилетиями “шедший к нам из Германии”<sup>22</sup>. Из Западной Европы пришло в Россию, обновляемую “великими реформами” 60–70-х годов XIX в., влияние философского материализма и позитивизма. В этих условиях историку “приходилось ориентироваться между идеалистическим и экономически-материалистическим монизмом”<sup>23</sup>.

По мнению Голубцова, преодолеть накопившиеся в исторической науке противоречия удалось В.О. Ключевскому: «Крупные разногласия по поводу тех, а не иных “начал”, как принципов содержания исторической науки, отступили перед социологическим методом; недоразумения на почве предпочтения внешней политической истории “народному” развитию или наоборот нашли свое объяснение, придя к единству, в эволюционном взгляде на русское прошлое»<sup>24</sup>. Исторический процесс России развивался под влиянием целого ряда факторов – географического, экономического, социального, политико-юридического, культурно-исторического, роль и значимость которых менялась в различные исторические периоды. “Путем богатого исследовательского опыта, – считал С.А. Голубцов, – Василий Осипович убедился в несвойственности историческому развитию единой руководящей, неизменно-направляющей, метафизически-непреложной силы”<sup>25</sup>. Такова была схема историографического процесса второй половины XIX – начала XX в., предложенная С.А. Голубцовым. Поставленная им задача изучения теоретических воззрений В.О. Ключевского толкала исследовате-

ля к построению схемы историографического развития, вершиной которого выступало творчество выдающегося русского историка. Вполне естественной выглядела в этом случае и задача, “ожидающая опытного исследования”, – дальнейшее изучение влияния различных факторов на ход исторического развития.

Подобный подход при моделировании историографического процесса в России мы наблюдаем и у С.В. Рождественского, посвятившего свое исследование творчеству С.М. Соловьева. По его мнению, С.М. Соловьеву удалось преодолеть односторонность западников и славянофилов. «Увлечения западничества и славянофильства, – писал Рождественский, – были в свое время противоположными гранями одного цельного кристалла русской научной мысли. В применении к русской истории таким основным ядром этой мысли представлялось “органическое” воззрение Соловьева»<sup>26</sup>. Столь серьезные расхождения в понимании процесса историографического развития в схемах Голубцова и Рождественского объясняются не столько принципиальными расхождениями, сколько неразработанностью вопроса, отсутствием сложившегося понимания сущности эволюции отечественной исторической мысли, недостаточной изученностью конкретного историографического материала. Тем не менее исследование творчества историка требовало осмысления общего процесса развития исторической науки на данном этапе. В результате появились схемы, основанные не на детальном изучении фактического материала, а на неких теоретических подходах. Без прохождения подобного этапа концептуальных построений оказалось невозможным проводить конкретно-исторические исследования.

Определенным недостатком подобной схематизации явилось и “исключение” из сферы внимания историографической науки тех исследований, которые не попадали под определенные схемой параметры. Примером может служить творчество выдающегося русского историка и историографа К.Н. Бестужева-Рюмина. «Отзывчивый на разные течения мысли и настроений, – отмечал А.Е. Пресняков в статье, посвященной 25-летию со дня кончины этого исследователя, – Бестужев не мог всецело примкнуть ни к одному из сложившихся “направлений”. Ему были близки многие элементы и западничества, и славянофильства; он с интересом присматривался к разным их оттенкам, но сохранял позицию нейтральную, критически независимую от всякой догмы»<sup>27</sup>. При этом А.Е. Пресняков видел в Бестужева-Рюмине продолжателя той линии в отечественной науке, которую проводили А.Л. Шлецер и М.П. Погодин. «Вслед за ними, – отмечал Пресняков, – он изучает не столько “факты”, сколько источники и их свидетельства о “фактах”»<sup>28</sup>. Эта историографическая линия, столь существенная для развития отечественной исторической науки, фактически исчезала в схеме противопоставления западников и славянофилов.

Выделение достаточно жестких и определенных направлений в отечественной историографии XIX – начала XX в. представлялось историографам 20-х годов весьма проблематичным. Примером может служить замечательное исследование Н.И. Кареева “Основы русской социологии”, написанное в 20-е годы и опубликованное в 90-е годы. Кон-

струируя путь развития отечественной социологии, Кареев пришел к выводу о возможности четкого выделения только двух направлений – позитивистского (по его терминологии этико-социологического) и экономико-материалистического, марксистского. При этом творчество большинства историков не вписывалось в отмеченные направления, что отразилось в структуре исследования Кареева: взгляды историков рассматривались в отдельной главе и объединялись Кареевым скорее на основе профессионального, чем теоретического единства. Это положение отражало традиционное стремление историков рубежа веков уйти от теоретико-философских вопросов и было связано, как отмечал Кареев, “с унаследованным еще от прежних времен нерасположением к занятиям общей теории истории не в смысле теории исторического знания с ее техникой исторического исследования, а в смысле теории исторического знания в философском освещении”<sup>29</sup>. Этим объяснял Кареев и тот факт, что в 1919 г. при обсуждении вопроса о реформе преподавания на историко-филологическом факультете Петербургского университета из всех профессоров и приват-доцентов лишь двое (А.С. Лаппо-Данилевский и Н.И. Кареев) высказались за включение социологии в число изучаемых студентами предметов<sup>30</sup>.

Отсутствие историографической концепции, удовлетворившей бы в определенной мере потребности историков науки в понимании действовавших научных направлений, вело к более активному использованию ими такого понятия как “научная школа”. В этом понятии объединялись не только ученики и соратники того или иного исследователя. Речь шла о сторонниках определенной системы взглядов на задачи, предмет, теоретические основы и методы решения исторических проблем. С. Глаголева-Данини, рассматривая вклад выдающегося французского историка А. Олара в изучение истории Великой Французской революции, отмечала: “Олар, действительно, является создателем целой научной школы в истории французской революции. Представители этой школы утверждают что-либо только на основании документов, изучив все, печатное и рукописное, относящееся к предмету. Предварительно они ведут целое историческое следствие, подобно судебному следователю, допрашивают свидетелей, собирают показания, делают очную ставку, критикуют показания и только после этого закрывают дело и выносят суждение. Эта школа считает, что прошли те времена, когда историку революции достаточно было ораторского таланта и ярких красок художника. Ныне история требует труда и терпения. Прежде архивами пользовались мимоходом. Ныне без систематической архивной работы не смеет сделать шага ни один историк революции”<sup>31</sup>. Именно такое широкое понимание научной школы утвердилось в историографических оценках 20-х годов. В публикациях тех лет речь шла о русской египтологической школе Б.А. Тураева, которая, “восприняв все доброе, что мог дать ей Запад, получила особый, лично ей присущий, отпечаток и колорит”<sup>32</sup>, об археографической школе А.С. Лаппо-Данилевского, созданной “разработкой методов и задач русской дипломатики”<sup>33</sup> и др.

Необходимо отметить, что не всегда, когда речь шла о школе, это понятие связывалось с именем конкретного ученого. О русской науч-

ной школе в области новой истории пишет В. Бутенко в своем историографическом обзоре изучения этого исторического периода в России. Основанная в XIX столетии профессором Московского университета В.И. Герье, она добилась крупных научных результатов на рубеже столетий. И хотя само исследование Бутенко сохраняло некоторые черты расширенной библиографии, излагающей результаты изучения в хронологическом порядке исследовавшихся эпох и вопросов, интерес представляет обобщенная характеристика основных присущих этой школе черт, проявившихся в предреволюционный период. В. Бутенко отмечал, что “характерными особенностями сложившейся в России научной школы были усиленная разработка свежих и нетронутых архивных материалов, социологический подход к изучаемым явлениям, широта основной точки зрения при самом тщательном исследовании подробностей, беспристрастная и внепартийная оценка достигнутых исследований результатов”<sup>34</sup>.

О “русской школе” изучения истории Великой Французской революции с ссылкой на мнение французских ученых писал Н.И. Кареев в своем трехтомном исследовании, посвященном историкам революции. Международное признание этой школы было связано с ее характерными чертами. Как отмечал Кареев, «особенность этой “школы”, если уже употреблять этот термин, в том, что она занималась именно не столько общими построениями истории революции, сколько частными исследованиями и вместе с тем особенно в области экономических явлений»<sup>35</sup>.

Наличие нескольких научных направлений и школ традиционно воспринималось историками 20-х годов как естественное для науки явление, а “многообразность” развития исторической науки даже казалась имманентно присущим ей свойством. Его существование А.С. Лаппо-Данилевский объяснял тем, что “не будучи в состоянии сразу охватить историческую истину и выработать общепризнанную схему нашей эволюции, они (научные направления. – А.С.) постепенно возникали, боролись и сменяли друг друга”<sup>36</sup>. Это объяснение, основывающееся на внутренних особенностях научного познания, казалось, не требовало каких-либо внешних для науки дополнительных причин. Но признавая многообразность науки, исследователи отмечали и ее единство. “Пусть в науке будут разные интересы, ориентации, подходы, методы, направления, даже неизбежные разногласия и несогласия, – отмечал Н.И. Кареев, – но пусть то общее, что всем с принудительностью навязывается фактами и логикой, всегда будет тою общею почвою, на которой можно мирно встречаться для искания истины сообща... Общий язык всегда должен найтись у людей науки, общие знания, общие понятия, общие интересы”<sup>37</sup>. Это было особенно важно в условиях России 20-х годов, где только одно из научных направлений получало политическую поддержку и признавалось властью единственно верным.

Традиционно большое внимание в 20-е годы уделялось историографическому анализу творчества ведущих отечественных историков. Как отмечал А.Е. Пресняков, сложился даже некий «шаблон обзоров “русской историографии”», целью которого являлся учет специальной учебной работы и общих исторических построений. В частности, в работе,

посвященной В.О. Ключевскому, он очертил возможный “шаблонный” подход к творчеству этого историка, признавая, что Ключевский слишком сложен, чтобы допустимо было ограничиться шаблоном. Этот “шаблон” в его изложении выглядел следующим образом: «Можно, конечно, сказать, что в этой специально-ученой области его значение весьма велико, что его труды, особенно “Боярская Дума” и “Курс русской истории”, занимают свое определенное место в развитии русской исторической литературы. Можно полнее раскрыть содержание такого общего суждения перечнем вопросов, которым Ключевский дал новую постановку и свое решение, возбудив в то же время усиленную работу над ними, чем мощно двинул вперед к новым успехам наше историческое знание. Можно, в итоге рассмотрения научного наследия Ключевского, обосновать вывод, что труды его, как всякое исключительно крупное историческое явление, составляют рубеж двух эпох в своей области, завершая целый период русской историографии, так как в них исчерпана Соловьевская традиция, а тем самым освобождена русская историческая мысль для более свободной и широкой работы вне связанности ее преданием, которое стало шаблоном»<sup>38</sup>. Таким образом, выделенный А.Е. Пресняковым историографический “шаблон” включал в себя определение места творчества историка в процессе развития исторической науки, которое определяется новизной постановки и решения исследовательских проблем, а также соотносительностью с переживаемым исторической наукой этапом своего развития, на этой основе определяются перспективы дальнейшего развития исторического познания.

Этот традиционный для историографии тех лет “шаблон” опирался прежде всего на стремление выделить только “научную” сторону, уходя от анализа личностных черт исследователя. Наиболее ярко подобную точку зрения выразил Н.И. Кареев, считавший, что “когда нам говорят об ученом, как об ученом, мы не спрашиваем, какого он был нрава, трудно ли или легко работал, какого был вероисповедания и верил ли вообще во что-либо, или не верил, какова его была партийность и вообще принадлежал ли он к какой-нибудь партии, а спрашиваем, какова была в научном смысле его работа и что он сделал”<sup>39</sup>. Справедливости ради необходимо заметить, что столь решительное отвержение биографического аспекта в историографическом исследовании не являлось принципиальной позицией Кареева. В исследовании творчества историков Французской революции он отмечал, что “при рассмотрении отдельных трудов по революции всегда необходимы биографические справки об их авторах. Скажите мне, кто написал такую-то книгу, и я вам скажу, какова эта книга”<sup>40</sup>.

Конечно, оценка чисто научной стороны деятельности исследователя была необходима для обобщений более широкого плана, характеризующих общий процесс развития исторической науки или отдельные его этапы. Но для анализа творчества конкретного исследователя этот подход искусственно ограничивал возможности изучения. Пониманием этого и объяснялось стремление А.Е. Преснякова не ограничиваться “шаблоном”, выйти за рамки представлений об ученом с точки зрения



его научного вклада. “Крупным историческим явлением были не только его труды, – писал Пресняков о Ключевском, – под это понятие подходит и сам он в своей богатой и сложной индивидуальности”<sup>41</sup>.

Идея раскрытия творчества ученого во всем богатстве его индивидуальности владели авторами и редакторами шестой книги “Русского исторического журнала”, почти целиком посвященной творчеству А.С. Лаппо-Данилевского. Как отмечал рецензент этой книги С. Чернов, “ученое творчество А.С. (Лаппо-Данилевского. – А.С.) станет мне вполне понятно, лишь когда я воссоздам... себе его подлинный человеческий, а не иконографический образ”<sup>42</sup>. Вполне понятно поэтому, что основное внимание рецензент уделил статье И.М. Гревса “Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования души)”<sup>43</sup>. И хотя не все в этой работе может быть признано несомненным, порою в тексте преобладали личные воспоминания и впечатления автора без достаточного анализа, тем не менее постановка проблемы свидетельствовала об осознании исследователями важности комплексного подхода к изучению творческой личности. Важность исследования личностного элемента в творчестве историка отмечал и А.Е. Пресняков, который считал, что “история личной жизни Ключевского, если когда-либо будет написан такой ценный памятник истории русской культуры, объяснит нам многое: его одиночество, его своеобразие, его догматизм и внутреннюю драму его творчества”<sup>44</sup>.

Биографический элемент традиционно присутствовал в историографическом изучении творчества конкретных историков. В работах отмечалось происхождение историков, влияние семейных традиций, характер полученного образования, принадлежность к историческим школам, упоминались учителя и коллеги исследователя, работа в научных и образовательных учреждениях и т.п. Так, научный интерес М.А. Дьяконова к истории крестьянства и истории церкви А.Е. Пресняков связывал с его семейными традициями, с происхождением из духовной среды и влиянием отца, окончившего Духовную академию и работавшего в годы крестьянской реформы в должности мирового посредника<sup>45</sup>. С.Ф. Платонов, говоря о творчестве К.Н. Бестужева-Рюмина, считал необходимым подчеркнуть получение им “типично-дворянского воспитания”<sup>46</sup>. Большое внимание исследователи уделяли влиянию (или его отсутствию) предшественников, учителей и современников историка. А.Е. Пресняков, раскрывая процесс формирования научных взглядов А.С. Лаппо-Данилевского, считал, что факультетская школа Петроградского университета (К.Н. Бестужев-Рюмин и Е.Е. Замысловский), как и московская школа В.О. Ключевского не имели существенного влияния на формирование Лаппо-Данилевского как ученого, “он сам себя выработывал в упорном одиноком труде”<sup>47</sup>.

Проблема влияния на творчество историка предшествующих исследователей постоянно находилась в поле зрения историографов. Этот вопрос представлял интерес не только в плане уяснения новизны, вносимой в изучение исторических процессов, но и в плане раскрытия творческой лаборатории исследователя. В своей статье, посвященной В.О. Ключевскому, А.Е. Пресняков отмечал: «Соловьев и Ключев-

ский”, “Ключевский и Чичерин” – таковы темы, которые естественно выступили на очередь при первых же попытках разобраться в его научно-литературном наследии»<sup>48</sup>. Исследование взаимосвязи с предшествующим опытом исторического анализа явилось важным элементом изучения творческой лаборатории ученого.

Постановка проблем анализа исследовательской деятельности историка была выдвинута историографами 20-х годов. Ее актуализация была обоснована в творчестве А.С. Лаппо-Данилевского, работы которого в области методологии науки создали основы для углубленного анализа техники исторического исследования. В общем плане эту задачу историографии сформулировал А.Е. Пресняков, указав, что “работа ученого должна быть тщательно изучена в ее приемах, методах и задачах. Ее техника требует тщательной, вдумчивой разработки”<sup>49</sup>. В связи с этим представлялось особенно важным обобщение методологических (в узком, прикладном смысле этого слова) достижений отечественной исторической науки.

Хотя овладение техникой научного исследования представлялось чрезвычайно значимым для каждого историка, тем не менее при анализе творчества и вклада в науку конкретных ученых историографами отмечались особенности их творческой лаборатории, которые неразрывно связывались с личной одаренностью исследователя, с его психологическими особенностями. В связи с этим большой интерес представляли размышления А.Е. Преснякова о влиянии этих психологических особенностей мышления на творчество В.О. Ключевского. Отмечая его определенную зависимость от историографической традиции, выразившуюся, прежде всего, в использовании созданных С.М. Соловьевым схем исторического процесса, Пресняков считал, что она “обусловлена, видимо, тем, что натуре Ключевского, по существу, схематические конструкции были весьма чужды”<sup>50</sup>.

Вслед за А.С. Лаппо-Данилевским Пресняков видел одну из сложнейших историографических и методологических проблем в исследовании антиномии исторического мышления, которую он связывал “с более общей и широкой проблемой мышления, жаждущего единства и свободы от внутренних противоречий, проблемой взаимоотношения двух основных его факторов – интуиции и дискурсивной мысли, как моментов творческой спонтанности и методического обоснования, и далее – творщей активности и вдумчивого критического сознания”<sup>51</sup>. Решение этих общих гносеологических проблем представлялось особенно важным для дальнейшего развития исследований научного творчества историков.

Психологическим складом историков во многом объяснялись особенности их научного творчества. В связи с этим М.М. Богословский выделял три типа историков. К первому типу он относил историка-мыслителя, философски осмысливавшего готовые исторические факты, следящего за их причинной связью и взаимоотношением, оценивающего их общее значение в ходе исторического процесса, “взводящего факты в идеи”. Его деятельность заключалась в размышлении над фактами “обозревая их с высоты, скрывающей их частные индивидуальные конкретные особенности, в общих и отвлеченных формулах”. Второй

тип – историк-художник, вживавшийся в прошлое, интуитивно его постигавший и творчески изображающий. “Сила его таланта, – писал Богословский, – заключается в воображении, при помощи которого он воскрешает далекие образы прошлого, вызывает их из исторической дали и, стирая грани времени, делает прошлое настоящим, проходящим перед нашими глазами”. К третьему типу он относил историка-исследователя, сила таланта которого заключалась в разыскивании фактов, расследовании и установлении их. “Конечно, эти три типа не всегда встречаются в раздельном виде; они бывают и смешаны в возможных сочетаниях. Но все же в последнем случае одна какая-либо черта или одна какая-либо способность окажется непременно преобладающей”<sup>52</sup>. Конечно, подобная группировка историков была очень условной, но тем не менее она позволяла учесть действие того фактора в научном творчестве, который связан с психическим складом исследователя, определяющим его пристрастия. Но при этом не следует преувеличивать значение этого момента в становлении творческой индивидуальности в ущерб иных факторов.

Исторический подход к изучению творчества историков, априорно признававший эволюцию их взглядов, разделялся большинством историографов 20-х годов. Он приводил к практическим попыткам определения внутренней эволюции взглядов того или иного исследователя. Например, С. Тхоржевский считал, что следует видеть “две фазы в развитии политического миросозерцания Ключевского, причем хронологическим рубежом между ними является смутный 1905 год”<sup>53</sup>. Но большинство исследователей более осторожно подходило к решению вопросов подобного рода, считая их предметом дальнейшего исследования. “В.О. Ключевский несомненно пережил известную эволюцию во взглядах на общие вопросы исторического знания, – отмечал С.А. Голубцов. – Сравнительно-хронологическое изучение подобных наблюдений, сличение текста разновременных изданий одной и той же работы, внимательно-осторожный просмотр литографированных студенческих записей – уже и теперь дают почувствовать наличность этой эволюции; но по многим соображениям говорить о ней сейчас не представляется возможным, главным образом ввиду недоступности многих основных источников, вводящих в процесс научной работы знаменитого историка”<sup>54</sup>. Как интересную и поучительную задачу для дальнейшего исследования рассматривал вопрос о детальной эволюции взглядов С.М. Соловьева С.В. Рождественский<sup>55</sup>.

Комплексный подход к исследованию творчества историка, учет разнообразных факторов, влиявших на его творческую лабораторию и результаты исследовательской деятельности, были характерными особенностями историографических исследований начала 20-х годов. Традиции дореволюционной историографии, заложившей основы изучения творчества выдающихся отечественных историков, получили дальнейшее развитие в трудах ученых начала 20-х годов, приведя к появлению целого ряда ярких и интересных исследований.

Но самым многочисленным типом историографических работ в этот период, как и ранее, являлись рецензии на различные научные издания.

Этому жанру научной литературы в начале 20-х годов придавали особое значение. Необходимо было ознакомить научную общественность с новинками зарубежной и отечественной литературы, что было чрезвычайно важно для нормализации научной жизни в условиях затруднительных связей не только с заграницей, но даже между Москвой и Петроградом и провинцией, как отмечала редакция журнала “Анналы”<sup>56</sup>. Но не только ознакомительную задачу выполняли публиковавшиеся в 20-е годы рецензии. Зачастую написанные ведущими специалистами в различных областях исторического знания, они имели критическую направленность, позволявшую оказывать влияние на развитие конкретно-исторических исследований. Вместе с тем, некоторые рецензии содержали и методологические установки, оценки общего уровня познания в той или иной сфере исторической науки. О значимости рецензий свидетельствовали и объемы разделов периодических изданий, отводившихся для критики и библиографии.

Таким образом, многоуровневый подход к пониманию процессов исторического познания позволил историографам обозначить, а в ряде случаев и решить ряд актуальных проблем развития истории исторической науки. Стремление к историографическим обобщениям, получавшим надежное фактическое обоснование, стало одной из характерных черт отечественной историографии, продолжавшей дореволюционные научные традиции.

Проблема фактического обоснования теоретических построений была актуальной не только для историографии, но и для всей исторической науки, как и для целого ряда других наук. Еще в конце XIX – начале XX в. раздавались призывы к пересмотру сложившихся концепций и теоретических построений. Общие историко-философские системы в результате критического анализа все более теряли сторонников, утрачивая доверие к себе со стороны ученых. Серьезной научной критики не выдерживали и менее обширные теоретические построения. Как отмечал Е.В. Тарле, “ни в области истории социально-экономической, ни в области истории политической или культурной не осталось, кажется, ни одной частной схемы, которая оказалась бы не разрушенной, не поколебленной или хоть не затронутой”<sup>57</sup>. Причины такого положения он видел в двух обстоятельствах, характеризующих положение в исторической науке. Главную роль играло нарастание нового фактического материала, вводимого в научный оборот. “К концу XIX и началу XX века, – отмечал он, – количество фактов, поступающих в распоряжение историка, стало расти с необычайною быстротою... Прикосновение к архиву становилось все обязательнее для каждого серьезного исследователя”<sup>58</sup>. Вторую причину Е.В. Тарле усматривал в вызванном усложнением и убыстрением жизни изменении самой психики исследователей, повышающим требовательность и расширение их кругозора. “Жизнь с каждым полувеком становилась сложнее, – писал он, – и те, кто ее переживал и наблюдал, все более и более утрачивали с каждым поколением тот запас прямолинейности, тот, если можно так выразиться, дар односторонности, который благоприятен для создания схемы и веры в нее”<sup>59</sup>.

Критическая работа мысли в результате действия этих двух отмеченных Е.В. Тарле обстоятельств приводила к разрушению старых теорий и концепций, но зачастую не завершалась созданием новых. Стремление исследователей подвести под выдвигаемые ими теоретические построения максимально прочный фактический фундамент на деле приводило к тому, что многие из этих построений рушились до своего завершения.

В этих условиях значительная часть исследователей сознательно уходила от широких теоретических обобщений, сосредоточивая свое внимание на анализе конкретного фактического материала. Одним из наиболее ярких примеров подобного подхода может служить творчество М.А. Дьяконова, особенности исследовательской лаборатории которого были раскрыты в ряде историографических работ начала 20-х годов. Пресняков, описывая метод работы Дьяконова, говорил о «его выдержанной склонности к “лабораторному” исследованию, тщательному изучению отдельных явлений по “сырому” материалу текстов, подвергнутых детальному анализу и осторожному комментированию, при большой сдержанности в формулировке выводов более широкого и общего значения. Поскольку самый подход к исследованию и выбор материала для изучения неизбежно обусловлены той или иной точкой зрения, рабочей гипотезой, направляющей самые искания, М.А. Дьяконов исходит, обычно, из постановки того или иного вопроса в научной литературе, критически всматриваясь в основания высказанных авторитетными учеными мнений и выводов и доискиваясь, притом, их документальных источников, того материала, на какой эти мнения и выводы опирались»<sup>60</sup>. Определенного рода боязнь недостаточно обоснованных теоретических построений, связанная с этическими императивами представлений о научной деятельности, вела к сознательному отказу от обобщений, выходящих за рамки исследуемой группы источников. Оценивая общий характер научного наследия М.А. Дьяконова, Пресняков отмечал, что его большие работы “не дают цельных и широких построений, а содержат ряд частичных самостоятельных наблюдений и обобщений, систематических, но несведенных и несводимых в общую конструкцию, которая, по-видимому, представлялась М.А. Дьяконову, как можно судить по ряду высказанных им замечаний, делом сравнительно далекого будущего науки, еще не располагающей достаточным материалом”<sup>61</sup>. Первенство фактической стороны над любыми попытками теоретических обобщений, столь характерное для творчества М.А. Дьяконова, приводило к тому, что исследователь вынужден был “отказываться от постановки темы во всей ее широте из опасения, что для этого не найдется достаточно данных”<sup>62</sup>. В полной мере к сторонникам подобного подхода в исторической науке историографы 20-х годов относили и А.Н. Савина, в работах которого прежде всего выделялось “величайшее преклонение пред источником, пред твердо устанавливаемым фактом, вне и без которого немыслим историк”<sup>63</sup>. Nulla linea sine documento – таковым было кредо историков, принадлежавших к этому направлению. Их пугали широкие исторические перспективы, разворачиваемые во времени, в концептуальной схеме ряда вековых явлений,

или в пространстве, в схематическом обобщении отношений целых культурно-исторических миров, поскольку в них терялись детали, упущенные “произволом” историка. Стремление к возможно большей полноте конкретного и точного изучения прошлого неизбежно приводило к ограничению предмета исследования в целях уменьшить массу фактов, которые, казалось, должны быть учтены исследователем.

Понятно, что подобный метод научной работы был обусловлен тем, что широкий поток нового вводимого в науку материала создавал у исследователей представления, что еще остались не затронутые изучением значительные его массы, хранящиеся в архивах, которые могли содержать много существенных данных для более обоснованных и полных выводов. А потому “преждевременные” обобщения не могут принести пользы науке.

Требование максимально полного привлечения источникового материала становилось общепризнанным в исторической науке начала XX столетия. Об этом свидетельствовали не только научные труды, но и система подготовки молодых историков. С.Н. Валк, вспоминая о семинарах по дипломатике А.С. Лаппо-Данилевского, писал: “Нам бывало стыдно, если кто-либо позволял себе строить свои заключения, не привлекая всего возможного материала, удовлетворяясь тем, пусть даже многим, что без труда доступно”<sup>64</sup>.

Такое отношение к источнику отражало не только особенности развития отечественной исторической науки, но и было выражением тех тенденций, которые получили всеобщее признание в мировой историографии второй половины XIX – начале XX в. и связывались с новым пониманием научности в истории. С. Глаголева-Данини, посвятившая свое исследование историографии Великой Французской революции, связывала начало применения научного метода в этой области с деятельностью А. Токвиля и А. Олара и их вниманием к серьезному изучению архивных документов<sup>65</sup>. В критике Оларом методологических установок крупнейшего историка предшествующего периода И. Тэна она видела борьбу двух исторических школ – “научной” (Олар) и “литературной” (Тэн)<sup>66</sup>. Новое направление успешно развивалось и в Германии. Е.В. Тарле связывал его с деятельностью Т. Шимана, отмечая, что “собираение и монографическая разработка фактов, обследование и привлечение к делу новых архивных фондов – вот, собственно, с точки зрения этого разветвления школы Ранке, альфа и омега всех обязанностей историка”<sup>67</sup>.

Историографы 20-х годов анализировали и процесс становления подобного научного мировоззрения в России. С.В. Рождественский отмечал, что уже в середине XIX века “характерно выдвигались и сплетались один с другим два главных интереса русской исторической науки: интерес к монографическому, углубленному изучению русской истории в отдельных явлениях и эпизодах, и интерес к обобщающему ее построению, объемлющему весь ход ее в целом”<sup>68</sup>. По мнению Рождественского, линию на углубленное, монографическое изучение отдельных исторических явлений представлял в тот период М.П. Погодин. К ярким представителям противоположного течения принадлежал К.Д. Ка-



велин, который “ограничивался начертанием общей схемы и не связывал себя фактическим материалом. Он брал его, насколько то было необходимо для иллюстрации схемы”<sup>69</sup>. Эти противоположности оказались преодоленными в творчестве С.М. Соловьева, соединившего глубокую монографическую разработку с необходимыми теоретическими обобщениями. Тем не менее, дальнейшее развитие науки под напором огромного нового фактического материала показало безжизненность старых схематических построений.

Отсюда основной задачей историка в те годы представлялась широкая и систематическая разработка архивных материалов. Перспектива дальнейшей научной работы выглядела, по мнению Е.В. Тарле, следующим образом: “От схемы – через частную теорию – к общему историко-философскому построению, – вот прямой путь исторического мышления, вот обобщающая работа, начинающаяся после собирания, установления и проверки фактического материала”<sup>70</sup>.

Но практика исторического познания свидетельствовала о том, что путь от частного к общему не являлся единственно возможным. Изучение творческой лаборатории крупнейших историков России давало и другие примеры. Историографический анализ творчества А.С. Лаппо-Данилевского, проведенный А.Е. Пресняковым, свидетельствовал о том, что путь мышления этого ученого шел “от общей теоретически продуманной концепции к схеме изучаемых явлений, от схемы к наблюдению конкретных явлений действительности”<sup>71</sup>. Этот подход позволял сознательно поставить задачи исторического исследования, исходя из общего концептуального видения процессов исторического развития.

Недостатки индуктивного подхода в исторической науке в полной мере осознавались историографами 20-х годов. В его абсолютизации виделся самообман исследователя, приводящий в конечном счете к искажению исторической реальности. Историографическая позиция тех лет по этому вопросу была всесторонне раскрыта А.Е. Пресняковым. «Без определенной “предварительной” схемы, – писал он, – невозможно сколько-нибудь упорядоченное собирание фактов, без теоретических запросов невозможно их изучение. Ими обусловлено самое определение предмета исследования, а от научной постановки задания зависит и удача его разрешения. К тому же всякое выделение отдельного и ограниченного предмета исследования из многосложного потока исторических явлений, сплетенных в непрерывной смене и сложном взаимодействии, а вполне реальных только в связи со всею полнотою исторической действительности, – всегда условно, и тем условнее, чем оно более закончено и конкретно. А, между тем, такое выделение необходимо для целей исследования, и должно быть отчетливым, определенным и выдержанным. Но забвение его условности грозит подменой живого исторического явления или процесса – отвлеченным препаратом схематизирующей мысли, и, во всяком случае, разуме не изучаемой исторической жизни и устраняет из кругозора ряд ее черт, характерных связей и обуславливающих ее ход отношений и воздействий»<sup>72</sup>.

Индуктивный и дедуктивный подходы отражали стремление преодолеть основную антиномию исторического мышления – антиномию ин-

дивидуализирующего (идиографического по терминологии А.С. Лаппо-Данилевского) и обобщающего (номотетического) мышления. В историографических работах начала 20-х годов вопрос о “борьбе обобщающей научной мысли с неисчерпаемым многообразием явлений живой действительности”<sup>73</sup> занимал очень значительное место.

Решение этого вопроса, как отмечали историографы 20-х годов, осложнялось зависимостью историка от источников, сквозь призму которых проводилось изучение явлений прошлой жизни. При этом сам выбор источников зависел от ставившихся перед исследованием задач и имевшейся гипотезы. Как отмечал С.А. Голубцов, находя примеры в творчестве великих русских историков, “Соловьев указал путь в архивы, но использовал их богатства односторонне; выбор актов направлялся целями изучения, а их ответы определялись характером ставившихся вопросов. В лице Ключевского наука выдвинула новые запросы, понадобились иные типы документов, и они нашлись”<sup>74</sup>. Эта взаимозависимость теоретических построений (схемы) и источников прослеживалась историографами 20-х годов на примере творчества ряда историков, прежде всего – В.О. Ключевского.

С.А. Голубцов провел попытку реконструкции системы теоретических взглядов этого выдающегося ученого. “Василий Осипович не дал систематического и полного изложения своих общих исторических воззрений, – писал он, – наблюдения приходится собирать по крупицам, воспроизводя потом цельную картину по этим разрозненным и разновременным данным”<sup>75</sup>. В противоположность этому взгляду А.Е. Пресняков считал саму постановку вопроса о реконструкции теоретических взглядов Ключевского ложной. Он писал, что «отвлечь из этого изложения общую концепцию или общую теорию исторического процесса, в частности местного, русского, реконструировать “систему” исторических воззрений Ключевского было бы задачей мало благодарной и едва ли правильной: сам Ключевский такой “системы” не строил, а лишь в меру педагогической необходимости высказывал ряд общих соображений во введении к курсу или попутно, в иных его частях»<sup>76</sup>. Свое утверждение Пресняков обосновывал тем, что по складу своей “натуры” Ключевский был чужд схематическим построениям. Он был вынужден прибегать к ним в силу потребностей в систематическом изложении материала в ходе лекционного курса. Пресняков считал, что “Ключевский в построении примыкал к схемам и формулам Соловьева, отчасти и Чичерина, вкладывая в них, обычно, совершенно иное и новое содержание”<sup>77</sup>. При этом то новое, что вносил Ключевский в прежние схемы, их частичная переработка приводили к утрате ими стройной законченности и внутренней связности. Именно постоянная работа над источниками вела к указанным новациям. Пресняков делал вывод, что «вполне самостоятельное и свободное научное творчество исследователя требует непосредственной работы над источниками, вне преломления их данных через призму чужого исторического воззрения. “Курс русской истории” В.О. Ключевского и слагался постепенно в борьбе его личного творчества с идейным, методологическим и фактическим влиянием Соловьева»<sup>78</sup>. Освобождение Ключевского от зависимости от схем пред-

шествующей историографической традиции происходило тем самым на основе этих схем под влиянием конкретной исследовательской работы над материалом исторических источников. Такой виделась Преснякову диалектика взаимозависимости и взаимоотношений прежних схем и новых фактических данных, извлекаемых историком из источников. Пресняков даже говорил в связи с этим о внутренней драме творчества Ключевского, заключавшейся в противоречии «между “ученой совестью”, побуждавшей сосредоточиться на полной проработке всего материала русской истории, и “обязанностями педагога”, которые заставляли безотлагательно давать изложение, хотя бы влягая новое содержание в готовые схемы, по существу ему не отвечавшие»<sup>79</sup>.

Интерес к диалектике теории и факта был чрезвычайно велик в начале 20-х годов. Это объяснялось осознанием историографами того, что в науке на рубеже столетий произошел определенный перекокс в соотношении теоретических, обобщающих и конкретно-исторических исследований, болезненно сказывавшийся на ее дальнейшем развитии. Как отмечал Е.В. Тарле, «в последние десятилетия XIX века и в начале XX-го эрудиция и критика достигли громадного развития, а “философия” дошла до такого упадка, что параллель приходится искать разве только в чрезвычайно отдаленные эпохи»<sup>80</sup>. На первый план выдвигалась потребность теоретического обобщения всей массы введенных в научный оборот материалов. При этом Тарле подчеркивал, что “наблюдалось полное понимание, что без конструкций – нет науки, а есть лишь складочное место материалов”<sup>81</sup>.

Опасность абсолютизации факта в научной исторической деятельности в начале 20-х годов была очевидна многим историкам. Опыт нескольких предшествующих десятилетий свидетельствовал о том, что преобладание фактографических исследований, по существу, означало недоверие науки к себе самой. И. Яковкин отмечал в своей рецензии на книги А.Е. Преснякова “Образование великорусского государства” и “Московское царство”, что “призывы к будничной работе по накоплению фактов, к боязливой предубежденности против всяких теорий и схем не раз уже раздавались и в исторической, и в экономической науке, но на деле, как известно, приводили всегда (да, по существу, и не могли не приводить) к тому, что восстановленный в мнимых правах факт поработал совершенно того, кто так заботился о его восстановлении, и вытравлял без остатка всякое представление об историческом процессе развития”<sup>82</sup>. Потребность в научном обобщающем синтезе накопленного фактического материала становилась все более насущной.

Такая постановка актуальной задачи развития научных исследований, конечно, не означала отказа от выработанного в течение предшествующих десятилетий подхода, связывающего научность с серьезным и глубоким изучением целостного фактического материала по критически оцененным историческим источникам. Эту сторону научной деятельности историки не упускали из виду, даже подчеркивая важность и актуальность теоретической работы. “Если следует признать насущною, очередною задачею исторической науки в данный момент, – писал Е.В. Тарле, – создание схем и теорий, если синтезирующие способности

ума сейчас явились бы драгоценнейшими качествами историка (когда, впрочем, они не драгоценны?), – то отсюда вовсе не следует, что дальнейшее нахождение и обработка фактического материала должны быть заброшены”<sup>83</sup>.

Историки 20-х годов прекрасно осознавали трудность поставленной задачи соединения широкого теоретического обобщения с глубокой фундаментальной разработкой источникового материала. Провести такую работу одному исследователю в масштабе изучения национальной истории представлялось уже невозможным. Выход виделся в объединении усилий целого коллектива ученых. “Не отставать почти немислимо для современной единицы, хотя бы исключительно емкой и трудоспособной, – писал Д. Егоров, – только коллективная работа обеспечивает должную быстроту и полноту”<sup>84</sup>. В качестве примеров такой работы он приводил деятельность ряда зарубежных научных институтов, связывая достигнутые ими успехи с новой организацией коллективного труда ученых. Не менее важным для достижения качественно нового уровня исторических исследований Д. Егоров считал использование достижений других наук, имеющих возможность предоставить историку новый материал. Применительно к материалу средневековой истории он считал необходимым опереться на новые виды источников. “От повествовательных источников, написанных почти исключительно иностранцами, нередко с явной тенденциозностью и всегда неполно, почти загадочно, – писал Егоров, – давно нужно перейти к поразительному по полноте и выразительности *археологическому* материалу, к замечательным наблюдениям *лингвистов*, относительно колонизации и поселения вообще (обследование имен и названий), к достойным всякого внимания выводам *естественников* относительно природных условий прошлого и фактической борьбы тогдашнего человека с природой”<sup>85</sup>.

Таким образом, в историографии начала 20-х годов традиционная для последних десятилетий проблематика соотношения теоретического обобщения и изучения конкретного фактического материала занимала особое место. Бурное, по сравнению с предшествующими эпохами, развитие исторической науки, выразившееся в значительном росте числа научных исследований, расширении их тематики, источниковой базы, переосмыслении сложившихся ранее схем исторических процессов, требовало углубленной разработки историографических проблем, самопознания исторической науки. Осознание сложившихся перекосов, выразившихся в слабости обобщающего элемента исторического познания, позволило историографам выдвинуть в качестве одной из ведущих задач, стоявших перед наукой того времени, формирование теоретико-концептуальной базы, позволяющей обеспечить синтез добытых в ходе конкретно-исторических исследований знаний. Решение этой задачи требовало нового обращения к вопросам методологии науки, осознанию тех проблем, которые приобрели особую актуальность в после-революционных условиях России.

Необходимо отметить, что в 20-е годы не было единого понимания содержания самого понятия “методология”. Ряд историков придерживались мнения, которое было предложено А.С. Лаппо-Данилевским в

его обобщающем труде “Методология истории”. Н.И. Кареев, разбирая содержание этой работы, отмечал, что “в методологии Лаппо-Данилевский различал две задачи: основную, заключающуюся в выяснении принципов данной науки, без которых последняя не может существовать в виде систематического единства понятий, и производную, излагающую учение о тех методах, при помощи которых что-либо изучается”<sup>86</sup>.

Сам Кареев придерживался иного взгляда на сущность методологии. Он считал, что “под методологией какой бы то ни было науки мы привыкли разуметь учение об ее методе или методах, т.е. о тех путях, тех способах, тех приемах, при помощи которых наука разрешает свои проблемы. Это – дисциплина, имеющая формальный, а не реальный характер, поскольку дело идет о том, *как* добывается истина, или, по крайней мере, как она доказывается, а не о том, *в чем* она заключается”<sup>87</sup>. Подобный подход позволял сблизить методологию с логикой, рассматривая ее как продолжение логики в применении к отдельным наукам, поскольку требования логики приходилось видоизменять и приспосабливать к особенностям конкретных наук. Иное представление о методологии казалось Карееву неприемлемым для научного исследования.

Более широкое понимание методологии было предложено в начале 20-х годов С.Л. Франком, считавшем ее не учением о научном исследовании общества, а философской теорией о его природе. В определении методологии на первый план Франк выдвигал не методы и приемы научного исследования, а “общие точки зрения, из которых должен исходить изучающий общественные науки”<sup>88</sup>. Исходя из этого, он различал в методологии техническую и философскую стороны. К первой он относил “уяснение наиболее целесообразных средств и способов научного познания”, задачей второй считал “раскрытие общего своеобразия цели данной науки, определяемой общими логическими свойствами изучаемой области бытия”<sup>89</sup>. Это более широкое толкование понятия методологии разделялось далеко не всеми историками в начале 20-х годов. Единственным моментом, включенным во все отмеченные точки зрения, было изучение методов и приемов научного познания. Их правильное или ошибочное использование отмечалось в ряде рецензий на вышедшие в свет в те годы научные труды.

Примером этому может служить анализ книги профессора харьковского университета В.И. Саввы “О посольском приказе в XVI в.”<sup>90</sup> В.Г. Гейман, автор рецензии на эту книгу, подробно останавливается на вопросе о роли Боярской думы в принятии важнейших внешнеполитических решений. В.И. Савва на основании анализа всех сохранившихся записей о приеме и отпуске посольств, начиная с конца княжения Ивана III, методически отмечал в каждом отдельном случае, упомянут ли “приговор” государя с боярами или только единоличный “указ”. В результате проведенных подсчетов он делал вывод о роли Думы в тот или иной период правления. Этот количественный метод Гейман считал недопустимым и чреватым значительными ошибками, поскольку автор книги не проводил анализа условий, в которых протекал данный случай. Метод оказался неадекватен сделанным на основе его применения

выводам. “Попытка В.И. Саввы впервые привлечь к изучению вопроса о Боярской Думе новый приказный материал, может быть, дала слишком небольшие результаты, – пишет В.Г. Гейман. – Виной тому, как нам кажется, принятый автором метод исследования”<sup>91</sup>.

Таким образом, в историографии начала 20-х годов активно обсуждались вопросы методологии исторического познания. При этом внимание уделялось как теоретическим вопросам методологии как научной дисциплины, так и критическому отношению к практическому использованию различных методов. Не затрагивая всего комплекса методологических вопросов, поднимавшихся в научной литературе тех лет, необходимо остановиться на некоторых аспектах, казавшихся историкам наиболее актуальными. К ним, в первую очередь, следует отнести вопрос о влиянии современности на научное творчество историка.

Традиционным идеалом в историографии признавалось исследование, лишенное всяких внеаучных влияний. Как писал А.Е. Пресняков, особо отмечая эту черту в творчестве А.С. Лаппо-Данилевского, «зависимость сознательной мысли от иррациональных элементов человеческой природы ощущалась А.С. (Лаппо-Данилевским. – А.С.), как моральный дефект перед долгом свободного от “всяких предрассудков” искания чистой истины»<sup>92</sup>. Этот, казалось бы общепризнанный, долг исследователя, требующий отвлечения ученого от всего, что не связано с чистым научным поиском, воспринимался поколением ученых, пережившим мировую войну, революцию и гражданскую войну, не столь однозначно. И дело было не только в политических пристрастиях и антипатиях. Осмыслить в полной мере те глубокие социальные потрясения, происшедшие в России, с расстояния в несколько лет было почти невозможно, как впрочем и не учитывать их, пытаясь отвлечься от окружающей реальности.

Это явление вполне осознавалось историками в начале 20-х годов. Е.В. Тарле писал, что “мы наблюдаем, что поколениям, пережившим большие катаклизмы, свойственно именно стремление даже не рассказывать, а доказывать и обманывать себя мыслью, будто они хотят беспристрастно выяснять причины происшедшего, когда на самом деле они либо по-прокурорски ищут корней и нитей преступления, либо по-адвокатски хотят возвеличить подвиг”<sup>93</sup>. Результатом этого, по мнению Тарле, является появление “псевдоисторий”. Он в данном случае воспользовался термином, предложенным Б. Кроче<sup>94</sup>. Излагая свое понимание этого явления в исторической науке, Тарле писал: “Условимся понимать под псевдоисториею такой исторический труд, создавая который автор имеет, собственно, в виду изложить в этой как бы аллегорической или криптографической форме *другую* историю, своего собственного времени или той ближайшей к нему эпохи, которая идейно еще является для него современностью. Он не может, конечно, изменить внешний рисунок, фактическую канву, но он подставляет современную ему самому, а не излагаемым событиям *мотивацию*, он модернизирует то, о чем пишет”<sup>95</sup>. В качестве наиболее яркого примера псевдоистории он приводит историографию Великой Французской революции первой половины XIX в., в которой зачастую вся история Франции рассматри-

валась как введение к драме революции. Опасность подобной ситуации в послереволюционной отечественной исторической науке казалась Тарле вполне вероятной<sup>96</sup>. Историография французской революции была для ученых 20-х годов одним из наиболее ярких примеров, иллюстрировавших влияние политических факторов на развитие научной мысли. Н.И. Кареев в своем фундаментальном труде убедительно доказал положение, что “развитие историографии революции во Франции зависело от хода политических событий”<sup>97</sup>.

В историографии начала 20-х годов были даны интересные разборы подобных “псевдоисторий”. Следует обратить внимание хотя бы на обстоятельный анализ В. Бузескулом книги немецкого историка Дрерупа<sup>98</sup>, посвященной греческой истории времен Демосфена. В ней Демосфен представлен агентом Персидской державы, стремящимся подчинить греков иностранному влиянию. “Эта книга интересна, – отмечает В. Бузескул, – как показатель того, в какой мере современные автору переживания могут влиять на отношение его даже к далекому прошлому”<sup>99</sup>.

Вместе с тем, переломные исторические эпохи, пережитые историком, обогащают его жизненный опыт, дают очень многое для понимания процессов предшествующего исторического развития. “Эпохи, подобные нашей, обостряют способность к пониманию многого, что в другое время осталось бы не совсем ясным, – писал Тарле, – они делают реальным то, что иначе оставалось бы пустым звуком”<sup>100</sup>. В практике исторического познания это приводило к отказу от многих прежних схем и представлений, происходит процесс “отрезвления от старых фантазмагорий”<sup>101</sup>, одновременно становятся очевидными и выдержавшие проверку временем научные ценности.

К их числу историки традиционно относили свободу научного творчества. Уже в начале 20-х годов, после знаменитого “философского парохода”, не все можно было открыто высказать на страницах печати. Как и в прошлом веке, в некоторых вопросах приходилось прибегать к “эзопову языку”. Примером этому может служить заметка С.Ф. Ольденбурга, посвященная столетию Э. Ренана. Ольденбург считал, что особое место Ренана в истории науки связано с его борьбой за право свободы научного исследования. Наука, в отличие от религии, не требует “законов против нападок на нее, но сама ищет этих нападок. Не нужно ей ни чем быть огражденной и защищаемой, ей нужна только возможность свободного развития”<sup>102</sup>. Свобода научного творчества признавалась одним из важнейших условий успешного развития науки. И эта свобода понималась как возможность высказывать различные мнения. Программой редакции журнала “Анналы” рассматривалась в качестве обязательной “широкая терпимость ко всем взглядам и точкам зрения, представленным в науке”<sup>103</sup>.

Но особым вопросом для традиционной историографии в начале 20-х годов являлась проблема взаимоотношений с набравшим силу и влияние марксистским направлением, получившим мощную политическую поддержку. Конечно, большинству историографов казалось разумным не замечать это направление в исторической науке, поскольку его серьезная научная критика становилась все менее возможной на страницах

периодических изданий. И все же историографическое осмысление марксистского направления отмечалось в исследованиях начала 20-х годов. При этом марксизм не рассматривался чем-то принципиально отличным от экономического материализма. В этом плане представляет интерес рецензия Я.Л. Барскова на книгу С.Ф. Платонова “Борис Годунов”. Опираясь на ряд положений работы М.Н. Покровского “Экономический материализм”<sup>104</sup>, автор рецензии пришел к выводу, что «книга С.Ф. Платонова отвечает требованиям “марксизма” как научного метода»<sup>105</sup>. Этот вывод он обосновывал тем, что Платонов «дает ясно понять, что “трагедия” Бориса заключалась не только в его одиночестве после разрыва “заключительного союза дружбы”, но и в противоречиях его политики, которые, в свою очередь, были обусловлены противоречиями социально-экономического строя в Московском государстве XVI века»<sup>106</sup>. Выделение экономического фактора в качестве основополагающего в историческом развитии представлялось многим немарксистским историкам вполне достаточным, чтобы говорить о марксистском методе, пусть даже и в кавычках.

В то же время историографы начала 20-х годов отмечали влияние идей экономического материализма на взгляды историков конца XIX – начала XX в. Благодатный материал для иллюстрации этого они находили в творчестве В.О. Ключевского. С.А. Голубцов считал, что “Василий Осипович, первый из русских историков, выдвинул значение экономического момента, поставив его изучение широко и глубоко”<sup>107</sup>. В этом он видел проявление влияния доктрины экономического материализма на взгляды Ключевского. С этой доктриной Голубцов связывал внимание Ключевского к проблемам общественного расслоения. Но вместе с тем он подчеркивал и принципиальные различия в подходах к изучению прошлого у Ключевского и экономических материалистов. К ним он относил использование Ключевским в своих работах не только горизонтального деления общества, но и вертикального – “по принципам идейно-морального порядка”<sup>108</sup>. Расходился Ключевский с историками-экономистами и во взглядах на характер и строение государства и власти. “Ключевский, – писал Голубцов, – охотно подмечал демократические тенденции у государственной власти и, может быть, ближе был к убеждению в надклассовом характере ее, чем в ортодоксальной теории историков-экономистов”<sup>109</sup>. Но самое главное, что подчеркивал Голубцов, состояло в том, что “узаконив экономический момент в историческом изучении, Ключевский не сделал из экономического фактора всеобъясняющей и всеобъемлющей причины и основы всякого исторического движения”<sup>110</sup>. Таким образом, Голубцов подводил читателя к выводу о том, что успех Ключевского в изображении жизненной целостности исторического процесса достигнут, прежде всего, “благодаря своей полной отрешенности от монистического взгляда на историю”<sup>111</sup>, чем был “грешен”, по установившемуся мнению, марксизм. Монизм марксистского учения в представлениях историков 20-х годов не способствовал воссозданию подлинной картины прошлого человечества. Но прямо говорить о марксизме с подобных позиций ученые опасались. Приходилось использовать примеры прошлых эпох, актуальность ко-



торых была достаточно понятна современному читателю. “Мыслители, подходившие к историческому материалу с априорно образовавшеюся философскою или религиозною верою в тот или иной высший регулирующий принцип в истории и искавшие в этом материале лишь иллюстрации для пояснений данной философии, – писал Е.В. Тарле, – были так же свободны и независимы в своих схемах и частных теориях, как камералисты в своих проектах улучшения финансов, путей сообщения, торговых связей с чужими странами, администрации. Основная истина была камералистам дана... Точно также была дана эта истина и философам истории. Могло ли смутить Гегеля, что те или иные факты противоречат его теории? Тем хуже для фактов”<sup>112</sup>. Конечно, волновали Тарле, размышлявшего об основных проблемах развития отечественной исторической науки, отнюдь не камералисты или гегелевская система. Но эти примеры были необходимы, поскольку открытая критика марксизма была уже фактически осложнена.

Конечно, было бы значительной ошибкой представлять всю традиционную отечественную историографию как враждебно настроенную по отношению к марксистскому течению. Использование достижений марксистских авторов в анализе проблем революционного развития казалось не только возможным, но и необходимым. Разбирая “Историю второй русской революции” П.Н. Милукова, А.Е. Пресняков отмечал, что “глубокие переживания Герцена и гениальные анализы прошлых революционных опытов в трудах Карла Маркса прошли бесследно, не только для политического деятеля Милукова, но и для Милукова-историка”<sup>113</sup>. О том, что Пресняков знал марксистскую литературу и представлял основные проблемы, поднятые в ней, свидетельствовало его замечание, что «социологическое наследие Карла Маркса и Энгельса – анализ революционных кризисов, пережитых Западной Европой в 19-м веке (четкий итог выводов этого анализа – в книге В. Ильина-Ленина “Государство и революция”), потребовало дополнения и частичного пересмотра. В частности, опыт русского революционного движения многое уяснил в вопросе о массовой стачке, как орудии классовой борьбы пролетариата, а стало быть, о взаимоотношении экономического и политического элементов в этой борьбе»<sup>114</sup>. В своем обзоре Пресняков также указывал на ряд других работ Л.Д. Троцкого, В.И. Ленина и Ю.М. Стеклова. Все это свидетельствует о том, что было бы преувеличением утверждать, что немарксистская историография начала 20-х годов резко негативно относилась к марксистскому направлению исторической науки. Несмотря на определенное влияние негативного опыта, накопленного историками в годы революционных потрясений и гражданской войны, в начале 20-х годов продолжало преобладать в ученой среде традиционно толерантное отношение к любым научным течениям, в том числе и к марксистскому, тем более, что последнее еще не имело разработанной теоретико-концептуальной системы и значительного числа сторонников среди историков-профессионалов.

Таким образом, в начале 20-х годов проблемы историографии, как и в дореволюционный период развития отечественной науки, продолжали занимать значительное место в исследовательской деятельности ис-

ториков. Несмотря на неблагоприятные условия для развития науки, сложившиеся в годы первой мировой войны, революции и гражданской войны, отечественная историография сохранила накопленные в прежние годы научные традиции и высокий уровень историографического осмысления пройденного исторической наукой пути.

Проведенные в начале 20-х годов историографические исследования свидетельствовали, что отечественная наука и в международном плане продолжала сохранять ведущие позиции не только в сфере изучения истории России, но и ряда проблем зарубежной истории. Это в полной мере относится и к освещению историографических проблем. Многоуровневость осмысления процессов развития исторического познания, активное обсуждение узловых методологических проблем, учет новейших достижений науки зарубежных стран – все это традиционно являлось характерными чертами отечественной историографии, что в полной мере нашло свое подтверждение в научных исследованиях этого времени. Вместе с тем, анализ состояния исторической науки позволял четче выявить те проблемы и задачи, которые вставали перед исследователями в первые послереволюционные годы. Критическая оценка достигнутого наукой в предшествующий период, осознание недостаточности разработки теоретико-концептуальных основ историографии создавали ту благоприятную для появления новых теоретических разработок ситуацию, которую в полной мере использовала марксистская историография.

<sup>1</sup> См.: *Коялович М.О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Минск, 1997; *Иконников В.С.* Опыт русской историографии. Киев, 1891. Т. 1. Кн. 1; Киев, 1892. Т. 1. Кн. 2; *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. М., 1898. Т. 1; *Бестужев-Рюмин К.Н.* Биографии и характеристики (Летописцы России). М., 1997; *Багаев Д.* Русская историография. Харьков, 1911.

<sup>2</sup> *Егоров Д.* Новый взгляд на социально-экономическое развитие Запада в средние века (Новый труд Альфонса Допша) // *Анналы. Журнал всеобщей истории, издаваемый Российской академией наук / Под ред. академика Ф.И. Успенского и члена-корр. Академии наук Е.В. Тарле.* Петербург, 1922. № 2. С. 120.

<sup>3</sup> *Кареев Н.И.* Историки французской революции. Т. 1. Французские историки первой половины XIX века. Л., 1924. С. 11–12.

<sup>4</sup> Там же. С. 12.

<sup>5</sup> *Пресняков А.Е.* К.Н. Бестужев-Рюмин (К 25-летию со дня кончины) // *Дела и дни.* Петербург, 1922. Кн. III. С. 170–171.

<sup>6</sup> См.: *Хроника // Там же.* 1920. Кн. I. С. 523–524, 528–529; *Хроника // Русский исторический журнал.* Пг., 1922. Кн. 8. С. 319.

<sup>7</sup> *Пресняков А.Е.* Труды А.С. Лаппо-Данилевского по русской истории // *Русский исторический журнал.* 1920. Кн. 6. С. 110. *Он же.* А.С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель // *Там же.* С. 90.

<sup>8</sup> *Гревс Ив.* Лик и душа средневековья (По поводу вновь вышедших русских трудов) // *Анналы.* Петербург, 1922. № 1. С. 21.

<sup>9</sup> *Вульфийс А.* Освальд Шпенглер как историк // *Анналы.* № 2. С. 19–21 и др.

<sup>10</sup> *Гревс Ив.* Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования души) // *Русский исторический журнал.* Кн. 6. С. 68–69.

<sup>11</sup> *Лаппо-Данилевский А.С.* Очерк развития русской историографии // *Там же.* С. 16.

<sup>12</sup> *Успенский Ф.* Из истории византиноведения в России // *Анналы.* № 1. С. 117.

<sup>13</sup> *Рожков Н.* [Рец. на:] Проф. П.А. Сорокин. Система социологии. Т. I. Социальная аналитика. Пг., 1920 // *Дела и дни.* Кн. I. С. 471.

- 14 Данини С. Крестьянство и аграрный вопрос в эпоху великой революции (Постановка вопроса в современной науке) // *Анналы*. № 1. С. 72.
- 15 От редакции // Там же. С. 3.
- 16 Лаппо-Данилевский А.С. Указ. соч. С. 5–29.
- 17 Там же. С. 5–6.
- 18 Там же. С. 6.
- 19 Голубцов С.А. Теоретические взгляды В.О. Ключевского (1911–12 мая – 1921) // *Русский исторический журнал*. Кн. 8. С. 180.
- 20 Там же.
- 21 Там же. С. 181.
- 22 Там же.
- 23 Там же.
- 24 Там же. С. 182.
- 25 Там же. С. 184.
- 26 Рождественский С. Памяти Сергея Михайловича Соловьева. 5 мая 1820 – 4 октября 1879 г. (К столетию со дня рождения) // *Дела и дни*. Кн. I. С. 309.
- 27 Пресняков А. К.Н. Бестужев-Рюмин (К 25-летию со дня кончины). С. 168.
- 28 Там же. С. 170.
- 29 Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996. С. 153–154.
- 30 Там же. С. 153.
- 31 Глаголева-Данини С. Научное изучение Великой Революции. Сорокалетие журнала Олара “La Révolution française” // *Анналы*. № 2. С. 52.
- 32 Жебелев С.А. Борис Александрович Тураев (23/VII 20 г.) // *Русский исторический журнал*. Пг., 1921. Кн. 7. С. 3.
- 33 Пресняков А.Е. Труды А.С. Лаппо-Данилевского по русской истории. С. 102; *Он же*. А.С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель. С. 94–95.
- 34 Бутенко В. Наука новой истории в России (Историографический обзор) // *Анналы*. № 2. С. 166–167.
- 35 Кареев Н.И. Историки французской революции. Т. III. Изучение французской революции вне Франции. Л., 1924. С. 147.
- 36 Лаппо-Данилевский А.С. Указ. соч. С. 5.
- 37 Кареев Н. Памяти двух историков // *Анналы*. № 1. С. 174.
- 38 Пресняков А.Е. В.О. Ключевский. (1911–1921) // *Русский исторический журнал*. Кн. 8. С. 205.
- 39 Кареев Н. Памяти двух историков. С. 173.
- 40 Кареев Н.И. Историки французской революции. Т. I. С. 13.
- 41 Пресняков А.Е. В.О. Ключевский (1911–1921). С. 205.
- 42 Чернов С. [Рец. на:] *Русский исторический журнал*. Кн. 6 // *Дела и дни*. Кн. III. С. 175.
- 43 Гревс И.М. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования души). С. 44–81.
- 44 Пресняков А.Е. В.О. Ключевский. (1911–1921). С. 222.
- 45 Пресняков А.Е. Труды М.А. Дьяконова по русской истории // *Русский исторический журнал*. Кн. 7. С. 9.
- 46 Платонов С.Ф. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (2 января 1897 года) // *Русский исторический журнал*. Кн. 8. С. 225.
- 47 Пресняков А.Е. Труды А.С. Лаппо-Данилевского по русской истории. С. 101.
- 48 Пресняков А.Е. В.О. Ключевский. (1911–1921). С. 204.
- 49 Пресняков А.Е. А.С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель. С. 93.
- 50 Пресняков А.Е. В.О. Ключевский. (1911–1921). С. 204.
- 51 Пресняков А.Е. Труды А.С. Лаппо-Данилевского по русской истории. С. 102.
- 52 Богословский М.М. О трудах С.А. Белокурова по русской истории // *Русский исторический журнал*. Кн. 8. С. 229.
- 53 Хоржевский С. В.О. Ключевский как социолог и политический мыслитель // *Дела и дни*. Петербург, 1921. Кн. II. С. 169.
- 54 Голубцов С.А. Теоретические взгляды В.О. Ключевского... С. 179.
- 55 Рождественский С. Памяти Сергея Михайловича Соловьева. 5 мая 1820 г. – 4 октября 1879 г. (К сорокалетию со дня рождения). С. 319.
- 56 От редакции // *Анналы*. № 1. С. 3.

- 57 *Тарле Е.В.* Очередная задача // Там же. С. 5.
- 58 Там же. С. 8.
- 59 Там же.
- 60 *Пресняков А.Е.* Труды М.А. Дьяконова по русской истории. С. 8.
- 61 Там же. С. 9.
- 62 *Яковкин Инн.* Памяти акад. М.А. Дьяконова (10 августа 1919 г.) // Дела и дни. Кн. I. С. 596.
- 63 *Егоров Д. А.Н.* Савин // *Анналы.* Петербург, 1923. № 3. С. 221.
- 64 *Валк С.Н.* Воспоминания ученика // *Русский исторический журнал.* Кн. 6. С. 194.
- 65 *Глаголева-Данини С.* Научное изучение Великой Революции. Сорокалетие журнала Олара "La Revolution francaise" // *Анналы.* № 2. С. 41–58.
- 66 Там же. С. 55.
- 67 *Тарле Е.В.* Теодор Шиман. 1847–1921 // *Дела и дни.* Кн. II. С. 181.
- 68 *Рождественский С.* Памяти Сергея Михайловича Соловьева. С. 303.
- 69 Там же. С. 307.
- 70 *Тарле Е.В.* Очередная задача. С. 5.
- 71 *Пресняков А.Е.* А.С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель. С. 85; *Он же.* Труды А.С. Лаппо-Данилевского по русской истории. С. 110.
- 72 *Пресняков А.Е.* Эпоха Грозного в общем историческом освещении // *Анналы.* № 2. С. 188.
- 73 *Пресняков А.Е.* А.С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель. С. 85.
- 74 *Голубцов С.А.* Теоретические взгляды В.О. Ключевского... С. 201; см. также: *Пресняков А.Е.* А.С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель. С. 85.
- 75 *Голубцов С.А.* Теоретические взгляды В.О. Ключевского. С. 178–179.
- 76 *Пресняков А.Е.* В.О. Ключевский. (1911–1921). С. 204.
- 77 Там же. С. 205.
- 78 Там же. С. 210.
- 79 Там же. С. 219.
- 80 *Тарле Е.В.* Очередная задача. С. 18.
- 81 Там же. С. 12.
- 82 *Яковкин Инн.* [Рец. на:] А.Е. Пресняков А.Е. Образование Великорусского Государства. Очерки по истории XIII–XV столетий. Пг., 1918; *Он же.* Московское царство. Общий очерк. Пг., 1918 // *Дела и дни.* Кн. I. С. 443.
- 83 *Тарле Е.В.* Очередная задача. С. 17.
- 84 *Егоров Д.* Новый взгляд на социально-экономическое развитие Запада в средние века. (Новый труд Альфонса Допша). С. 117.
- 85 Там же. С. 120.
- 86 *Кареев Н.И.* Историко-теоретические труды А.С. Лаппо-Данилевского // *Русский исторический журнал.* Кн. 6. С. 122.
- 87 *Кареев Н.И.* Метафизик о "Методологии общественных наук" // *Анналы.* № 2. С. 267.
- 88 *Франк С.Л.* Очерк методологии общественных наук. М., 1922. С. 6.
- 89 Там же.
- 90 *Савва В.И.* О посольском приказе в XVI в. Харьков, 1917. Вып. I.
- 91 *Гейман В.Г.* Новая попытка исследования вопроса о Боярской думе // *Русский исторический журнал.* Кн. 7. С. 176.
- 92 *Пресняков А.Е.* А.С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель. С. 86.
- 93 *Тарле Е.В.* Очередная задача. С. 13.
- 94 См.: *Кроче Б.* Теория и история историографии. М., 1998. С. 18–31.
- 95 *Тарле Е.В.* Очередная задача. С. 14.
- 96 Там же. С. 15.
- 97 *Кареев Н.И.* Историк французской революции. Т. I. С. 14–15.
- 98 *Dreger.* Aus einer alten Advokatenrepublik (Demosthenes und seine Zeit). Paderborn, 1916.
- 99 *Бузескул В.* Германский ученый об "адвокатской республике" // *Анналы.* № 1. С. 193.
- 100 *Тарле Е.В.* Очередная задача. С. 15.
- 101 Там же. С. 13.
- 102 *Ольденбург С.* Эрнест Ренан. 28 февраля 1823–1923. // *Анналы.* № 3. С. 3.
- 103 От редакции // *Анналы.* № 1. С. 4.
- 104 *Покровский М.Н.* Экономический материализм. Пг., 1920. С. 15.

- <sup>105</sup> Барсков Я.Л. [Рец. на:] Акад. С.Ф. Платонов. Борис Годунов. Пг., 1921 // Русский исторический журнал. Кн. 8. С. 290.
- <sup>106</sup> Там же.
- <sup>107</sup> Голубцов С.А. Теоретические взгляды В.О. Ключевского... С. 184.
- <sup>108</sup> Там же. С. 185.
- <sup>109</sup> Там же.
- <sup>110</sup> Там же. С. 200.
- <sup>111</sup> Там же. С. 202.
- <sup>112</sup> Тарле Е.В. Очередная задача. С. 19–20.
- <sup>113</sup> Пресняков А. Обзоры пережитого // Дела и дни. Кн. I. С. 351.
- <sup>114</sup> Там же. С. 348.

**А.М. Дубровский**

**“ЛИЧНО Я СЧИТАЮ  
ЕЕ ДОКЛАД НЕМАРКСИСТСКИМ”**

**(доклад М.В. Нечкиной о причинах отсталости России  
и его обсуждение в 1941 г.)**

1930-е годы были временем создания новой концепции отечественной истории, которая отражала изменения, происшедшие в партийно-государственной идеологии, главным образом внедрение идей русского патриотизма, культ сильного централизованного государства и его деятелей. Новая концепция, как и прежде концепция М.Н. Покровского, базировалась на идее тождества исторического пути разных стран. В советской науке эта марксистская идея была понята как безвариантность общественного развития, в частности, однотипность модели истории России и стран Западной Европы. Поэтому концепция истории России, которая должна была по логике познания отразить общие и особенные черты в прошлом и настоящем страны, оказалась довольно односторонней, делая акцент на общем и упуская из виду особенное.

Видимо, эту неполноту ощутила Милица Васильевна Нечкина, в ту пору сложившийся и зрелый исследователь, профессор Московского университета и сотрудник Института истории АН СССР. Свои соображения о такой особенности России как ее отсталость от стран Западной Европы она изложила в работе “Почему Россия позже других стран вступила на путь капиталистического развития”. В 1941 г. она выступила в Институте истории с докладом на эту тему. В настоящее время, спустя более чем полвека, содержание этого доклада стало известно благодаря его публикации<sup>1</sup>. С текстом доклада опубликованы и другие источники, отражавшие обстановку, созданную выступлением Нечкиной<sup>2</sup>.

Сопоставление этих теперь уже известных источников с неопубликованными архивными материалами, а также анализ работы Нечкиной создают представление о значительном эпизоде из истории отечественной науки и способствуют более глубокому уяснению ее облика и политики партийно-государственной власти по отношению к науке и ее деятелям.

«Над этой темой я работала два года, а еще раньше я начинала исподволь над ней работать и собирать материал... – вспоминала впоследствии Нечкина о работе над темой. – Когда я участвовала в конкурсе на учебник начальной школы... мы работали под таким условием конкурса, которое требовало привлечения всемирно-исторического материала. Таким образом, мне пришлось работать одновременно и по темам нашей истории и по темам истории Запада. Здесь уже родилась эта проблема»<sup>3</sup>. Работа над учебником для начальных классов началась в 1936 г., после объявления соответствующего конкурса<sup>4</sup>. Это, судя по словам Нечкиной, была как бы предыстория ее непосредственной работы над темой. В конце 1936 г. дело было закончено. Позже Нечкина была занята работой над вторым томом учебника по истории СССР XIX в. (опубликован в 1940 г.). Вместе с тем она внимательно ознакомилась с содержанием первого тома того же учебника и опубликовала на него рецензию в газете «Правда» в 1940 г. Вероятно, и в это время Нечкина как читатель первого тома и главный редактор – второго, порой обращалась к сопоставлению России с другими европейскими странами. Замысел рос и детализировался. Наконец, видимо, в 1939–1940 гг. М.В. Нечкина смогла всецело сосредоточиться на своей теме.

«Я выступала с кратким изложением своего взгляда на причины отсталости России... в одном из отчетных заседаний Института истории, т. Ярославский тогда очень поддержал мое выступление и дал мне мысль работать над этим в дальнейшем. А потом уже, получив поручение от редакции «Большевика», я взялась за это и посылно выполнила это задание», – так рассказывала Нечкина о ходе своей работы<sup>5</sup>. Как будет показано ниже, время окончания статьи относилось, вероятно, к осени 1940 г.; по словам автора, «в редакции «Большевика»... статья была многократно рассмотрена, по ней выносились определенные решения», «на статью было много отзывов, и она уже была сверстана»<sup>6</sup>.

Возможно, статью хотели опубликовать весной 1941 г. Но этот замысел был осложнен одним обстоятельством.

Как вспоминала А.М. Панкратова: «Я узнала со слов Милицы Васильевны, а затем в редакции «Большевика», которая обратилась ко мне, что Нечкина по предложению редакции «Большевика» написала статью, которую мы включили в план в качестве доклада на заседании сектора истории СССР XIX–XX вв. (которым руководила А.М. Панкратова. – А.Д.). Это дело было в начале осени (1940 г. – А.Д.). Тогда мы пригласили Милицу Васильевну, поговорили с ней, она сказала, что подготовит доклад, при этом мы просили написать тезисы. Когда я познакомилась с тезисами... то они мне показались очень интересными, оригинальными, но несомненно очень спорными... Когда мне позвонили из редакции «Большевика», я сообщила, что считаю необходимым эту статью и эти тезисы прежде всего обсудить у нас в секторе. Я договорилась с рядом товарищей, которым переслала предварительно эти тезисы, о том, чтобы они подготовили организованное выступление в связи с этими тезисами»<sup>7</sup>.

Быть может, и редакции «Большевика», главного теоретического органа партии, хотелось бы подвергнуть статью обсуждению ведущими

историками страны. Чего здесь было больше – понятного желания поднять уровень работы Нечкиной или стремления застраховаться от идеологических промахов – сказать трудно, тем более, что одно не исключало и другого.

Ученый секретарь сектора А.М. Панкратовой И.Н. Ловецкий вспоминал: “Получив эти тезисы, мы их размножили в довольно большом количестве – напечатали 60 экземпляров – и раздали их буквально всем работникам нашего Института, – и в партийный комитет дали, и во все сектора дали, кроме того, разослали эти тезисы нашему активу – тем товарищам, которые принимают посильное участие в заседаниях нашего сектора. Проблема... привлекла большое внимание не только сотрудников нашего института, но и работников других институтов. На этой дискуссии присутствовали, можно сказать, все видные историки Москвы, народу было столько, что буквально негде было яблоку упасть”<sup>8</sup>. “Все заседания были очень многолюдны, – говорила Панкратова, – хотя кроме работников сектора мы никого не приглашали, кроме нескольких товарищей, которых я просила выступить, на последних заседаниях у нас было очень много народа”<sup>9</sup>. “Мы прежде всего не учли, что на такую дискуссию соберется чуть ли не вся Москва”, – вторил ей С.Д. Петропавловский<sup>10</sup>. Подготовительная организационная работа, интерес к теме обеспечили огромную аудиторию. Доклад Нечкиной должен был стать важным событием в научной жизни столицы.

13 февраля Нечкина выступила с докладом. К сожалению, протоколы заседаний сектора Института истории АН СССР, проходивших в 1930-е годы, сохранились неполностью. До сих пор обнаружена стенограмма лишь одного заседания с дискуссией по докладу Нечкиной от 20 февраля 1941 г. Публикаторы доклада обозначили только эту дату (не считая указанной ими даты 24 апреля, когда обсуждение уже не столько доклада, сколько уровня его проведения произошло на заседании Бюро отделения истории и философии АН СССР)<sup>11</sup>.

Панкратова же, вспоминая прения по докладу Нечкиной через два месяца после события, говорила не об одном, а о трех днях этих прений<sup>12</sup>. Публикаторы не обратили внимания на то, что в другом источнике, ими же опубликованном, – резолюции Бюро отделения – определенно сказано о прочтении доклада и дискуссии по нему в течение 13–26 февраля<sup>13</sup>. Следовательно, трехдневное обсуждение работы Нечкиной проходило 13, 20 и 26 февраля.

На заседание Бюро отделения истории и философии АН СССР дискуссия не была перенесена, как писали публикаторы, здесь состоялось особое обсуждение дела, причем не только 24 апреля<sup>14</sup>, но и 26-го числа<sup>15</sup>. Так что масштаб события был более широким, чем это показалось публикаторам.

О чем же шла речь в докладе?

Как говорила сама Милица Васильевна, на ход ее работы определенное влияние оказали высказывания Генерального секретаря ЦК партии Сталина. Главное из них прозвучало на Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в 1931 г. Сталин сказал тогда: “История старой России состояла, между прочим, в том, что ее

непрерывно били за отсталость. Били монголо-татарские ханы. Били турецкие беи. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную”<sup>16</sup>.

“Я, вдумавшись в эту цитату тов. Сталина, пришла к заключению, что ее следует рассматривать как задачу, поставленную для историков, исследователей”, – говорила впоследствии Нечкина<sup>17</sup>. «Вопрос о причинах исторической отсталости России во весь рост поставлен товарищем Сталиным, который указал именно на глубокие исторические корни этого явления, которое мы называем отсталостью, – сообщила Нечкина в начале доклада. – “Технико-экономическая отсталость нашей страны не нами выдумана”, – сказал товарищ Сталин. – Эта отсталость есть вековая отсталость, переданная нам в наследство всей историей нашей страны»<sup>18</sup>.

Высказывания Сталина подчеркивали глубину истоков российской отсталости от передовых стран. История “старой России”, т.е. России дореволюционной, несла на себе печать отсталости: от нашествия монголо-татар в XIII до русско-японской войны в XX в. Поэтому совершенно естественным был ход мысли Нечкиной: “Мы не можем ни построить концепции нашего исторического прошлого, ни разобраться в настоящем без глубокого изучения этой проблемы, поставленной с самого начала как историческая проблема”<sup>19</sup>. Итак, с зарождения замысла Нечкина представляла свою тему как тему широкую, концептуальную, требующую для своего освещения переосмысления всей отечественной истории.

Еще один импульс бы получен Нечкиной от новейшего историко-теоретического труда, опубликованного в 1938 г., т.е. именно в то время, когда она уже готовилась приступить к непосредственной работе над избранной темой. Это “История Всесоюзной Коммунистической партии/большевиков. Краткий курс”. Начиналась эта книга со слов: “Царская Россия позже других стран вступила на путь капиталистического развития”<sup>20</sup>. Именно эта фраза, чуть измененная (выпало слово “царская” и появилось слово “почему”), стала названием всей работы Нечкиной. Таким образом, труд Нечкиной должен был раскрыть ту мысль, с которой начиналось новейшее для той поры произведение марксизма-ленинизма, сконцентрировавшее в себе весь опыт большевиков.

Свой доклад Нечкина составила из трех частей: теоретической, историографической (первый раздел доклада) и основной – конкретно-исторической, точнее говоря, эмпирической (второй раздел).

В первой части своей работы она выдвинула идею о существовании в марксизме “учения о темпах исторического развития”<sup>21</sup>. В него Нечкина включила ряд соображений Маркса, Энгельса и Ленина, высказанных по разным поводам о скорости хода того или иного исторического процесса, об условиях, которые замедляли или, наоборот, убыстряли этот процесс. “Теория темпов исторического развития”, по словам Неч-



киной, была основана “на глубоком фундаменте смены общественно-экономических формаций”<sup>22</sup>. Иными словами, она изучала более конкретно движение общества от одной формации к другой, процесс прохождения общества через тот или иной этап (формацию или, как чаще это называлось в то время – способ производства). Отметим попутно, что употребление термина “способ производства” вместо термина, введенного Марксом в обществоведение, – “формация” усиливало и укрепляло упрощенный экономический детерминизм в понимании истории.

В основе передового положения страны или ее отсталости М.В. Нечкина видела “темп развития производительных сил, того самого подвизного революционного элемента в общественной жизни, который носит в себе первичные изменения и в зависимости от которого изменяются общественные социальные отношения, а вслед за этим с той или другой степенью быстроты вся система надстроек”<sup>23</sup>. “Таким образом, способ производства, взятый в целом, – вот то основное, что должно быть положено как базис изучения данного вопроса”, – заключала свое важное рассуждение Нечкина<sup>24</sup>. Она говорила и о воздействии надстройки на базис, что тоже нужно было учитывать при изучении темы. Все эти рассуждения, по сути дела, не содержали в себе чего-то нового. Нечкина воспроизводила аксиомы марксизма.

Далее она перешла к рассмотрению “всей системы отдельных воздействий сил, которые могут вторичным порядком влиять как ускорители или тормозы исторического развития”<sup>25</sup>. И здесь, как представляется, интуиция талантливого исследователя столкнулась с догматическим и упрощенным восприятием марксизма, свойственным советскому обществоведению в 30-х годах. Абсолютно правильно Нечкина начала рассмотрение проблемы с изучения роли географического фактора. Но в самой сущности ее мысли содержалась такая уступка догме, что и мысль теряла свою ценность: “Географический фактор, ни в малейшей степени не определяя существа возникающего в процессе исторического развития явления, в то же время может оказывать убыстряющее или замедляющее воздействие на ход (развитие. – А.Д.) возникшего явления”<sup>26</sup>. М.В. Нечкина брала роль географического фактора в истории общества в чрезвычайно общем виде и ограниченными рамками капиталистической формации, хотя об этих ограничениях она и не говорила, они открываются в результате рассмотрения ее высказываний (Нечкина приводила пример зависимости развития рынка от расположения рек). Потерялись при этом идея о разной силе воздействия природно-географического фактора на жизнь общества от первобытного его состояния до современного, идея разных сторон этого фактора, актуальных для одних обществ и безразличных для других (так залежи каменного угля в какой-либо западноевропейской стране чрезвычайно важны для ее транспортного и промышленного развития в XIX–XX вв. и безразличны для нее же в эпоху средневековья или первобытной древности)<sup>27</sup>.

Оговариваясь, что географический фактор не являлся “ни в малейшей степени определяющим”<sup>28</sup>, Нечкина боялась, что ее упрекнут в географизме, в отступлении от марксистского понимания определяю-

щей роли способа производства, производительных сил, в частности. В то же время и нельзя было не сказать о роли этого фактора. И цепенеющая перед догмой мысль историка не смогла сформулировать плодотворной идеи.

М.В. Нечкина коротко сказала о тормозящем воздействии устаревших производственных отношений, по сути, возвращаясь к уже рассмотренной стороне дела, – способу производства. Так же бегло она указала на роль насилия в истории как ускорителя темпов развития. Напомнила о роли идеологических и политических явлений: правительственной политике, устаревшей традиции, военных вторжениях, “вступлении страны позже или раньше в систему мировых держав” и пр. Нужно признать, что в этом месте собранные Нечкиной фрагменты из произведений основоположников марксизма очень слабо были сцеплены друг с другом и в наименьшей степени подчинены логике. Например, именно здесь, в одном ряду с идеологическими и политическими явлениями, было упомянуто такое условие как экономические кризисы при капитализме.

Далее Милица Васильевна перешла к рассуждению о влиянии всего комплекса “надстройки” на развитие того или иного класса: “Класс буржуазии может, например, оказаться нереволуционным классом в истории развития данной страны... Этот класс может не произвести своего убыстряющего воздействия на ход исторического процесса и этим самым замедлить этот ход”<sup>29</sup>. Однако, надо сказать, что буржуазия и есть олицетворение капитализма, организатор капитализма, и если она не выступала в той или иной стране как революционный класс, то именно это и нужно объяснить, найти истоки этой нереволуционности. Незаметно историк, обязанность которого – фиксировать и объяснять исторические процессы и явления, превратился в идеолога, ставящего задачи перед классом. Нечкина повела речь не о сущем, а о должном: буржуазия должна быть революционной, она должна оказывать на исторический процесс убыстряющее воздействие.

Определенная ценность теоретической части доклада М.В. Нечкиной заключалась в том, что в ней был сконцентрирован интересный материал – соображения выдающихся представителей марксизма о причинах убыстрения или замедления исторических процессов. Однако из этих высказываний теории не получилось, так как они не составляли целостной системы знания, в которой одни элементы были бы логически зависимы от других, а содержание теории выводилось бы из некоей совокупности утверждений и понятий по определенным логико-методологическим принципам. Именно в этом и заключаются существенные черты теории. В зависимости от условий те или иные факторы, перечисленные Нечкиной, могла оказывать и убыстряющее и тормозящее воздействие. Например, завоевание. Важно знать, кто кого завоевывал – высокоразвитое общество менее развитое или наоборот. Для кого при этих ситуациях завоевание будет ускорителем развития, а для кого – тормозом. Нужно сказать еще и то, что на самом деле вопрос этот более сложен, чем он представлялся автору доклада. Ведь завоевание может вести еще и к изменению варианта общественного развития по-

коренного населения. Например, завоевание Византии турками-османами, колониальные захваты западноевропейских стран и пр.

Теоретическая часть доклада Нечкиной в целом соответствовала уровню марксистской мысли в СССР в 30–50 годах и по глубине анализа, и по методу работы с высказываниями основоположников марксизма. Этот метод заключался в подборе цитат и расположении их в более или менее логичном порядке. Теоретические построения Нечкиной, может быть, несколько выбивались из общего ряда потому, что она обратила внимание на внеэкономические факторы общественного развития. Это было нетрадиционно для историков-марксистов, у которых основой основ в стиле их мышления являлся экономический детерминизм, проявлявшийся в тех или иных классовых интересах.

Вторую часть доклада составляла историографическая часть. Нечкина лишь едва коснулась ее. “Позвольте... сказать хотя бы два слова об историографии, которую я в целом опускаю”, – так она начала эту часть своего выступления<sup>30</sup>. Сказав немного о Соловьеве и положительно оценив сделанное им, она не показала, какие именно идеи Соловьева, какие вопросы, им поставленные, достойны внимания в связи с изучаемой проблемой. Гораздо больше Нечкина говорила о том, что “брошенные им проблемы в значительной степени заглохли в концепции Ключевского”<sup>31</sup>. То же самое произошло и с учениками Ключевского. “Только Павлов-Сильванский явился здесь исключением. Он попытался... поставить сравнительно-историческое значение проблемы, упираясь в своей работе на феодализм в древней Руси”<sup>32</sup>.

Незаметно для себя Нечкина вышла за пределы сравнительно узкой проблемы темпов исторического движения (торможения и ускорения) и пришла к проблеме более широкой – особенностей (варианта) исторического развития России. Дореволюционная наука разрабатывала именно идею о варианте пути Руси – России, ища его общие и особенные черты. Порой особенное выходило на первый план, порою (как у Павлова-Сильванского) общее заслоняло особенности<sup>33</sup>. Исследователей, которые концентрировали свое внимание на особенностях России, Нечкина осуждала, Павлов-Сильванский заслужил высокой оценки. Таков был традиционный подход советских историков к научному наследию ученых XIX – начала XX в.

Из трудов, опубликованных “в сравнительно позднее время”, Нечкина отметила работу Р.Ю. Виппера “Иван Грозный” и статью Е.В. Тарле “Была ли екатерининская Россия экономически отсталой страной?”. Она обошла вниманием труды Н.А. Рожкова, в которых он, развивая подход Павлова-Сильванского, сопоставлял Россию не только с западноевропейскими странами, но и со странами Востока, определял хронологические рамки разных повторяющихся периодов в истории тех или иных стран<sup>34</sup>. Тут была любопытная основа для размышлений о темпах развития. Однако меньшевик Рожков был подозрителен с точки зрения марксистской чистоты и, стало быть, научности его воззрений. Безопаснее было бы промолчать о нем. Из конъюнктурных соображений (таковы были жесткие правила этики советского историка) Нечкина упомянула в восхвалительном духе известные “Замечания” Сталина,

Жданова и Кирова на учебники по истории, а также заслуживший Сталинскую премию первый том “Истории дипломатии”.

Историографическую часть своей работы М.В. Нечкина завершила призывом к коллегам изучать проблемы истории в сравнительном плане соединенными усилиями специалистов из разных областей науки. Призыв был совершенно справедливым, оправданный сложившейся ситуацией.

Далее шла главная часть доклада – “Причины исторической отсталости царской России по сравнению с передовыми западноевропейскими странами”. Нечкина обратила внимание на то, что в России очень долго существовали феодально-крепостнические отношения (так она обозначала общественные отношения в стране в эпоху средневековья, хотя, строго говоря, крепостническими они стали только в условиях Московского государства). “Главным тормозом, который задержал развитие России и заставил ее отстать от передовых стран”, по мнению историка, были “феодально-крепостнические отношения и политика правительства крепостников”<sup>35</sup>. Это был, как говорила сама Нечкина, “общий ответ”, который “далеко не исчерпывает вопроса и никак не может историка удовлетворить”<sup>36</sup>. Тормозом для общественного развития, говорила Нечкина, крепостнические отношения становятся “постепенно и в разных областях неравномерно, и можно думать, что XVII век является в этом отношении переломным, а монархия Петра I была последним взлетом этой творческой силы. Поэтому с этого времени мы и можем говорить, как мне думается, о тормозящем воздействии феодально-крепостнических отношений на развитие России”<sup>37</sup>.

“Общий ответ” Нечкиной на поставленную проблему был совершенно в духе того стиля мышления, который господствовал в советской исторической науке. Источником рассуждений историка были теоретические представления об отношениях между производительными силами и производственными отношениями на протяжении существования того или иного способа производства, с одной стороны, а с другой – общие сведения о важнейших очевидных гранях в российской истории. Без исследования эмпирического материала этот ответ не имел особой научной ценности.

Гораздо интереснее и важнее для науки было рассмотрение автором “основных конкретных причин, задерживающих развитие России”. Располагая эти причины в хронологическом порядке, Нечкина усмотрела первую из них в “более слабом, чем на Западе усвоении античной культуры”. Совершенно верно Нечкина писала о том, что “нельзя ставить знака равенства между степенью усвоения античной культуры на Западе и степенью усвоения античной культуры в истории нашей страны. Античная культура глубоко перепахала всю ту почву в Западной Европе, на которой затем началось передовое историческое развитие”. На Руси сложилась иная картина не только потому, что античная культура мало коснулась территории проживания славян, но и потому, как говорила Нечкина, что “очень быстро территории, вспаханные античным влиянием, отходят от мест, в которых происходит историческое разви-

тие. Исторические центры отодвигаются дальше от черноморских границ. Политический центр переносится в волжско-окский бассейн”<sup>38</sup>.

Сравнивая результаты исторического развития, стимулированные разной степенью влияния античной культуры, Нечкина напомнила своим слушателям о характерном для советской науки сопоставлении Киевской Руси с империей Карла Великого. Это сопоставление сближало то и другое общества, указывало на одну и ту же стадию развития, однотипность и пр. Внося серьезную поправку в привычный ход рассуждений, Нечкина указала на важнейшую сторону дела: “Хронологическая империя Карла Великого – явление более раннее, чем Киевская Русь. 768 г. – начало царствования Карла Великого и 814 г. – его расцвета, середина века – Верденский договор. Перед нами явное падение Карла Великого еще до Рюрика в истории Киевской Руси. С этим хронологическим разрывом все же приходится иметь дело, на него не приходится закрывать глаза. Очевидно, развитие Запада в какой-то мере определило развитие России”<sup>39</sup>.

Нужно признать, что Милица Васильевна удивительно точно оценила положение Руси и степень усвоения ею античного наследия. Несколько позже, занимаясь темой истории древнерусских городов, в том же духе писал М.Н. Тихомиров<sup>40</sup>.

Вторую причину отставания Руси Нечкина увидела в “постоянном, планомерном, все время повторяющемся разрушении производительных сил древней Руси нападениями кочевников. Ни одна из стран Западной Европы не подвергалась такому длительному и планомерному разрушению, как Киевская Русь”<sup>41</sup>. Действительно, крайнее положение Руси в Европе, соприкосновение ее южных и восточных границ с миром кочевников было важным фактором в ее жизни не только в период, называемый историей Киевской Руси, но и в более позднее время. Уже давно С.М. Соловьев отметил эту сторону в отечественной истории, назвав ее борьбой леса со степью. Нечкина как историк-марксист подчеркнула экономические последствия контактов Руси с кочевниками. Нужно только добавить, что они, конечно, не были единственными. Как это ни удивительно, но и впоследствии исследователь темы “Русь и кочевники” вынужден констатировать: “Вопрос о влиянии борьбы с кочевниками на различные стороны жизни Древней Руси сложен и недостаточно разработан в исторической литературе”<sup>42</sup>. Благодаря исследованиям М.В. Фехнер, Б.А. Рыбакова, Л.В. Черепнина и других историков, стали яснее последствия борьбы Руси с кочевниками. В частности, экономические последствия, отмеченные Нечкиной, в настоящее время предстают в виде таких фактов как утрата Русью части черноземных земель на юге страны, и изъятие их из земледельческого оборота, гибель славянских поселений в южных степях и самого южного русского княжества Тьмутаракани (важнейшего звена на пути торговли с Востоком), отлив населения с юга на север и северо-восток, разрушение торговли с Востоком и Византией из-за изоляции Руси от черноморских портов (торговые отношения Руси с Востоком, достаточно оживленные в X–XI вв., приостановились в XII столетии)<sup>43</sup>. Несомненно, Нечкина, исходя из чисто теоретических соображений, на-

щупала важное направление исследовательского поиска. Как показало дальнейшее развитие исторической науки, оно оказалось плодотворным. Однако, повторим, экономические последствия не были единственными, существовали еще последствия демографические, этнические, социальные, политические.

Как верно отметил В.В. Каргалов, “в постоянном присутствии такого внешнеполитического фактора как наступление кочевников на южные рубежи – особенность исторических условий, определивших в свою очередь ряд особенностей развития раннего русского феодализма по сравнению с историей становления и дальнейшего развития феодальной формации у других европейских народов”<sup>44</sup>.

Третьей причиной отставания России Нечкина считала вопрос о неучастии Руси в крестовых походах и вопрос о некотором ослаблении связи с Западной Европой<sup>45</sup>. На первый взгляд, это наблюдение выглядит совершенно искусственным. В самом деле, Русь не имела ни формальной, ни реальной возможности участвовать в крестовых походах и получить в результате такого участия импульс для дальнейшего развития. Но тут нужно иметь в виду одно соображение, высказанное Нечкиной выше, в теоретической части работы: “...Момент отсталости зависит вовсе не только от замедления темпов развития той страны, которую мы в данный момент изучаем. Она может зависеть также от темпов развития той страны, с которой производится сравнение, является результатом не замедления темпов страны изучаемой, а ускорения темпов той страны, с которой сравнивают”. Следовательно, здесь Нечкина имела в виду особо благоприятные условия, в которых оказались страны Западной Европы.

Четвертой причиной Нечкина представила “причину татарского ига, его тормозящего значения для развития древней Руси”<sup>46</sup>. Строго говоря, эта четвертая причина если не вписывается во вторую, то совершенно с нею однородна и во многом совпадает по существу. Как уже говорилось, соседство и контакты с кочевым миром – это постоянное условие жизни Руси–России и в средневековье и в новое время. Только сперва кочевой мир активно наступал на Русь, пока не покорил ее на долгие годы и даже века. Потом она начала выступление на кочевников военными и мирными средствами – от Поволжья до Дальнего Востока, включая их территории с живущим на них населением в свой состав. В своем докладе Нечкина хотела оттенить хронологический момент: татары пришли на Русь позже половцев и других кочевников.

Как в первом случае, рассматривая неблагоприятные последствия отношений Руси с кочевниками, М.В. Нечкина рассуждала о разрушении производительных сил, так и теперь она опять вела речь о хозяйстве и производительных силах, пострадавших от татарских набегов и дани. Тут автор несколько детальнее рассматривает наносимый врагом ущерб. Добавлено и соображение А.Н. Насонова о том, что татары препятствовали объединению Руси. Здесь кочевники выступали и как неблагоприятный фактор для политического развития страны.

Нечкина, в отличие от историков-государственников, акцентировала внимание главным образом на экономических последствиях борьбы с

кочевниками. В этом опять сказался господствующий стиль мышления – экономизм в подходе к любому историческому явлению. Однако в этом направлении Нечкина не пошла дальше тех соображений, которые в свое время дал Г.В. Плеханов<sup>47</sup>. Плеханов же сделал попытку осмыслить и другие последствия натиска кочевников на Русь. Он, продолжая рассуждения об угнетении производительных сил кочевниками, писал о том, что такое состояние производительных сил “задерживало процесс возникновения... влиятельного класса держателей земли и определенных норм политической жизни”. Борьба с внешним врагом, по словам Плеханова, “увеличивала власть князя как военного сторожа русской земли”. При этих условиях в стране стала складываться деспотическая власть, по типу развития Россия приближалась к восточным странам<sup>48</sup>. При всей спорности хода рассуждений Плеханова (думается, что истоки деспотизма коренились в гораздо большей мере в ликвидации монголо-татарами вечевых собраний – противовеса княжеской власти, и лишённая этого противовеса она могла при прочих благоприятных условиях развиться в деспотическую власть) результат воздействия завоевателей он определил верно.

Кроме того, это теперь лучше известно, чем в 1930-е годы, на Руси произошла архаизация социальных отношений вследствие татарского нашествия. “Очевидно, в ходе нашествия была физически истреблена основная масса феодалов-земледельцев. Процесс возникновения боярского землевладения начинался заново в разоренной неприятелем стране”<sup>49</sup>.

Таким образом, последствия установления ига монголо-татар были гораздо шире, чем это представлялось Нечкиной.

Пятой причиной отставания Руси Нечкина считала “неучастие России в первом дележе мировых колоний”<sup>50</sup>. Как и отсутствие русских воинов среди крестоносцев, это обстоятельство относилось не столько к Руси, сколько к участникам первых колониальных захватов. Это, пожалуй, условие вторичного порядка. Оно мало что объясняет в характере и темпах исторического движения нашей страны. В первых колониальных захватах не участвовало громадное большинство человечества в силу самых разнообразных причин. Созрела ли Россия для участия в таких захватах? Случайные или вполне закономерные обстоятельства отлучили ее от этого занятия? Именно эти вопросы представляются самыми важными для понимания истории России.

Шестая причина – “облегченные условия расширенного воспроизводства феодально-крепостнических отношений в истории Руси, в истории Российского государства”<sup>51</sup>. Облегченность условий заключалась в том, что “Россия развивалась на широкой равнине, слабо заселенной, при наличии огромного количества человеческих масс, еще не тронутых феодально-крепостническими отношениями. Постоянно развивающийся экстенсивный рост феодальных отношений вширь получил богатейшую питательную почву...”<sup>52</sup> На Западе к моменту исчерпания фонда свободных земель “феодализм начинает расти вглубь. Интенсивный рост его является провозвестником накопления для нового строя, и положение страны меняется существенным образом. Страна

резче и решительнее идет вперед, нежели может идти страна, которая пользуется только расширением экстенсивного порядка”<sup>53</sup>.

По сути дела, ход мысли Нечкиной совпал с соображениями В.И. Ленина, высказанными в его работе “Развитие капитализма в России”: “развитие капитализма вглубь в старой, издавна заселенной территории задерживается вследствие колонизации окраин. Разрешение свойственных капитализму и порождаемых им противоречий временно отсрочивается вследствие того, что капитализм легко может развиваться вширь”<sup>54</sup>. Видимо, Нечкина не обратила внимания на это высказывание Ленина, иначе она бы процитировала его. Во всяком случае это соображение трудно опровергнуть, оно представляется бесспорным. Нечкина же совершенно правомерно применила его к феодальному обществу. Такой ход мысли был развитием наблюдений и выводов историков XIX в. о слабой заселенности России и важной роли колонизации в ее истории (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и др.). Историки-марксисты в данном случае (как это и было характерно для марксизма) акцентировали внимание на влиянии всех этих факторов на социальные противоречия.

Непривычной для марксиста в 1930–1940 гг. была мысль Нечкиной о расширенном воспроизводстве феодальных отношений. В упрощенном восприятии марксизма, характерном для общественной мысли и, в частности, исторической науки этого времени, расширенное воспроизводство было атрибутом лишь капитализма, а для докапиталистических обществ типичным было воспроизводство простое. Такой взгляд позже проявился в дискуссии по докладу Нечкиной. Именно с этой позиции ее и упрекали в ошибочных рассуждениях. Между тем простое воспроизводство в указанных общественных организациях проявлялось только как тенденция. Наряду с нею действовала и тенденция к расширенному воспроизводству. Она проявлялась и на микро- и на макроуровнях, т.е. и в пределах отдельного крестьянского хозяйства, что заметно при рассмотрении его на больших временных отрезках, и на уровне страны при внутренней колонизации, расселении ее жителей, при завоеваниях новых территорий. Все это существовало и в России<sup>55</sup>. Вопреки усвоенной догматике чутье исследователя привело Нечкину к реалистическому представлению о развитии феодальных отношений в России, что, как будет показано ниже, не было оценено современниками.

Седьмая причина отсталости России выпала из опубликованной стенограммы, нет ее и в подлиннике. Видимо, какую-то оплошность допустила стенографистка, и эту оплошность не заметили публикаторы, а может быть, и сама докладчица допустила нечаянный пропуск. Утраченный фрагмент в какой-то мере восстанавливается по тезисам выступления Нечкиной, сохранившимся в ее архивном фонде<sup>56</sup>. В тезисах эта причина представлена как польско-шведская интервенция в начале XVII в. Российское государство образовалось до сложения нации и единого рынка, писала Нечкина, пережило экономический кризис, поэтому путь развития его был очень труден: “Удар интервентов пришелся в особо трудный и ответственный момент развития молодого, еще не окрепшего русского централизованного государства”<sup>57</sup>.



Думается, что автор доклада драматизировал историческую ситуацию. Не только Россия в XVII в. пережила вражеское нашествие. В этом столетии в Европе разыгралась Тридцатилетняя война, не коснувшаяся нашей страны, но серьезно затронувшая ряд других: как известно, страшно опустошена была Германия. Кроме того, вряд ли Российское государство в начале XVII в. было таким уж “молодым” и “неокрепшим”. Действительно, внутри него не было экономического единства. Но уже сложился соответствующий новым потребностям государственный аппарат в результате реформ Избранной Рады. Показателем внутренней крепости общества и государства была проявившаяся в XVI в. агрессивность (захват Казанского и Астраханского ханств, попытка завоевания Прибалтики). Экономический кризис, вызванный политикой Ивана IV, был преодолен если не полностью, то в значительной мере при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Показателем этого была, в частности, успешная война со Швецией и возвращение территорий, потерянных Иваном IV. К началу XVII в. Российское государство существовало уже около ста лет, если брать в качестве его рождения конец XV – начало XVI в., когда в правление Ивана III были достигнуты решающие успехи в объединении страны. К рубежу XVI и XVII вв. стало возникать и какое-то экономическое единство, как это показано в работе Бахрушина о русском рынке в XVI в.<sup>58</sup> Так что Смута, взятая в целом, а не только интервенция, привела к “великому московскому разорению”, но по своим последствиям она не идет ни в какое сравнение с нашествием монголо-татар.

Восьмая причина отсталости России – “отсутствие моря и континентальное положение страны. Море – великий ускоритель исторического процесса”<sup>59</sup>. Но Нечкина имела в виду не только отдаленность Руси – России от морей. Мысль ее развивалась и далее: “При наличии огромного широкого равнинного пространства, чрезвычайно затрудненных сухопутных дорог, чрезвычайной трудности сообщения центров между собою – это обстоятельство не могло не сыграть своего тормозящего влияния в развитии России”<sup>60</sup>. По сути дела Нечкина повела речь о неблагоприятных географических условиях, не только подчеркивая роль морей, но и уделяя внимание другим обстоятельствам. Географические условия развития России были взяты автором доклада не во всей полноте: не было речи о качестве почв, обусловленной климатом величине вегетационного периода (обстоятельство чрезвычайной важности для земледельческой страны), среднегодовой норме осадков, периодичности урожайных и неурожайных сезонов и пр. Но и без этого все то, что высказала Нечкина, было очень важно. Позднейшие исследователи буквально повторили ту характеристику положения России, которую дала Нечкина<sup>61</sup>. Нечкина правильно почувствовала необходимость обращения к географическим условиям, без учета которых невозможно было достаточно глубоко понять важнейшие черты исторического процесса на территории Восточной Европы. Только действительно логичным и научно правильным было бы обращение к рассмотрению географических условий в самом начале обзора всех тех факторов развития России, которым было посвящено исследование Нечкиной. “Всякая

историография должна исходить из... природных основ и тех их видоизменений, которым они благодаря деятельности людей подвергаются в ходе истории”, – такова аксиома марксизма, с позиций которого Нечкина и пыталась решить избранную проблему<sup>62</sup>.

Девятой причиной отсталости России она выдвинула “активное сопротивление западноевропейских государств росту могущества России”<sup>63</sup>. Это обстоятельство совпадало с тем, что говорила М.В. Нечкина, раскрывая седьмую причину отсталости России – с польско-шведской интервенцией. Здесь Нечкина указывала на “тормозящее значение Ливонского ордена и Литвы”, что и дает основание для объединения указанных факторов развития России воедино. Кроме того, Нечкина отметила “тормозящее воздействие в эпоху капиталистического развития мира...” Нечкина полагала, что перед Англией уже в XVIII в. стояла проблема «удержать за собою роль “мастерской мира”, снабжать промышленными изделиями Европу, тормозя самостоятельное развитие других государств»<sup>64</sup>. Думается, что и здесь Милица Васильевна драматизировала ситуацию. Весьма сомнительно, чтобы перед Англией уже в XVIII в. встала проблема торгово-промышленного соперничества с Россией. Англия в это время еще не стала мастерской мира, в конце указанного столетия она только переживала промышленный переворот, который, собственно, и стал основной предпосылкой для превращения ее в такую мастерскую. Россия же, которая в ту пору вывозила не промышленные изделия, а сырье, уже по этой причине никак не могла соперничать с Англией; тем более, что последняя была ее торговым партнером. Поскольку Россия вмешивалась в решение восточного вопроса, постольку она и становилась соперником Англии. Торговые же интересы были здесь ни при чем. Россия, наоборот, была заинтересована в торговле с Англией, что показала неудача ее “подключения” к системе континентальной блокады.

Десятую и одиннадцатую причины Нечкина решила соединить, назвав их причинами производными, не имеющими самостоятельного значения. Это – “отсутствие в России революционной буржуазии” и “позднее развитие в России класса пролетариата”<sup>65</sup>. Думается, в этом пункте своей работы Нечкина погрешила против логики. Ее доклад отвечал на вопрос: почему Россия позже других стран вступила на путь капиталистического развития? Но ведь развитие пролетариата и буржуазии и есть проявление капиталистического развития. Это скорее следствие, чем причина.

В завершение своего доклада Нечкина немного коснулась проблемы преодоления отсталости, показала те силы, которые помогали эту отсталость ликвидировать. Эта часть выступления оставляет впечатление известной дани не исследовательского, а идеологического порядка. Здесь должна была звучать оптимистическая нота о перспективах развития России – СССР, скрапывавшая впечатление об отсталости и других темных сторонах российского прошлого.

Итак, в работе Нечкиной было проведено широкое сопоставление исторических путей стран Западной Европы и России в плане выявления причин, по которым Россия задержалась на пути к индустриально-

му обществу. В целом само направление рассуждений историка носило на себе печать традиции. В российской общественной и исторической мысли XIX–XX вв. было принято сопоставлять свою страну с передовыми странами Запада еще с конца XV – начала XVI в., с появления теории “Москва – Третий Рим”. В советской исторической науке эта традиция была закреплена в силу того, что марксизм как социологическая теория сформировался на основе обобщения западноевропейского исторического материала. Хотя в России уже в XIX в. шли исследования восточных обществ, сравнивать свою страну со странами Востока (абсолютным большинством человечества) не было принято, что, конечно же, обедняло науку и сужало ее познавательные возможности. Кроме того, в ходе сравнительного анализа Западной Европа воспринималась как фактически некая нерасчлененная целостность, без разделения на регионы с разными вариантами и темпами развития. И эта сторона традиции тоже отпечаталась на докладе Нечкиной.

Поскольку Нечкина начала свое исследование с глубокой древности, то ее доклад не только отвечал на вопрос о причинах позднего перехода России к буржуазному строю общественных отношений, но и освещал особенности истории нашей страны. Содержание работы, таким образом, было гораздо шире, чем заявлял автор ее названием.

Теоретическая база, опираясь на которую, Нечкина решала избранную проблему, не составляла единой теории, как полагала исследовательница. Вряд ли можно согласиться с существованием внутри марксизма особого учения о темпах исторического развития. Но это не значит, что те отдельные суждения основоположников марксизма, которые собрала Нечкина, лишены интереса и не направляют исследовательскую мысль. Беда была в том, что это идейное наследие было богаче и глубже, чем его представлял доклад Нечкиной. И ценность того научного багажа, который содержался в отечественных трудах дореволюционных историков (“буржуазных” или, страшнее того, “дворянских”, а также “меньшевистских”), была также выше, чем это казалось Нечкиной и ее современникам. Использование всего этого идейного богатства могло бы дать гораздо больше пищи для размышлений и плодотворных выводов.

Главные соображения Нечкиной о темпах исторического развития России, о чертах своеобразия ее истории страдали, как и вся обществоведческая мысль того времени, упрощенным пониманием экономического детерминизма, боязнью географизма, преувеличением роли “надстроечных” элементов. Обстановка, в которой работала Нечкина, лишала мысль историка должной смелости, приковывала ее к спасительной цитате из сочинений марксистского авторитета.

Как было показано выше, в размышлениях Нечкиной об условиях развития России были и сильные и слабые стороны. Но поскольку перед нами первая в советской историографии попытка широкого осмысления истории России в плане выявления причин длительности существования средневекового общества на Руси, постольку нет никаких оснований предъявлять к автору повышенные требования. Многие Нечкина отметила верно. Позже историки во многом шли по пути детализа-

ция ее наблюдений, правда, чаще всего не зная, что они уже высказаны Нечкиной еще в 1941 г.

Вернемся в этот роковой для историка год. После прочтения доклада должен был решиться важнейший вопрос: как научное сообщество встретило сформулированные в нем идеи?

Обсуждение доклада Нечкиной в Институте истории носило вполне академический характер. Оно позволило высказаться по общим проблемам отечественной истории ряду известных советских историков, видных специалистов в своей области.

В.К. Яцунский сказал, что в докладе не была проведена периодизация истории России: “С моей точки зрения, надлежало, рассуждая исторически, сравнивать Россию с другими странами по историческим этапам... При таком историческом рассмотрении вопрос был бы поставлен конкретно по каждому определенному периоду, было бы ясно, где Россия отстала и где она эту отсталость нагоняла”<sup>66</sup>. Он высказывал опасение относительно возможных выводов о “каком-то особом своеобразии исторического процесса именно России” и предлагал сравнивать Россию “не с той или иной ведущей страной, а с определенным комплексом стран как на западе Европы, так и на Востоке” европейского континента<sup>67</sup>. В выступлении Яцунский проводил сопоставление России с другими странами по линии развития производительных сил, констатируя возрастающее различие.

К.В. Базилевич справедливо отметил некоторую абстрактность в осуждении каждой из указанных Нечкиной причин. Он советовал отделить главные причины отсталости России от второстепенных. Базилевич настаивал на том, что истоки отсталости России нужно искать не во внешних обстоятельствах (татарское завоевание, близость или отдаленность от морских побережий), а во внутренних причинах, связанных с “распределением населения, с площадями, занимаемыми им”<sup>68</sup>. Таким образом, Базилевич очень разумно указал на тот фактор развития России, который Нечкина совершенно игнорировала – фактор демографический. В основе рассуждений Базилевича лежала идея о роли разделения труда в истории России. Отставание ее началось, по его мнению, с XII–XIII вв. “В Западной Европе уже складывается, развивается общественное разделение труда и складываются элементы товарного обращения, которые затем превращаются в товарное хозяйство. В России же в данный период этого не было. XII–XIII вв. – это уже то время, когда города выступают в борьбу с феодалами, ничего подобного в русских городах нет...” – говорил Базилевич<sup>69</sup>. Таким образом, Базилевич подчеркивал значение тех условий, о которых писали Миллюков (плотность населения, условия для разделения труда), Плеханов и Троцкий (роль городов, товарно-денежных отношений). Реалистическая мысль исследователя не могла не натолкнуться на эти верно подмеченные обстоятельства.

Базилевич советовал Нечкиной усилить внимание к социально-экономическим явлениям, в частности, к процессам, разлагавшим натуральное хозяйство. “Ведь это есть в сущности вопрос о развитии капитализма, который отдельными своими элементами уходит, разумеется,

очень и очень далеко”, – говорил Константин Васильевич и далее цитировал высказывание Ленина относительно связи вопроса о капитализме с вопросом о развитии внутреннего рынка<sup>70</sup>. В духе не особенно глубокого понимания вопросов политической экономии марксизма историк устанавливал слишком жесткую связь между рынком и капитализмом. Рынок мог обслуживать разные типы хозяйств.

А.В. Арциховский настаивал на том, что отставание Руси началось с эпохи монголо-татарского ига. Киевская Русь, по его мнению, “находилась на среднем уровне Европы, и кое в чем этот уровень превосходила”<sup>71</sup>.

Б.Б. Кафенгауз заявил, что в докладе Нечкиной “ставится вопрос о своеобразии русского исторического процесса”, что, по его мнению, было недопустимо. “Так ставить вопрос это значит, в сущности говоря, отказаться от того, что сделано на протяжении последних 10 лет в области исторической науки, когда каждая крупная работа, наоборот, заставляет нас сближать русский исторический процесс с западным”, – заявил он<sup>72</sup>.

З.Р. Неудлы поставил вопрос об отсталости народной массы: “Феодальная система удержалась так долго потому, что народ России был отсталым”. Корни этой отсталости он видел в слабом развитии городов<sup>72</sup>. Нужно признать, что постановка вопроса о состоянии общества, с которым выступил чешский историк, была очень интересна и нетрадиционна для советской науки той поры. Обычно историки взваливали вину за отсталость России на царское правительство при рассмотрении социально-экономического развития России, культурного развития страны и пр. Правительство было, по мнению исследователей, реакционным, крепостническим. Народ же, по определению, был носителем прогрессивных устремлений.

Вчитываясь в стенограмму выступлений участников дискуссии, нельзя не прийти к выводу о том, что каждый из них мог бы сказать о себе словами Кафенгауза: “Я не считаю возможным противопоставить Вашей концепции, Вашему объяснению уже готовое другое объяснение поставленного Вами вопроса”<sup>74</sup>. Развитие советской науки привело историков к эмпиризму. Обращение и рассмотрение общих, концептуальных вопросов, творчество и научная смелость в этой области были блокированы усвоенными догмами упрощенного и перетолкованного марксизма, обязательными к употреблению. Пожалуй, не методологический идейный монизм, а стандартизация и шаблонность были господствовавшими чертами в теоретическом мышлении историков. Значительное количество выступавших говорило об одном и том же – о поиске ответа на вопрос, поставленный Нечкиной, в сфере экономики: “Нужно в первую очередь заняться изучением экономики, состояния ремесла в городах” (Я.Я. Зутис), “надо обратить внимание на слабость развития городов, т.е. на слабость развития, медленность темпов общественного разделения труда” (Е.А. Мороховец, Н.Л. Рубинштейн, К.В. Базилевич)<sup>75</sup>. Экономизм мышления, идея всеохватывающего экономического детерминизма казались по-настоящему марксистскими, и с этой безопасной в политико-идеологическом отношении позиции только и можно было спокойно вести исследование. Таким образом, в

процессе дискуссии были высказаны привычные для советской историографии идеи и главным образом – отрицание своеобразия русского исторического процесса. Кроме того, утверждался экономический подход к осмыслению темы. Историки недооценили содержание работы Нечкиной. Позитивных и оригинальных соображений было предложено ими очень немного.

К сожалению, обнаружена только стенограмма одного дня заседаний. Всего же прения по докладу Нечкиной длились три дня. С поправкой на это обстоятельство и нужно воспринимать сделанные нами выводы. Общая картина была богаче.

Обсуждение доклада Нечкиной на этом не было исчерпано. Как вспоминала Панкратова: “Я дала распоряжение, чтобы стенограмму (доклада. – А.Д.) послали в ЦК партии”<sup>76</sup>. Там же, в ЦК, оказалась и стенограмма обсуждения работы Нечкиной. Тот и другой тексты были внимательно прочитаны скорее всего не один раз и не одним человеком. На полях и в тексте стенограммы имеются пометки красным, зеленым и синим карандашами. Это подчеркивания частей текста, линии, опоясывающие несколько строк, вертикальные черты на полях вдоль обративших на себя внимание частей текста, знак “нота бене”, линии со стрелками на концах, вероятно, указывающих на противоречие в тексте, короткие фразы – замечания.

Волнистой линией на полях отмечена фраза Нечкиной о том, что начало разложения феодализма и развития капиталистического уклада относится ко второй половине XVIII в. Видимо, читатели стенограммы, не обладая достаточной осведомленностью в области истории, знакомилась с выводами советской науки. Такой же линией отмечена и мысль автора о том, что главным тормозом в развитии России были устаревшие феодально-крепостнические отношения и крепостническая политика правительства. Здесь не было ничего дискуссионного или критического, и пометки на полях выражали согласие и принятие к сведению мыслей автора.

В начале той части, в которой Нечкина рассматривала одну за другой причины отсталости России, был поставлен знак “нота бене”. Именно эта часть и была важна для читателей из ЦК. В нескольких местах были подчеркнуты строки той части текста, где Нечкина рассуждала о влиянии античной культуры на Русь. Слова “более слабое, чем на Западе, усвоение античной культуры” были отмечены опоясывающей линией, а слово “культура” дополнительно подчеркнуто.

Говоря о второй причине отсталости России – “разрушении производительных сил Руси нападениями кочевников”, Нечкина отмечала, что и “Западная Европа подвергалась многократным набегам и опустошениям. Вспомним норманнов, венгров, тех же половцев, печенегов для развития Византии”, – говорила она<sup>77</sup>. Красный карандаш читателя из ЦК партии подчеркнул эти две фразы – о Руси и Западной Европе, отметил каждую из них вертикальными линиями на полях вдоль текста и там же провел еще одну линию, концы которой со стрелками упирались своими остриями в эти две фразы. “Историк делает неисторическое сравнение”, – было отмечено читателем.

Вопрос о неучастии Руси в крестовых походах был отмечен синим карандашом: начертан знак “нота бене”. Красным карандашом была сделана приписка: “Крестовые походы – сами результат глубоких экономических причин”<sup>78</sup>. К сожалению, эти две фразы – единственные среди маргинальных заметок. Именно в них содержится наиболее ясная информация об отношении читателей к содержанию работы Нечкиной. В одном случае сделано резко критическое замечание, в другом более спокойное возражение.

Наблюдения над остальными пометками в тексте и на полях показывают, что читатели отмечали формулировки причин отсталости России, выделяя узловые части текста, подчеркивали отдельные замечания Нечкиной: “эпоха Грозного не дает нам никаких моментов первоначального накопления капитала” или “Россия развивалась на широкой равнине, слабо заселенной, при наличии огромного количества человеческих масс, еще не тронутых феодально-крепостническими отношениями”, “довольно длительно действующее положительное значение самодержавия в нашей стране” и т.п. Отмечена цитированная Нечкиной фраза Ленина из работы “Социализм и война”<sup>79</sup>. Эти пометки в тексте указывали на важные мысли, и отмечал ценность материала. В них незаметно чего-то критического, отрицающего смысл выдвигаемых идей. Видимо, материал доклада не дал авторам этих пометок основания для значительных возражений.

Если воспринимать пометки разными карандашами (синим, зеленым, красным) как следы разных людей, то нужно сделать следующий вывод: двое читателей (синий и зеленый карандаши) отнеслись к содержанию доклада более или менее спокойно, обладатель красного карандаша – с долей критицизма, со склонностью отпускать острые замечания (“историк делает неисторическое сравнение”).

Обращаясь к стенограмме выступлений в прениях, работники аппарата ЦК партии подчеркнули синим карандашом фразу К.В. Базилиевича о том, что “Милица Васильевна сознательно уклоняется от того, чтобы в этом списке (причин отсталости России. – А.Д.) выделить основные, главные причины хотя бы, конечно, на определенных этапах исторического развития, от побочных и второстепенных”<sup>80</sup>. Слова “выделить основные, главные причины” были очерчены опоясывающей линией. Далее были подчеркнуты слова “некоторая абстрактность” в освещении каждой из названных автором доклада причин. Далее в выступлении Базилиевича была подчеркнута фраза, выражавшая сомнение в существовании расширенного воспроизводства как проявления “обязательного закона развития общественно-экономической формации, даже такой застойной... как феодальная”<sup>81</sup>. Читатель отмечал то, что давало пищу для более критического осмысления доклада Нечкиной.

Видимо, очень важным в глазах читателя стенограммы было замечание Б.Б. Кафенгауза, которое в стенограмме подчеркнуто синим карандашом, а рядом поставлен знак “нота бене” (вообще, обладатель синего карандаша был склонен ставить знак “нота бене” и делать пометы в тексте опоясывающей линией). В этой части своего выступления Кафенгауз говорил: “Мне кажется, что если бы мы согласились с поста-

новкой вопроса Милицей Васильевной, то, в сущности говоря, мы бы вернулись к очень старому спору, .. уже давно оставленному в освещении этого вопроса. Надо прямо признать, что, когда слушаешь Ваш доклад, то возникает вопрос, раз Россия – страна, которая отставала на протяжении столетий, то вместе с тем ставится вопрос о своеобразии русского исторического процесса. Таким образом, Вы возвращаете нас... к вопросу о полном своеобразии русского исторического процесса от передовых, по крайней мере, западноевропейских стран”<sup>82</sup>. Кафенгауз бросил увесистый упрек, имевший прямое отношение к марксистской методологии в ее тогдашней интерпретации. Самая мысль об особенностях того или иного национального исторического процесса могла быть взята под подозрение, идея его своеобразия была просто крамольна: в глазах советских историков, современников Нечкиной, она не могла претендовать на статус научной, марксистской. Именно это и приковало к себе внимание читателя из аппарата ЦК, что повлекло затем немало последствий для автора.

Другой читатель, обладатель красного карандаша, с обидой обвел последние два слова в такой фразе З. Неедлы: “Здесь много говорили о Западной Европе. Я – европеец...” На полях было написано: “Выходит, все остальные азиаты”<sup>83</sup>. Неедлы хотел сказать, что он – выходец из Чехии, такой же христианской страны, и обладавшей культурой того же облика, что и страны Западной Европы. В понимании марксистов (интернационалистов) из аппарата ЦК наименование “азиат” было оскорбительным, причем оскорбление, как можно предположить, относилось к жителям СССР и к ним, читателям текста стенограммы. Ниже красной вертикальной чертой и синим знаком “нота бене” обоими читателями была отмечена часть выступления Неедлы, в которой он говорил об отсталости народной массы не только в России, но и до определенной степени в Польше, Словакии, Венгрии<sup>84</sup>. Неедлы намечал страны более или менее однотипного развития, не столько по качественным характеристикам, сколько по скорости продвижения к индустриальному обществу. По сути дела, историк предвосхищал идеи, которые были высказаны много позже<sup>85</sup>. Указанные авторы относили названные Неедлы страны ко второму эшелону мирового капитализма. Что по этому поводу думали работники аппарата ЦК партии – сказать трудно.

Ознакомление с выступлениями историков дало работникам аппарата ЦК партии уже более серьезные по своему значению критические замечания как в адрес Нечкиной, так и по поводу выступлений в прениях других историков. Видимо, по мере чтения стенограммы критическое отношение к работе Нечкиной нарастало.

17 апреля 1941 г. Е.М. Ярославский и Д.А. Поликарпов составили докладную записку секретарям ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву, А.А. Жданову и Г.М. Маленкову. Она называлась “О положении дел в Институте истории Академии наук СССР”<sup>86</sup>.

В ней излагались краткие сведения об Институте истории – о его организации в 1937 г., структуре, кадрах. Главное содержание записки было посвящено критике работы Института с суровым выводом: “В целях



наведения большевистского порядка в Институте истории Академии наук СССР необходимо укрепить руководство Институтом”<sup>87</sup>.

Около трети всего текста заняло описание доклада Нечкиной и дискуссии, развернувшейся по его поводу. Вероятно, в докладе и дискуссии и содержался главный криминал идейно-политического порядка. “Вместо действительной научно-исследовательской работы Институт истории занялся бесплодными, подчас вредными дискуссиями. Примером такой дискуссии является обсуждение доклада Нечкиной”, – писали авторы “Докладной записки”<sup>88</sup>. Далее в “Записке” говорилось: “Уже из тезисов доклада, представленных Нечкиной, было видно, что она стоит на антимарксистских позициях в этом вопросе. Вопрос о том, почему Россия позднее других стран вступила на путь капиталистического развития, т. Нечкина подменила другим вопросом – о причинах отсталости России, причем отсталость эту Нечкина изобразила как абсолютную, исконную... Нечкина фактически доказывала полное своеобразие исторического развития России, происходившего будто бы изолированно от общеевропейской цивилизации. В числе причин, обусловивших отсталость России, Нечкина выдвинула такие надуманные антинаучные “причины”, как слабое влияние античной и арабской культуры, неучастие России в крестовых походах и мировом дележе колоний. Нечкина утверждала также, что “расширенное воспроизводство – обязательный закон развития феодализма”, тем самым выступая против общеизвестного указания В.И. Ленина по этому поводу”<sup>89</sup>. Нужно отметить, что критическое отношение к выступлению Нечкиной стало не просто резким, а значительно более резким, чем об этом говорят маргиналии на стенограмме доклада. В чем заключалась причина этого?

Со дня прочтения доклада до составления “Записки” Ярославского и Поликарпова прошло почти два месяца. Это вполне достаточное время для того, чтобы с текстом стенограммы познакомился более или менее широкий круг людей в аппарате ЦК партии. Судя по тому, что докладная записка цитировала замечания Кафенгауза (“ставится вопрос о своеобразии русского исторического процесса”) и Базилевича (“у меня вызывает сомнение, когда Вы устанавливаете такое положение, что расширенное воспроизводство – обязательный закон развития общественно-экономической формации даже такой застойной ... как феодальная”)<sup>90</sup>, можно сказать, что авторы этой записки внимательно читали стенограмму и доклада, и его обсуждения, почерпнув из последнего аргументы для критики Нечкиной. В “Докладной записке” особо было отмечено выступление Неудлы: “клеветническая речь по отношению к русскому народу”. Можно предположить, что с основным содержанием доклада был ознакомлен Сталин. Его собственная мысль о том, что Россию били за отсталость, самая мысль об отсталости России, уместная при мобилизации сил народа на выполнение задач первых пятилеток, в предвоенной обстановке 1941 г. была нехотата. Сталин воспринимал свое выступление как конъюнктурное. В 1941 г. о нем уже не нужно было вспоминать. Нечкина же восприняла эту мысль как марксистскую догматику, верную на все времена.

Об изменении политико-идеологической линии в этом отношении свидетельствует письмо Панкратовой, отправленное в ЦК партии в мае 1944 г. Анна Михайловна писала в нем, в частности, следующее: «Инструктор Управления пропаганды тов. Охотников предложил снять из передовой статьи уже сверстанного номера “Исторического журнала” цитату товарища Сталина об отсталости России. Когда редактор журнала Б.В. Волин обратился за разъяснением к тов. Охотникову, а затем к заместителю заведующего отделом печати тов. Морозову, оба этих товарища заявили, что сейчас о прошлой отсталости России нечего распространяться»<sup>91</sup>.

Поэтому Сталину и не мог понравиться доклад Нечкиной. Развивая сделанное выше предположение, можно сказать, что Сталин дал распоряжение трем секретарям ЦК Андрееву, Жданову и Маленкову ознакомиться с положением дел в Институте истории, в связи с чем и была составлена “Записка” Ярославским и Поликарповым. Таким образом, сведения о докладе Нечкиной достигли уровня секретарей ЦК партии. По всей вероятности, с вершины этой партийной инстанции в систему Академии наук были даны соответствующие указания.

24 и 26 апреля 1941 г. состоялось объединенное заседание Бюро отделения истории и философии и дирекции Института истории Академии наук СССР. Здесь должно было состояться рассмотрение вопроса о докладе Нечкиной<sup>92</sup>. Открывая это заседание, академик А.М. Деборин сказал: «Настоящее объединенное заседание... создано для заслушивания доклада руководителя сектора истории XIX в. А.М. Панкратовой о результатах дискуссии по докладу т. Нечкиной “Почему Россия позже других стран вступила на путь капиталистического развития”. Нам придется после заслушивания доклада и прений принять какое-либо решение, то есть дать оценку как доклада т. Нечкиной, так и тех прений, которые имели место, в особенности некоторых выступлений, которые носили антимарксистский характер и не встретили отпора на самой дискуссии. Вторая сторона вопроса – политическая сторона. Нам необходимо... проявить больше политической бдительности... Мы не позаботились о том, чтобы своевременно проработать тезисы, чтобы своевременно вскрыть те ошибки, которые (в тезисах. – А.Д.) имеются»<sup>93</sup>. Вступительное слово Деборина не предвещало для автора доклада ничего хорошего.

Оценка доклада и последовавших за ним прений Деборину уже была ясна: она уже была сформулирована в аппарате ЦК партии. Не исключено, что Деборина познакомили с докладной запиской Ярославского и Поликарпова. Исходя из полученных “сверху” указаний, Деборин должен был подвергнуть осуждению и Нечкину, и Панкратову, и руководство Института. Ход всей этой процедуры был ему ясен. Предстояла игра по определенным правилам с известным заранее итогом.

Рассказывая об организации выступления Нечкиной в секторе и прениях по ее докладу, Панкратова должна была защитить сектор и себя как его руководителя, сформулировав более или менее критический взгляд на работу Нечкиной. Она помнила о критических статьях в стенгазете Института, с которыми выступили после дискуссии в ее секторе

секретарь партбюро Института С.Д. Петропавловский и заместитель директора А.Д. Удальцов, вероятно, знала и о реакции на доклад в аппарате ЦК. Вместе с тем она и не должна была совершенно опорочить работу Нечкиной, ведь нельзя же было сказать, что она поставила в качестве предмета обсуждения антимарксистский доклад. Кроме того, Анна Михайловна, насколько это в настоящее время можно понять, была порядочным человеком и “сдавать” Нечкину не собиралась. Кроме всего прочего их сближало то, что обе они “на заре марксистской юности” были ученицами М.Н. Покровского, стали “красными профессорами” и долгие годы боролись с буржуазной наукой за подлинную науку, за марксизм.

Панкратова рассказала историю постановки доклада Нечкиной в план работы сектора. И, ссылаясь на самый сильный аргумент – мнение коллектива, в данном случае участников прений, – Анна Михайловна подчеркнула: “Все до одного человека отмечали, что Милица Васильевна хорошо сделала, что наконец выступила с материалом на тему, которая давно должна была быть поставлена”<sup>94</sup>. Далее необходимо было показать свою оценку работы Нечкиной: “Этот доклад носил в большой мере характер схематической постановки ряда отдельных проблем. Это была самая серьезная ошибка в постановке доклада. Все говорили, что доклад нельзя признать марксистским с этой точки зрения”<sup>95</sup>. Что ж, разве доклад, охватывающий огромный исторический период – в тысячу лет, мог быть не схематическим? Разве марксизм можно было отождествлять только с эмпирией, а концептуальные, общие построения выпадали из марксистских рамок? Возможно, Панкратова хотела сказать несколько иное (учтем, что мы имеем дело не с точной письменной речью ученого, а с речью устной с характерными для нее приблизительностью, эмоциональностью). Скорее она имела в виду отвлеченность, некую “абстрактность в постановке каждой причины”, как это назвал Базилевич. Но и в таком случае мы имеем дело с концептуальностью, неотъемлемой чертой исторической науки. Добавим к этому, что в языке той поры, в новоязе ученого мира, термин “марксистский” был тождествен термину “научный”. Таким образом, Нечкину обвиняли в ненаучности ее доклада. Вот что хотела довести до сознания собравшихся Панкратова.

Далее она говорила: “Милица Васильевна метод сравнительного исторического освещения взяла также не в марксистском направлении. Она несколько сбивалась на путь исторических аналогий и иллюстраций, давая историческое развитие России в сравнении с другими странами... Это сравнение с другими странами носило неисторический, неконкретный характер”<sup>96</sup>. Анна Михайловна почему-то отрицательно отнеслась к историческим аналогиям. А ведь именно аналогия (соответствие, сходство, подобие) и лежит в основе сравнительно-исторического метода. На основе выявления аналогичных (социальных) явлений и процессов построена марксистская теория развития общества. Иллюстрацией же пользуется историк в том случае, если он не может в силу тех или иных причин (в данном случае из-за ограниченности во времени) выстроить систему аргументов. Понятно, что в устном выступлении та-

кого широкого содержания, как доклад Нечкиной, без иллюстраций было не обойтись.

Наконец, Панкратова затронула в докладе Нечкиной место, самое уязвимое с точки зрения историков и политиков из ЦК партии: “Из ее изложения получалось так, что эта отсталость была действительно истинной исторической отсталостью”<sup>97</sup>. Обойти молчанием этот упрек, который предъявляли Нечкиной чуть ли не со всех сторон, Панкратова не могла. Адресуя его Нечкиной, она отмежевывалась от идеи своеобразия российского исторического процесса.

В целом выступление Анны Михайловны было выдержано в спокойном академическом тоне, без политических ярлыков и резкостей с идеологической подкладкой. Ее критике доклада нельзя признать глубокой, меткой. Да Панкратовой было и не до анализа: она выстраивала систему защиты.

За выступлением Панкратовой последовала дискуссия. Большинство выступавших в ней отметили, что в докладе Нечкиной не было представлено основной причины отсталости России, что Нечкина дала “механический набор” разных причин, осветила их как равноценные и в конечном счете сбилась на “эклектическую постановку вопроса” (Деборин, Петропавловский, Ловецкий, Черномордик, Караколов, Войтинский). Нечкину критиковали за то, что доклад не был построен на основе конкретно-исторического материала (Панкратова, Караколов, Удальцов, Войтинский). Непонятен для участников заседания был тезис о крестовых походах (Деборин, Удальцов). Нечкина, по мнению участников заседания, спутала причины и следствия в тезисе об отсутствии в России буржуазии и позднем складывании рабочего класса (Панкратова, Деборин, Удальцов), приписала феодальному обществу нетипичное для него расширенное воспроизводство (Панкратова, Ловецкий), слабо показала роль народных масс – борцов против отсталости (Петропавловский), допустила “смещение позиций базиса и надстройки” (Караколов), недостаточно показала влияние на отставание России идеологии и политики (Караколов), ошибочно выдвинула такую причину отставания России, как слабое влияние культуры античного мира (Удальцов, Деборин), представила союз рабочих и крестьян – особенностью России, а большевизм – как течение, выросшее исключительно на русской основе (Петропавловский)... Критические оценки и высказывания, естественно, преобладали в выступлениях участников дискуссии или, вернее, коллективного осуждения Нечкиной.

Некоторые из них пытались подсказать верный подход к решению поставленной проблемы, сообщить о своих соображениях по поводу отсталости России. Практически же сходились на том, что основная причина отсталости России имела экономический характер (Деборин, Петропавловский, Ловецкий, Черномордик, Караколов, Войтинский). Ее предлагали искать в диалектике производительных сил и производственных отношений. Главный тормоз для развития России заключался в патриархальных отношениях (Петропавловский, Удальцов, Деборин). Киевская Русь была оценена как одно из передовых государств (Петропавловский, Деборин), а начало отставания Руси было отнесено к поре

татаро-монгольского ига (Черномордик, Удальцов). Очень осторожно и достойно выступил директор Института истории Б.Д. Греков. Его позиция была строго академичной: “вопрос надо решать”<sup>98</sup>. Никакой критики в адрес Нечкиной он не высказал.

Нужно сказать, что порой выступавшие излагали интересные мысли. Так, оценивая татаро-монгольское иго, С.И. Черномордик отметил: “Мы имеем в таком-то периоде начало отставания, .. (нельзя. – А.Д.) затем с меркой этого отставания подходить ко всем остальным этапам. Таким образом, все отдельные отставания превратились бы у нас в одно крупное отставание. ..Мы не можем сказать, что была одна причина, которая с самого начала и до самого конца являлась основной причиной этого отставания страны. Отставание России в эпоху татарского нашествия не было таким отставанием, которое и определило все отставание России до самого последнего момента. Оно было преодолено, и оно было преодолено созданием централизованного государства. Отставание России накануне падения самодержавия вызывалось совершенно другими причинами...”<sup>99</sup> К такой точке зрения был близок и Удальцов. К сожалению, эти интересные соображения не получили развития в советской науке.

Историки осторожно указывали на те или иные факторы, которые повлияли на пресловутое отставание. Это “затруднение возможности обмена” (Черномордик), “слабость развития городской жизни” (он же), “политика верхов” (Караколов). Об эпохе, наступившей после нашествия монголо-татар и установления ига, Деборин сказал следующее: “Задача, которая стояла тогда, заключалась в самообороне, необходимо было отстоять политическую независимость страны. Это тоже имеет громадное значение. Громадное значение имеет также гипертрофия развития государства, государственного аппарата и т.д. Все эти факторы определили на несколько столетий специфический характер в истории России, несмотря на общие закономерности”<sup>100</sup>. Таким образом, во время второго обсуждения доклада Нечкиной историки ошущью, может быть несколько умозрительно, порой гипотетически находили более или менее разумные соображения, пригодные для решения проблемы.

В ходе выступлений еще настойчивее были провозглашены экономический подход к теме, осмысление материала с точки зрения соотношения и взаимодействия производительных сил и производственных отношений, базиса и надстройки. Правда, эти методологические рекомендации носили декларативный характер и не были по-настоящему связаны с эмпирическим материалом. Это была скорее присяга на верность марксизму. Соображения носили характер общих пожеланий, что, конечно, не продвигало изучение темы. Характерно было и то, что никто не обратился к опыту дореволюционной науки, хотя, по сути дела, мысль участников дискуссии вращалась в кругу более или менее традиционных для российской историографии идей: важное значение проблемы обороны Российского государства, влияние татар на историю страны, слабость русского города и пр. Известный нигилизм к дореволюционному наследию – немарксистскому, а, значит, не особенно ценному – ослаблял позиции участников ученого собрания.

Заседание вынесло резолюцию об итогах дискуссии в Институте истории по докладу Нечкиной. Она носила остро критический характер. “Тезисы и доклад проф. Нечкиной, трактующие механистически и не по-марксистски вопрос... не были подвергнуты достаточно развернутой критике и не получили должной оценки”, – говорилось в резолюции. Она указывала на “теоретическое отставание и неумение некоторых научных работников применить метод исторического материализма в разработке серьезных исторических вопросов”<sup>101</sup>. Из резолюции выясняется, что предполагалось в соответствии с решением Бюро отделения истории и философии Академии наук в марте 1941 г. заслушать доклад Нечкиной на заседании Отделения. Но, видимо, уже в конце февраля и в марте обстановка стеснилась, могли последовать указания “сверху” о том, чтобы не спешить с постановкой доклада. ЦК изучал положение в Институте истории. И только в конце апреля доклад состоялся в более узкой аудитории, чем это ранее планировалось. Видимо, было решено, что нечего давать трибуну для немарксистских выступлений, а церемония наказания могла пройти и в сравнительно небольшом кругу научных работников.

Еще резче, чем Бюро отделения, сформулировало свою оценку доклада Нечкиной партбюро Института: “Тезисы и доклад профессора Нечкиной носили немарксистский, эклектический характер (нагромождение различных исторических ссылок) и содержали ряд грубых политических ошибок (неправильная трактовка вопросов: о происхождении большевизма, о причинах контрреволюционности русской буржуазии, о союзе пролетариата и трудового крестьянства)”<sup>102</sup>. Неискушенный читатель, знакомясь с текстом постановления партбюро, и не зная работы Нечкиной, решил бы, что она делала доклад по истории России в XX в. Партбюро хотело увидеть политические ошибки, но в той древности, о которой говорила Нечкина, усмотреть их было бы затруднительно. Поэтому внимание членов партийного бюро было сконцентрировано на концовке доклада, в которой автор лишь слегка касался тем из истории предреволюционной России. Из отдельных высказываний Нечкиной, не определявших основного содержания ее доклада, был сконструирован политический криминал. Досталось и участникам обсуждения доклада: “Дискуссия по этому вопросу прошла на низком теоретическом уровне и не дала резкой критики доклада и неправильных выступлений в прениях (проф. Неудлы, Пичета, Бахрушин)”<sup>103</sup>.

Понятно, что такие оценки отбивали у историков всякую охоту браться за сложную и, как оказалось, скользкую в политическом отношении тему. Позже, в июне 1941 г., на заседании сектора истории СССР до XIX в. историки вспоминали доклад Нечкиной. Возглавляющий тогда этот сектор В.И. Лебедев сказал: “Дискуссия, которая была проведена по докладу М.В. Нечкиной, обнаружила, что мы к ней были недостаточно подготовлены”<sup>104</sup>. “Вспомните, – говорил В.И. Шунков, – такую неудачную попытку, как попытку М.В. Нечкиной, разрешить вопрос о нашей отсталости”<sup>105</sup>. “Мы... уже имеем... опыт с докладом Милицы Васильевны, – вторил ему Бахрушин. – Надо сказать, что уже априори можно было видеть, что из этого доклада ничего не выйдет, потому что

такую большую проблему разрешить без предварительной большой подготовки и разработки отдельных ее вопросов, мне по крайней мере так предоставлялось все время, невозможно”<sup>106</sup>. Эпизод с работой Нечкиной надолго запомнился как “неудачная попытка”.

В конце весны – начале лета 1941 г. Милица Васильевна Нечкина переживала трудные дни. 26 мая она написала письмо Ярославскому с просьбой принять ее и выслушать объяснения по поводу доклада. “С этим делом связан ряд недоразумений, о которых я хочу Вам рассказать. Я до сих пор не знаю, в чем именно меня обвиняют и каково правильное решение того вопроса, который я решила неправильно. Я нахожусь в тяжелом положении и хочу найти из него правильный выход, поэтому разговор с Вами жизненно необходим для меня”, – писала Нечкина<sup>107</sup>.

5 июня Ярославский на листке служебного бланка сделал такую запись: “Принял т. Нечкину. Она настаивает на пересмотре решения партбюро, вынесенного в ее отсутствие, и решения Отделения общественных наук, которое она считает необоснованным. Я посоветовал ей обратиться в Управление пр[опаган]ды к тов. Александрову. Она написала записку тов. Жданову; так как она считает, что ЦК был введен в заблуждение направленной стенограммой, то я посоветовал ей информировать тов. Жданова. Лично я считаю ее доклад немарксистским, о чем я ей и сказал, но шельмовать ее нет оснований. Винават больше Институт истории АН, поставивший без достат[очной] подготовки такой доклад”<sup>108</sup>. Ярославский не ограничился беседой с Нечкиной. Видимо, под впечатлением разговора он дал распоряжение: «Достать мне из редакции “Историка-марксиста” подписанный тов. Нечкиной текст ее статьи (переработка доклада)»<sup>109</sup>. Вероятно, после выступления Нечкиной с докладом и его обсуждения в Институте истории вопрос о публикации работы в журнале “Большевик” отпал, и Нечкина, переделав прежний текст, отнесла его в редакцию научного журнала. Там рукопись так и лежала без движения. Публиковать ее уже никто не собирался. Ярославский решил только глубже познакомиться с сутью дела. Уж поскольку разговор с Нечкиной состоялся, нужно было как опытному человеку застраховать себя на случай дальнейшего развития событий, связанных со злосчастным докладом. Отсюда родилась и цитированная выше запись с четким обозначением позиции Ярославского.

Сознание Нечкиной было постоянно заполнено мыслями и переживаниями о происходившей с ней тягостной историей. Положение обострялось тем обстоятельством, что был арестован брат мужа – нарком земледелия Я. Яковлев. На следующий же день после разговора с Ярославским Нечкина решила послать ему письмо: “Разрешите мне в дополнение к бывшему между нами разговору процитировать мои тезисы в части, касающейся вопроса о так называемой “исконной отсталости”<sup>110</sup>. Видимо, разговор Ярославского с Нечкиной вращался вокруг обвинения Нечкиной в том, что она представила Россию исконно отсталой страной. Нечкиной хотелось добиться ясности. В то время как ее оппоненты из партбюро тяготели к политическим определениям, ярлыкам, хлестким характеристикам, мысль Нечкиной работала в области

научно точных формулировок, внимательного отношения к тексту, уважительного отношения к исследовательскому труду, понимая его сложности. Она и ее оппоненты находились как бы в разных измерениях. Нечкина этого не понимала и хваталась за спасительные цитаты из собственных тезисов: из тезиса 4-го (первый вариант): «Понятие “абсолютной” или “исконной” отсталости является нелепостью (стр. 2)». Из тезиса 3-го (дополненный текст): «Понятие “абсолютной” или “исконной” отсталости является нелепостью; оно нередко используется во враждебной марксизму литературе для “обоснования” национально-колониального угнетения в капиталистической системе (стр. I 2-го варианта)». Сделав эту ссылку, она заключала: «Таким образом, положение об “исконной” отсталости не только органически чуждо всему моему докладу по существу, всему его духу..., но нелепость его и политическая вредность были даже оговорены мною в особых тезисах. Поэтому это чудовищное обвинение должно отпасть как не соответствующее действительности»<sup>111</sup>.

Тогда же, 6 июня, Нечкина послала письмо Жданову<sup>112</sup>. Поскольку ее послание начинается со слов “Простите, что вновь (!) беспокою Вас письмом по поводу моего доклада”<sup>113</sup>, надо думать, что перед нами по крайней мере второе письмо Нечкиной Жданову. Об этом говорит и запись Ярославского (“она написала записку тов. Жданову”). Первое письмо Нечкиной Жданову, к сожалению, не найдено. Кроме того, поскольку Нечкина пересказывала всю историю своих злоключений, думается, что Жданов не ответил ей на первое письмо.

“Я долго и усердно работала над сложной и неисследованной темой... Поработав два года, я решила поделиться с товарищами своими предварительными выводами, чтобы обсудить их, учесть замечания и поправки, двигаться в работе дальше. Я прочла доклад в секторе того Института, сотрудником которого являюсь. Что в этом плохого, неправильного? Как будто, ничего. Правильно ли то, что я взялась за новую и сложную тему? Я не переоцениваю своих сил, но думаю, что поступила правильно. Думаю, что при наличии неизбежных в первой попытке ошибок, неясностей, недоработки, я все же дала отдельные элементы для правильного решения вопроса”<sup>114</sup>, – так писала Нечкина Жданову, вспоминая прошедшее и передавая его довольно объективно. Она только несколько усиливала мотив предварительности своей работы, ведь на самом деле статья уже была готова для опубликования в журнале “Большевик”. Эта предварительность, которую подчеркивала Нечкина, должна была указать на то, что ее выводы еще не таковы по своей зрелости, чтобы она отстаивала их.

“Что же произошло дальше?.. Я... подверглась строгому осуждению и политической дискредитации. Вопрос о моем докладе рассмотрело Бюро отделения истории и философии Академии наук и вынесло осуждающую меня резолюцию. Мотивировка в этой резолюции на чисто отсутствует: доклад оценен отрицательно, но за что – неизвестно... Ошибка в добросовестной научной работе подлежит критике, а не каре. Между тем, резолюция Бюро отказывает мне именно в критике”<sup>115</sup>. Далее Нечкина делала удивительно меткий вывод: “Мои ошибки неясны для



самого Отделения, как неясен и правильный ответ на вопрос, поставленный в моем докладе”.

Нечкина поведала о дальнейших своих действиях после обсуждения ее тезисов в Бюро отделения: «Я подала тогда заявление с просьбой дополнить резолюцию, дать мотивировку моего осуждения. Ответа не получила ни от Отделения, ни от Института. Но после моего запроса на стене в Институте вывесили выдержки из постановления партбюро Института. Я с величайшим удивлением узнала из них, что придерживаюсь ошибочных мнений по таким важным вопросам марксизма-ленинизма как союз пролетариата с крестьянством, как происхождение большевизма... Все это наскоро придумано, чтобы “мотивировать” осуждение.

Если бы я была членом партии, то партбюро не судило бы о моих политических взглядах заочно. Но я – беспартийная – и никто не вызвал меня»<sup>116</sup>. В том, что все было придумано (что-то наскоро, что-то с течением времени), Нечкина была абсолютно права. Шла политическая игра по поводу того, что в науке высказаны ненужные в настоящий политический момент идеи. Разыгрывались соответствующие сценарии. Присутствие Нечкиной на заседании партбюро Института могло бы испортить игровую деятельность, поставить под удар сценарий.

В заключение своего письма Нечкина обратилась к Жданову с просьбой о защите, просила об отмене немотивированных и заочно вынесенных решений. Ничего сделано не было. А через неполных две недели после того как письмо было написано, грянула война, которая заставила оставить все, связанное с обсуждением доклада Милицы Васильевны.

Доклад Нечкиной и его обсуждение были важным эпизодом в истории советской исторической науки. Нечкина поставила вопрос об особенностях исторического пути России, поставила в форме размышлений над причинами отставания России от стран Запада, в обрамлении из сталинских цитат и прочих неперемненных идеологических аксессуаров, которые не должны заслонять от исследователя главного из сделанного Нечкиной. В это время как раз была завершена и высказана в учебниках новая концепция отечественной истории, которая сменила собою концепцию М.Н. Покровского. В этой новой концепции развивались идеи о тождестве (пусть не абсолютном, но очень близком) российской истории и истории западноевропейских стран. Иными словами, концепция подчеркивала общее, а требовалось показать еще и особенное, и только в таком случае наука выполнила бы свою познавательную роль. Нечкина, восполняя этот пробел, тем самым расширяла познавательные возможности сформулированной концепции. В этом состояла потребность науки, интерес ее дальнейшего развития. Но исследование особенностей России совершенно не нужно было власти. Интересы науки и интересы власти разошлись и, как всегда в таких случаях, пострадала наука.

Прошло долгое время, прежде чем кто-либо из историков осмелился вернуться к вопросам, поставленным Нечкиной. И только в 1972 г. в журнале “Новая и новейшая история” была опубликована статья Н.М. Дружинина “Особенности генезиса капитализма в России в срав-

нении со странами Западной Европы и США”<sup>117</sup>. Правда, автор не разрабатывал тему так широко, как Нечкина, он ограничил свое исследование XIV (для России – XV) – серединой XIX в. Но все же появление такой статьи продолжало ту исследовательскую линию, которая была намечена в докладе Нечкиной. Дата опубликования труда Дружинина позволяет сделать вывод: разгромная оценка доклада Милицы Васильевны Нечкиной задержала движение научной мысли на три десятка лет.

- 1 М.В. Нечкина о причинах отсталости России // Исторический архив. 1993. № 2. С. 210–216; № 3. С. 176–201. См. также: *Цамутали А.Н.* Историческая наука и Великая Отечественная война 1941–1945 гг. // Ленинградская наука в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1995. С. 33–34.
- 2 Докладная записка Е.М. Ярославского и Д.А. Поликарпова секретарям ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву, А.А. Жданову и Г.М. Маленкову “О положении дел в Институте истории Академии наук СССР”; Резолюция Бюро отделения истории и философии АН СССР и руководства Института истории АН СССР об итогах дискуссии в Институте истории АН СССР по докладу проф. М.В. Нечкиной; письмо М.В. Нечкиной А.А. Жданову // Исторический архив. 1993. № 3. С. 201–207. Публикацию подготовили А.Н. Артизов и О.В. Наумов.
- 3 Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1941). Д. 16. Л. 23. Стенограмма заседания Бюро отделения истории и философии и дирекции Института истории АН СССР.
- 4 См.: *Артизов А.Н.* В угоду взглядам вождя / Конкурс 1936 г. на учебник по истории СССР // Кентавр. 1991. Окт.–дек. С. 125–135.
- 5 Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1941). Д. 16. Л. 23.
- 6 Там же. Л. 23, 24.
- 7 Там же. Л. 6–7.
- 8 Там же. Л. 75, 76, 77, 78.
- 9 Там же. Л. 12.
- 10 Там же. Л. 52.
- 11 Исторический архив. № 2. С. 210.
- 12 Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1941). Д. 16. Л. 19.
- 13 Исторический архив. № 3. С. 204.
- 14 Там же. № 2. С. 210.
- 15 См.: Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1941). Д. 16.
- 16 *Сталин И.В.* Вопросы ленинизма. М., 1935. С. 445.
- 17 Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1941). Д. 16. Л. 27.
- 18 Исторический архив. № 2. С. 211.
- 19 Там же.
- 20 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1938. С. 5.
- 21 Исторический архив. № 2. С. 212; № 3. С. 177.
- 22 Там же. № 2. С. 212.
- 23 Там же. С. 213.
- 24 Там же.
- 25 Там же. С. 214.
- 26 Там же.
- 27 Насколько тоньше и глубже основоположники марксизма понимали, например, роль рек, видно из работы Ф. Энгельса “Начало конца Австрии”. Энгельс писал: “Буржуазная цивилизация распространялась вдоль морских берегов и по течению больших рек. Земли же, лежащие далеко от моря, и особенно неплодородные и труднопроходимые горные местности, оставались убежищем варварства и феодализма. Это варварство сосредоточивалось особенно в южногерманских и южнославянских странах, отдаленных от моря. На долю этих... стран выпало к тому же счастье принадлежать к бассейну единственной реакционной реки Европы. Дунай не только не открывал им пути к цивилизации, но, наоборот, связывал их с областью значительно более грубого варварства” (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 4. С. 472).

- 28 Исторический архив. № 2. С. 214.
- 29 Там же. № 3. С. 177.
- 30 Там же. С. 181.
- 31 Там же.
- 32 Там же. С. 182.
- 33 Л.В. Черепнин метко указал на такую черту в мышлении и построениях Павлова-Сильванского как слабость концептуального синтеза. Черепнин отмечал «пристальный интерес Павлова-Сильванского к чертам сходства отдельных «институтов» или «учреждений» без должного охвата общих линий исторического процесса...» В другом месте он писал: «Обращая внимание на определенные элементы феодализма, историк не всегда в должной мере учитывал их взаимодействие в ходе общественного развития» / *Черепнин Л.В.* Вопросы методологии исторического исследования. Теоретические проблемы истории феодализма. Сб. ст. М., 1981. С. 130, 132.
- 34 *Рожков Н.А.* Русская история в сравнительно-историческом освещении. М., 1919–1927. Т. I–XII. Черепнин отмечал, что «несмотря на некоторую искусственность ряда построений и сопоставлений Рожкова, его труд представлял для своего времени интересный опыт применения сравнительного метода на широком полотно многовековой истории человечества» (*Черепнин Л.В.* Вопросы методологии исторического исследования. С. 134).
- 35 Исторический архив. № 3. С. 184.
- 36 Там же. С. 185.
- 37 Там же. С. 186.
- 38 Там же. С. 186, 187.
- 39 Там же. С. 188.
- 40 См.: *Тихомиров М.Н.* Древнерусские города. М., 1956. С. 5, 52.
- 41 Там же. С. 189.
- 42 *Каргалов В.В.* Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. Феодальная Русь и кочевники. М., 1967. С. 57.
- 43 Там же. С. 58.
- 44 Там же. С. 60.
- 45 Исторический архив. № 3. С. 186.
- 46 Там же. С. 183.
- 47 *Плеханов Г.В.* История русской общественной мысли. Книга первая. М.; Л., 1925. С. 47, 49.
- 48 Там же. С. 53, 57.
- 49 *Кобрин В.Б.* Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.). М., 1985. С. 39.
- 50 Исторический архив. № 3. С. 193.
- 51 Там же.
- 52 Там же. С. 194.
- 53 Там же. С. 196.
- 54 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 100 (прим.).
- 55 Современные исследователи говорят даже о «теории докапиталистического расширенного воспроизводства». (См.: *Онищук С.В.* Исторические типы общественного воспроизводства: политэкономия мирового исторического процесса. М., 1995. С. 17). Гносеологический исток неверного восприятия феодального общественного воспроизводства указанный автор убедительно представляет следующим образом: «До сих пор при рассмотрении докапиталистических аграрных структур исследователи обращали внимание в основном на характер отношений собственности. При этом оставались сравнительно малоизученными тенденции интенсификации сельского хозяйства, производительных сил крестьянского хозяйства (Там же).
- 56 Архив РАН. Ф. М.В. Нечкиной (фонд номера пока не получил). Оп. 1. Д. 17.»
- 57 Там же. Л. 52.
- 58 *Бахрушин С.В.* Научные труды. М., 1952. Т. 1.
- 59 Исторический архив. № 3. С. 196.
- 60 Там же.
- 61 См.: например: *Дружинин Н.М.* Избранные труды. Социально-экономическая история России. М., 1987. С. 331; Власть и реформы. От самодержавия к советской России. СПб., 1996. С. 49.

- 62 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 19.
- 63 Исторический архив. № 3. С. 196.
- 64 Там же. С. 197.
- 65 Там же.
- 66 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 25. Л. 178.
- 67 Там же. Л. 178, 178 об.
- 68 Там же. Л. 202.
- 69 Там же. Л. 201, 201 об.
- 70 Там же. Л. 203.
- 71 Там же. Л. 214.
- 72 Там же. Л. 219.
- 73 Там же. Л. 228.
- 74 Там же. Л. 218.
- 75 Там же. Л. 207, 213.
- 76 Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1941). Д. 16. Л. 57.
- 77 Исторический архив. № 3. С. 189.
- 78 Там же.
- 79 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 26. С. 318.
- 81 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 25. Л. 197.
- 81 Там же. Л. 198.
- 82 Там же. Л. 219.
- 83 Там же. Л. 228.
- 84 Там же. Л. 230.
- 85 См.: *Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.К.* Революционная традиция в России. 1783–1883 гг. М., 1986. С. 15.
- 86 Исторический архив. № 3. С. 201–204.
- 87 Там же. С. 204.
- 88 Там же. С. 202.
- 89 Там же.
- 90 Там же.
- 91 РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 6. Д. 224. Л. 82.
- 92 Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1941). Д. 16. Л. 1–149. Стенограмма заседания.
- 93 Там же. Л. 1, 2.
- 94 Там же. Л. 13.
- 95 Там же.
- 96 Там же. Л. 13, 14.
- 97 Там же. Л. 14.
- 98 Там же. Л. 92.
- 90 Там же. Л. 86.
- 100 Там же. Л. 136.
- 101 Исторический архив. № 3. С. 204–205.
- 102 Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1941). Д. 16. Л. 147.
- 103 Там же.
- 104 Научный архив Института российской истории РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 939. Л. 130.
- 105 Там же. Л. 160.
- 106 Там же. Л. 172.
- 107 РЦХИДНИ. Ф. 89. Оп. 6. Д. 11. Л. 1.
- 108 Там же. Л. 8.
- 109 Там же. Л. 9.
- 110 Там же. Л. 2.
- 111 Там же. Л. 10.
- 112 Исторический архив. № 3. С. 205–207.
- 113 Там же. С. 205.
- 114 Там же. С. 205, 206.
- 115 Там же. С. 206.
- 116 Там же.
- 117 *Дружинин Н.М.* Избранные труды. Социально-экономическая история России. М., 1987. С. 320–350.

## ВСЕМИРНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ XX ВЕКА ГЛАЗАМИ АНГЛИЙСКОГО ИСТОРИКА

Объяснение современности, – писал Фернан Бродель, – есть сокровенная цель истории, глубинный ее мотив<sup>1</sup>. Ради достижения этой цели, продолжал он, история вступает во взаимодействие с другими дисциплинами, она делает это в поисках все новых и новых объектов изучения, все новых и новых тем, чтобы придать исторической реконструкции максимально целостный вид. Между тем сам Бродель не испытывал чрезмерного оптимизма в отношении результата, возможно, из-за того, что предвидел усложнение исследовательских процедур и вероятность методологической неразберихи.

Неиссякаемый поток исследований по современной истории (очень разных по своим достоинствам) как будто подтверждает обоснованность опасений Броделя о снижении их научного уровня в результате механического соединения несогласуемых научных подходов, псевдоноваторства в отборе познавательных средств, увлечения импровизационными фабулами. Культ избыточной спецификации при определении задач и методов исследования, проявившийся с полной силой в последние десятилетия, умножил ряды сторонников деконструкции каузальности, устаревания традиционной иерархии причины и следствия вплоть до отрицания (или взятия “под вопрос”) установленных исторических фактов. В широком смысле проявление данной тенденции к созданию ненормативной, нетрадиционной, “новой” историографии<sup>2</sup> есть следствие того, что мы живем в век перенасыщения информацией, чью ценность порой невозможно по достоинству оценить, не проделав дополнительного огромного труда по глубокой перепроверке базы данных. (Среди историков XX в. это выразилось прежде всего в пренебрежительном отношении к “старой” социальной истории как истории больших общностей и в повороте к изучению различных форм социализации на примере семьи, церковного прихода, университетского выпуска и т.д.)

Спору нет, – привлекая наше внимание к оставшимся в тени моментам и новым объектам исследования, ненормативная историография (или “постмодернизм” по современной терминологии) делает по своему полезное дело. В ходе острой идейно-политической полемики последних лет постмодернизм способствовал критической перепроверке многих укоренившихся сакрализованных глобальных марксистских, квазимарксистских или описательно-субъективистских построений. На его счет следует “записать” обоснованную критику представителей этих школ за недооценку истории повседневности, сложностей межэтнических и межконфессиональных отношений, истории ментальности, за игнорирование социокультурных и социобиологических факторов в развитии современных обществ и т.д.

Но наряду с этими положительными моментами с обретением постмодернизмом своего места в процессе приращения знаний о современ-

ной истории, он породил и изрядную энергию заблуждений. С постмодернизмом связан, в частности, всплеск редукционизма, который особенно разрушителен для воссоздания целостной картины эпохи, где структурообразующие элементы выходят далеко за рамки “индивидуального” и где историк не может рассчитывать на успех, замыкаясь на микроявлениях и процессах. Уже в одном только перечне родовых признаков постмодернизма, с которым выступил недавно в своей статье о постмодернизме голландский историк Ф. Анкерсмит, содержатся доказательства умаления реальности и научных представлений о ней. Это – превращение историографии в поле для импровизаций, в эстетическую игру, “дестабилизирование” науки, ее смещение относительно собственного центра, признание обратимости структур и категорий мышления<sup>3</sup>.

Постмодернизм присвоил себе патент на “конструирование нового чтения истории” или диагностику механизма истории. Как достигается, например, эффект всемирности, многомерно-объемное представление о глобальных процессах? Составлением хронологических таблиц-линий, “географически посаженных на ось времени” и использованием деревянной (можно из любого другого материала) линейки, с помощью которой проводится вертикальная прямая. Так, оказывается, вы можете видеть, “что делалось” в момент, скажем, прихода Рюрика или крещения Руси в Китае, Турции, Скандинавии, Персии, Италии, Египте и т.д. Остается только выяснить с помощью включения “механизма противоречий и разнотолков”, совместимы или несовместимы эти события. Но это все, пожалуй, мелочи. Оказывается, действуя по этим несложным правилам и продолжив логику рассуждений, можно прийти к “математически выверенному” выводу, что, во-первых, не было на Руси никакого татаро-монгольского ига; и, во-вторых, что распавшаяся советская империя – это остатки “монгольской орды”, военного государства славян и тюрков, целиком сориентированного на захваты, разбой и истребление соседей.

Чтобы не томить читателя в недоумении, скажем, что мы просто познакомили его с новым методом “высокоточного” моделирования всемирной истории, описанным в похвальной “оде” книги Носовского и Фоменко “Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности”<sup>4</sup>. Рецензия-панегирик напечатана была в “Литературной газете” от 30 окт. 1996 г. под заголовком “Как небесная механика отменила татаро-монгольское иго”. Простирая свой мысленный взор вплоть до “чеченского опыта” в хронике татаро-монгольской империи под названием Русь, автор рецензии дает понять, что исторически подкованным математикам, ликвидаторам старообрядцев по цеху Клио, использовавшим математическую логику и системный анализ, оказалось по плечу нащупать вектор смертельной угрозы, испокон веков “терроризировавшей Европу”. Нечего сомневаться – у нового метода найдется много последователей и продолжателей, возжелающих распространить его и на все последующие за древностью эпохи. Интересно спросить, что нас ждет после того, как законы небесной механики будут наложены на даты новейшей истории? В какую “самую

нужную” (кому?) сторону тогда будет пересмотрена история Европы и всех остальных континентов в эпоху после второй мировой войны. Ждать, возможно, осталось недолго, тем более что XX век перевернул последнюю страницу своей биографии, а человечество вступило в технотронный XXI век и новое тысячелетие, открывая широчайшее поле для воображения. Кстати, мы уже встречаемся с попыткой объяснить путь мировой цивилизации применительно к XX веку исключительно с позиций так называемой социоестественной истории (СЕИ), в центре которой находится взаимодействие этносов с природной средой. У этой концепции есть много сторонников, и среди них – преимущественно ученые, представляющие смежные истории дисциплины.

Постмодернизм многолик и изобретателен, его претензии дать обобщенную картину “трудных случаев” истории могут быть представлены в диапазоне от микро- до макроисторического варианта, от крайней индивидуализации до крайней абстракции. Применяя экспериментальную процедуру исследования, постмодернизм пытается найти определение глобальной макроисторической перспективы в предельно универсальной форме. Однако возьмем на себя смелость утверждать, что после не вполне удачных опытов поиска с помощью смысловой матрицы ключа к истории XX в. рядом западных ученых от Арнольда Тойнби до Поля Кеннеди и Фрэнсиса Фукуямы, создатели априорных схем самокритично, как правило, соглашались видеть в результатах своих трудов лишь рабочую гипотезу, в сущности, подготовительный этап в развитии взглядов на предмет исследования той неожиданной для пророков XIX в. трансформации, которую мир претерпел в XX в., так и не став политически неделимым и благоденствующим. Что же, это очень важно и полезно, тем более (тут нельзя не согласиться с известными французскими историками-теоретиками Г. Мишо и Э. Марком)<sup>5</sup> последняя треть XX в. по праву рассматривается в качестве общей критической точки как для эволюции пространственных масштабов Европы, Запада и всего мира, так и временных параметров.

Трудности, порожденные новой познавательной ситуацией, налицо, но как бы то ни было, чуть перелома обостряет, если воспользоваться словами В.О. Ключевского<sup>6</sup>, эстетическое, нравоучительное и автогностическое понимание и *применение* истории, хотя оно же предьявляет (как иногда может показаться) завышенные требования к оснащенности историка научным инструментарием – от методологии до лингвистической подготовки – к его способности вести наблюдения за динамичными процессами, анализируя их в планетарном диапазоне. Столь же важно и умение организовывать материал, находить в нем сквозные темы и доминанты циклически повторяющихся процессов, определять регистрируемую регулярность, которая служила бы основанием для типологических обобщений, а также причины системных кризисов и усиливающейся стохастичности в политике, ее изменчивость.

Неудивительно, что среди научных коллективов и отдельных ученых есть немного энтузиастов, готовых поднять “рекордный вес” – создать многомерную (соединяющую в себе нарратив и анализ сложных глубинных взаимосвязей) историю XX в. в сжатом изложении (в объе-

ме одного тома) от “рассвета” до “заката” прошлого столетия. Многие усилия носили, если можно так выразиться, “усеченный” характер, охватывая хронологически или проблемно лишь часть исследуемого пространства, лишь часть общей картины мира, имеющего множество измерений, но единого в своем реальном движении и изменении. Многие эксперименты вызвали к себе неприятие или формальное одобрение, отчасти потому, что системообразующим принципом имели, как правило, не строго продуманный план, не целостный замысел, а представляли собой сведенные под общим названием самостоятельные исследования, написанные к тому же разными “мэтрами” от истории, связанными своим пристрастием к той или иной субдисциплине – истории экономической, дипломатической, политической, социальной и т.д.<sup>7</sup>

На этом фоне действительно примечательным событием послужило появление на мировом книжном рынке 1980 г. сначала в качестве “пробного” издания фундаментального труда профессора Бирмингемского университета Дж. Гренвилла “Всемирная история XX века”<sup>8</sup>, а затем опубликованного в 1994 г. в переработанном и дополненном виде “эталонного образца”, сразу же завоевавшего доверие и признание у специалистов, многочисленного клана преподавателей и их учеников, всех почитателей истории. Мы имеем дело с редким примером, когда энциклопедически внушительный труд не утомляет, а будит желание к его углубленному штудированию. Вместе с тем необходимо сказать следующее. Несмотря на всю стилистическую доступность почти тысячестраничного, образцово организованного, богато иллюстрированного и прекрасно полиграфически выполненного издания, имеющего увлекательную фабулу (достоинство, столь редко встречающееся в научных трудах подобного рода, что об этом даже неловко как-то и говорить), знакомство с ним не является легким чтением.

Напротив, уже с первых страниц возникает ощущение эффекта приобщения к совместной с автором сложной аналитической работе по установлению внутренней связи между ведущими тенденциями в цивилизационном развитии XX в. и тем конкретным воплощением (в истории регионов, стран, народов и сообществ людей, событий и их главных участников), в котором они во всех своих вариациях (порой парадоксально сочетаемых) реализовались в материальной и духовной сферах. Надо сказать, что профессор Гренвилл с самых первых строк показал себя верным самой высокой требовательности, которую можно предъявить к историку-профессионалу, видящему в истории века не простое скопище фактов, не настольное справочное издание, а то, что подлежит научному осмыслению, пониманию и объяснению и что составляет сущностное содержание эпохи, ее внутренний нерв, антиномичность и непредсказуемость. XX век без этого не мыслим. Здесь очень уместно привести афоризм Л. Февра, сказавшего, что “не так уж сложно описать то, что видишь; куда сложнее увидеть то, что должен описывать”. Вот этой задаче *увидеть* внутреннюю суть и связь описываемых процессов и явлений протяженностью в целое столетие, их парадоксальность, понять механизмы, ими движущие и управляющие, подчинено



исследование профессора Гренвилла, плод многолетнего тяжкого труда и длительных раздумий. Их отличительная черта – системность при безусловном признании понимания глобальных процессов как единства (мировая целостность) многообразных тенденций, несводимых к однополярности (традиционно выраженной евроцентризмом или америкоцентризмом) или дихотомии.

Автор “Всемирной истории XX века” начинает с четко обозначенной “декларации о намерениях”: с выяснения теоретических предпосылок своего исследования и одновременно с постановки главных его задач. В коротком, но емком “Введении”, как бы продолжая заочную дискуссию, профессор Гренвилл очерчивает ведущую линию своего подхода. Он пишет: “Один способ написания всемирной истории – это сконцентрировать внимание на общих процессах, происходящих в мире повсеместно, описать действие глубинных сил истории – рост народонаселения и распространение грамотности, технологическая революция, объяснить, как XX век стал “веком масс”. Есть немало хороших книг, которые строятся именно на таком подходе. Но если мы забудем, что наш мир в XX веке стал веком наций, то в этом случае мы потеряем один из самых существенных мотивов исторических изменений нашего столетия” (С. XVII). Национальные границы, множеством причудливых капиллярных линий расчленяющих тело планеты, не превратились в условность, в культурно-историческое понятие, несмотря на всю космополитическую деятельность великих гуманистов и усилия интегралистов в Лиге Наций, ООН, НАТО, Европейском сообществе, множества наднациональных организаций и групп. Отнюдь нет. Международная торговля содействует развитию взаимозависимости наций, но сама эта взаимозависимость не является равноправной и сбалансированной. В ней воплощены отношения более сильных с менее сильными, вечно ведущих и вечно ведомых, Севера и Юга; она имеет две стороны – сотрудничества и соперничества. Золотой середины пока не найдено. Реакция на глобализацию – пример тому, а тяга к нахождению и развитию собственной идентичности многими народами ставит под сомнение концепцию общего пути.

Итак, снова вечный вопрос об общем и особенном, о многообразии выбора и его локальных возможностях. Профессор Гренвилл решает эту задачу, как видно из сказанного выше, сочетая (комбинируя) два среза – проблемный и страновой. Композиционно им найдено оптимальное решение. Весь труд разбит на 18 частей (больших глав) и 89 разделов (малых глав). Выделены доминанты в алгоритме всемирно-исторического процесса, линией разграничения которых служат пики (назовем это так) мощных волновых движений (приливы и отливы), развивающихся в первом приближении последовательно и синхронно по оси времени и в пространстве. В реальности они пересекаются, накладываются друг на друга при сохранении сущностного отличия благодаря особенностям “среды обитания” в рамках части света, континента, региона, страны, благодаря разнонаправленности внутренних импульсов, имеющих своим источником этнокультурные, экономические или геополитические особенности и интересы. Чтобы пояснить эту мысль,

приведем названия больших глав, составивших опорную конструкцию труда, его структуру:

I – Социальные изменения и межнациональные противоречия на Западе, 1900–1914.

II – Противодействие Китая и Японии господству Запада.

III – Великая война, революция и поиски стабильности.

IV – Продолжающийся мировой кризис, 1929–1939.

V – Вторая мировая война.

VI – Послевоенная Европа, 1945–1947.

VII – Соединенные Штаты и начало “холодной войны”, 1945–1948.

IX – Конец европейского господства на Ближнем Востоке, 1919–1980.

X – “Холодная война”: конфликт сверхдержав, 1948–1964.

XI – Восстановление Западной Европы в 1950-х и 1960-х годах.

XII – Кто освободит “третий мир”? 1954–1968.

XIII – Два лика Азии: после 1949.

XIV – Латинская Америка после 1945: нерешенные проблемы.

XV – Африка после 1945: конфликт и угроза голода.

XVI – Соединенные Штаты и Советский блок после 1963 г.: великая трансформация.

XVII – Западная Европа набирает силу: 1968 и далее.

XVIII – “Холодная война” и после нее.

Заголовки больших глав, естественно, не могут передать их содержание в полной мере. Так, в них слабо отражена “русская тема”, занимающая вполне подобающее ей место во многих (если не в большинстве) ключевых глав, включая первую и последнюю. Но дело, разумеется, не в дозировке и расположении материала, а в осмысленном включении его в контекст не абстрактной, а реальной Истории. Например, западный мир стал не только колыбелью высокой культуры, цивилизаций и демократий, но и зачинателем имперских завоеваний (амбиций), войн, кровавых революций, тоталитарных экспериментов (вплоть до фашизма и нацизма), попраiania международных правовых норм. Кто может сказать, прочтут ли поклонники логико-математической истории книгу профессора Гренвилла. Если бы они заставили себя проделать этот труд, то обнаружили бы, что роль России (ее Гренвилл безоговорочно относит к странам Запада) в мировой политике также никак не поддается привычной сегодня однозначной оценке (источник перманентно-военной угрозы, империя зла, полуварварская страна). По его мнению, в Европе накануне первой мировой войны Россия в мировых делах играла скорее стабилизирующую, гасящую военные страсти роль, а ее внешняя политика отличалась осторожностью (С. 58, 59). Не забывая о других мотивах, Гренвилл выделяет главный: только угнетающее чувство собственной слабости (“как это часто бывает”, замечает он) подтолкнуло Россию навстречу губительной “победоносной” войне с Японией, за что она жестоко поплатилась. Гренвилл убежден, что память о военных катастрофах 1905–1907 и 1914–1918 гг. в период предвоенного кризиса 1938–1939 гг. советское руководство было буквально одержимо идеей остаться в стороне от войны, не дать вовлечь страну

снова в мировой конфликт: он мог оказаться непосильным испытанием для неокрепшего здания социализма “в одной стране” (С. 190). Связь и логика последующих событий для него самоочевидны.

Прекрасный знаток истории дипломатии профессор Гренвилл по достоинству оценивает самоубийственный для мира в Европе накануне второй мировой войны сговор в Мюнхене. Стремление уберечь себя от смертельного риска, по его мнению, побудило Сталина после марта 1939 г. отбросить прочь лозунг “коллективной безопасности”, особого расположения к которому он, впрочем, никогда не питал. Итог “двойной политики подстраховки” – самообман длиною в два года и катастрофа июня 1941 г., которая Гренвилл называет “может быть, одним из самых потрясающих проявлений немощи со стороны непреклонного и жестокого диктатора” (С. 269). Мы только сейчас (да и то не до конца) в состоянии оценить тот шок, в котором пребывал мир в результате цепи последовавших за тем ошеломляющих событий, катастрофических по своему характеру и тесно связанных с человеческим фактором.

Показательно, что американский психоаналитик Д. Ранкур-Лафериер, написавший в конце 80-х годов интересное исследование о Сталине, также находит, что Сталин проглядел нападение Гитлера на СССР из-за самоослепления отождествлением себя с агрессором (давшим иллюзию безопасности), в подоснове которого лежало все то же чувство немощи и страха перед углованным ему судьбой испытанием<sup>10</sup>. Вместе с тем профессор Гренвилл полагает, что в реальной ситуации конца 30-х годов, полной непредсказуемых рисков и молниеносной смены “декораций” на европейской сцене, такая дипломатия далеко не всегда может оцениваться только под углом зрения нравственных качеств и психики Сталина. Рациональное объяснение ее мотивации он находит и в душевном смятении кремлевского вождя, и в желании добиться укрепления обороноспособности СССР любой ценой, увязанного с осуществлением отложенного в 1920 г. большевиками восстановления Российской империи. Гренвилл называет такой способ собиранием бывших “уделов” вновь в унитарном государстве “агрессией”, хотя в военно-стратегическом плане в конкретных условиях конца 30-х годов она, по его мнению, носила характер контрдействия с целью “предупреждения распространения германского господства в стратегически важном регионе, на границах Советского Союза” (С. 269).

“Русская тема” выступает во “Всемирной истории XX века” не просто как “выламывающийся” из общего контекста сюжет, где каждый фрагмент – сплетение драматических, а часто и трагических событий, судеб, конфликтов и потрясений, а скорее как воплощение неустойчивого неравновесного состояния всего мирового социума, подчиняющегося какой-то новой мир-системной гравитации с присущей ей быстрой сменой центров силы и тяготеющих к ним микрокосмосам. Но что лежит в основе этого неравновесного состояния, сделавшего XX век эпохой “войн и революций”, а Россию страной самых рискованных экспериментов, великих достижений и колоссальных, трагических потерь?

Удивительно (а может быть совсем наоборот), но трактовка переломного для России (и для всего мира) второго десятилетия XX в., по-

ставившего вопрос о глобальном системном кризисе, у Гренвилла звучна мысль, высказанной М.Я. Гефтером в ряде его последних статей: в истории России в это десятилетие наступил момент, когда все привычные традиционные скрепы, системные связи оказались ломки-ми до предела, и случай, переставший быть случаем, привел к молниеносному их развалу. По “принципу домино”. Итак, заражающий внешний мир своей энергетикой рынок России в неизвестность, последовавший за Октябрем 1917 г., был обусловлен не только работой тектонических сил как российского, так и нероссийского происхождения (война, системный кризис многонациональных империй, вторая промышленная революция и вызванная ею социальная бифуркация, бессилие политической элиты, утрата влияния традиционных ценностей и т.д.), но и он был вызван неувеличиваемым для поверхностного взгляда фактором. И Гефтер, и Гренвилл вслед за многими историками называют его – *отсталость* России (в экономическом и в культурно-автохтонном смысле), извечный груз ее нерешенных (“нерешаемых”) проблем. Порепороченная, и однако же не вмещавшаяся во всемирный ряд, – писал Гефтер, – Россия накануне Октября была не просто отставшей, а *осознающей* себя отставшей. Она оказалась “вне мирового движения – и этим осознанием, его остротой, его болью (и умственным складом этой боли!), вырывающаяся вперед. Куда? Открытый вопрос”<sup>11</sup>. С этого же *открытого* вопроса профессор Гренвилл начинает свою главу о России на пороге XX века – “крупнейшей западной” и одновременно “в современных терминах неразвитой стране, простирающейся от границ Германии и Австро-Венгрии через Среднюю Азию к берегам Тихого океана” (С. 53)<sup>12</sup>. Характерно, что этим же вопросом он завершает свой труд, повествуя о конце “холодной войны”, “бархатных революций” и распаде Советского Союза. Затруднительно сказать, было ли простой оговоркой (опечаткой?) употребление Гренвиллом термина “Советский Союз” в финальных размышлениях о шансах человечества оставить позади, миновать (с тем, чтобы уже не возвращаться) “самое кровавое столетие” в своей истории. Но, что несомненно, он полагает, что будущее страны и поныне остается загадкой, “одной из самых больших неопределенностей 90-х годов” (С. 931). Текущие события подтверждают достоверность этого вывода.

Вектор движения, получивший свой импульс от падения царизма, оказался и в самом деле настолько изменчивым, что и сегодня не каждый рискнет прочертить его траекторию, одновременно заглядывая за смысловой горизонт XX в. И все же Октябрь 1917 г. – “протуберанец” истории, пускай даже напрямую не связанный с “непреодолимым следствием всемирных законов товарного производства” (С. 44) или, по-другому, с “всеобщим кризисом капитализма” (С. 113). Вопреки своей утопичности в “формально экономическом смысле” он стал “архимедовым рычагом”, который “сдвинул с прежнего насыщенного места всех на свете”<sup>13</sup> или (по Гренвиллу) “изменил ход мировой истории” (С. 106).

Перед мысленным взором автора “Всемирной истории XX века” Россия *невозможностей* порывом низов, доведенных до отчаяния войной и бездарным правлением верхов<sup>14</sup>, обращается к (осуществляемому

в режиме жесточайшей централизации административно-командными методами) преодолению захлестнувшего ее хаоса, отсталости и вхождению в Мир, который оказался совсем непохожим на тот, который рисовали себе в разгар революции ее вожди, уповавшие на активную и действенную поддержку со стороны якобы непрерывно нищавшего и революционизировавшегося пролетариата на Западе, а тем более поддерживавшие ее массы, поверившие этим вождям. Однако, делает вывод Гренвилл, по мере того как вырисовывался крах надежд на скорую победу мировой революции, верх брала линия “реальной политики” в двух ее ипостасях – ленинской и сталинской. Коммунизм в России вместе с рулевыми у кормила власти менял не только личину, но и смысловое содержание. Однако профессор Гренвилл решительно возражает против приведения трансформации советской системы в конце 20-х – начале 30-х годов исключительно к борьбе в эпицентре власти, или, как он пишет, “к беспрецедентно циничному сталинскому интриганству в целях взять вверх над соперниками” (С. 183). Она отражала, по его мнению, прежде всего *своеобразие исторического момента* в целом, выражавшееся в переплетении императив национально-государственного развития советской страны и ее внешнеполитических интересов. Гренвилл называет три из них в качестве ключевых. Первый – задача преобразования (в кратчайшие сроки) преимущественно крестьянской страны в индустриальную державу, способную быть на равных с капиталистическим Западом и одновременно сохраняющую ориентацию на коммунистические цели, на опережающее остальной мир благополучие и социальную справедливость для всех. Второй – подготовка к отражению нападения со стороны капиталистического окружения, видевшего в Советском Союзе очень опасного противника. Третий – маневрирование с целью не дать себя втянуть во вторую мировую войну.

В решающий момент интервенция субъективного фактора привела к развитию ситуации в трагическом русле. Как представляется Гренвилл находит убедительное объяснение “самотермидоризации” революции и по сей день поражающей многих необъяснимым широкозахватным характером и “сверхпроводимостью” снизу доверху сталинских массовых репрессий и беззакония. Он пишет: “Неуверенность Сталина в его собственной способности удерживать в своих руках верховную власть перед лицом проблем, связанных с проведением политики, как ему представлялось, единственно возможной, является главным мотивом его убийственных чисток 30-х годов. Он отождествлял выживание коммунистического режима со своим собственным выживанием в качестве единоличного лидера. Он хотел, чтобы его считали непогрешимым, и ради этого он предъявил публике бесконечную череду вредителей, которые в ходе публичных судебных процессов признавались в своих преступлениях с тем, чтобы потом быть расстрелянными. Их признания в соучастии в заговорах, организованных иностранными государствами, были нужны для того, чтобы отенить масштабы страшной угрозы, перед лицом которой оказался Советский Союз и от которой он был спасен благодаря бдительности Сталина. В то же время нельзя понять сталинскую политику, если не учитывать реальные и

глубокие проблемы и возможности нахождения альтернативных решений, и если даже принять за данность, что Сталина никогда не покидала жажда власти, которую он готов был удерживать любой ценой, и в этом случае следует признать, что он был озабочен нахождением правильной политики” (С. 183, 184).

Может показаться, что с истинно британской вежливостью, хотя и не без насилия над собой, профессор Гренвилл как бы отпускает грехи тирану. В действительности, автор всего лишь следует своему правилу – рассматривать проблему не в свете абстрактных концепций в духе холизма, когда только добро противостоит только злу, а в реальном контексте сложного смыслового ряда, присутщего живой истории. Именно поэтому Сталин на страницах книги предстает не только как могильщик революционного дела, неотделимого от красивой сказки, или творец “Большого террора” и многих других преступлений, но и как политик, по-своему прагматичный, следующий принципу приоритета национального перед интернациональным, осуществивший ударную модернизацию страны, не считаясь с жертвами в преддверии великих испытаний новой мировой войны. Тезис почти хрестоматийный для западной исторической и политической литературы, но с которым у нас многим предстоит только еще свыкнуться. Человеческая цена инициированного сверху стремительного рывка страны в индустриальном развитии, в области просвещения, науки, культуры, военном строительстве была непомерно высока, большие категории населения страны обречались на жизнь впроголодь и организованный аскетизм, но все эти преобразования превратили Советский Союз “из отсталой страны в государство; способное подорвать на заключительном этапе Второй мировой войны военную мощь Германии и одолеть ее” (С. 184). Мобилизационное общество сыграло свою историческую роль в глобальном масштабе, но оно же несло в себе и нараставшие неразрешимые противоречия, грозящие взрывом в будущем.

Итак, революция 1917 г. в экономическом и военно-техническом отношении в конечном счете поставила Россию вровень с ведущими европейскими державами, благодаря ей Россия догоняла XX век, век модернизации. Это потребовало неимоверных усилий и привело к огромным потерям, но, по твердому убеждению Гренвилла, эти исторические достижения нельзя перечеркнуть, ибо они сводили до минимума возможность повторения для России катастрофы в 1914–1917 гг. и одновременно делали превосходящими шансы союзников в 1941–1945 гг. в войне, когда над человечеством висела “самая мощная и варварская угроза”. Одного этого достаточно, считает он, чтобы оправдать присутствие Советского Союза в современном мире, в котором угроза тотальной войны превратилась в универсальное средство решения международных споров.

Не будет преувеличением сказать, что Гренвилл мысленно пытается выстроить цепь, связующую “революции сверху” 30-х годов с новой волной преобразований в России, ошеломивших и в силу известных причин разочаровавших мир в 80–90-х годах. Их неоднозначность не вызывает у него сомнений, он сознается и в неокончателности (что совер-

шенно естественно при анализе динамических процессов текущей истории) своих собственных суждений, однако “сравнительно” бескровный, мирный характер революционных, по сути дела, трансформаций в Советском Союзе и в странах Восточной Европы, входивших в зону влияния Москвы, требует, в его понимании, рассматривать их в качестве важного (и может быть ключевого) шага в направлении утверждения нового мирового порядка или, как принято теперь говорить, альтернативной цивилизации.

Привилегией и правом рецензента, занятого разбором исследования, устремленного в будущее, за мыслимую черту на оси прогнозируемых событий, является разумный скептицизм. И с этих позиций выводы Гренвилла в отношении того, чем обернулись реформы на постсоветском пространстве, могут показаться спорными, а кто-то даже усмотрит в них идеологический подтекст, но историк, подавленный реалиями самого кровавого в истории века, наверное, вправе искать опору в любом положительном опыте, даже если взгляд на вещи у тех, кто имел несчастье стать подопытным, может быть и совсем иным.

Гренвилл определенно не является сторонником концепции “Американского века”. Однако, по его мнению, поражающее своей стремительностью развитие США в эпоху, предшествующую первой мировой войне, привело сначала к накоплению, а затем высвобождению такого колоссального заряда созидательной творческой потенции, который позволил им (США) в кратчайший срок занять признанное всеми лидирующее место в числе великих держав. “Великая война” окончательно и бесповоротно утвердила лидерство Америки. С ним пришло право на максимальную свободу в выборе средств приложения своего влияния “там и тогда”, где и когда они это считают нужным. Вопрос, который ставит в связи с этим Гренвилл – где источник этой витальной силы Америки и многократного умножения ее ресурса развития. Он занимал многие головы, соответственно есть и различные объяснения. Можно бы в связи с этим воспользоваться рецептами модного постмодернистского историописания с его уходом от анализа объемного целого и концентрацией на фрагментах, осколках, позволяющей сообразно взглядам историка, его ощущениям приходить к неожиданным и даже парадоксальным выводам. История США в XX в. – такой объект исследования, который располагает к погружению, в частности, в культурную феноменологию или во что-то другое в противовес структурному детерминизму. Не нужно забывать, что такой великолепный знаток истории США как А. Шлезингер-младший, не чуждый объективизму, совсем неслучайно завершает свой классический труд “Циклы американской истории” главой “Демократия и лидерство”, в которой ясно и четко утверждает, что судьба демократии *целиком* зависит от достоинств ее руководителей. Этот вывод он считает верным “на все времена”<sup>15</sup>. Гренвилл, отдавая должное политической мудрости многих лидеров Америки, не разделяет подобных взглядов: для английского историка согласиться с апологией американского политического деятеля было бы верхом измены принципу критичности.

По классификации А. Шлезингера, Дж. Гренвилл, наверное, мог бы быть отнесенным к ряду детерминистов, многоликому и релевантному

по сущностным своим характеристикам. Но более всего к представлениям Гренвилла о “феномене Америки” может быть применен термин неоднозначности. Важнейшей же предпосылкой рывка вперед Нового Света к положению ведущей мировой державы (накануне первой мировой войны) был, по его мнению, динамичный рост населения в конце XIX – начала XX в. за счет притока новой волны иммигрантов из Европы. Чудо Америки сотворило племя искателей счастья, рыцарей личного успеха, изобретательных и рациональных. В них, по мнению Гренвилла, заключался могучий “фермент” роста. Тезис не новый, но хорошо совместимый с отнесением им демографического фактора к фундаментальным признакам XX в. Эти “новые” иммигранты, оседая в индустриальных центрах, дали гигантский толчок новым отраслям промышленности, содействуя накоплению капитала, экономическому росту, урбанизации, расширению потребительского рынка, внешнеторговой деятельности и изобретательству. Сожительство этнических групп в США и их взаимотерпимость, дающие сплав предприимчивости и способности к культурному взаимообогащению, по мнению Дж. Гренвилла, являются одновременно и источником жизнеспособности американской нации и ее вкладом в мировую цивилизацию.

Еще одним важным фактором динамичного развития США по пути опережающей модернизации стала последовательная борьба социальных сил за подлинный правопорядок в интересах большинства (а не горстки финансово-промышленных магнатов) и за социальную защищенность неимущих граждан. Укоренение широкого движения за прогрессивные реформы в начале XX в., его продолжение в период “нового курса” в 30-х годах, движения за гражданские права цветного населения и приведение всего социального законодательства к уровню современных требований после второй мировой войны, а также в ходе “негритянской революции” и “борьбы с бедностью” в 60–70-х годах определяли главный вектор развития гражданского общества в США на протяжении столетия. Обнаружившаяся глубина раскола общества и его публичное, открытое признание, давление разнообразных движений социального протеста плюс способность американских гражданских институтов и общественного мнения адекватно и своевременно реагировать на болевой синдром – вот что, по мнению Гренвилла, позволяло стране сохранять высокие темпы, преодолевать неизбежные трудности и избегать опасной конфронтации власти и народа. Активно выраженная позиция широкой общественности США создавала благоприятный фон для проведения прагматического (и в основе своего компромиссного) курса во внешней политике США, который всегда вне зависимости от доктринальных установок того или иного президента, его личных пристрастий и убеждений нес на себе печать миссионерства в духе “вильсонизма”.

Америка 90-х годов XX в., эпохи перехода к информационному обществу, не превратилась в земной рай, в Царство Божие. Экономическое и социально-политическое развитие самой могущественной державы на планете сталкивается с постоянно возникающими проблемами, порой остро конфликтного характера. Но ей не грозит духовный застой, само-



уничтожение самодовольством. При всем своем легендарном конформизме американское общество в целом в идейном смысле открыто вызовам времени. Оно способно проделывать “работу над ошибками”. Сравнительно скорая утрата влияния и престижа рейганомии, успех социально-экономической программы Б. Клинтона – лишь один из последних тому примеров. Победа консерватора Буша не является неоспоримой и не опровергает оценку общей тенденции. Портрет Америки в движении от заявки на мировое лидерство в начале века к сверхдержаве, экономическую конкуренцию которой могут составить только целые континенты в суммарном исчислении их ВВП и финансовых ресурсов, нарисованный профессором Дж. Гренвиллом, впечатляет не только достоверностью его главных составляющих, но и трезво критическим взглядом на соотношения достижений и неудач, взлетов и падений.

Холодная война в значительной мере способствовала этому восхождению США к положению ведущего центра силы в мире. Специально касаясь вопроса о ее генезисе (одна из самых активно дебатированных проблем послевоенной истории), Дж. Гренвилл исходит из постулата, удачнее всех сформулированного представителями так называемой “высокой историографии”, стремящейся преодолеть односторонность в трактовке событий и процессов, характерных для драматических первых послевоенных лет. Этот постулат гласит: попытки оценить степень вины и ответственности сторон бессмысленны и контрпродуктивны. В условиях послевоенного хаоса в международных отношениях, при наличии зияющих дыр в омертвевшей ткани мирового порядка, отсутствия доверия между вчерашними союзниками, поведение лидирующих держав – США и СССР – развивалось в режиме “вызов–ответ” или “действие–противодействие”. В этой “большой игре” с перетягиванием каната установить достоверно первопричину конфронтационности просто невозможно, так как она могла скрываться в глубоко внутренних для каждой страны корнях, соображениях геополитики и все еще сохраняющемся военно-блоковом мышлении государственных деятелей и целых народов. Профессор Гренвилл проиллюстрировал этот тезис историей появления атомного оружия, созданной вокруг него секретностью и стремления сторон не допустить решающего превосходства в силе. Удивительно, говорит он этим примером, если бы все стороны действовали в тех обстоятельствах иначе. Даже блокада Сталиным Западного Берлина в 1948 г., позволившая Западу форсировать создание Западного союза и НАТО, ничего, как представляется профессору Гренвиллу, по существу, не изменила. С ней или без нее отношения Запада и Советского Союза остались бы такими же напряженными (С. 492)<sup>16</sup>.

Гренвилл находит, что дальнейшее (после смерти Сталина) течение холодной войны (прерываемое короткими “передышками”) определялось во многом социально-психологическими причинами (глубокое взаимное недоверие), продолжающимся идеологическим противостоянием западных ценностей и “отрихованного” сталинизма, трудностями социокультурной интеграции в силу различия политических культур Запада и Востока (С. 504, 506). Но он верен себе. Авторская позиция содержит одновременно и тонкое понимание возникшей и труднопреодо-

лимою инерционности гонки ракетно-ядерных вооружений как эффективного (сейчас это признано всеми) средства сдерживания в разделенном мире. Вместе с тем обоюдная цель, преследуемая сторонами – достижение равновесия страха – сама по себе давала возможность (как это не может показаться парадоксальным) “всему остальному миру, стоящему за спиной двух сверхдержав, обрести уверенность, что здравый смысл взял верх и что идеологический фанатизм не способен уже низвергнуть человечество, как это было в 1939 г., в бездну невообразимых разрушений” (С. 506). В этом контексте Гренвилл рассматривает и Суэцкий кризис 1956 г., и интервенцию на Плайя Хирон в 1961 г., и кубинский ракетный кризис 1962 г. Советско-американской “детант” и восстановление американо-китайских контактов администрацией Никсона–Киссинджера в кульминационный момент войны во Вьетнаме засвидетельствовалишний раз, что “смягчение напряженности с Советским Союзом” вполне достижимо, а сверх того и общая “переориентация” американской внешней политики без ущерба для позиций США в мире (С. 811). По Гренвиллу, перестройке М. Горбачева принадлежит решающая роль в углублении этого процесса и в прекращении холодной войны.

История, в который раз прочертив причудливую траекторию, привела к созданию новой мировой системы – с Россией, но уже без Советского Союза. Символично, что это совпало, как и 100 лет назад, с новым всплеском национализма, национальных движений, национального сепаратизма, идейным кризисом. Заключительные разделы книги убедительно передают диалектику и внутренний нерв драматических перемен на рубеже XX и XXI столетий. Неделимость мира и взаимозависимость народов и государств осознается риторически всеми бесповоротно, однако национальный эгоизм тенью следует за “новым мышлением”, давая повод для вполне обоснованного пессимизма. Дж. Гренвилл выразил эту мысль в последних строках своего труда. Он пишет: “Мир вновь переживает переходное состояние трансформации, как и столетие назад в прошлом. Было бы глупо отрицать опасности, которые ждут его впереди, или преуменьшать неопределенность будущего. Однако возможность самосохранения мира и прогресс в течение ближайших десятилетий тем не менее представляются реальными, что и позволяет историку, объектом изучения которого является весь мир, закончить его повествование выражением надежды, что самый кровавый век в человеческой истории, возможно, скоро уйдет безвозвратно в прошлое” (С. 931).

Другие сквозные (и одновременно ведущие) темы многопланового труда профессора Дж. Гренвилла – такие как Запад и Восток, “третий мир”, западноевропейская реформация после 1945 г., судьбы “черного континента” и т.д., столь же тесно увязаны с глобальными процессами, как и “русский вопрос”. В то же время на его примере (если нам это удалось передать) Дж. Гренвилл показывает последовательное нарастание национально-культурной компоненты цивилизационного развития в XX в., идущего, как ни странно, рука об руку с совершенствованием и расширением коммуникационных систем, индустрии туризма, универса-

лизацией образования и науки, интенсификацией миграционных процессов и экономической интеграцией<sup>17</sup>. Не случайно, хронологически начало XX в. он связывает с 1871 г., когда было завершено объединение Германии, и одновременно с обострением межимпериалистических противоречий, точнее с выходом на мировую арену в 90-х годах молодых, нацеленных на занятие лидирующих позиций держав – Америки, Японии, Германии. Проекцию же этих процессов в конце XX в. Гренвилл видит в развитии вступивших на путь ускоренной модернизации ряда стран Азии и Латинской Америки и прежде всего постмаоистского Китая, Японии, Бразилии, которые в экономическом отношении, по его мнению, сегодня уже входят в число сверхдержав (С. 14, 641, 720).

И еще раз к дискуссии о модернизме и постмодернизме в современной историографии. Повторим, используя подходящую для этого случая метафору, что постмодернизм в историописании занимается по преимуществу не стволом дерева, не целым, а листвой, ее мельчайшими фрагментами независимо от более обширного контекста. Концептуально Дж. Гренвилл оспаривает постмодернистский анти-эссенциализм, снижающий познавательную ценность исторического знания. Структура работы подтверждает это соображение и не только акцентированием темы общего и особенного, внутренне логичного для исповедуемого Гренвиллом “фундаменталистского” подхода, но и расположением несущего главную теоретическую нагрузку раздела.

Заключения в томе нет, его функцию выполняет глава-пролог “Мир в XX веке”. Она представляет собой квинтэссенцию понимания Гренвиллом основных вопросов, поставленных историей, и дает, если можно так сказать, голографическое изображение процессов, составляющих в сплетении основное содержание эпохи, в главных ее ипостасях. Сделать это невероятно трудно, это понимает каждый, имея в виду меняющийся алгоритм планетарного развития, вовлечение в общий круговорот вчера еще статичных традиционных обществ и, напротив, переход в состояние застоя (временного или перманентного?) других, совсем недавно задававших тон и ритм общему движению. Наверное, у Дж. Гренвилла найдется немало критиков, и многие претензии (вполне оправданные) будут находиться в прямой связи с профессиональными интересами самих критиков, поскольку в большинстве своем они тяготеют либо к анализу отдельных тенденций в потоке глобальных изменений, либо к изучению региональных проблем. Нужно только помнить, что Дж. Гренвилл ставит перед собой задачу определения общезначимых доминантных линий и критических точек на оси исторического времени. Логическая система, построенная им, не безупречна, но с учетом условности любой умозрительной конструкции обладает одним важным качеством, которого так недостает многим другим – целью и самодостаточностью.

Гренвилл начинает с глобальных последствий скачка в процессе модернизации, случившегося на рубеже XIX–XX вв., создавшего новые формы “промышленного и политического конфликта”, раскалывавшего общество. Ему сопутствовало и появление ура-патриотизма, видевшего в мировой войне “возможность демонстрации мужественности, а

вовсе не катастрофу” (С. 2). Все это сочеталось и с реальными достижениями – расширением прав личности, социальных прав, социальной защищенности рядовых граждан на Западе со все более широким распространением западных моральных ценностей, демократических институтов. В фазу нового подъема и оформления в качестве неотъемлемой части современного структурированного гражданского общества вступили массовые движения – рабочее, этно-национальное, женское. Борьба за социальное равноправие, ограниченная в начале XX в. даже на Западе, еще почти не коснулась народы, находившиеся в колониальной или полуколониальной зависимости от Европы и США. Патерналистский характер имперской политики колонизаторов длительное время сдерживал высвобождение внутренних сил у народов Азии, Африки, Латинской Америки, лишь много позднее сделавших рывок для преодоления отсталости, материальной и культурной, и приобщения к благам цивилизации в режиме не только устойчивого, но и опережающего развития с опорой на собственные силы под флагом национального самоутверждения.

Имperialизм и попытки увековечить колониальное господство со стороны Запада, расширить его, что диктовалось не столько экономическими интересами, сколько представлениями о могуществе государства как о территориальном гиганте, привели, по мнению Гренвилла, к катастрофе, которую назвали Великой войной 1914–1918 гг. Для Гренвилла она была переломной во многих, самых важных моментах. Закончился период более или менее стабильного развития, характерного для довоенной континентальной Европы, в повестку дня были поставлены не только революции и насаждение новых тоталитарных идеологий и доктрин (фашизм, коммунизм в сталинской интерпретации), но и человеконенавистническая практика массового террора, репрессий, геноцида целых народов, расизма. Все эти ужасающие по масштабам жертвоприношения Гренвилл связывает с двумя обстоятельствами – отказом от юдаистско-христианской этики и глубиной нравственного падения “организованного современного государства” (С. 9). Иными словами, и то и другое – это явления европейские, мутация европейского духа, кризис европейской культуры. Эта тенденция была продолжена и после второй мировой войны. И прямо и косвенно мир, расколовшийся в годы холодной войны на два воинствующих блока, оказался на пороге атомного Холокоста, и только страх перед взаимным уничтожением удерживал враждующие стороны от “кнопочной войны”.

К концу века идеологическая нетерпимость вместе с тоталитарной идеологией стали выветриваться под напором растущей глобальной взаимозависимости и интеграционных процессов. Эволюция коммунистических режимов в сторону их либерализации, а также “неожиданные революции” конца 80-х годов (С. 14) тоже сделали свое дело. Прозрачные границы и миграция способствуют растворению, нивелированию идеологических различий, преобладающему звучанию общечеловеческих ценностей, призывов к веротерпимости. Тем не менее именно на этом фоне происходит волнообразный наплыв агрессивного национализма, что снижает шансы на мир и стабилизацию, особен-

но в таких регионах как Балканы, Восточная Европа, Ближний Восток, Азия и Африка (С. 210). Спонтанный рост народонаселения в странах так называемого “третьего мира”, сдерживающий их экономический рост, способствует сохранению и расширению взрывоопасной ситуации в мире в целом.

Не ограничиваясь констатацией в этом пункте Дж. Гренвилл ставит вопрос о характере происходящих сегодня перемен в свете тех взглядов на будущее человечества, которые преобладали в конце XIX в. – эры расцвета социалистической мысли. Он приводит к выводу, что через 100 лет, в конце XX в., западные идеи свободного рынка, демократии и многопартийности становятся более привлекательными, чем социализм в странах, которым западные ценности по тем или иным причинам прежде были чужды. Но, как полагает Гренвилл, это не улучшает ситуацию и, более того, даже усложняет. Во-первых, они сталкиваются с внутренней дилеммой, поскольку эти концепции не являются для них органичными, произрастающими на их собственной почве, имеющими разветвленную “корневую” систему. Во-вторых, реализация лозунгов “свобода”, “демократия” и “свободный рынок” таит двусмысленность, ибо все они давно “потеряли свой изначальный смысл” так же, как и “коммунизм”. Красивые этикетки и слоганы сами по себе ничего не решают; их нельзя принимать всерьез, буквально (С. 14).

Человечество, считает профессор Гренвилл, должно быть готовым к тому, что его ждет такое же разочарование из-за преувеличенных надежд на чудеса перевоплощения на базе новых технологий, как и в случае с верой в нескончаемый прогресс и социалистическую утопию, вызвавшую состояние эйфории в начале нашего столетия и основательно подорванную в его зените, ровно на полпути к рубежу, отделяющему два столетия. Идеи классической “рыночной экономики” совсем не обязательно должны оказаться одинаково приемлемыми для всего мира – целостном в его многообразии. Тогда не преждевременно ли говорить о “конце истории” (намек на Френсиса Фукуяму), о конце идеологических дебатов по вопросу о том, в каком направлении следует идти человечеству? Вообще, спрашивает Дж. Гренвилл, “можем ли мы быть сегодня более уверенными в будущем?” (С. 14). И отвечает на этот главный для него вопрос: “бурная” история XX века с ее аритмией такой уверенности не дает никому, даже самым большим оптимистам.

<sup>1</sup> Бродель Ф. *Время мира. Материальная цивилизация. Экономика и капитализм XV–XVIII вв.* М., 1992. Т. 3. С. 640.

<sup>2</sup> См.: Репина Л.П. “Новая историческая наука” и социальная история. М., 1998.

<sup>3</sup> См.: Анкерсмит Ф.Р. *Историография и постмодернизм // Современные методы преподавания новейшей истории /* Ред. коллегия: А.О. Чубарьян, Ф. Горн и др. М., 1996. С. 148.

<sup>4</sup> Носовский Г.В., Фоменко А.Т. *Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности.* М., 1996.

<sup>5</sup> Michaud G., Mark E. *Ver une science des civilisations?* Bruxelles, 1981.

<sup>6</sup> Ключевский В.О. *Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники.* М., 1993. С. 394.

<sup>7</sup> См.: Johnson P. *Modern Times. History of the World from 1920s to 1990s.* L., 1992; Cook Ch., Stevenson J. *The Longman Handbook of Modern European History, 1763–1985.* L.; N.Y., 1988;

- Barraclough G. An Introduction to Contemporary History. N.Y., 1964; The New Cambridge Modern History. Cambridge, 1960. Vol. XII; и др.*
- <sup>8</sup> *Grenville J. The Collins History of the World in the Twentieth Century. Harper Collins Publishers. L., 1994 (далее страницы цит. произведения указаны в скобках в тексте).*
- <sup>9</sup> *Феэр Л. Бой за историю. М., 1991. С. 69.*
- <sup>10</sup> *См.: Ранкур-Лаферрьер Д. Психика Сталина. Психоаналитическое исследование. М., 1996. С. 126, 138.*
- <sup>11</sup> *Гейфтер М.Я. Россия и Маркс // Из тех и этих лет. М., 1991. С. 39; Он же. Я был историком // Знание – сила. 1996. № 3. С. 3. Гейфтер писал, что эти открытия принадлежат не ему, но внесение их в общ исторический контекст – безусловно его заслуга.*
- <sup>12</sup> *Тезис об отсталости, разумеется, не нов, но понимался всегда в слишком узком, экономическом смысле. Состояние же отсталости России достаточно выпукло передано Н.А. Бердяевым в его работе “Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века” (1946) в категориях культурной замкнутости, иррационализма духовного склада нации, обскурантизма и недоверия к просвещению, отделения общества от государственной власти (О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 43–271).*
- <sup>13</sup> *Гейфтер М.Я. Россия и Маркс. С. 62.*
- <sup>14</sup> *С тем же ходом мысли мы встречаемся и в последних очень основательных работах отечественных исследователей. См.: Булдаков В.П. Историкографические метаморфозы Красного Октября // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996. С. 179–205; Ненароков А.П. Упущенные возможности единения демократических сил при решении вопроса о власти // Большевики в 1917 году: В 3-х т. / Под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. М., 1996. Т. 2. Ч. 1. С. 13–70.*
- <sup>15</sup> *Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М., 1992. С. 606.*
- <sup>16</sup> *Вывод Гренвилла совпадает с соображениями на этот счет, высказанными известным американским историком М. Лефлером в его фундаментальном исследовании истории первого периода холодной войны (*Leffler M.P. Preponderance of Power. National Security, the Truman Administration and Cold War. Stanford, 1992. P. 198–218*).*
- <sup>17</sup> *На эту особенность в последнее время обратил внимание и американский политолог С. Хантингтон в своей известной статье, опубликованной в 1993 г. в журнале “Форин Аффферс”. Он писал: “Я полагаю, что в нарождающемся мире основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-государство останется главным действующим лицом в международных делах, но наиболее значительные конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным цивилизациям” (*Huntington S. The Clash of Civilization // Foreign Affairs. Summer, 1993. P. 22*). Гренвилл не так пессимистичен, но светлые краски его интонация звучат приглушенно, порой чуть слышно. В своих взглядах на проблему наций и национализма он опирается на очень глубокую традицию в современном европейском обществоведении социал-демократического направления, которая, как правильно отметил Эрик Хобсбаум, восходит к “первой серьезной попытке беспристрастного анализа предмета, а именно – крайне важным и недооцененным дебатам марксистов II Интернационала...” (цит. по: *Хобсбаум Э. Введение. // Нации и национализм после 1780 г. Программа, миф, реальность: Современные методы преподавания новейшей истории. Материалы из цикла семинаров при поддержке Democracy Programme. М., 1996. С. 29*).*

# ИСТОРИКИ И ИХ ТРУДЫ



**А.Н. Шаханов**

## **“...В МОИХ РАБОТАХ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ УСТАРЕТЬ”: Д.И. ИЛОВАЙСКИЙ**

...Если бы по какому-нибудь случаю я вдруг лишился возможности заниматься исторической наукой, то счел бы это величайшим для себя бедствием, ничем невозвратимою потерей.

*Д.И. Иловайский*

Творчество Д.И. Иловайского (1832–1920) охватывает более чем полувековой период. Его магистерская диссертация увидела свет в 1858 г., а последние статьи относились ко времени первой мировой войны. Это был чрезвычайно плодовитый и разносторонний ученый, критик, публицист и педагог. Тематический спектр его интересов простирался от вопросов происхождения славянства до царствования Николая II. На выдержавших более 150 изданий учебниках Д.И. Иловайского для средней школы выросло не одно поколение отечественной интеллигенции.

Д.И. Иловайский при жизни не был обижен вниманием критики. Однако неприятие его политической программы господствовавшим в российской науке второй половины XIX–начала XX в. либеральным большинством, чрезвычайно резкий и нелицеприятный характер полемики вокруг его сочинений затрудняли его объективную оценку. Во многом в силу указанных причин имя ученого стало для современников и потомков синонимом ретрограда, компилятора и непрофессионала. В то же время даже оппоненты признавали его “пример в разработке областной истории... заслуги в деле пересмотра и наилучшего освещения начальной русской истории... стремление связать и объединить в научном сознании историю Северо-Восточной и Юго-Западной Руси”. В рецензиях К.Н. Бестужева-Рюмина, В.С. Иконникова, Н.И. Костомарова, С.Ф. Платонова, Д.В. Цветаева первые два тома “Истории России” Д.И. Иловайского были оценены как “удовлетворяющие потребностям текущего состояния нашей исторической науки”. Острая дискуссия разгорелась вокруг трактовки им царствования Ивана Грозного и событий Смутного времени. П.В. Безобразов, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, Н.В. Сторожев и другие критики обвинили исследователя в плагиате и не владении приемами научной критики<sup>1</sup>.

Смерть Д.И. Иловайского, глубокие социальные перемены в стране отодвинули на второй план былую неприязнь оппонентов. В отзыве о трудах ученого 1926 г. С.В. Бахрушина, М.М. Богословского, Ю.В. Готье, А.И. Яковлева и др. отмечалось: “Теперь все эти выступления уже

отошли в область прошлого, и об Иловайском, как об ученом и историке, можно говорить и писать”<sup>2</sup>. Однако это благое пожелание не было реализовано.

Советская историческая наука отреагировала на смерть Д.И. Иловайского единственным некрологом объемом в две строки. В ней ученого традиционно причисляли к представителям официального (иногда с добавлением: дворянского или дворянско-буржуазного) направления отечественной историографии, называя в числе его единомышленников таких историков, как М.И. Богданович, Н.Ф. Дубровин, Н.П. Барсуков, Б.Б. Глинский, Н.Я. Данилевский, И.Е. Забелин, С.С. Татищев, Н.К. Шильдер, С.Н. Шубинский, великий князь Николай Михайлович, К.Н. Бестужев-Рюмин, С.Ф. Платонов (двое последних с оговорками). Всех их якобы объединяла реакционность политических взглядов, убежденность незыблемости самодержавия, великорусский шовинизм, антисемитизм, апология роли православия в исторических судьбах России. В методологическом плане научная концепция Д.И. Иловайского представлялась как механическая компиляция идей официальной народности Н.Г. Устрялова, Н.М. Карамзина, М.П. Погодина, государственной школы и славянофилов. Его творческая мысль “далеко уступала” идейному богатству трудов С.М. Соловьева, В.О. Ключевского и “объективно отодвинула историческую науку назад”. Замечание Н.Л. Рубинштейна о необходимости преодоления упрощенно-одностороннего отношения к сочинениям ученого не шло дальше признания научной значимости его магистерской диссертации<sup>3</sup>.

Появившиеся в последнее время статьи о Д.И. Иловайском представляют собой отказ от крайностей предшествовавшей историографической традиции, излишней политизации оценок. Справедливость же критики “иловайщины”, ее концептуальный консерватизм и третьестепенная роль ученого в истории русской исторической мысли сомнению не подвергались<sup>4</sup>. Однако эти оценки зачастую не подкреплены соответствующей аргументацией, опирающейся на непосредственный анализ трудов историка.

Творчество Д.И. Иловайского представляет неотъемлемую составляющую отечественной историографии. Его игнорирование ведет к упрощению сложного и противоречивого процесса развития исторической и общественно-политической мысли второй половины XIX–начала XX в. В настоящей статье предпринята попытка определения места ученого в современной ему науке, вклада в постановку и разработку ее конкретных проблем.

\* \* \*

Дмитрий Иванович Иловайский родился 11 февраля 1832 г. в гор. Рязаньбурге Рязанской губ. (ныне гор. Чашлыгин Липецкой обл.) в семье управляющего имением графини Пален – Ивана Михайловича и его жены Александры (отчество установить не удалось)<sup>5</sup>. Детство и отрочество будущего историка прошли в бедности и нужде. Материальное положение семьи не улучшилось даже когда ее глава был приписан к козлов-



скому купечеству. В сентябре 1843 г. Дмитрий был зачислен во 2-й класс казенного раненбургского уездного училища, по окончании которого на казенный же счет был переведен в 4-й класс рязанской 1-й мужской гимназии. Годы учебы юноша провел вдали от семьи в пансионе, самостоятельно добывая себе средства к существованию. В “Автобиографической заметке” он отмечал: “Начиная с IV класса гимназии, я уже содержал себя частными уроками, которые давал ученикам низших классов”. По собственному признанию ученого, интерес к истории определился еще в Раненбурге, когда он с удовольствием вызубрил заданный на дом материал учебника и заслужил похвалу преподавателя. В гимназии его всячески поощрял учитель истории А.А. Ральгин. Растущие умственные запросы юноша удовлетворял чтением книг из богатой гимназической библиотеки. Блестящие успехи в учении и примерное поведение давали ему право поступления в любой университет империи без экзаменовки. Выбор Москвы в качестве места продолжения образования был определен как историческими преданиями первопрестольной столицы, так и восторженными отзывами гимназических учителей – в большинстве своем выпускников тамошнего университета.

В августе 1850 г. Д.И. Иловайский был зачислен казеннокоштным студентом на 1-й курс историко-филологического факультета Московского университета. Об этом периоде жизни Д.И. Иловайского сохранилось крайне мало свидетельств. В написанных по горячим следам “Воспоминаниях студента” (1858) он с восторгом отзывался о лекциях Т.Н. Грановского и П.Н. Кудрявцева по всеобщей истории, писал о рано определившемся интересе к сравнительному языкознанию, политической экономии и статистике. Средства к существованию студент добывал усиленным репетиторством и переводами из европейской периодики для катковских “Московских ведомостей”. Среди двенадцати выпускников-кандидатов 1854 г. Д.И. Иловайский по итогам четырех лет обучения набрал 120 баллов, пропустив вперед себя М. Щелкина, поляка Г. Вызинского (оставлен на кафедре всеобщей истории) и тверича Н.А. Попова. По окончании учебы юноша изъявил желание поступить на военную службу и отправиться в действующую армию. Однако подозрение на туберкулез вынудило его отказаться от военной карьеры.

Как казеннокоштный студент Д.И. Иловайский оказался связанным обязательством отработать не менее шести лет в учреждениях Министерства народного просвещения. Не имея протекции, честолюбивый юноша вернулся в Рязань, где в ноябре 1854 г. был зачислен в штат 1-й мужской гимназии. Молодой учитель был заметной фигурой среди местной интеллигенции. В 1857–1858 гг. его часто можно было видеть в доме предводителя дворянства А.В. Селиванова. Гости вели бесконечные “беседы о выдающихся литературных явлениях и начинающих общественных реформах, особенно о предстоящей эмансипации крестьян”. Нередким посетителем собраний был и тогдашний вице-губернатор М.Е. Салтыков-Щедрин, уже ставший известным благодаря своим “Губернским очеркам”. Он и предложил Д.И. Иловайскому возглавить литературный отдел губернской газеты.

Однако 16 июня 1858 г., благодаря хлопотам помощника попечителя Московского учебного округа графа А.С. Уварова, Д.И. Иловайский был переведен на должность старшего учителя 3-й московской гимназии на Лубянке. В первопрестольной столице он сблизился с группировавшимся вокруг К.Н. Бестужева-Рюмина кружком молодых ученых, намерившихся издавать критико-библиографический журнал “Московское обозрение”. В К.Н. Бестужева-Рюмине Д.И. Иловайский встретил единомышленника во взглядах на социальные функции исторической науки. Все последующие годы их связывали дружеские отношения, омраченные лишь расхождениями в трактовке царствования Ивана IV.

Скромное жалование учителя не позволяло Д.И. Иловайскому даже на вакационное время надолго отлучаться в Москву для библиотечных и архивных занятий, что в конечном итоге предопределило выбор темы его магистерской диссертации – “История Рязанского княжества”. Текст этого сочинения был готов к концу 1857 г., а отдельные его разделы уже были апробированы на страницах “Рязанских губернских...” и “Московских ведомостей”. В январе 1858 г. Д.И. Иловайский представил диссертацию в совет Московского университета. Возглавляемый С.М. Соловьевым историко-филологический факультет единодушно признал ее удовлетворяющей всем требованиям магистерского сочинения. В официальном отзыве отмечалось, что Д.И. Иловайский “показал прекрасный пример собирать своим учителям истории в гимназиях губернских городов”. 3 июня 1858 г. совет университета 31 шаром “за” и 1 – “против” принял решение опубликовать эту работу за казенный счет “в уважение особенных достоинств... и недостаточности средств автора”.

Защита диссертации состоялась в актовом зале Московского университета 19 октября 1858 г. в присутствии А.С. Уварова и ректора А.А. Альфонского. Председательствующий и официальный оппонент С.М. Соловьев отметил некоторую идеализацию магистрантом личности рязанского князя Олега Ивановича и, наоборот, слишком критический отзыв о деятельности последнего представителя местной династии – князя Ивана Ивановича. По его мнению, диссертант завысил степень агрессивности Москвы в отношении к своему соседу. Второй официальный оппонент, С.В. Ешевский, и выступившие от публики О.М. Бодянский и С.М. Шпилевский указали на частные промахи автора в работе с этнографическим материалом. В целом же представленное на защиту сочинение было единогласно признано достойным магистерской оценки. Работа получила прекрасный отзыв Н.Г. Устрялова и была удостоена малой Уваровской премии Академии наук.

Прошлое Рязанской земли, находившейся “в стороне от главных средоточий древнерусской истории, представляло еще почти terra incognita в русской исторической литературе”. Среди предшественников Д.И. Иловайского можно назвать разве что Т.Я. Воздвиженского, который в “Историческом обозрении Рязанской губернии” (1822) “сделал известными многие любопытные грамоты”, сведения по географии, статистике княжества, генеалогии туземной династии, взаимоотношениях с Москвой и татарами. В условиях гибели рязанских летописных сводов, для воссоздания политической истории княжества Д.И. Иловай-

ский добросовестно выявил все известия из имевшихся на то время публикаций летописных текстов (по подсчетам О.В. Ивановой – более двухсот) и актов, работал в архивах местного архиепископа (где обнаружил и поместил в приложения к диссертации несколько списков жалованных грамот из судебных дел Литовской метрики) и губернского Дворянского депутатского собрания. Выявленный материал был систематизирован, фрагментарные и зачастую противоречивые свидетельства источников сопоставлены на предмет определения их “пристрастности”. С основной своей задачей – “привести в известность и дать единство фактам, до сих пор разрозненным и отрывочным” – Д.И. Иловайский безусловно справился.

Труднее обстоит дело с выполнением другой задачи – “проникнуть во внутренний быт ...духовную жизнь народа”. Ее постановка безусловно навеяна соответствующими главами “Историй” Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева, однако на региональном уровне корпус письменных источников был явно недостаточным. Восполнить пробелы Д.И. Иловайский брался за счет привлечения к исследованию местных “памятников словесности” (фольклор, данные этнографии), материалов археологических раскопок, личных наблюдений. Д.И. Иловайский обследовал Старорязанское городище, побывал в богатых историческими воспоминаниями Богородском, Ольгином, Солотчинском монастырях, в с. Исады на месте гибели шести рязанских князей в 1217 г. и др. В 1856 г. на страницах “Московских ведомостей” был опубликован цикл его очерков “Прогулки по берегам Оки”, отдельные наблюдения из которых были использованы в магистерской диссертации. Подобную практику непосредственного знакомства с местами описываемых событий ученый позднее использовал в работе над докторской диссертацией, “Историей России”. Сам факт привлечения подобных источников сулил огромные исследовательские перспективы. Однако степень их разработки в науке того времени и уровень профессиональной подготовки начинающего ученого привели к тому, что они использовались зачастую чисто иллюстративно.

Сочинение Д.И. Иловайского длительное время оставалось образцом для работ по региональной истории. Яркость, образность языка диссертации повсеместно отмечалась критиками. Живой пересказ источников превалировал над их цитированием. В тексте читатель знакомился уже с “очищенными” результатами, вся подготовительная работа перенесена в примечания. Впоследствии подобная подача материала будет применена и в “Истории России”.

Д.И. Иловайскому удалось воссоздать политическую историю Рязанской земли IX–XVI вв. под углом зрения «постепенного перехода от самостоятельности к “подчинению Москве”». Им было уточнено родословие местной княжеской линии (в том числе и Олега Ивановича), даны личностные характеристики основным ее представителям. Изучение политики княжества в отношении к Москве и Орде привели к пересмотру взгляда на туземную династию в целом и на Олега Ивановича, в частности. Едва ли не впервые в отечественной историографии Д.И. Иловайский отказался от трактовки антимосковского курса сла-

вянских княжеств как непатриотичного: он обуславливался конкретными внешнеполитическими обстоятельствами и насущными интересами регионов. Ордынская политика Рязани, по мнению автора, строилась на реальной оценке конкретных обстоятельств, территориальной близости и географической незащищенности от Степи, усиливавшейся год от года агрессии Москвы. В связи с пограничным положением Рязанской земли решен вопрос о “реабилитации” князя Олега. Приведа свидетельства московско-рязанского сближения в 60–70-е годы XIV в., Д.И. Иловайский высказал предположение о том, что в 1380 г. позиция Олега Ивановича принесла татарам больше вреда, чем пользы.

Вслед за магистерской диссертацией С.М. Соловьева “Об истории отношений Новгорода к великим князьям” (1845) сочинение Д.И. Иловайского явилось новым шагом в разработке “местной истории”, что во многом обогатило общую картину государственной централизации Руси и способствовало преодолению односторонней промосковской ее интерпретации. Вывод об “общих формах быта” в славянских княжествах, привел автора к отказу от идеи богоизбранности московских князей и поиску объективных причин возвышения Москвы. В силу этого даже такие неординарные исторические личности, как Олег Рязанский, могли лишь замедлить ход событий, но не воспрепятствовать им.

Д.И. Иловайский избегал широких обобщений, увязывая свои выводы с результатами конкретного анализа. Автор не определил отношения к современным научным школам и по тексту диссертации трудно судить о его общеисторических воззрениях и “партийных” симпатиях. В речи на диспуте С.М. Шпилевский обвинил магистранта в игнорировании родовой теории происхождения русского государства Соловьева–Кавелина. Вывод о глубоком воздействии татарского завоевания на последующее развитие русской истории шел вразрез с утверждением С.М. Соловьева о поверхностном влиянии ига на ход русского исторического процесса. В то же время постановка вопроса о влиянии географии края на его историю и большое внимание к проблеме славянской колонизации шли непосредственно от С.М. Соловьева, что, видимо, дало основание рецензенту “Historische Zeitung” причислить диссертанта к его исторической школе.

В 1860 г. предполагалась полуторогодичная командировка единственного преподавателя по кафедре русской истории Московского университета С.М. Соловьева в Петербург. Историко-филологический факультет занялся вопросом о его временном преемнике. В конце октября 1859 г. профессор предложил в качестве возможных кандидатур адъюнкта Казанского университета Н.А. Попова и Д.И. Иловайского. В конце концов, С.М. Соловьев настоял на Н.А. Попове “как наиболее способном занять эту должность”. Во внимание не было принято даже несогласие ректора Казанского университета, жаловавшегося в Министерство просвещения, что подобный перевод сопряжен с прямым ущербом преподаванию русской истории. 1 июня 1860 г. прошла баллотировка Н.А. Попова в совете Московского университета, а 6 июня юридический факультет вышел с ходатайством о предоставлении Д.И. Иловайскому учебных часов. 15 июня после баллотировки, полу-

чив 27 “избирательных” и 2 “неизбирательных” шара, Д.И. Иловайский был избран адъюнктом по кафедре всеобщей истории для преподавания на юридическом факультете. 24 августа последовал соответствующий приказ министра. Одновременно попечитель учебного округа отклонил ходатайство совета университета об утверждении молодого ученого в должности доцента. 19 января 1861 г. Д.И. Иловайский прочел вступительную лекцию, а уже 6 мая в Петербурге был подписан приказ о его командировке за границу для подготовки к профессорскому званию. Более полугода Д.И. Иловайский посвятил знакомству с постановкой гимназического образования во Франции, Германии, Австро-Венгрии, и практически сразу по возвращении в Россию 10 марта 1862 г. подал прошение об отставке. Свое решение он мотивировал невозможностью совмещать педагогическую деятельность с занятиями русской историей. В 1865 г. Д.И. Иловайский по той же причине отказался занять кафедру русской истории в Киевском университете.

Д.И. Иловайский впредь не связывал себя государственной службой. Средства к существованию он добывал прежде всего публикацией учебников по отечественной и всеобщей истории для средней школы. В 1860–1890-х гг. они занимали главенствующее место в российских гимназиях и по подсчетам И.В. Бабич принесли автору более полумиллиона рублей дохода. Д.И. Иловайский был едва ли не самым состоятельным отечественным историком. В начале XX в. только его недвижимость была застрахована на сумму более 100 тыс. руб.: помимо двухэтажного особняка в Старых Воротниках (Москва), двух дач, собственного выезда и верховых лошадей, он имел существенные вклады в банках и держал акции доходных железнодорожных компаний и др. Родственники и знакомые за глаза называли его “миллионером”. Материальную самостоятельность, отсутствие связи с академической средой необходимо принимать во внимание при анализе научной концепции ученого.

В 1859 г. вслед за обнаружением в Англии записок Е.Р. Дашковой Д.И. Иловайский опубликовал большую статью о ней, акцентируя внимание читателей на сочувствии героини бедственному положению крепостного крестьянства и идеям “Путешествия...” А.Н. Радищева<sup>6</sup>. Своей либеральной направленностью статья произвела впечатление на лидера тогдашнего левого крыла демократического движения Н.А. Добролюбова, который писал своему корреспонденту: «Что такое Иловайский? Я прочитал его статью... в “Отечественных записках”. Это не бог весть что такое: выкраска из записок Дашковой и из статьи Герцена в “Полярной звезде”. Но все-таки он может, кажется, писать эффектные статьи или, по крайней мере, выбирать эффектные предметы. Нет ли у него еще чего-нибудь готового или начатого? “Современник” нуждается теперь в статьях подобного рода»<sup>7</sup>. Однако прошло всего несколько лет, и отношение “радикальной партии” к историку резко изменилось. В 1863 г. Н.Г. Чернышевский отчитал А.Н. Пыпина только за академический тон его рецензии на “Руководство к русской истории” ученого: “Иловайский – самодовольный дурак и невежда... А ты все-таки нашел возможным не смягчить твоего опровержения его диких невежеств оговорками о том, что в книге есть что-то порядочное”<sup>8</sup>. Столь резкая

оценка лидера революционной демократии объяснялась эволюцией мировоззрения Д.И. Иловайского.

С 1860-х годов статьи Д.И. Иловайского по злободневным вопросам социально-экономической, общественной, культурной жизни России регулярно появлялись в периодических изданиях обеих столиц. В них с достаточной полнотой и последовательностью представлены взгляды убежденного монархиста, одного из ведущих теоретиков национал-патриотической идеологии. Поэтесса М.И. Цветаева так сформулировала политическое кредо своего дяди: “Кроме любви к родине, знаменуемой у него ненавистью к инородцам, любви к монархии, вплоть до суда над монархом, он ничего не знал и не хотел знать”<sup>9</sup>. Политическое миросозерцание Д.И. Иловайского оставило глубокий след как на выборе тематики его исследований, так и на трактовке отдельных проблем и целых периодов российской истории.

Замысел докторской диссертации оформился у Д.И. Иловайского, вероятно, осенью 1864 г. после его поездки в “столицу русско-польско-еврейского края” – Вильно, с заездом в Полоцк, Витебск и Галич. Путешественник был буквально ошеломлен результатами правительственной политики в западных губерниях: разгул, мотовство шляхты, ее попустительство захватившему ключевые экономические позиции “еврейскому элементу”, высасывавшему последние жизненные соки из туземного славянского населения. Естественно, было обращение исследователя к истокам этого процесса – включению восточной части Речи Посполитой в состав России. В 1863 г. была опубликована монография С.М. Соловьева “История падения Польши”, систематически освещавшая имперскую политику в Речи Посполитой второй половины XVIII в. В этой обширной теме Д.И. Иловайский нашел свою еще свободную нишу: история последнего сейма лета–осени 1793 г. и внутривнутриполитическая борьба в стране вокруг ратификации гродненского проекта договора 11 июля о территориальных уступках России.

Источниковой базой диссертации стала хранившаяся в Московском главном архиве Министерства иностранных дел дипломатическая переписка российского посла Я.Е. Сиверса со столичным начальством и императрицей Екатериной II. “Российский посланник в Польше, – писал историк, – находился в самом центре событий, а в данном случае он был их главным двигателем; таким образом, донесения его знакомят нас не с одною наружною, официальною стороною, а также и с закулисною стороною, т.е. с самыми пружинами механизма”<sup>10</sup>. Даже с учетом желания дипломата завязать свою роль в событиях, в заслугу Я.Е. Сиверсу ученый ставил широкий кругозор, опыт государственной деятельности. Все это повышало информационную значимость его корреспонденции. Весной 1870 г. на завершающем этапе работы над диссертацией Д.И. Иловайский посетил Варшаву, Гродно, Львов, Краков, Познань и не преминул случаем ознакомиться с историческими памятниками и содержанием ряда государственных и частных собраний. Это дало ему возможность помимо официальных документов российского МИДа привлечь к исследованию материалы рукописного отдела Виленской публичной библиотеки, библиотеки Красинских в Варшаве, польскую

периодическую печать, публикации дипломатических документов Пруссии, Австрии и Франции. Им был, в частности, обнаружен рукописный список протоколов заседаний сейма 1793 г., более полный, чем опубликованный вариант (особенно в плане антироссийских выпадов депутатов). Материалам государственного делопроизводства Д.И. Иловайский отдавал явное предпочтение перед мемуарной литературой и публицистикой, которыми, вследствие предвзятости авторов, фактической путаницы “надо пользоваться осторожно”. В тексте исследования Д.И. Иловайский неоднократно на конкретных примерах убеждал читателей в правильности своего заключения. В итоге, автору удалось не только воссоздать дипломатическую историю второго раздела Польши, шагов Я.Е. Сиверса к достижению “согласия поляков на добровольную уступку провинции”, но и дать широкую картину внутривосточного положения в стране, жизни, быта шляхты, крестьянства и др.

Специальное освещение вопроса о “причинах и обстоятельствах падения Польши” не входило в задачи диссертации. Здесь докторант следовал заключению С.М. Соловьева о том, что разделы явились закономерным следствием всей предшествующей внутренней истории Речи Посполитой, и только соперничество сильных соседей поддерживало ее государственное существование на протяжении XVIII в. Однако если С.М. Соловьев акцентировал внимание на росте шляхетских привилегий в ущерб королевской власти, то Д.И. Иловайский перенес акценты на польский “национальный тип”, лишенный инстинкта самосохранения. Как следствие этого – попустительство немецкой агрессии на Восток, пассивность в отношении “размножения” и экономического укрепления еврейства. Столь категорично вопрос о негативной роли евреев в исторических судьбах восточного славянства в отечественной историографии до Д.И. Иловайского еще никто не поднимал. Опираясь на поддержку шляхты, еврейское население приобрело в Польше роль “третьего элемента”. Это в свою очередь привело к разрыву между дворянством и крестьянством и стало непреодолимым препятствием на пути формирования польской нации.

В какой-то мере сочувствуя “патриотической партии” в ее борьбе за сильную центральную власть, Д.И. Иловайский полагал, что в конце XVIII в. национальная консолидация поляков была уже невозможной. В период разделов Станислав Август действенных попыток к сопротивлению не предпринимал. Шляхта была разобщена и неспособна к осознанию общенациональных интересов, а судьбы Польши решались в Петербурге, Вене и Берлине. В этой связи диссертант отмечал: “Мы, конечно, не можем порицать тех целей, которыми руководствовалась политика Екатерины II в отношении Речи Посполитой: она была направлена на то, чтобы подготовить слияние Польши с Россией и прѣжде всего имела в виду не чужие, а собственно русские интересы”. В то же время Д.И. Иловайский далек и от идеализации польской политики Екатерины, полагая, что допущенные ею ошибки достались в наследство последующим царствованиям (восстания 1830 и 1863 г.). Конечною целью правительства ученый видел в подготовки почвы для полного государственного, церковного и национального слияния поляков с великорос-

сами. Однако российские монархи “полагались главным образом на силу штыков и подкупы – слишком ненадежные средства для скрепления связей между двумя соседними и родственными народами”. Как угроза русским национальным интересам трактовались шаги правительства на поддержку шляхты и католического духовенства в ущерб русской народности и православию.

Д.И. Иловайский не затушевывал фактов агрессивной политики России в отношении к своему западному соседу, действий ее дипломатии по дестабилизации внутривосточного положения в Польше. Однако в целом подобный курс Петербурга рассматривался как единственно возможный для защиты своих национальных интересов в условиях аналогичных шагов в отношении к Польше со стороны Пруссии и Австрии – противодействие тевтонскому *Drang nach Osten* и распространению “якобинских принципов между поляками”. Разделы в его изложении представлены как “справедливый приговор истории над Речью Посполитой”, следствие “обстоятельств и условий, сложившихся помимо воли русской императрицы”<sup>11</sup>.

В 1870 г. сочинение Д.И. Иловайского было опубликовано в “Русском вестнике” и вышло отдельными изданием: “Гродненский сейм 1793 года. Последний сейм Речи Посполитой”. Защита диссертации происходила 27 ноября 1870 г. на публичном заседании историко-филологического факультета Московского университета. Декан и официальный оппонент С.М. Соловьев зачитал свое “мнение”, единодушно одобренное его учеными коллегами. В нем были отмечены удачный выбор темы исследования, тщательность ее обработки по источникам и т.д. «Что же касается выводов, – заключал оппонент, имея в виду прежде всего заключение о роли “еврейской эксплуатации” в судьбах Польши, – то они составляют нечто совершенно внешнее, не вредя верности общего представления события». 12 декабря 1870 г. совет Московского университета утвердил Д.И. Иловайского в степени доктора русской истории.

\* \* \*

Вслед за Н.М. Карамзиным и С.М. Соловьевым, главным делом своей жизни Д.И. Иловайский считал создание монографического труда, систематически освещающего весь ход русской исторической жизни. К выполнению этой задачи ученый обратился сразу по защите докторской диссертации. В 1871 г. в “Русском вестнике” была опубликована его первая работа по проблеме догосударственной истории славян – “О мнимом призвании варягов”. В 1876 г. статьи и рецензии по этой теме были сведены в сборник “Начало Руси”, являвшийся прологом к одновременно опубликованной первой части “Истории России”. В 1905 г. вышел пятый том этого сочинения, доведенный до восшествия на престол Петра I. Лавинообразный рост источниковой базы по новой истории страны ставил под сомнение завершение труда. “...Обработка общей русской истории, – с горечью отмечал ученый, – начинает уже превышать единичные силы и средства... дальнейшим ее фазисом... пред-



ставляется обработка коллективная”<sup>12</sup>. Несмотря на это, во введении к пятому тому Д.И. Иловайский обещал продолжить работу. Домашние неоднократно слышали от ученого заверения, что он доведет изложение “до последних дней”. Преклонный возраст, война и революция помешали осуществить задуманное. “Знаю только, – вспоминала М.И. Цветаева, – что умер у Старого Пимена (церковь близ его дома. – А.Ш.), и что работал до последнего дня. Да и не знала бы – знала бы”<sup>13</sup>.

Задачи, структура, содержание, отбор источников, характер подачи материала в сочинениях Д.И. Иловайского всецело определялись его взглядами на историю как науку народного самопознания, формирующую политическое мироощущение, нравственные критерии личности и национальный патриотизм: “...История прошлого есть великая наставница и поучительница для новых поколений... Но историк не имеет в виду писать поучения. Последнее вытекает само собою, если его труд хорошо исполнен”<sup>14</sup>. Этим целям могло служить не обозрение отдельных “разделов” русской истории, а ее систематическое освещение. Подчеркивая важность начинания своего коллеги, Н.И. Костомаров отмечал: “Ученые исследования исторических вопросов и даже стройное изложение частей отечественной истории, взятых отдельно, не могут удовлетворить большинству читающей публики, тех особ, которые вовсе не нуждаются в специальном знакомстве с частными вопросами в науке, а желают иметь надлежащее понятие о прошлой судьбе своего народа: для них нужна полная и немногочисленная история...”<sup>15</sup> Тем же целям призвана была служить и моралистическая сторона исследований Д.И. Иловайского, что несомненно сближало его с Н.М. Карамзиным. На страницах “Истории России” автор выступал не сторонним наблюдателем, а придирчивым критиком поступков своих героев. Отсюда нехарактерные для научных сочинений оценки типа “забыл совесть”, “кровожадный”, “клятвопреступник”, “резать как баранов” и др. При этом Д.И. Иловайский предостерегал исследователей от модернизации событий прошлого, призывал их всецело оставаться на позициях историзма. “Для верности оценки лиц и событий, – писал он, – историк по возможности должен отрешаться от современных ему отношений, симпатий и антипатий (хотя бы и сложившихся историческим путем) и трезво смотреть в прошлое, чтобы не заслужить упрека в излишне сентиментальной его окраске”<sup>16</sup>.

В отличие от предназначенной для специалистов и поэтому “скучной в чтении” “Истории...” С.М. Соловьева, Д.И. Иловайский сделал расчет на массового читателя. Необходимость такого труда, имевшего аналогии в Западной Европе, в 1870-е годы остро осознавались и в русском обществе. Отсюда литературный стиль изложения, преобладание переказа источников над их цитированием, намеренный уход от полемики, “облегченность” научно-справочного аппарата.

Д.И. Иловайский классифицировал научную деятельность на “приготовительную” и “творческую”. На первом этапе происходит “изучение источников и пособий, их взаимная проверка или критическое к ним отношение, восстановление событий в их истинном виде, разъяснение причин и следствий, определение естественных и общественных ус-

ловий и различных влияний, верная, по возможности, беспристрастная оценка деятелей и обстоятельств”. Это и есть собственно профессиональная работа исследователя. Она требует “очистки” материала и его изложения в логической или хронологической последовательности. Однако, чтобы стать фактом общественной жизни, оказывать на нее направляющее влияние, служить делу формирования самосознания нации необходимо еще и “изобразить события, обстоятельства и лица такими, какими они представляются воображению самого историка; причем соблюсти историческую перспективу, т.е. выдвинуть на первый план важное и существенное; не быть подавлену материалом, а наоборот, овладеть и подчинить его себе”. Дополнительно эта работа требует “целесообразного распределения материала, искусной группировки потребностей”, “благородного стиля” изложения и “теплого участия” ученого к излагаемым событиям<sup>17</sup>.

История человеческой цивилизации видится Д.И. Иловайскому как поступательный процесс смены политических и социальных институтов в ходе непрекращавшегося противоборства внутренних – консервативного и прогрессивного начал. “Все великие народы, – писал он, – более или менее переживали разные ступени государственного быта, и когда старые формы не удовлетворяли их потребностям, переходили к формам более развитым. Такие переходы везде сопровождаются борьбой новых форм со старыми...” Видимая цель этого процесса состоит в обеспечении максимальной личной и имущественной безопасности граждан, а подлинный смысл и содержание не могут в целом объеме быть поняты исследователем, ибо “судьбы царств и народов” всецело находятся в руках Провидения<sup>18</sup>. Поэтому не случайно, что огромную роль в истории он отводил фактору случайности (“счастья”). О существовании законов развития человеческой цивилизации Д.И. Иловайский упоминал лишь вскользь: “Стремление к математической точности в истории хотя и довольно похвальная черта, но ее одной мало: история не математика; по своей чрезвычайной сложности, по массе физических и моральных факторов, в ней действующих, взаимно сталкивающихся и переплетающихся, по своей зависимости от нарастающего материала и возрастающих требований, история не поддается простым математическим выкладкам”<sup>19</sup>.

Общество развивается эволюционно путем постепенного накопления в предшествующей его истории элементов, составляющих его настоящую и будущую сущность. В силу этого исторические периоды тесно взаимосвязаны и резкой грани между ними не существует. Попытки скачкообразного перехода из одного качества в другое (“забегания вперед”) бесперспективны. В этом отношении Д.И. Иловайский характеризовал себя как консерватора. Ему чрезвычайно импонировала позиция С.М. Соловьева: “Сергей Михайлович именно отличался умеренностью; он чтит консервативные начала в жизни народов; верил в прогресс, но только постепенный...”<sup>20</sup>

Д.И. Иловайский – государственный: “История человечества не знает другой формы гражданственности помимо государственного быта. Она не знает ни одной национальности, которая бы выработалась вне

этого быта”<sup>21</sup>. Поэтому “всемирная история есть история собственно государств”. Попытки противопоставить ей, как главному объекту любого обобщающего труда, “историю народа” в конечном итоге ни к чему не привели. “...До сих пор еще таковой истории еще не создали ... они описывали большею частью деятельность все тех же исторических личностей, которыми историография занимается издавна”<sup>22</sup>. Государство – закономерный этап развития цивилизации. Его образование есть длительный процесс генезиса общественных отношений: “Происхождение русского государства совершилось не моментальным, скачкообразным образом, как повествует известная легенда о призвании князей из-за моря, а долгим и сложным процессом на общих исторических основаниях и законах”<sup>23</sup>.

Из выделенных в середине XIX в. С.М. Соловьевым факторов, лежащих в основании государства (“природа страны”, “природа племени”, “ход внешних дел”), Д.И. Иловайский отдавал приоритет “взаимной борьбе родов, племен, целых народов за землю, за господство, за существование”. Формы государств определяются различием “этнографических типов” их населения и “исторической почвой”, сущность же государственных отношений – “сосредоточение народных сил в руках правительственных” – не менялась на своем протяжении истории цивилизации<sup>24</sup>. Для восточных славян, вследствие специфики их цивилизации и постоянной угрозы физического уничтожения со стороны Азии, единственно возможной формой государства являлась самодержавная монархия, основанная не на “личной тирании”, а на поддержке всех социальных слоев населения в равной степени в ней заинтересованных. “Государственное самодержавие основывается не на общем страхе, а на потребности народной в сильной правительственной власти и на уважении народа своим государям...” – писал ученый<sup>25</sup>. Только благодаря единовластию Владимир Мономах устранил половецкую угрозу; а северо-восточные князья смогли оказать большее сопротивление татарскому нашествию, чем юго-западные княжества с сильным влиянием боярства в их политической жизни.

Исходя из представлений о месте государства в российской истории, Д.И. Иловайский видел свою задачу в максимально полном отображении его “внутренней и внешней сторон” (в первую очередь войн), а не в освещении “хозяйственного элемента” или “истории народа”. Явления социально-экономического порядка рассматривались лишь как производные правительственной политики, всецело ей подчиненные. В рецензии на “Курс” В.О. Ключевского ученый отмечал: “...Он несомненно ошибался, ставя экономические интересы и факты выше политических, подчиняя сии последние первым. Это, можно сказать, общая ошибка многих русских исторических исследователей и писателей нашего времени. В действительности, народное и государственное хозяйство часто зависит от политики или, точнее, от политических условий и обстоятельств, а не наоборот”<sup>26</sup>. В качестве примера Д.И. Иловайский приводил татарское иго: не будучи прямым следствием экономического упадка страны, оно сильно повлияло на хозяйственный быт, уровень “благополучия и гражданственности”<sup>27</sup>.

Д.И. Иловайский неоднократно слышал в свой адрес упреки в игнорировании жизни “низших сословий”. Сам он объяснял этот факт ролью “правительственного начала” в жизни общества и методикой своей работы. “Свою жизнь и движение народ проявляет в своих представителях, – писал он, практически дословно воспроизведя мысль С.М. Соловьева. – Вот почему история имеет дело преимущественно с лицами, стоящими во главе народа, и вместе с тем деятелями, посредством которых он представляет себя в разных сферах общественного развития. Народная масса есть ни что иное, как этнографическая почва, которая выделяет из себя действующие лица. Эта почва или этот этнографический организм с его своеобразными характерными чертами также должен быть по возможности оттенен в изложении и приведен в тесную связь с событиями и лицами. Но от исторического писателя несправедливо было бы трактовать, чтобы он уловил и изобразил возможные стороны, всевозможные проявления общественной и народной жизни. Это превышало бы силы одного человека и сделало бы из истории нечто необъятное, бесконечное”. Особенно выпукло роль личности проявляется в монархических государствах, где “двор сосредоточивает вокруг себя лучшие силы народа... является обыкновенно центральным пунктом, откуда ...распространяются в другие классы общества и результаты известной цивилизации”<sup>28</sup>.

Д.И. Иловайский признавал связь личности с породившей ее эпохой: “...Отдельная личность, как бы она ни была высоко поставлена, не может создать что-нибудь крепкое, живущее там, где не достает твердой исторической почвы”<sup>29</sup>. Однако в отличие, например, от С.М. Соловьева в рамках проявления общих закономерностей развития цивилизации отводил произволу конкретной личности значительно большее место. Так, без наделенного блестящими военными и административными способностями Олега Ивановича Рязанское княжество вряд ли смогло бы пережить все великие уделы, следствиями личной тирании Ивана IV во многом объясняются события Смутного времени и т.д. Д.И. Иловайский критиковал С.М. Соловьева и В.О. Ключевского за изображение московских князей XIII–XV вв. только как слепых орудий Провидения. Несмотря на объективный характер возвышения Москвы, “личные качества государей имели при сем свою, и значительную, долю влияния”.

Д.И. Иловайский разделял бытовавшее в современной ему историографии доставшееся из наследия Гердера и Гегеля деление народов на исторические (арийские) и неисторические (туранско-монгольские). Отличительной чертой арийцев, к которым ученый относил и славянство (причем великороссов он считал “наиболее историческим из всех славянских народов племя”), являются оседлость, восприимчивость к усвоению “прогрессивных начал”, “государственная способность”, “ум, твердость воли, гибкость характера и умение сообразоваться с обстановкой”. В противоположность им, “степные варвары” не любят перемен (консервативны), стоят вне прогресса и цивилизации; их “дикая энергия” расходуется на разбой, “начала гражданственности” им чужды. Различия в “природе” обуславливают исконную вражду арийских и туранских народов<sup>30</sup>.

Из отечественных историков XIX в. Д.И. Иловайский едва ли не дальше всех пошел по пути сближения исторических судеб России и Западной Европы, без оговорок причисляя свою родину к европейским государствам: “Исторические процессы в России совершались по тем же общим законам как и на Западе и никакой особенности, а тем более противоположности, в сравнении с Западом не представляют”. В то же время в рамках общих закономерностей развития за каждой европейской державой признается право на национальную специфику. Источниками “самобытной гражданственности” в России явились православие и многовековое противостояние “исконному хищному врагу народов и веры” – Азии, носившее характер крестового похода<sup>31</sup>.

Имеющиеся в распоряжении исследователей материалы не дают достаточных оснований определенно причислять Д.И. Иловайского к тому или иному философскому направлению. Скорее всего мы имеем дело с эклектиком в разное время испытывавшим большее или меньшее (да и то опосредованное) влияние философии истории И. Гердера, Г. Гегеля, О. Конта, Г. Бокля и др. Отдельные высказывания ученого можно интерпретировать даже как агностицизм<sup>32</sup>.

Методика работы Д.И. Иловайского находилась в соответствии с современными ему требованиями исторической науки. При рассмотрении какого-либо вопроса он старался делать выводы на основе максимально полного привлечения источников, их сопоставления и перекрестного анализа. Ученый так охарактеризовал свои исследовательские приемы: “При своем изложении я старался принимать в соображение совокупность известий, а в случаях их взаимных противоречий выбирать наиболее достоверные”<sup>33</sup>. Скучность и фрагментарный характер традиционной источниковой базы по проблемам догосударственной истории славян потребовали от Д.И. Иловайского привлечения и комплексного анализа данных этнографии, филологии, сравнительного языкознания, археологии.

В этой связи он писал: “Пределы и самое содержание некоторых наук так тесно соприкасаются и иногда переплетаются между собою, что их связь и взаимная поддержка являются не только желательными, но и необходимыми”<sup>34</sup>. При этом принципы отбора, критики источников в “Истории России” остаются вне поля зрения читателя. Желание облегчить восприятие своего труда привело к тому, что примечания превращались в перечень “пособий”, порой даже без указания страниц. Полемика с оппонентами от тома к тому сводится к минимуму. Все это вызывало в значительной мере справедливые обвинения историка в “литературной неопрятности”.

Приступив к изложению истории России XVI–XVII вв., Д.И. Иловайский был буквально раздвоен скачкообразно выросшей источниковой базой и сравнительно малой ее научной разработкой. В первую очередь это касалось актового материала и приказного делопроизводства. Отбиваясь от упреков оппонентов в нежелании обращаться к архивам, ученый отмечал, что “мы живем не во времена Карамзина, когда многие важные летописи и акты еще не были изданы. Теперь столько издано и постоянно издается исторических материалов, что дай бог с ни-

ми-то справиться”<sup>35</sup>. Не имея физической возможности проследить за всеми новыми публикациями, Д.И. Иловайский широко привлекал фактографический материал из работ современных ему ученых. В последнем томе изложение стало и вовсе беллетристическим, изобиловало второстепенными деталями и сосредоточилось в основном вокруг трех проблем – история Малороссии, раскол русской православной церкви, восстание С.Т. Разина.

Невозможность разобраться в каждом вопросе по первоисточникам обуславливала значительное количество фактографических ошибок. Сам автор видел в этом характерную особенность любой обобщающей работы: «Соловьев, предпринимая свою “Историю”, напечатал длинный список разных промахов и недостатков Карамзина, однако тем не умалил его значения. В свою очередь, если бы кто взял на себя задачу собрать все недостатки и промахи у Соловьева... то получился бы также порядочный реестр»<sup>36</sup>.

Критики обвиняли Д.И. Иловайского в заимствовании структуры своего труда у С.М. Соловьева. Ученый же полагал, что принятое им расположение материала является общепринятым в европейской историографии. С.М. Соловьев излагал события погодно, что делало его “Историю” похожей на летописный свод. Д.И. Иловайский сумел добиться более глубокого обобщения материала.

Специально на проблеме периодизации русского исторического процесса Д.И. Иловайский не останавливался. Сделано это было, вероятно, с целью подчеркнуть его неразрывный ход. Тома “Истории России” озаглавлены как по периодам, так и по царствованиям. Однако в ходе конкретной работы исследователь охарактеризовал этапные моменты отечественного прошлого.

II–VI вв. он выделял как период дикости. В VI–IX вв. были заложены основы государственного быта, когда в условиях господства родо-племенных отношений протекало острое противоборство народно-вечевого и княжеско-дружинного начал. Внутри последующего удельно-вечевого или дружинно-княжеского периода, характеризующегося развитием государственного порядка и единодержавия, Д.И. Иловайский выделял киевский (X–XI вв.) и владимирский (XII–XIII вв.) этапы. В XIV–XV вв. основное содержание исторического процесса сосредоточилось на борьбе Московской и Литовской Руси за политическое лидерство среди восточнославянских княжеств. Параллельно внутри Великого княжества московского шло противоборство “отживших порядков удельной Руси” с набиравшим силу самодержавием. Победа единовластия при Иване III открывала московско-царский период отечественной истории. Самодержавие постепенно утратило свой вотчинный характер, в результате чего с XVII столетия можно говорить об окончательном торжестве государственных отношений у восточных славян. Одновременно государство из всесословного института превратилось преимущественно в выразителя интересов дворянства. Наконец, царствование Петра I открывает петербургский или императорский период русской истории. Он характеризуется становлением абсолютизма, жесткой централизацией управления, всёвластием бюрократии<sup>37</sup>.

Предложенное Д.И. Иловайским деление русского исторического процесса, характеристики его этапов не отличались оригинальностью и совпадали с установившимися в отечественной историографии середины XIX в. В его основу был взят перенос центров политической жизни восточного славянства, совпадающий с процессами генезиса государственных отношений. При этом социально-экономические факторы отечественного исторического процесса полностью игнорировались. Ученый отказался от выделения удельного и татарского периодов, разорвав их между владимирским и московско-литовским. Практически одновременно с К.Н. Бестужевым-Рюминым он включил Литовскую Русь в контекст единой истории восточного славянства.

История славян началась задолго до появления в VI в. самого названия народа. С I в. их племена выступали исконным населением Северного Причерноморья, Тамани, бассейнов рек Кубани, Дона, Днепра и Среднего Дуная. В римских, греческих, византийских и арабских источниках они встречаются под именем скифов-пахарей, тавроскифов, сармат, роксолан (свою теорию происхождения славян он называл роксоланской). Проанализировав свидетельства источников о наружности, языке, быте гуннов, Д.И. Иловайский пришел к выводу, что в эпоху великого переселения народов основу их орд составляли славяне. В ряде случаев он прямо называл гуннов славяно-болгарскими племенами. В связи с этим ученый писал: "...С одной стороны, куда бесследно исчезли из европейской истории многочисленные племена сарматов и гуннов; а с другой, откуда взялся этот огромный и сплошной славянский мир, своим числом и обширностью своей территории превосходящий в Европе все другие народы?"<sup>38</sup>

В VI–VII вв. часть славянских племен Причерноморья мигрировали за Дунай, где составили основу болгарской нации. Странники туранства болгар, по его мнению, так и не смогли объяснить скорую ассимиляцию тюрков, причины распространения у них славянского языка и письменности. Оставшиеся в Причерноморье славяне (черные болгары, уличи, воляныне, тиверцы "Повести временных лет") в VI–VIII вв. противостояли хазарам и уграм, организовывали военные экспедиции на Каспий и в Византию. Отражением высокого уровня общественного развития этих племен Д.И. Иловайский считал зарождение здесь письменности, которую позднее св. Кирилл и Мефодий только "привели в строгий порядок". К середине IX в. Азовско-Причерноморская Русь была покорена усилившимся союзом племен во главе с полянами, на которых перешло из византийских источников наименование "русь".

Объявив "беспощадную войну туранистам и норманистам", Д.И. Иловайский нисколько не лукавил утверждая, что ни одна сколько-нибудь заслуживавшая внимания работа по проблемам славянского этногенеза не осталась без его критического отзыва. В.О. Ключевский имел полное основание охарактеризовать своего оппонента "ученым грызуном". Спор с оппонентами, то затухая, то разгораясь вновь, продолжался вплоть до 1914 г. Своей настойчивостью и последовательностью Д.И. Иловайский допек даже такого стойкого полемиста как М.П. Погодин, взмолившегося после очередного наскока на его норма-

низм: “Дайте же мне умереть спокойно...” Среди полемизировавших с Д.И. Иловайским – ведущие тогдашние ученые: туранисты В.Г. Васильевский, Ф.Е. Корш, Н.И. Костомаров, А.А. Куник, В.В. Макушев, И.И. Малышевский, Вс.Ф. Миллер, Ф.Ф. Миллер, Н.А. Попов, И.П. Филевич; норманисты М.П. Погодин, С.М. Соловьев, Н.И. Киреев, В.О. Ключевский, А.А. Шахматов, Л.А. Погодин, П.Н. Милуков; сторонники славяно-балтийской теории происхождения Руси С.А. Геденов, И.Е. Забелин и др.

Критики подчеркивали ошибочность приемов Иловайского-филолога; он же в свою очередь обвинял оппонентов в отрыве филологии от данных конкретной истории, этнографии, археологии. Д.И. Иловайский относился к своим заключениям не более как к гипотезам, но в то же время не согласился ни с одним мало-мальски серьезным замечанием в свой адрес. Первоначально споры не выходили за рамки взаимных обвинений в научной недобросовестности и личных оскорблений, однако вскоре сам их инициатор перешел к навешиванию политических ярлыков. Своим антиподам он вменял в вину чуть ли не измену национальным интересам: “теория норманистов сильно вредит развитию национального самосознания”, “мнения о вялости, пассивности славян и неспособности к созданию государственного быта” в условиях “предстоящего в недалеком будущем страшного столкновения мира славянского с германским”. Все это, конечно, заслоняло научную актуальность спора.

В отстаивании роксоланской теории и борьбе с норманистами Д.И. Иловайский оставался практически одинок, что несколько его не смущало – “число несогласных для меня безразлично ... но научные вопросы не решаются большинством голосов”. Отдельные положения его критики “норманнской системы” разделяли Н.И. Костомаров, К.Н. Бестужев-Рюмин, а теория расселения славян на материалах археологии – Ф.И. Успенский, Д.Я. Самоквасов. Основанная на арабских и византийских источниках, гипотеза Д.И. Иловайского о существовании обособленной от Поднепровья Азовско-Причерноморской Руси до сих пор имеет своих приверженцев.

К VI в. у населявших среднее течение Днепра полян (или рось – по названию одноименной реки) в условиях постоянной внешней опасности зарождается дружинная организация и наследственная княжеская, сосуществующая с вечевой, власть. Среди племен и династии продолжали бытовать родовые отношения. Д.И. Иловайский не разделял взгляд на арийцев как исконно оседлые народы, полагая, что вплоть до VI в. славяне вели полукочевой образ жизни. Процесс генезиса государства шел по пути подчинения полянской династией соседних славянских племен с параллельным усилением у них княжеской власти.

Все государства Западной Европы возникли путем возвышения одного из племен в ходе борьбы и покорения соседей. Отличия наблюдались лишь в деталях. Фактов же добровольного призвания князей в аналах мировой истории не сохранилось. Также и возникновение Киевской Руси видится исследователю как закономерное завершение длительного процесса генезиса общественных отношений. “Государство



русское создавалось в течение веков большими трудами и усилиями целых поколений, народными потом и кровью, – и вдруг все это постепенное созидание покрылось одной жалкой легендой”, – писал Д.И. Иловайский<sup>39</sup>. Ученый с гордостью отмечал, что “выдвинул тридцать оснований для опровержения известной норманнской теории”. По его твердому убеждению, ни о каком призвании варягов, а тем более варяжском периоде русской истории не может быть и речи. Летописное обращение к варягам от лица словен, кривичей, чуди и веси уже само по себе подразумевает наличие развитых форм политического быта – федерации племен – явления, относящегося к более позднему времени.

В многолетней полемике с норманистами ученый предложил три гипотезы появления “басни о варягах” в “Повести временных лет”. По одной из них (1871 г.), это – запись новгородской легенды (вроде летописного известия об основании Киева) второй половины XII – первой половины XIII в., основанной как на местной политической практике призвания князей и наемных варяжских дружин, так и “наклонности” многих народов раннего средневековья выводить свою династию из таинственной, расположенной на краю ойкумены Скандинавии. По другой (1880 г.) – ее появление связано с женитьбой Ярослава Владимировича на шведской принцессе. Формально их дети могли считать себя потомками скандинавов. Это было и чрезвычайно почетно, ибо “слава норманнов гремела по всей Европе”. При Владимире Мономахе, также женатом на норманнской (английской) принцессе эта “выдумка” попала в летописи. Легенда о призвании носила, таким образом, династический, а не этнографический характер и служила целям укрепления престола. В доказательство ученый приводил факты генезиса легенды: после женитьбы Ивана III на Софье Палеолог современники начали выводить варяг не из Скандинавии, а из Пруссии. Именно так к ней относился и Иван IV, именуя себя “немцем”. Наконец, авторство “варяжской легенды” приписывалось Д.И. Иловайским (1888 г.) составителю киевского летописного свода монаху Сильвестру. Во всяком случае, даже для современников она не была общепризнанной. В “Повести...” присутствуют и другие объяснения “начала Руси”. “Краугольным камнем отправления в своей борьбе с норманистами” ученый считал вывод об искажении “легенды” многочисленными переписчиками летописи, в первую очередь – отождествление славянского племени русь с варягами<sup>40</sup>.

Д.И. Иловайский подметил наиболее уязвимые места в рассуждениях своих оппонентов: это эпохальное событие не нашло отражения в скандинавских, византийских, арабских, западноевропейских и русских (митрополит Илларион, “Поучение...” Владимира Мономаха, “Слово о полку Игореве”) источниках, отсутствие “варяжской струи” в славянском языке и литературных памятниках. Норманисты так и не смогли объяснить причину принятия завоевателями пантеона языческих богов покоренных племен. В споре с В.Г. Васильевским и Вс.Ф. Миллером Д.И. Иловайский отстаивал точку зрения о том, что личные имена в договорах Олега и Игоря с Византией, русских летописях, названия днепро-вских порогов в сочинении Константина Багрянородного имеют общее индоевропейское, а не скандинавское происхождение.

Полемика повела к расширению источниковой базы исследований за счет введения в научный оборот новых памятников письменности, данных смежных дисциплин. Значительно были расширены и хронологические границы русской истории. Вновь, но уже на более прочном фундаменте, была предпринята попытка пересмотра норманнской теории.

Рассуждения Д.И. Иловайского об общественном строе Киевской Руси основаны на родовой теории. В некрологе “Памяти С.М. Соловьева” (1879) Д.И. Иловайский выразил согласие с его характеристикой межкняжеских отношений, борьбой “старых и новых городов”. Киевскую Русь Д.И. Иловайский не считал государством в собственном смысле этого слова. В общественную жизнь Руси было заложено лишь государственное начало. Ее территориальная целостность обеспечивалась не соответствующей государству структурой властных органов и законов, а исключительно кровным единством правящей династии и лестничной системой наследования великокняжеского стола. В общественной жизни славян продолжало господствовать родовое начало. Единодержавия (с точки зрения Д.И. Иловайского – одного из основополагающих элементов государственности) в Киевской Руси не существовало. Было установлено лишь “личное и временное” единовластие великого князя, основанное как на родовой традиции, так и осознании его родичами невозможности иного пути к укреплению внешней безопасности и противостоению местным династиям.

По мнению Д.И. Иловайского, славянское население Киевской Руси жило оседло (несмотря на большую его подвижность вследствие активных колонизационных процессов) и занималось сельским хозяйством. Частной собственности на землю не существовало. Это утверждение распространялось и на княжескую династию. В выступлении на докторском диспуте В.О. Ключевского 29 сентября 1882 г. Д.И. Иловайский резко возразил против его теории “торгового капитала”. По мнению оппонента, государства “везде возникали из борьбы народов и племен, т.е. силою оружия” и торговые интересы правящей династии никак не могли стать таковой основой. Проанализировав большое количество свидетельств, Д.И. Иловайский пришел к выводу, что путь “из варяг в греки” мог возникнуть только после объединения славянских племен на всем его протяжении, т.е. не ранее XI в. Для его охраны и нанимались славянскими князьями варяжские дружины<sup>41</sup>.

С XII в. “обособление различных ветвей княжеского рода” привело к раздроблению Киевской Руси на ряд самостоятельных областей. Поворотным моментом в исторической жизни русского народа Д.И. Иловайский считал перенесение государственного центра во Владимир при Андрее Боголюбском. Это событие было обусловлено ростом территории страны, “разнообразием в характере населения и других местных условий”, изживанием традиции родового старшинства внутри правящей династии, наконец, ослаблением верховной власти в Киеве. На смену родовым обычаям пришло вотчинное право, когда место князя во властной иерархии определялось исключительно его “материальной силой”. С XII в. вместе с князьями осело на землю в качестве ее частных владельцев и боярство. В то же время Д.И. Иловайский в отличие

от С.М. Соловьева и В.О. Ключевского выступал против резкого противопоставления родового Киевского и вотчинного Владимиро-Суздальского периодов. Он полагал, что процессы отмирания родовых отношений, обезземеления сельских общин, “падения древних вечевых собраний”, переход функций местного управления и суда в руки княжеской администрации проходили одновременно на всей территории восточно-славянского расселения.

В традициях отечественной историографии середины XIX в. Д.И. Иловайский опровергал аналогии вотчинных и феодальных порядков. В “Истории России” боярство характеризовалось им прежде всего как служилое, а не владельческое (с истекающими отсюда политическими притязаниями) сословие. Отдельные элементы феодализма он находил в социально-экономическом строе Литовской Руси XII–XIV вв., называя его удельно-феодальным, а местных землевладельцев характеризовал как “нечто похожее на западноевропейских феодалов”. Эволюция взглядов ученого по этой проблеме шла по пути отказа от чрезмерно преувеличенного в трудах С.М. Соловьева и В.О. Ключевского фактора подвижности населения средневековой Руси к признанию “некоторых черт сходства” удельных порядков с феодализмом<sup>42</sup>.

В 1880-е годы Д.И. Иловайский выступил сторонником вотчинной теории происхождения русского государства, являвшейся в то время фактически общепризнанной в отечественной исторической и правовой науках. Будучи самодержцем в своей вотчине, один из наиболее удачливых князей постепенно распространял свои права и на покоренных соседей. Параллельно происходило установление порядка престолонаследия по прямой нисходящей линии, которое сопровождалось превращением “дядей” в вассалов. В 1900-е годы ученый был уже не столь категоричен. Теперь он скорее склонен рассматривать этот период как очередной этап эволюции государственных отношений. Полемизуя с В.О. Ключевским, он писал: “Удельное княжество представляет не частное только хозяйство, а государственный быт в одной из самых ранних его стадий, и в этом отношении оно являет достаточную аналогию со средневековой феодальной Европой”<sup>43</sup>.

Возвышение Московского княжества Д.И. Иловайский рисует как драматический процесс собирания земель князьями-вотчинниками. Несмотря на оговорку о “государственных инстинктах” великоруссов, московская династия выдвинулась на первый план не благодаря богоизбранности, а в значительной мере силою обстоятельств: срединное положение, благоприятная конъюнктура в Орде, внутренние смуты у соседей, поддержка туземного боярства (взамен гарантий неприкосновенности земельной собственности) и православных иерархов. В то же время Д.И. Иловайский не соглашался с обезличенными оценками московских князей в трудах С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, превращавших их в простых статистов событий. “Самым действенным побуждением к государственному объединению” Д.И. Иловайский считал внешнюю опасность. Следствиями успехов государственной централизации и становления единодержавия явилось свержение тата-

ро-монгольского ига. В отличие от многих современных историков, противодействие соседей возвышению Москвы Д.И. Иловайский не считал делом антипатриотичным. В своих исследованиях он значительно усложнил “схему” государственной централизации и при рассмотрении этого периода отечественной истории не ограничивался событиями в Московском княжестве. Аналогичные процессы протекали и в Рязанской, и Тверской землях.

Д.И. Иловайский критиковал С.М. Соловьева и В.О. Ключевского за преуменьшение влияния татаро-монгольского ига на весь строй русской жизни: упадок вечевого начала, усиление центристских тенденций и ускорение процесса становления самодержавия. “Татарский погром” на долгое время изолировал Россию от Европы, привел к замедлению темпов ее экономического развития как раз в тот момент, когда центр мировой цивилизации начал смещаться на Восток. Своей многовековой борьбой с Азией, носившей характер крестового похода, Россия “защитила христианство мира против враждебного ему Востока”<sup>44</sup>.

В начале 1860-х годов Н.И. Костомаров высказал мысль, что наряду с Москвой Литва являлась потенциальным центром собирания русских земель. Д.И. Иловайский подкрепил эту гипотезу большим фактическим материалом. Литовская и Московская Русь рассматривались им в качестве основных центров политической консолидации восточного славянства. История Литовской Руси занимает не менее трети объема 3-го тома его труда, а Люблинской унии 1569 г., которой С.М. Соловьев посвятил менее страницы текста, отведена целая глава. XIV–XV вв. Д.И. Иловайский характеризовал как московско-литовский период русской истории, усложняя тем самым характер государственной централизации и расширяя ее географические границы. Социально-экономическое и политическое развитие Литвы до XV в. шло в рамках общерусской истории. Потеря самобытности Литвы связывалась ученым с унией, имевшей следствием католическую экспансию и ополячение местного дворянства. Влиянием “польского строя” объяснялось ослабление центральной власти, потеря обороноспособности и, наконец, государственной самостоятельности.

“Переход от понятий вотчинных к понятиям государственным” (т.е. установление единодержавия великого князя, пресечение “самовластия бояр”), перелом в противоборстве с Литвой и Ордой в основном завершились во второй половине XV в. Россия вступила в царский период своей истории. Иван III пожинал плоды многолетней целенаправленной политики своих предшественников, строго следовал по намеченному ими пути. Более того, Иван III “не только не опережал в этом случае общественного стремления, а напротив, должен был почти бороться с нетерпением большей части своего народа”. Нерешительного и слабовольного великого князя едва ли не под давлением вынудили выступить на Угру в 1480 г. Отсюда сам факт разрыва им ханской бармы Д.И. Иловайский считал не соответствующим его характеру и политическому темпераменту. В ряду своих заслуг перед отечественной наукой Д.И. Иловайский неизменно называл оригинальную трактовку про-

блемы местничества: борьба за близость к престолу препятствовала социальному сплочению боярства, и поэтому этот институт столь долго терпели московские государи.

Немало страниц “Истории России” отведено изложению судеб Великого Новгорода. Древних новгородцев Д.И. Иловайский не считал потомками киевских колонистов. “Кривицкая земля” (современные ученому Белая Россия, Новгородская и Псковская губ.), наряду с Киевом, являлась одним из центров восточнославянской государственности. Именно здесь, по его мнению, были заложены основы великорусской народности (в Киеве – малорусской). Самобытное существование этого княжества ученый связывал с консервацией традиций родового строя, вследствие географического удаления от Киева и политического ослабления метрополии. Общественная организация средневекового Новгорода вызывала у Д.И. Иловайского аналогии с городскими общинами Северной Германии и Италии. Политическая жизнь восточных славян двойится: северо-восток и юго-запад “пошли различными путями в своем дальнейшем развитии” (республика – самодержавие). При этом северные территории не выходили из состава русских земель и не порывали экономических и политических связей с Киевом, а потом Москвой.

Д.И. Иловайскому импонировало новгородское народоправие, выражавшееся в законодательных полномочиях вече, “значительной доле гражданских свобод”, которые могущественно “поддерживали промышленный, предприимчивый дух” населения. Однако республиканская альтернатива московскому единодержавию с XV в. стала клониться к упадку. Народное вече не выработало законченных парламентских форм и потому вся реальная власть сосредоточилась в руках посадника и “золотых поясов” – представителей боярской аристократии. В то же время Д.И. Иловайский не соглашался с точкой зрения А.Н. Никитского о существовании постоянного боярского совета в Новгороде. Проводя аналогию “золотых поясов” и Боярской думы в Москве, он подчеркивал общность государственного быта на всей территории расселения восточных славян. Борьба аристократического и демократического начал, описанная Д.И. Иловайским с точки зрения последних, красной нитью проходит через всю новгородскую историю XII–XV вв., подрывает экономическое и военное могущество княжества. Рано или поздно она должна была привести или к установлению тирании, или к потере политической самостоятельности, что и произошло.

В отличие от В.О. Ключевского и Н.И. Костомарова, Д.И. Иловайский полагал, что основой экономики княжества было сельское хозяйство. Политическое могущество бояр покоилось не на торговых оборотах, а величине вотчин. “...Торговые интересы далеко не играли в Новгородском государстве такой преобладающей роли, как у нас привыкли о том думать”, – заключал ученый<sup>45</sup>. Отсюда и столкновения боярских партий никак не может быть интерпретировано “борьбой торговых домов”.

Немало страниц в труде Д.И. Иловайского отведено истории православной церкви, которая (наряду с самодержавным государством) составляет одну из основ русской нации, определивших ее лицо и своеобразие (“религия русской народности”). Каких-либо принципиально

новых оценок Д.И. Иловайский не внес. Сам он неоднократно подчеркивал, что его изложение соответствовало официальной “Истории церкви” митрополита Макария и соответствующих разделов “Истории России” С.М. Соловьева. Следует отметить попытку Д.И. Иловайского пересмотреть вопрос о времени крещения киевского князя Владимира Святославича. Он подчеркивал большую роль церкви в деле колонизации, “собрания Руси”, возвышения Москвы, упрочения единой державы, мобилизации сил на защиту от внешних и внутренних врагов. Д.И. Иловайский отстаивал точку зрения о связи еретических движений XV в. с современными общеевропейскими гуманистическими течениями. Резкое неприятие вызывала у ученого оценка П.Н. Миллюковым теории “Москва – Третий Рим” как осознанной государственной (а не книжной) программы.

На всем протяжении XIX в. одной из центральных и неоднозначно оцениваемых эпох отечественной истории была история царствования Ивана IV. Д.И. Иловайский характеризовал режим Грозного как азиатскую или восточную деспотию, дискредитировавшую самодержавную идею и ничего общего не имевшую с ее историческими традициями (“наследие татарщины”). Ученый отрицал за царем какую-либо расположенность к делам государственного управления. Мероприятия по укреплению государственности первых лет его царствования всецело отнесены на счет Сильвестра и Адашева. После их гибели наступил период “открытого тиранства”.

К вступлению Ивана IV на царство борьба единой державного и удельного начал в основном была завершена и введение опричнины не имело характера борьбы с олигархическими притязаниями боярства, а было следствием патологической жестокости венценосца. На страницах своего труда Д.И. Иловайский выступал с критикой точки зрения С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, “которые опричнине и тиранствам Ивана IV пытались придать разумное государственное значение... выставив Грозного каким-то реформатором”. Дворянство, как новая опора верховной власти, выдвигается “естественно-историческим путем”, а не вследствие целенаправленной политики самодержавия. Отвергнув предложенный Сильвестром и Адашевым план завоевания Крыма и тем самым обеспечения безопасности южных границ, Иван IV вступил в затяжную войну с Ливонией, которая “не согласовалась с обстоятельствами того времени и средствами Московского государства”. Итогом “тиранства” Грозного было экономическое разорение страны, ослабление ее обороноспособности, упадок и пресечение династии. Оно “нанесло нравственный удар русскому самодержавию”, подготовило почву для последовавшей Смуты.

Принципиально новой трактовки царствования Ивана IV Д.И. Иловайский не предложил. Сам ученый признавал, что его характеристика Грозного “примыкает” к карамзинской. Критики 3-го тома “Истории...” справедливо указывали, что в вопросах отбора, систематизации материала ее автор нещадно “эксплуатировал” труды С.М. Соловьева, К.Н. Бестужева-Рюмина<sup>46</sup>. Все внимание автора было сосредоточено на политической истории страны. В то же время обойдены многие ак-

туальные для современной ему историографии вопросы: процесс ликвидации удельных порядков, возникновение поместной системы, история сословий, торговли, города и др. Д.И. Иловайский не определил своего отношения к теории закрепощения и раскрепощения сословий. Недостаточно аргументированы его выводы о непосредственной связи происхождения поместной системы с территориальным ростом государства, стирании граней поместной и вотчинной собственности уже в XVI в. В то же время Д.И. Иловайский шире, нежели С.М. Соловьев, осветил вопросы русской колонизации в XVI–XVII вв., значительно дополнил “внутренние или культурно-исторические и бытовые отделы”, дал новую трактовку русских еретических течений XV–XVI вв., роли местничества в становлении самодержавия.

В приходе к власти Бориса Годунова Д.И. Иловайский видел закономерное следствие детоубийства Ивана IV и смерти царевича Дмитрия. Исходя из анализа следственного дела (фальсификация) и других материалов, Д.И. Иловайский сделал однозначный вывод о преднамеренном убийстве царевича, организованном Борисом Годуновым. С.Ф. Платонов, Е.А. Белов, Н.М. Павлов, не разделявшие этой точки зрения, были обвинены ученым в тенденциозном подборе и критике источников. Историк, в противовес С.М. Соловьеву, не отрицал административных талантов нового царя, его способность подняться над нуждами своего сословия до общегосударственных интересов, реализм в проведении внутренней и внешней политики. Однако, сформировавшись как государственный деятель в условиях тирании Грозного, царь Борис не смог полностью отказаться от его методов управления. Д.И. Иловайский подчеркивал его мелочность, болезненную подозрительность, отсутствие личного мужества и простого везения. В итоге Годунов оказался не на высоте положения, лишился поддержки боярства и только внезапная смерть спасла его от неминуемого падения.

Излагая события русской истории конца XVI в., Д.И. Иловайский не мог уйти от ответов на вопросы о происхождении и исторических судьбах сельской общины и крепостнических отношений. Следует отметить, что в его трудах соответствующие разделы занимают гораздо более скромное место, чем в современной ему историографии. Так, полагая, что вопрос о сельской общине еще не выяснен окончательно, исследователь оставил лишь несколько разрозненных упоминаний о ней. Возникновение общины Д.И. Иловайский относил к докиевскому периоду и связывал с насущными потребностями общежития: расчистка лесов, борьба с соседями и др. В Киевской Руси при сравнительно малом вмешательстве верховной власти в дела земли общинная организация существовала параллельно с княжеской, постепенно подпадая в подчинение последней. В вотчинный период роль общины постепенно падает, а в условиях государственной централизации и вовсе сводятся только к решению местных крестьянских нужд. “Земское управление мало согласовалось с развитием государственного строя, т.е. с развитием московского самодержавия и начала приказного”, – заключал он<sup>47</sup>. Правительство Ивана IV “нашло общину готовою и воспользовалось ею” в своих фискальных интересах. В этой связи Д.И. Иловайский считал не-

обоснованным упрек в игнорировании роли местного самоуправления в организации отпора иностранным интервентам в Смутное время. В целом трактовка истории сельской и городской общин исходит из ее характеристик в трудах ученых государственной школы.

Д.И. Иловайский не разделял точки зрения Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева и других ученых об указном прикреплении крестьян и в решении этого вопроса солидаризовался с В.О. Ключевским, С.Ф. Платоновым. “Закабаление труда и самой личности” крестьян историк ставил в вину как центральному правительству, так и “всему военному боярско-дворянскому сословию”. Появление и рост боярского землевладения с XII в., осуществлявшиеся во многом за счет захвата общинных земель, привели к тому, что пять столетий спустя основная масса населения уже обрабатывала землю на правах арендаторов и потеряла право перехода. Указы конца XVI – начала XVII в. лишь “юридически подтверждали то, что уже давно было выработано самой жизнью”. Разорение мелких собственников в царствование Ивана IV, участвовавшее бегство крестьян на окраины государства ускорили процесс их прикрепления к владельцам земель (а не земле): “Дорожа служилым классом, правительство мало-помалу уступало этим стремлениям”. Если С.М. Соловьев и в значительной степени В.О. Ключевский видели в крестьянской крепости меру вынужденную, исторически обусловленную и соразмерную обязательной дворянской службе, то Д.И. Иловайский однозначно трактовал ее как продворянскую, не упоминая о “закрепощении высших сословий”. Не соглашался ученый и с переоценкой “экономических основ” (т.е. частной инициативы землевладельцев) существования крепостного права в “Курсе” В.О. Ключевского<sup>48</sup>.

В объяснении причин Смуты начала XVII в. Д.И. Иловайский отказался от однозначных оценок С.М. Соловьева и во многом сходил в взглядах со своим младшим современником С.Ф. Платоновым, несмотря на расхождения по некоторым принципиальным вопросам. Это явление трактовалось им как закономерный результат обострения противоречий “лучших” и “меньших” людей, вызванный генезисом крепостнических отношений и обнищанием народа, между группировками боярства, казаками и государством. Непосредственным же “виновником” ее Д.И. Иловайский выставил Ивана IV, приведшего страну к экономической и военной катастрофе, не оставившего дееспособных наследников, и Бориса Годунова, оттолкнувшего от себя боярство и неумно способствовавшего разжиганию вражды между его группировками. Однако в отличие от “экономиста” С.Ф. Платонова в качестве главной причины Смуты Д.И. Иловайский выдвигал внешний фактор – “польскую интригу”: в обоих Лжедмитриях ученый видел прямых ставленников шляхты и римской церкви, а не русских бояр.

Смута лишь притормозила, но не изменила направления развития Российской государственности по пути укрепления неограниченного монархического правления. Несмотря на многократно подчеркиваемый продворянский характер политики царя, устойчивость режима ученый видел в первую очередь в его широкой народной поддержке.



“...Успехи самодержавного строя, – писал он, – главным образом опирались на народное ему сочувствие, т.е. на сочувствие со стороны народа сильной правительственной власти, которая обеспечивала нашу национальную самобытность и победу над враждебными соседями”<sup>49</sup>.

Трактовка истории, роли и места, доставшихся этому периоду от древнерусского вечевого строя и княжеско-дворянских съездов Земских соборов и Боярской думы, практически полностью совпадала с оценками незадолго перед тем появившимся исследованием В.О. Ключевского “Боярская дума Древней Руси” (1882). Созданная для предотвращения сословного сплочения аристократии, Боярская дума и в XVII в. продолжала играть роль исключительно консультативного органа, значение которого поддерживалось лишь отсутствием государственных способностей у первых Романовых. Падение значения народного представительства в XVII в. проходило на фоне аналогичных процессов в странах Запада<sup>50</sup>.

Перу Д.И. Иловайского принадлежат наиболее резкие и уничижительные характеристики первых представителей новой династии. Михаил Федорович предстает перед читателем воплощением “однообразия и бесцветности”, неспособным к “самостоятельному образу действий” и передавшим всю полноту власти митрополиту Филарету. Не обойдены вниманием факты связи бояр Романовых с заговором против Бориса Годунова, неблагоприятного поведения Филарета Никитича в правление Лжедмитрия, промахи во внешней и внутренней политике Михаила Федоровича. Лишенный военных и административных талантов, окруженный такими же бездарными советниками, Алексей Михайлович не довел до конца отвоевание Украины и Белоруссии у Польши, начал несвоевременную войну со Швецией, совершал ошибки в выборе гетманов Малороссии и др. К числу достоинств Алексея Михайловича автор относил его “чисто национально-русский курс”: отказ от “смешения царской крови с иностранными дворами”, протекционизм в торговой политике. Передача царевной Софьей правления страной своему фавориту В.В. Голицыну привела к поражениям в войнах с Крымом. Д.И. Иловайский считал необоснованно завышенными оценки государственной деятельности Ф.М. Ртищева, А.Л. Ордын-Нащокина, А.С. Матвеева в трудах С.М. Соловьева и В.О. Ключевского.

На всем протяжении XVII в. неуклонно проходил процесс расширения противного русской исторической жизни и западной культуре крепостнических отношений. Более того, “крепостное право, возникшее отчасти на экономической основе, отлилось в учреждение политическое”, освященное поддержкой государства. Прямым ответом закреплению трудящегося населения явились “мятежи черни” 1648–1650 гг., медный бунт 1662 г., “шатания” малороссийского населения и, наконец, “казацко-крестьянское восстание” под руководством С.Т. Разина. Однако в качестве основных причин “кровожадной свирепости черни” Д.И. Иловайский в традициях современной ему науки называл злоупотребления местной администрации, сокращение государства жалованья стрельцам, казакам и др. При этом народное недовольство ни в коей мере не распространялось на правящую династию и принцип самодержавия.

вия. В борьбе со своим народом государство взяло верх. За исключением отдельных частных уступок, никакой серьезной реакции правительства на его требования не последовало. Более того, подводя итоги разинского восстания, Д.И. Иловайский писал: "...Новая смута обнаружила только крепость московского государственного начала и окончательно утвердила самодержавный строй, вместе с помещичьим крестьяновладельческим служилым сословием. Эта победа государства была также и дальнейшим его шагом в деле централизации, т.е. в более тесном подчинении окраин и вообще областей центральному московскому правительству"<sup>51</sup>.

Анализируя причины того, как изменения "мелких церковных обрядностей", личная оппозиция отдельных представителей духовенства "свирепому и своенравному" патриарху привели к расколу русской православной церкви, Д.И. Иловайский подчеркивал многоплановый и неоднозначный характер этого явления. Шаги грекофила Никона по исправлению богослужебных книг и чина церковной службы ученый считал правомерным. Сопrotивление им объяснялось низким уровнем культуры, "охранительным характером" народа в бытовой, обрядовой стороне жизни, нерасположением к иноземному влиянию, а в социальном плане – протестом части духовенства произволу высших церковных иерархов. Позиция староверов-фанатиков, ставших во враждебные отношения к церкви и государству, вызывала осуждение историка. В то же время он не одобрял и жестокие преследования раскола, полагая, что единственным средством противодействия инакомыслию должен стать "духовный меч".

В традициях Византии русская православная церковь означала находилась под патронажем верховной власти. Ее место в системе государственных институтов не изменилось и с введением патриаршества. Поэтому попытки Никона проводить самостоятельную церковную политику, его папистские притязания объективно вели к двоевластию, нарушению "строга древнерусской жизни" и осуждались ученым.

Д.И. Иловайский – противник освещения истории Московской Руси исключительно черными красками и особенно преувеличения степени ее военной отсталости от западных соседей. Он отказался также и от взгляда С.М. Соловьева на XVII в. только как эпоху подготовки к преобразованиям. Реформы начались еще при царе-западнике Алексее Михайловиче. Заимствование достижений европейской науки и техники происходило без эксцессов, ибо не нарушало традиционного строя русской жизни и не вело к перестройке ее государственных устоев. Такая преобразовательная деятельность, не прерывавшая исторической преемственности и не уничтожавшая национального своеобразия России, отвечала политическим идеалам самого Иловайского.

В ходе полемики вокруг 3-го тома "Истории России" Д.И. Иловайский, неоднократно подчеркивал тематическую новизну включенных в текст его труда глав по истории Украины XVII столетия. Судьбы "малорусской народности русской нации" в великорусской историографии едва ли не впервые представлены как самостоятельная проблема, в контексте общерусской истории, а не только с точки зрения москов-

ской политики. В рассматриваемый период на Украине в тесной взаимосвязи развивались два процесса: национально-освободительное движение туземного населения против шляхты и отвоевание Россией Малороссии у Польши.

В характеристиках малороссийского казачества Д.И. Иловайский близок к Н.И. Костомарову. Его происхождение он объяснял гнетом шляхты и “жидовства”, гонениями на православие, развитием крепостнических отношений. Казачество выступало опорой в противоборстве малороссов с Польшей и Турцией, “передовым оплотом и вместе двигателем русской колонизации”. Недостаток материальных и военных сил вынудил старшину к сближению с Москвой. На этом пути ее активно поддерживало крестьянство, горожане и низшие слои православного духовенства.

Россия пришла на помощь, гарантировав тем самым национальное существование малороссов. Однако сразу после вхождения Украины в Московское царство стало очевидным, что “две русские народности успели значительно разойтись по своей культуре, обычаям и понятиям”. Казацкий демократический строй, польские обычаи старшины оказались чуждыми традициям московского деспотизма. К тому же новая администрация сразу стала на путь ограничения автономии и прерогатив гетманов. Отсюда череда “шатаний” и “измен” гетманов, поддерживаемых казацким большинством. Распространение крепостнических отношений, поборы, произвол великорусской военной и гражданской администрации вызывали массовую неприязнь трудящегося населения Малороссии. Ученый подчеркивал, что присоединение Украины очень дорого обошлось Москве, однако в целом было “величайшим шагом вперед на пути окончательного соединения Руси”.

Д.И. Иловайский выступил автором оригинальной интерпретации истории России XVIII – первой половины XIX в., стоявшей вне традиционных ее решений западниками и славянофилами. К сожалению, эта эпоха не разработана в монографическом плане и в систематическом виде представлена только в его гимназических учебниках. Отдельные концептуальные характеристики содержатся в монографии “Гродненский сейм 1793 года” (1870), статьях: “Граф Яков Сиверс” (1865), “Петр Великий и царевич Алексей” (1912).

В царствование Петра I процесс перехода от “патриархального московского самодержавия к бюрократическому и космополитическому петербургскому абсолютизму” был в основном завершен. Под ним историк разумел ничем неограниченную власть монарха, создание централизованного аппарата управления (при одновременной его бюрократизации) и регулярной армии как “необходимых условий самобытного национального развития”.

У Петра I не было заранее продуманной программы преобразований: Северная война “указала порядок реформы и сообщила ей темп”. Необузданный темперамент царя, его склонность к деспотизму (“подобно Грозному”), беспощадная, ни перед чем не останавливавшаяся жестокость наложили на реформы неповторимый отпечаток. С этой

точки зрения ученый осуждал уничтожение Боярской думы, Земских соборов, которые могли бы хоть как-то сдерживать монарха. Д.И. Иловайский объяснял разрыв царя с Е. Лопухиной, смерть сына Алексея, уничтожение родовой аристократии не следствием их политической оппозиции режиму, а “забвением семейных обязанностей”, маниакальной подозрительностью Петра, интригами “злого гения” А.Д. Меншикова и Екатерины I, стремившихся “обеспечить свое будущее положение”: “Полный возврат к старине отнюдь не был возможен; так далеко продвинулась Русь и в политическом, и в географическом отношении”. Не осталось без внимания историка и равнодушие монарха к православному веру.

В введении синодального управления Д.И. Иловайский видел необходимую правительственную меру по нейтрализации выступавшей против реформ верхушки церковной иерархии. Ученый неодобрительно оценивал шаги Петра I и его последователей на престоле по расширению прав иноверных исповеданий и усилению административных гонений на раскольников. Сопrotивление нововведениям придало расколу “отчасти политический характер”.

Итоги “беспощадной реформаторской деятельности” Д.И. Иловайский рассматривал под углом зрения ее воздействия на последующее историческое развитие России. Осуждая “крутые меры” в проведении реформ, ученый положительно оценивал шаги правительства по развитию отечественной промышленности, созданию регулярной армии, что позволило стране войти в русло европейской политической жизни. Однако тяготы преобразований оказались не соответствовавшими их результатам. Начинания императора и через полтора столетия не дали ожидаемых плодов: “...Россия не догнала Европу и является такою же отсталою по культуре”. Необдуманное принятие закона о престолонаследии привело к тому, что трон на долгое время “сделался игрищем в руках придворных партий и петербургской гвардии”. Последователи Петра Великого “имели весьма малое понятие о потребностях государства и преследовали свои личные интересы”. Д.И. Иловайский, в противоположность С.М. Соловьеву, объяснял причины немецкого засилья при русском дворе первой половины XVIII в. не отсутствием национальных кадров, а следствием антирусской политики тогдашних самодержцев.

Петр Алексеевич продолжил курс своих предшественников на обеспечение экономического и политического всевластия дворянства. Параллельно проходило углубление крепостнической зависимости “низших сословий”. Все это вызывало отчуждение народа от государства (“недостаток единения царя с коренным русским народом”) и как неизбежное следствие – “протесты низших слоев против рабства”, не прекращавшиеся вплоть до отмены крепостного права. В отличие от С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, объяснявших несочувствие народа реформам его косностью и отсталостью, Д.И. Иловайский видел в этом закономерное следствие “оплевывания русской народности” государем и неприятие им роста влияния иностранцев во всех сферах государственной жизни<sup>52</sup>.

Лишь в царствование Екатерины II Россия встала на путь возвращения к национальной политике. Императрица провела ряд мер “по приведению в порядок государственного механизма”, ограничению всевластия бюрократии, подъему экономики, ослаблению крепостничества путем государственного регулирования отношений крестьянина и помещика. В 1870–1880-е годы Д.И. Иловайский рьяно защищал императрицу от обвинений в двойственности и неискренности ее политики, однако, “годы и исторические наблюдения несколько умерили оптимистическое отношение автора к екатерининской политике вообще”. В правление императрицы продолжалось все то же “покровительство немецко-балтийскому элементу”, что и у ее предшественников, не прерпел существенных изменений и продворянский курс правительства. В этой связи интересна совпадавшая с оценкой его антагониста – В.О. Ключевского – характеристика манифеста 18 февраля 1762 г. о вольности дворянской как “законодательной аномалии, ибо за ним не последовало отмены крепостного права”. Начало ограничения помещичьей власти, уже ставшей тормозом экономическому развитию страны, было положено в царствование Павла I и продолжено его последователями на престоле.

В предназначенных для средней школы учебных руководствах Д.И. Иловайский довел повествование до царствования Николая II. Однако изложение в них носило преимущественно фактографический характер. В целом XIX в. он характеризовал как время становления национального курса в области внутренней и внешней политики, возвращения самодержавия к всесословным началам. Д.И. Иловайский положительно охарактеризовал реформистский курс Александра II вплоть до одобрения подготовленного в его царствование проекта народного представительства. Д.И. Иловайский полагал, что преодолению экономической и военной отсталости мог содействовать только курс на “самобытное направление” своей цивилизации в рамках европейской. Идеалом национальной политики ученый выставлял Александра III: поощрение развитию отечественной промышленности, меры по русификации западных губерний, сближению с Францией для противодействия агрессивным стремлениям Германии и Австро-Венгрии.

В сочинениях, статьях и рецензиях Д.И. Иловайский высказал отношение к основным современным течениям научной мысли и ведущим ее представителям. Он полагал, что написание обобщающего труда по отечественной истории невозможно без использования опыта предшественников: “...Движение историографии немислимо без всякой связи с предшествовавшими трудами, без пользования тем, что было добыто. Возможно ли представить себе научное сочинение, игнорирующее труды своих предшественников на том же поле?”<sup>53</sup> В “разнообразии оттенков” исследователь видел действенное средство поступательного движения науки, ибо оно “препятствует излишнему развитию какой-либо крайности”. Однако реально его отношение к оппонентам отличалось резкой неприязнью.

У ученого-государственника, ни славянофильская, ни федеративная теории русского исторического процесса не могли вызвать сочувствия.

“Излюбленные мысли о земле, земских соборах, о единении государя с народом помимо бояр” он относил к числу “предвзятых идей”, не подкрепленных конкретно-историческим анализом<sup>54</sup>.

Историческая концепция Д.И. Иловайского оформилась в 1870-е годы и в целом отражала современный ей уровень развития отечественной научной мысли. В ее основе лежал взгляд С.М. Соловьева на исторический процесс как переход от родовых отношений к государственным и вотчинному происхождению последних. Д.И. Иловайскому импортировало “строго последовательное... описание событий и эпох... раскрытие внутреннего смысла событий, объяснение их причин и последствий, обобщение аналогичных явлений” в “Истории” С.М. Соловьева. Он отмечал вклад московского профессора в разработку “межкняжеских отношений, соперничество старых и новых городов, притязания боярства в царский период” и др. Д.И. Иловайский с большим на то основанием писал в некрологе по С.М. Соловьеву 1879 г.: “Имея честь принадлежать к его школе, я также позволяю себе в некоторых частностях отступать от его воззрений”. В тот период эти “частности” касались прежде всего оценки причин “немецкого засилья” в России первой половине XVIII в.

По мере расширения диапазона исследований Д.И. Иловайского эти расхождения все более и более усиливались. В 1880-е годы Д.И. Иловайский ограничивал время господства родовых отношений в общественном быте Древней Руси IX в. Он выступал против норманизма, резкого противопоставления киевского и владими́ро-суздальского периодов, недооценки влияния татаро-монгольского завоевания в трудах своего университетского профессора. В соловьевской трактовке царствования Ивана IV, замалчивании им фактов массовых репрессий этого периода Д.И. Иловайский видел целенаправленные “попытки обелить Грозного перед судом истории”. Ошибочной считал Д.И. Иловайский и теорию закрепощения и раскрепощения сословий, вывод о надклассовом характере государства XVI–XVIII вв. Разошлись ученые в оценках событий Смутного времени, петровских преобразований и последующих царствований. К 1890-м годам моральную научную концепцию С.М. Соловьева Д.И. Иловайский считал морально устаревшей и причислял его к представителям “старой школы”. Ко времени написания первых томов “Истории...” Д.И. Иловайского родовая теория и гипотеза о закрепощении и раскрепощении сословий С.М. Соловьева в полном объеме в отечественной литературе уже не использовались. Так что приоритет в отказе от отдельных их положений Д.И. Иловайскому приписать никак нельзя. Не был оригинален ученый и во взглядах на варяжскую проблему, характер царствования Ивана Грозного. В первом случае в заслугу ему можно поставить только расширение источниковой базы исследования.

Признавая большую значимость диссертаций В.О. Ключевского о житиях святых и Боярской думе, его вклад в разработку вопроса о происхождении и социальной сущности крепостного права, “высших сословий”, обращение исследователя к систематическому освещению событий отечественной истории Д.И. Иловайский считал преждевремен-

ным. Критик подчеркивал присущую “Курсу” антинациональную тенденцию, “партийную близость к кадетам”, выразившиеся в “нелюбви к русскому народу”, огульной критике государства и его институтов<sup>55</sup>. В теоретическом плане неприязнь Д.И. Иловайского вызывал “экономический материализм” В.О. Ключевского, а в решении конкретных проблем (помимо уже высказанных в адрес С.М. Соловьева замечаний) – “варяжско-торговая теория” происхождения государства, противопоставление хода исторической жизни Юго-Запада и Северо-Востока Руси.

Младших современников В.О. Ключевского Д.И. Иловайский причислял к “механическому направлению” в русской историографии. Отдавая должное в расширении источниковой базы исследований, он подчеркивал подготовительный характер их трудов, неспособность к научному синтезу – “обтесывание камней или обжигание кирпичей и вообще приготовление материалов для научных исторических построек”<sup>56</sup>. На рубеже XIX–XX в. полемика Д.И. Иловайского с представителями “школы Ключевского” приобретает с обеих сторон ярко выраженный политический подтекст. Дело дошло до обвинения ученым своих научных противников в измене национальным интересам. Все это не мешало Д.И. Иловайскому широко привлекать (зачастую без отсылок) конкретно-исторический материал трудов С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, П.Н. Милокова, С.Ф. Платонова, А.А. Шахматова и других историков к своим исследованиям.

Себя Д.И. Иловайский относил к национальному направлению в историографии, основополагающими компонентами которого он считал “беззаветную любовь к русскому народу”, православие и убежденность в особой роли монархии в прошлых и настоящих судьбах страны. В отстаивании своих взглядов Д.И. Иловайский оставался одинок, у него не было учеников и последователей. Этот факт сам он объяснял низким теоретическим уровнем отечественной науки: “...Наука еще не дошла до анализа тех мировых организмов, которые называются национальностями, до их значения в истории и до условий, способствующих или задерживающих их развитие”<sup>57</sup>. При всем том, сколько-нибудь подробной характеристики своему “направлению” Д.И. Иловайский не дал. Если абстрагироваться от политической направленности воззрения историка, то его научное миросозерцание всецело укладывается в рамки впервые в полном объеме введенной С.М. Соловьевым и уже господствовавшей во второй половине XIX в. методологии. Таким образом, говорить о существовании охранительного направления в русской историографии (ведущим представителем которого выступал якобы Д.И. Иловайский) нет никаких оснований. Точно также, как различие политических убеждений П.Н. Милокова и С.Ф. Платонова не препятствовало принципиальной близости их взглядов на русский исторический процесс.

“История России” Д.И. Иловайского представляет собой прагматическое изложение событий отечественного прошлого. Оригинальной концепции ученый не создал, хотя было бы неправильным считать его сочинения компилятивными и рассчитанными лишь на непрофессиональных читателей. В заслугу Д.И. Иловайскому следует поставить по-

пытку реконструкции процесса генезиса общественных отношений у восточных славян в докиевский период, введение истории Литовской Руси в контекст общерусской, систематическое освещение политической истории Украины XVII в. и др.

Д.И. Иловайский пользовался уже введенными в оборот письменными источниками, так что его работы не повели к расширению документальной базы науки. В целом труды Д.И. Иловайского оказались неактуальны для историографии своего времени. Критики неоднократно ставили в вину исследователю игнорирование методологических вопросов, преобладающее внимание к политической истории страны при практическом полном забвении социально-экономической проблематики. Выводы Д.И. Иловайского о “немецком засилье” в России XVIII – третьей четверти XIX в., разлагающем влиянии “европейского элемента” на славянскую государственность не были достаточно аргументированы. В силу этих причин его оценки существенно не повлияли на отечественную историографию.

<sup>1</sup> См.: *Иловайский Д.И.* История России. Т. 1. Ч. 1. Киевский период. М., 1876; Т. 1. Ч. 2. Владимирский период. М., 1880; Т. 2. Московско-Литовский период или собиратели Руси. М., 1884; Т. 3. Московско-царский период. Первая половина или XVI век. М., 1890 (Рец.: А.Б. – “История России” Д.И. Иловайского // Московские ведомости. 1890. № 5297. 26 ноября. С. 3; *Безобразов П.В.* – Русское обозрение. 1890. № 12; Белов Е. Ответ моим критикам // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1889. № 3. 2-я паг. С. 215–225; *Кизевемпер А.А.* // Северный вестник. 1891. № 3. 2-я паг. С. 96–99; *Платонов С.Ф.* // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1891. № 3; *Сторожев Н.В.* Историография и компиляция. По поводу третьего тома “Истории России” соч. Д.И. Иловайского // Вестник Европы. 1891. № 2. С. 914–929; Т. 4. Вып. 1. Смутное время Московского государства. Окончание истории Руси или первой династии. М., 1894 (Рец.: *Бережков Н.М.* О книге Д.И. Иловайского... // Сборник Нежинского историко-филологического общества. Т. 1. Киев, 1896. С. 106–112); Т. 4. Вып. 2. Эпоха Михаила Федоровича Романова. М., 1899 (Рец.: Цветаев Д.В. – Варшава, 1899. 19 с.); Т. 5. Алексей Михайлович и его ближайшие преемники. М., 1905.

В статье ссылки приводятся по переизданию “Истории России” Д.И. Иловайского: Начало Руси: [Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю]. М., 1996; Становление Руси: [Периоды киевский и владимирский]. М., 1996; Собиратели Руси; [Московско-Литовский период]. М., 1996; Царская Русь: [Московско-царский период или первая половина XVI в.]. М., 1996; Новая династия: [Смутное время Московского государства. Эпоха М.Ф. Романова]. М., 1996; Отец Петра Великого: [Алексей Михайлович и его ближайшие преемники]. М., 1996.

<sup>2</sup> Цит. по кн.: *Колосова Э.В.* Исторические воззрения и общественно-политические взгляды Д.И. Иловайского и Н.П. Барсукова (Из истории официальной охранительной историографии второй половины XIX–начала XX в. Дис. ... канд. ист. наук. Рукопись. М., 1975. С. 95–96).

<sup>3</sup> *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М., 1941. С. 414–417; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960. Т. 2. С. 81–86 (автор раздела В.Е. Иллерицкий); *Сахаров А.М.* Историография истории СССР. Досоветский период. М., 1978. С. 163–167; *Цамутали А.Н.* Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Историографические очерки. М., 1986. С. 25–30.

<sup>4</sup> *Бабич И.В.* Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920) // Историки России XVIII–XX веков. М., 1996. Вып. 3; *Он же.* О Д.И. Иловайском и его учебнике // Иловайский Д.И. Краткие очерки русской истории. В 2 ч. М., 1992. Ч. 2; *Бачинин Н.А., Дурновцев В.И.* Ученый глызун: Дмитрий Иванович Иловайский // Историки России XVIII–начала XX века. М., 1996. С. 365–368, 372–375; *Иванова О.В.* История Рязанского края в



- трудах Т.Я. Воздвиженского и Д.И. Иловайского // Из прошлого и настоящего Рязанского края / Сб. науч. тр. Рязань, 1995. С. 25–33.
- 5 Биографические сведения об ученом см.: *Иловайский Д.И.* Из воспоминаний студента о Грановском, Кудрявцеве и Рулье // Московские ведомости. 1858. № 64; *Он же.* Начало моего знакомства с К.Н. Бестужевым-Рюминым и “Московское обозрение” // Кремль. 1897. № 1. 8 февр. С. 2–3; *Он же.* Краткий исторический очерк полусотлетнего существования рязанской гимназии (1856 г.); *Он же.* Мелкие сочинения, статьи и письма. Т. 1. М., 1888 (далее: *Он же.* Мелкие сочинения); *Муромцева В.Н.* У Старого Пимена // Россия и славянство (Париж). 1931. 14 февр.; *Цветаева М.И.* У Старого Пимена // Московский альбом. Воспоминания о Москве и москвичах XIX–XX веков. М., 1997; *Чекулин Л.* Дмитрий Иванович Иловайский // Рязанский следопыт. 1993. № 1; Метрическое свидетельство Д.И. Иловайского // Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 418. Оп. 29. Д. 585. Л. 23. (Далее: ЦИАМ). Об обучении и преподавании в Московском университете, защите диссертаций см.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 23. Д. 14. Л. 1, 70; Д. 24. Л. 1–2, 53; Оп. 27. Ед. хр. 115. Л. 1–2; Оп. 28. Д. 537. Л. 10 об.–11; Оп. 29. Д. 585. Л. 4–4 об., 6, 10, 31; Оп. 39. Д. 58. Л. 39, 40, 43; Оп. 249. Д. 42. Л. 23 об.–24; Д. 47. Л. 516 об. – 517; Д. 48. Л. 191–191 об.; Д. 50. Л. 130–130 об.; Оп. 476. Д. 44. Л. 18; Ф. 459. Оп. 2. Д. 2428. Л. 1–1 об., 4–4 об., 11–11 об.
- 6 Отечественные записки. 1859. № 9–12.
- 7 *Добролюбов Н.А.* Собр. соч. В 9 т. М., 1964. Т. 9. С. 384–385. Там же. М., 1962. Т. 5. С. 318, 330.
- 8 *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 15. С. 433.
- 9 *Цветаева М.И.* Указ. соч. С. 394.
- 10 *Иловайский Д.И.* Исторические сочинения. М., 1914. Т. 3. С. 1.
- 11 Там же. С. 10, 159, 247–249, 256, 270–271. Диссертация была переведена на польский язык: *Sejm Grodzjen'ski roku 1793. Rozpau, 1872.*
- 12 *Иловайский Д.И.* Новая династия. С. 247.
- 13 *Цветаева М.И.* Указ. соч. С. 408.
- 14 *Иловайский Д.И.* Становление Руси. С. 6.
- 15 *Костомаров Н.И.* Русская историческая литература в 1876 г. // Русская старина. 1877. № 1. С. 160.
- 16 *Иловайский Д.И.* Рязанское княжество. М., 1997. С. 353–354. См. также: *Он же.* История Рязанского княжества. М., 1858. С. 169; *Он же.* Царская Русь. С. 165, 615.
- 17 *Иловайский Д.И.* Становление Руси. С. 5; *Он же.* Исторические сочинения. Т. 3. С. 409.
- 18 *Иловайский Д.И.* Мелкие сочинения. Т. 1. С. 71, 305, 333.
- 19 Кремль. 1900. № 9. 20 дек. С. 2.
- 20 *Иловайский Д.И.* Мелкие сочинения. Т. 1. С. 153.
- 21 *Иловайский Д.И.* Начало Руси. С. 375.
- 22 *Иловайский Д.И.* Мелкие сочинения. Т. 1. С. 153.
- 23 *Иловайский Д.И.* Становление Руси. С. 11.
- 24 *Иловайский Д.И.* Мелкие сочинения. Т. 1. С. 71, 307; *Он же.* Начало Руси. С. 375, 384; *Он же.* Становление Руси. С. 12.
- 25 *Иловайский Д.И.* Царская Русь. С. 360.
- 26 *Иловайский Д.И.* Исторические сочинения. Т. 3. С. 426.
- 27 *Иловайский Д.И.* Александр Васильевич Суворов // Кремль. 1900. № 9. 20 дек. С. 2.
- 28 *Иловайский Д.И.* Становление Руси. С. 6; *Он же.* Мелкие сочинения. Т. 1. С. 71–72.
- 29 *Иловайский Д.И.* История Рязанского княжества. М., 1858. С. 196.
- 30 *Иловайский Д.И.* Становление Руси. С. 7, 30, 283, 344, 517, 546; *Он же.* Собратели Руси. С. 380, 423.
- 31 *Иловайский Д.И.* Мелкие сочинения. Т. 1. С. 75; *Он же.* Становление Руси. С. 496; Кремль. 1910. № 40. 21 янв. С. 3.
- 32 А.М. Сахаров определял философскую основу его сочинений как позитивизм с элементами шеллингианства и гегельянства (*Сахаров А.М.* Указ. соч. С. 164). Э.В. Колосова привела следующую периодизацию эволюции философских воззрений историка: до середины 1870-х годов – позитивист; до 1905 г. – “менее отчетливо”; с 1905 г. – отказ от идей позитивизма (*Колосова Э.В.* Указ. соч. С. 90).
- 33 *Иловайский Д.И.* Очерки отечественной истории. М., 1995. С. 41.

- 34 *Иловайский Д.И.* Начало Руси. С. 379–380.
- 35 *Иловайский Д.И.* Корректирующая критика профессора русской истории // *Русский архив.* 1891. № 5. С. 114.
- 36 *Иловайский Д.И.* Мелкие сочинения. М., 1896. Т. 2. С. 252–253.
- 37 *Иловайский Д.И.* Становление Руси. С. 11, 12, 60, 223, 704; *Он же.* Собратели Руси. С. 49–50, 223, 329; *Он же.* Царская Русь. С. 5, 6, 58, 359, 360, 387.
- 38 *Иловайский Д.И.* Противуисторическое направление славистики // *Русский архив.* 1902. № 3. С. 567.
- 39 *Иловайский Д.И.* Исторические сочинения. Т. 3. С. 340.
- 40 *Иловайский Д.И.* Начало Руси. С. 47, 395; *Он же.* Исторические сочинения. Т. 3. С. 41, 344; *Он же.* Два новые исследования по начальной русской истории (гг. Васильевского и Миллера) // *Древняя и новая Россия.* 1875. № 5. С. 640–655; *Он же.* Еще заметка о номенклатурной теории г. Филевича // *Русский архив.* 1897. № 2. С. 302–305.
- 41 *Иловайский Д.И.* Поборники норманизма и туранизма // *Русская старина.* 1882. № 12. С. 613–619.
- 42 *Иловайский Д.И.* Собратели Руси. С. 289, 359, 508; *Он же.* Царская Русь. С. 72. Д.И. Иловайский в целом положительно воспринял выводы Н.П. Павлова-Сильванского о принципиальном тождестве удельных и феодальных порядков, однако предъявил к его исследованиям ряд серьезных претензий: не выделены отличительные черты русского феодализма, формальные аналогии феодальных институтов Запада и России (например, тождественность закладничества и коммендации), не решен вопрос об отношении княжеской дружины к земле в киевский период, не достаточно аргументирован вывод о договорном характере отношений дружины с князем. Серьезные нарекания вызвала у него и методика работы Н.П. Павлова-Сильванского, механически соотносившего события и явления XVI–XVII вв. с раннесредневековым периодом (Кремль. 1901. № 12. 24 нояб. С. 3; 1910. № 40. 21 янв. С. 3–4).
- 43 *Иловайский Д.И.* Исторические сочинения. Т. 3. С. 404.
- 44 *Иловайский Д.И.* Становление Руси. С. 116, 496; *Он же.* Царская Русь. С. 171, 184.
- 45 *Иловайский Д.И.* Рязанское княжество. М., 1997. С. 414.
- 46 *Сторожев Н.В.* Историография и компиляция. С. 921, 923, 927; *Кизеветтер А.А.* Указ. соч. С. 96–99.
- 47 *Иловайский Д.И.* Царская Русь. С. 387.
- 48 *Иловайский Д.И.* Царская Русь. С. 78, 79, 82, 371, 373, 376; *Он же.* Собратели Руси. С. 515; *Он же.* Становление Руси. С. 320–329.
- 49 *Иловайский Д.И.* История России. Т. 5. С. 468.
- 50 *Иловайский Д.И.* Царская Русь. С. 53, 54, 158, 363, 392, 393.
- 51 *Иловайский Д.И.* Исторические сочинения. Т. 3. С. 411, 412, 423, 426, 427; *Он же.* История России. Т. 5. С. 8, 16, 296, 340, 342, 360, 368.
- 52 *Иловайский Д.И.* Граф Яков Сиверс // *Отечественные записки.* 1859. С. 464; *Он же.* Петр Великий и царевич Алексей // *Русский архив.* 1912. № 9. С. 6, 14, 58–62; *Он же.* Мелкие сочинения. Т. 1. С. 301, 304–305; *Он же.* Исторические сочинения. Т. 3. С. 431–436; *Он же.* Краткие очерки русской истории. Изд. 36-е. М., 1912. С. 233–234.
- 53 *Иловайский Д.И.* Мелкие сочинения. Т. 2. С. 242. См. также: С. 153.
- 54 *Иловайский Д.И.* Рязанское княжество. М., 1997. С. 425.
- 55 *Иловайский Д.И.* Исторические сочинения. Т. 3. С. 414.
- 56 *Иловайский Д.И.* Корректирующая критика профессора русской истории. С. 115–116; *Он же.* Исторические сочинения. М., 1914. Т. 3. С. 401, 426–429; *Он же.* Заметка на возражения г. Платонова // *Журнал Министерства Народного Просвещения.* 1901. № 5. 2-я паг. С. 236–237 (Рец. на ст.: *Платонов С.Ф.* К заметке г. Иловайского // Там же. С. 509–510); Рязанское княжество. М., 1997. С. 425; *Он же.* Рец. на кн.: *Милоков П.Н.* Очерки по истории русской культуры // *Кремль.* 1901. № 17/18. 11 окт. С. 7.
- 57 *Иловайский Д.И.* Мелкие сочинения. Т. 2. С. 135.

**ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА РОССИИ XIX ВЕКА  
В ТРАКТОВКЕ К.Д. КАВЕЛИНА**

В те годы, когда К.Д. Кавелин (1818–1885) вступал в науку, историография как история исторической науки еще не сложилась в особую дисциплину. Но ее необходимость уже отчетливо ощущалась. О том свидетельствуют, в частности, и труды самого Константина Дмитриевича, в которых историографический подход является неотъемлемой, органической частью анализа. При этом не следует забывать, что первая же работа К.Д. Кавелина по русской истории “Взгляд на юридический быт древней России” (где, кстати, содержится значительный историографический материал) легла в основу “нового” направления в науке, которое со временем получило название “государственной школы”. Новое осмысление истории России и историографические размышления Кавелина способствовали становлению и развитию этого направления.

Кавелин не писал специальных работ по истории науки (исключением можно считать его обзор “Взгляд на русскую литературу по части русской истории на 1846 год”). Тем не менее при изучении прошлого России он большое внимание уделял трудам предшественников и современников, рецензировал все сколько-нибудь значительные новинки тогдашней исторической литературы, писал об общем состоянии исторической науки. При рассмотрении той или иной конкретно-исторической проблемы он обычно отмечал степень ее изученности, давал критический обзор существовавших мнений, говорил о столкновении взглядов.

Помимо этой, так называемой проблемной историографии, в работах Кавелина есть немало теоретических рассуждений и интересных наблюдений над развитием исторической науки в целом (например, об отношении к истории в различные эпохи, о необходимости для русской науки теории, о задачах историка и исторической науки и т.д.). Высказывался он о трудах и деятельности отдельных историков, оценивая их роль, влияние, оставленный ими след в истории науки. Затрагивал Кавелин и некоторые другие вопросы. Само собой разумеется, что историю науки он осмысливал с позиций государственной школы.

В исторической литературе иногда отрывочно цитируются отдельные оценки и характеристики Кавелина. Большая же часть историографических соображений и выводов ученого, рассеянных по многим его работам, остаются недостаточно изученными. Собрать и последовательно рассмотреть их – задача данной статьи.

Отношение к истории в разные эпохи прошло в своем развитии, по Кавелину, три основных этапа. Когда-то история, писал он, привлекала к себе как любопытная сказка о старине. Тогда была безнаказанно перемешивалась с небылицей, история “тешила воображение” и “подстрекала интерес” повестью о прошлых временах и об отдельных предках. Потом история стала поучением и справкой – она служила указанием и советом в практической деятельности, обратившись в ар-

хив старых политических и государственных дел. “Напоследок, – считал Кавелин, – история делается источником и зеркалом народного самосознания”<sup>1</sup>.

Помимо основных этапов, Кавелин говорил еще и о переходном, “межеумочном времени”, о перепутье между периодами, когда ход народной жизни оставляет привычное вековое русло и ищет новых путей, колеблясь между несколькими. Переходный период накладывает свою печать на исторические представления, и именно этот период привлек особое внимание Кавелина. Он и сам жил в такое время.

В переходный период, замечал Кавелин, уже не удовлетворяет прежняя справка о деяниях предков и нет уже больше ясного настроения души, что бы восхищаться полуволшебной сказкой, “художественным сочетанием исторической правды и выдумкой”. Когда торная дорога кончилась и дальше предстоит идти наугад, ощупью, тогда наступает время глубокого раздумья (что, заметим от себя, всегда благотворно сказывается на развитии исторической мысли): “Народная мысль разрешается в целый ряд вопросов, догадок и предположений, посреди которых мало-помалу и созревает народное самосознание, единственный верный руководитель на этой степени развития”<sup>2</sup>. Но самосознание, подчеркивал Кавелин, дается трудно и тяжело.

Говорил Кавелин и о предвзятом отношении к истории, когда подходили к прошлому с заранее решенными вопросами с целью получения желанного ответа. Но такие ответы, утверждал он, “еще не история, не истина; по ним узнается не то, что было, а то, чего домогался, что хотел видеть историк”. Только впоследствии, верил Кавелин, “возмужавшее и окрепшее народное самосознание” придет к правде в истории и вступит “на твердый путь в практической жизни”<sup>3</sup>.

Русская история, считал автор, прошла все эти фазисы, кроме последнего: она была и сказанием, и поучением, события и главные деятели рассматривались с различных точек зрения. Но народное самосознание еще не установилось. Современное положение в исторической науке Кавелин оценивал весьма критически: “Наши взгляды на русскую историю, наша оценка исторических событий и деятелей России оказываются одни за другими, детским лепетом незрелой и нетвердой мысли, и забываются также легко, как возникают”. Это происходит, по Кавелину, почти из-за полного незнания своей истории, из-за поверхностного к ней отношения. “При кажущемся мирном и спокойном, отчасти даже сонном, строе нашей жизни, какой-то быстрый водоворот кружит нашу мысль, унося, одну за другой, все слабые попытки кристаллизировать наше народное самосознание в сколько-нибудь определенные формы”. И он давал критическую, близкую к пессимизму, оценку: “умственное наше бессилие никогда, может быть, не чувствовалось так глубоко, как теперь”<sup>4</sup>. Только с появлением трудов С.М. Соловьева и затем Б.Н. Чичерина Кавелин стал отмечать наступающий третий, “новый период”, когда историческая наука выходит “из области полуреигических, полуисторических мечтаний” в область “чисто-исторической деятельности”, когда историки от изучения вопросов внешней, политической истории обратились к изучению внутреннего быта<sup>5</sup>.

Размышлял Кавелин и о задачах историка и о задачах русской науки. Наука представлялась Кавелину как нелюбезный судья, как художник – она должна воссоздать отживший мир во всей его животрепещущей непосредственности. Приговор науки должен “состоять в уразумении, в приведении к сознанию органических причин великих исторических событий, как судьба необходимых, неизбежных в сущности, случайных лишь по внешней обстановке”<sup>6</sup>. Он полагал, что все народы стремятся к одному идеалу, только “многообразными” путями. История, писал Кавелин, исследует эти условия, “делает прозрачной оболочку, в которую облакаются внутренние стремления и помыслы, сознательные и бессознательные, сознательно и бессознательно”. В связи с этим он ставил вопрос: в чем задача историка? и отвечал: “выяснить события, период, эпоху, так, как будто бы мы сами в ней жили и действовали. Если эта цель достигнута, мы за тысячу лет пред сим, в тридевятой земле, увидим действующим лицом такого же человека, каковы все мы грешные. Разница будет в большей или меньшей его развитости, совершеннолетия. Стремление человека к полному, всестороннему нравственному и физическому развитию и есть движущее начало истории, главная причина изменений, реформ и переворотов”<sup>7</sup>. Кавелин предостерегал от бытующего наивного и упрощенного представления о том, что в прошлой исторической жизни было хуже. Такое представление, писал он, сложилось из-за большей технической развитости человеческого общества, из-за “улучшенного” состояния современной жизни. Не могу удержаться, чтобы не привести аналогичное рассуждение В.О. Ключевского. Мысль о том, что по мере развития человечества людям становится лучше жить, Ключевский называл не фактом, а благожеланием: “Может быть, это правда, но она никогда не может быть доказана, потому что нет научного орудия, которое бы могло ее доказать”. Нет “исторического термометра”, способного измерить и сравнить ощущения античного гражданина, древнего индуса или современного человека: может быть, они лучше себя чувствовали, может быть, и хуже. «Это “может быть” никогда не будет устранено научно при оценке исторического движения»<sup>8</sup>.

По представлению Кавелина, задача русской истории сводится к тому, чтобы восстановить “потерянное в сознании преемство внутреннего нашего развития, указать органическую связь там, где теперь представляются как будто порванные концы исторической нити, – вот теперь главная, первая задача русской истории. Разрешить ее необходимо не только в видах удовлетворения исторической любознательности, а для того, чтобы внести хоть сколько-нибудь света и порядка в нашу мысль, блуждающую в невероятном хаосе и тьме”<sup>9</sup>.

По существу, все кавелинские наблюдения и размышления над развитием исторической мысли в России привели его к убеждению необходимости теории русской истории. “Это была основная мысль, заставившая меня взяться за перо” – признавался он в ответе на критику Ю.Ф. Самарина. Он пояснял свое понимание того, “что такое теория”: это “определение и изложение законов, по которым данный предмет живет и изменяется. Значит, теория русской истории есть обнаружение

законов, которые определили ее развитие. Но жизнь народа есть органическое целое, в котором изменения происходят последовательно и по внутренним причинам; все в ней условлено одно другим, так что настоящее есть последовательный результат прошедшего, прошедшее естественно переходит в настоящее”<sup>10</sup>. Чтобы понять “тайный смысл” русской истории, необходим взгляд, теория, – неоднократно утверждал Кавелин. Русскую историю должно представлять как “развивающийся организм, живое целое, проникнутое одним духом, одними началами. Явления ее должны быть поняты как различные выражения этих начал, необходимо связанные между собою, необходимо вытекающие одно из другого”<sup>11</sup>. Труд выполнения поставленной задачи Кавелин взял на себя в получившей широкую известность работе “Взгляд на юридический быт древней России” (она представляла собой сокращенное изложение курса по истории русского права 1844–1848 гг.).

Наибольшее число историографических размышлений Кавелина посвящено, как отмечалось, “переходному периоду”, к которому он относил время от Карамзина до Соловьева. Однако это не означает, что он не высказывал свое мнение об историках более ранних времен, особенно тогда, когда он вел речь об освещении ими отдельных конкретно-исторических проблем (Нестор, Татищев, Байер, Круг, Шлецер, Болтин, Щербатов, Эверс и др.). Раскрытие воззрений Кавелина на эти проблемы не входит в задачу данной статьи, так как они более относятся к общей исторической концепции, а не к взглядам, по выражению Кавелина, на “русскую историю как науку”.

Кавелин говорил трех о ступенях, которые прошла в XIX в. русская историческая наука. Критерий, легший в основу обоснования ступеней постепенного развития и “возмужания исторического сознания”, историографичен. Это появление многотомных обобщающих трудов по истории России: 1816 г. – “История государства Российского” Н.М. Карамзина; 1830 г. – “История русского народа” Н.А. Полевого, и 1851 г. – “История России с древнейших времен” С.М. Соловьева.

Представляется важным подчеркнуть, что Кавелин, говоря о выше-названных трех ступенях, заметил, что ни Карамзин, ни Полевой, ни Соловьев не создали науки вновь, что каждый из них был приготовлен предшествующими трудами: “Каждый только высказал взгляд и мнение своих современников о русской истории, как они выражались и выражаются в лучших сочинениях и умах”. Он утверждал, что “новое воззрение никогда не является вдруг после старого, а есть результат добываемый постепенно и возникающий уже на развалинах”<sup>12</sup>.

Было время, писал Кавелин, когда в исторической науке безгранично господствовал авторитет Н.М. Карамзина. Кавелин признавал великие и “вечно незабвенные” заслуги историографа перед русской историей. Тайну очарования и обманчивого обаяния его “Истории государства Российского”, от которых долго невозможно было освободиться, он объяснял духом и обстоятельствами времени, когда создавался этот труд. Тогда, после победы России в Отечественной войне 1812 г., ее роль в мировой политике сильно возросла и в высшей степени было возбуждено чувство национальной гордости. “Более чем когда либо мы

уверились, что мы европейцы и стоим с ними на одной степени”. “В политическом отношении, – писал Кавелин, – мы сравнились с европейскими народами и радовались этому, и думали, что главная цель достигнута и нам остается только идти вперед на том же пути”<sup>13</sup>.

Кавелин находил вполне естественным, что Карамзин как писатель и поэт взглянул на прошедшее с патриотической точки зрения. Под пером Карамзина русская история выросла “в нечто колоссальное, величественное”, и его труд “возбудил сильное сочувствие и глубоко подействовал на общество”. Карамзин, отмечал Кавелин, является представителем “целой эпохи нашего умственного и нравственного развития”<sup>14</sup>.

Название карамзинского труда “История государства Российского” импонировало Кавелину. Он отмечал, что в выборе названия Карамзин руководствовался верным чувством: “Действительно, политический, государственный элемент представляет покуда единственно живую сторону нашей истории”. Кавелин высоко оценивал и “Примечания” Карамзина, где содержится богатое собрание материалов и источников. Карамзин, признавал он, обладал огромным знанием источников древней русской истории: “если б он нарочно гнал от себя мысли – как делают некоторые исследователи – они навязались бы ему невольно”<sup>15</sup>.

Тем не менее, несмотря на значительные заслуги Карамзина, он, по мнению Кавелина, внес в русскую историю совершенно “противоестественное”, “натянутое” воззрение. “Задав себе невозможную задачу – изложить русскую историю фактически верно, но с точки зрения западно-европейской истории” (что он выполнил блистательно, признавал Кавелин), Карамзин искусно сочетал “взгляды и факты, противоречащие друг другу, взятые из совершенно разнородных слоев жизни”. Он больше обращал внимание на внешние события, чем на внутренние и мало понимал последовательное, внутреннее развитие русской жизни. Кавелин находил, что это особенно заметно в даваемых Карамзиным обзорах разных эпох русской истории и в его взглядах на царствование Ивана Грозного, – “словом везде, где он говорит о внутренних событиях”<sup>16</sup>.

Дело заключается в том, продолжал Кавелин, что Карамзин не искал в фактах мысли, не останавливался над ними, не проследил их развития в истории, “а передавал их отрывочно, бессвязно, как они высказывались в фактах”. Конечно, это нельзя ставить в вину историографу, оговаривался Кавелин, так как Карамзин имел перед собой другую цель, иное призвание. Да и время было другое. Но, добавлял Кавелин, “нельзя же опять не сказать, что это было так”, ибо “Платон – друг, но истина – больший друг”<sup>17</sup>.

Кавелин приходил к выводу, что Карамзин “не глубоко смотрел на историю”, что его “История” принадлежит более к изящной, чем к исторической литературе (за исключением “Примечаний”). Воображение рисовало ему чудные картины, “невозможное и небывалое существование”, вследствие чего со временем вышло большое зло: “Воззрение на историю потеряло историческую почву и стало совершенно отвлеченным, прикрывая себя фактами”. Характеры у Карамзина, писал Кавелин, “созданы”, а “не воспроизведены”, “события освещены неестест-

венным светом”. Оттого нет никакой возможности понять, как же все это делалось в старину и зачем делалось? Отчего после варяжского периода наступил удельный, а потом именно московский? Исторические деятели разных времен и эпох проходят у Карамзина как в панораме один после другого в одной хронологической, а вовсе не внутренней исторической преемственности. “В этом царстве бесплодных теней все эпохи, все лица, события так похожи друг на друга, что нет никакой причины не представить себе России задолго до Рюрика стройно организованною, с развитым общественным бытом и цивилизацией”. Позицию Карамзина Кавелин называл ложной и считал, что она мешала понять не только древнюю, но и современную историю<sup>18</sup>.

Исправить сразу подобный взгляд было невозможно. Поэтому, полагал Кавелин, “воздвигнутое здание надобно было подгачивать понемногу, по частям”. Среди тех, кто начал “упрощать натянутое воззрение Карамзина”, Кавелин называл М.П. Погодина, позиция которого позднее изменилась, и он из критика Карамзина превратился в его защитника.

Главным образом в связи с анализом трудов М.П. Погодина Кавелин уделил немалое внимание и “объектам” его критики – М.Т. Каченовскому и Н.А. Полевому. Историографическая судьба названных историков складывалась сложно и неоднозначно. Их требования критического отношения к источникам и к осмыслению исторических фактов вели по существу к выработке новых методов исследования. Несмотря на известную слабость конкретных положений и крайних выводов, труды обоих историков оказали значительное влияние на последующее развитие критической мысли и прежде всего на историков “государственной школы” – К.Д. Кавелина и С.М. Соловьева. Но понимание этого пришло далеко не сразу. Большинство современников оба историка как бы обрекали на забвение – на них обрушился шквал нападок. Вот как, например, писал о том сам М.Т. Каченовский в письме к Н.И. Гнедичу: «Не говорите, Бога ради, о критике на “Историю”. Досталось мне уже и за рецензию на одно лишь предисловие. Одни отворачивались от меня, другие меня не узнавали, третьи называли меня попеременно то сумасбродом, то опасным человеком, иные даже старались вредить мне по службе. Жуковский, выругавши меня добрым порядком в письме, прекратил со мной всякие сношения»<sup>19</sup>. “Оскорбители”, по выражению С.М. Соловьева, трубили победу.

Ведущую роль в уничижительной критике М.Т. Каченовского и Н.А. Полевого от лица профессиональных историков сыграл М.П. Погодин. И надо отдать должное К.Д. Кавелину, сумевшему увидеть не только слабые стороны и недостатки трудов обоих историков, но и оценить их научные заслуги в то время, когда это не было еще столь очевидным.

М.Т. Каченовский, по словам Кавелина, первым почувствовал неудовлетворенность “натянутого” и неестественного воззрения Карамзина на русскую историю. Кавелин охарактеризовал Каченовского как человека с талантом (хотя и не гениального), эрудированного, знакомого с исторической критикой и современными требованиями науки. Каченовский, писал он, восстал против карамзинских преувеличений и старался привести русскую историю к ее “естественным размерам”. Он хо-



тел “снять с глаз повязку”, которая показывала многое в превратном виде, и “привести нас к воззрению, равному времени, в которое совершались события”. Свою цель Каченовский преследовал с достойным всякого уважения жаром, но при этом, отмечал Кавелин, “впал в крайность”, существенно повредившую его делу. Вместо того, чтобы “из самой летописи и источников показать младенческое состояние нашего общества в IX, X, XI и последующих веках, он старался опровергнуть самые источники. Ему казалось, что даже и они приписывают древней Руси слишком много, и эта задушевная, любимая мысль просвечивает в каждой статье его”. Причину неверия Каченовского в существование, например, кожаных денег Кавелин объяснял тем, что историк не видел в древней России государства, кредита, правильной финансовой системы, без которых “представители ценности” не могут иметь оборот. На тех же основаниях Каченовский выступал и против подлинности “Русской правды”, отвергал возможность торговли и т.п. В своей основе мысль Каченовского Кавелин признавал вполне справедливой. Существующее же несоответствие между основной мыслью Каченовского и ее выполнением Кавелин оправдывал тогдашней малоизвестностью русской истории. “Она и теперь еще лес, в котором очень легко заблудиться”, добавлял он<sup>20</sup>.

По мнению Кавелина, не было еще столь несчастного человека в своих последователях, как Каченовский, чем усугублялось его положение в науке. Кавелин утверждал, что в полном смысле Каченовский не имел учеников: “Все так называемые ученики его уцепились за букву и принялись опровергать подлинность летописей; ни один из них не схватил главной мысли Каченовского”, и мысль учителя “на время была погребена”. В лице этих продолжателей сама школа получила, как считал Кавелин, смешное название *скептической*, что “так не шло ей к лицу”. Замечу попутно, что Погодину, например, такое название показалось “почетным титулом”. В этом штрихе ярко проявилась разность историографического восприятия обоих ученых.

Кавелин находил, что не был понят Каченовский и своим главным критиком – Погодиным, который высокомерно называл сомнения скептической школы детским лепетом, не заслуживающим никакого внимания знаков. Погодин как ученый “прежнего порядка”, страдавший односторонностью (что многократно подчеркивал Кавелин), замечал только промахи и ошибки Каченовского, за что ожесточенно преследовал его всеми литературными средствами даже и после смерти ученого. Несмотря на то, что Погодин “по-видимому одержал верх” над соперником и может уже после его ухода из жизни “без докук” продолжать свои занятия, он (Погодин) “ни тогда, ни теперь” “не так понимал требование и направление Каченовского”, не понимал его важного значения и призвания.

Тон и нравственный аспект критики Погодина вызывали у Кавелина неприязнь. Его резкие отзывы о скептиках производили неприятное впечатление даже на сторонников Погодина. Они укоряли историка в излишней раздражительности и призывали его к спокойствию: “Брань Вам не к лицу. Вам надобно быть добрым для всех и со всеми”. Но ни-

чьи увещания не возымели действия. Кавелин считал, что Погодин, резко и местами чересчур ожесточенно отзываясь о Каченовском, дал несправедливую, пристрастную и крайне ограниченную оценку соперника. “В его словах, – писал Кавелин, – виден торжествующий авторитет и величавое пренебрежение к побежденному противнику”. “Нам, чуждым этого спора, странно видеть победные лавры, которыми украсил себя г. Погодин, – и Каченовского, идущего за его триумфальной колесницей”. Но на этом торжестве, замечал Кавелин, лежит печать иронии. Погодину, писал он, легко было одолеть своего соперника огромным перевесом данных, говоривших в его пользу. “А между тем, – продолжал Кавелин, – по своей точке зрения Каченовский вполне прав, гораздо правее г. Погодина. Г. Погодин думал, что, опровергнув Каченовского, он совершенно победил его; мы не спорим, что Каченовского доводы слабы, и хорошо, что нашелся человек, который исправил ошибки, непосредственно лежавшие в его словах. Но на самом деле великим лицом в этом споре является не г. Погодин, а Каченовский, потому что вопрос им поставленный обойден, непонят: так он был глубок десять лет тому назад”. Кавелин, высоко ценивший Каченовского за критическое начало, высказал уверенность, что имя Каченовского “если не навсегда, то надолго будет памятно для всех, занимающихся русской историей”. Он утверждал, что время Каченовского не прошло – оно только наступает. “Каченовский найдет себе защитников и продолжателей. Тогда увидят, как напрасно торжествовал победу г. Погодин, как бедны его лавры. И это время недалеко...” – справедливо предвидел Кавелин<sup>21</sup>.

Симптоматично, что любимый ученик Погодина Н.В. Калачов (что, впрочем, не мешало ему разделять взгляды историко-юридической школы), задумавший издавать “Архив историко-юридических сведений, относящихся до России”, обратился к Кавелину: “Теперь на счет Каченовского. На нас лежит священный долг отдать ему должную честь. В Москве к нему еще слишком холодно; в последнем заседании Общества истории и Древностей я было заговорил об его биографии, – никто не отозвался. Благо вам, что вы отдадите ему все следующее, и вашим словам публика, конечно, поверит больше, чем всякому другому”<sup>22</sup>. Но Кавелин так и не написал биографию Каченовского. Статья о нем, без подписи, появилась в 1855 г. в “Биографическом словаре профессоров и преподавателей Московского университета”. Она принадлежала перу С.М. Соловьева.

Высказывал свое мнение Кавелин еще об одном критике Карамзина. Речь идет о Н.А. Полевом и его “Истории русского народа”. Кавелин находил, что этот труд нельзя назвать бесспорным историческим сочинением в полном значении слова в отличие от “Истории России” С.М. Соловьева. Появление труда Полевого Кавелин объяснял отсутствием исторической критики в карамзинской “Истории государства Российского”. По этой причине автор, полагал он, очевидно хотел написать критическую историю, что доказывает, в частности, посвящение его труда: “Б.Г. Нибуру, первому историку нашего века”.

У Полевого, писал Кавелин, на первом плане стоят общие исторические взгляды, бывшие в ходу между учеными 1830-х годов, которые он

и старался приложить к русской истории. Кавелин находил, что опыт Полевого по отношению к варяжской эпохе не был совершенно неудачным. Приведу рассуждение о том самом Полевом, важное для понимания его концепции. В предисловии он писал: “Название книги: *История Русского народа*, показывает существенную разницу моего взгляда на Историю отечества, от всех донныне известных (...). Я полагаю, что в словах: *Русское государство*, заключалась главная ошибка моих предшественников. Государство Русское начало существовать только со времени свержения ига Монгольского. Рурик, Синеус, Трувор, Аскольд, Дир, Рогволод основали не одно, но отдельные разные государства. Три первые были соединены Руриком; с переселением Олега в Киев последовало отделение Северной Руси и образование оной в виде республики. Киевское государство (...) делилось потом особо от Севера, и представляло особую систему феодальных Русских государств. При таком взгляде изменяется совершенно вся Древняя История России, и может быть только *История Русского народа*, а не *История Русского государства*. От чего и как пали уделы под власть Монголов; что составило из них *одно* государство; каким образом это новое, деспотическое *Русское княжество* преобразилось в самодержавную, великую Империю? Это старался я изобразить, совершенно устранив свое народное честолюбие, говоря беспристрастно, соображая, сколько мог, настоящее с прошедшим”<sup>23</sup>.

Названием своего труда Полевой отрицал, таким образом, только государственное единство *Древней Руси* и не ставил своей целью проследить историю русского народа в течение всей многовековой истории России (что нередко опускается из вида теми, кто судит о работе Полевого по одному лишь заглавию). Заметим попутно, что в подходе Полевого предугадывается будущая федеративная теория Н.И. Костомарова.

Итак, Кавелин увидел рациональное зерно во взгляде Полевого на варяжский период: «Г. Полевой отверг общие рассуждения Карамзина, показал неприменимость их к первой эпохе нашей истории и на каждой почти странице указывает на необходимость более исторического и критического обсуждения событий. Это несомненное достоинство первого тома “Истории русского народа” и немаловажная заслуга г. Полевого». Однако, находил Кавелин, исполнение Полевым задуманной истории России не соответствовало выдвинутому им же самим требованиям: “Г. Полевой как будто не совладал с предметом с материальной стороны. Взгляд его слишком общ, и потому нередко поверхностен; общие положения иногда отзываются фразами и общими местами. Оттого частная критика данных слишком легка и неудовлетворительна”. По этой причине, полагал Кавелин, “История русского народа” была скоро забыта<sup>24</sup>.

Замечать недостатки и слабости труда Полевого не было по тем временам новостью в науке, особенно после “гремящей” критики М.П. Погодина. Многими тогда Полевой считался одиозной фигурой и оценивался негативно, его сочинения называли безобразным хаосом уродливых слов, скрипящих под тяжестью уродливых мыслей, нахватанных и оттуда и отсюда. Любопытно, что Погодин, желавший побольнее уда-

рить своего бывшего ученика (“в Карамзины лезет, хочет быть господствующим авторитетом!”) и ставшего потом главным объектом его критики, воскликнул в адрес С.М. Соловьева: “Это просто Полевой”. Обобщая историографическую обстановку 30-х годов XIX в., П.Н. Миллюков позднее замечал, что игнорировать “Историю” Полевого стало признаком хорошего тона среди тогдашнего поколения ученых; “последующие же поколения так окончательно забыли о ней, что когда понадобилось определить ее значение в развитии русской исторической науки, задача оказалась нелегкой”<sup>25</sup>. Кавелин в какой-то степени поспособствовал такому “облегчению”. Он признавал “ощутительным” значение “Истории” Полевого в русской исторической литературе: “она была выражением более серьезного, историко-критического направления, которое в то время, впервые после Шлецера и Круга, начало снова обнаруживаться”<sup>26</sup>. Наряду с трудами Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева Кавелин, как мы помним, включил “Историю русского народа” Полевого в число трех работ, определивших собой общее развитие исторической науки в России XIX в. Однако справедливое кавелинское замечание как-то выпало из поля зрения последующих историографов, и оно опускалось в исторической литературе не только XIX, но и XX в. Между тем ученик и во многом последователь Кавелина, К.Н. Бестужев-Рюмин опирался на его мнение при своей характеристике Полевого и его главного исторического труда. Работа Бестужева-Рюмина “Современное состояние русской истории, как науки” (1859) сыграла положительную роль в утверждении заслуг Полевого перед отечественной исторической наукой. Многие последующие историки одно из главных достоинств этой бестужевской работы видели прежде всего в том, что здесь впервые давалась обстоятельная и положительная оценка Полевого и его “Истории русского народа”. Оценка Бестужева-Рюмина была признана, закреплена в литературе и развивалась историками, ценившими Полевого за выдвижение новых требований к истории как науке, за его подход к изучению исторического процесса с позиции новых идей и методом западноевропейской науки, начинавшими с Полевого новый этап в русской исторической мысли. А мнение Кавелина оказалось забытым.

Вернемся к Погодину. Это был крупный ученый своего времени, разносторонне одаренный человек, но с тяжелым амбициозным характером. Он оставил заметный след и в русской науке, и в русской культуре. По наблюдению Д.А. Корсакова, Погодин находился в переписке, в полемике и вообще в дружеских или враждебных отношениях со всеми русскими писателями и учеными с 1820-х до 1870-х годов<sup>27</sup>. Наделенный огромным общественным темпераментом, Погодин был инициатором многих научных полемик и первого в России публичного диспута на историческую тему, который состоялся между ним и Н.И. Костомаровым в 1860 г. Погодин стал и одним из первых (если не первым) критиком нового исторического направления – государственной школы. Насколько разоблачающую характеристику погодинского “пыла” оставил И.А. Гончаров, когда-то учившийся у него в Московском университете. У Погодина, писал он, “было кое-что напускное и в характере его и в его взгляде на науку. Мы чуяли, что у него внутри меньше пыла, неже-

ли сколько он заявлял в своих исторических – ученых и патриотических настроениях, что к пафосу он прибегал ради поддержания тех или иных принципов, а не по импульсу искренних увлечений”<sup>28</sup>.

В 1846 г., летом вышли из печати три тома (из семи) “Исследований, замечаний и лекций по Русской истории” и книга первая “Историко-критические отрывки” М.П. Погодина. Автор многого ждал от этой публикации, рассчитывая получить чин действительного статского советника. С этой целью он через третьих лиц отправил книги министру народного просвещения графу С.С. Уварову для предоставления их государю и другим членам императорской фамилии. Дело, однако, несколько затянулось, и только в мае следующего 1847 г. Уваров написал в докладе императору: “Профессор Погодин есть один из самых ревностных возделывателей Отечественной Истории. В изданных им книгах заключаются объяснения и разрешения, более или менее удовлетворительные на все вопросы о древнем периоде Русской истории” (не очень то восторженный отзыв! – заметим от себя в скобках). Далее министр “испрашивал дозволения” объявить автору высочайшее благоволение, на что царь выразил согласие. Погодин был раздосадован. “В газетах мне благоволение. Вот тебе и награда. Подлецы!” – записал он в своем дневнике. Погодин болезненно следил за реакцией окружающих. Утешался, когда его хвалили; упрекал за молчание, а выступившим в печати критикам (в том числе К.Д. Кавелину) отвечал резко. Обижался Погодин даже тогда, когда при встрече с ним не высказывались об его труде. К примеру, читаем в его дневнике: “Соловьев не подошел поговорить об исследованиях”<sup>29</sup>. Погодин вообще “был очень щекотлив, когда замечал в ком-нибудь невнимание к себе” – замечал И.А. Гончаров<sup>30</sup>.

В “Отечественных записках” за 1847 г. в первой и третьей книгах Кавелин поместил свои подробные статьи-рецензии на три тома “Исследований” и на “Историко-критические отрывки”. Данные там историографические характеристики Кавелин повторял и отчасти развивал и в других своих статьях и рецензиях. В частности, они вошли в его текст, включенный (без указания автора) в знаменитую статью В.Г. Белинского “Взгляд на русскую литературу 1846 г.” (“Современник”. 1847. Кн. 1). Впоследствии эта кавелинская статья под названием “Взгляд на русскую литературу по части русской истории за 1846 г.” вошла в состав его сочинений.

Кавелин кратко знакомил с составом всех книг Погодина, остановил внимание на их названии: “несмотря на несистематическое заглавие” исследования автора расположены систематически. В этом Кавелин увидел неискренность Погодина. По его мнению, задумал систематическое сочинение, “обнимающее весь предмет и существенные его недостатки хотел прикрыть несистематическим, необязательным заглавием”. Кавелин находил, что некоторые стороны древнейшего быта Погодин разработал прекрасно, другие оставил в тени, третья обследовал слабо<sup>31</sup>.

Кавелин напоминал читателям, что Погодин вступил на сцену в то время, когда начал изменяться характер исторической критики и из “приуготовительных исследований” стала рождаться история в собст-

венном смысле. Тогда в исторической литературе, писал Кавелин, стала проявляться та же разногласица, которая “отразилась и в изящной литературе, и в быту, и в мнениях, когда даже исторические взгляды начали переходить в фантазии”. Погодин же в это переходное время “умел удержаться на исторической почве”. Принадлежа всеми своими сторонами к прошедшему, он, замечал Кавелин, был “не чужд некоторым новым требованиям, взглядов, ученых приемов”, и был “одним из тех немногих наших исследователей, которые старались подойти к фактам поближе и взглянуть на них проще, нежели их предшественники”. Погодин принялся за изучение самой злостной и важной для русской исторической науки тех лет проблемы, по которой споры шли в XVIII в. и которые перешли в век XIX. Это – вопрос о происхождении Руси, о зачатках русского государства. “Не увлекаясь блестящими гипотезами, соблазном отрывочных фактов, он (Погодин. – Р.К.) осмотрел все поле, подметил преобладающие черты варяжского периода нашей истории, убедился, что они запечатлены скандинавским или норманским элементом, и в этом направлении повел свои исследования”. Ничто, подмечал Кавелин, не могло в продолжение долговременной ученой деятельности Погодина отклонить его с избранного пути. Доводы же противников только доставляли ему материалы для еще большего развития собственного взгляда. Ему, по признанию Кавелина, довелось привести в систему взгляд своих предшественников, начиная с Байера, собрать некоторые новые доказательства, разобрать существовавшие мнения. “Эта заслуга, – по мнению Кавелина, – сама по себе уже очень важна”. Погодин, продолжал он, внес в исследования своих предшественников цельность, единство, систему, “положил последний камень к зданию и сделал на будущие времена невозможным отрывочное, бесвязное опровержение защищаемого им взгляда”<sup>32</sup>.

Убедившись, что варяги-русь были норманнами, скандинавами, Погодин с этой точки зрения исследовал весь первый, варяжский, период русской истории и выдвинул в своем изложении на первый план скандинавские черты. “Все, что делалось у нас с призвания Варягов до кончины Ярослава, – писал Кавелин, – он присваивает одним скандинавам”. В этом, конечно, есть преувеличение, односторонность. Но, по мнению Кавелина, нельзя за то слишком винить автора, так как он, исчерпав скандинавский элемент в древнейшей русской истории, облегчил работу будущим исследователям, даже в том случае, если новые авторы и не будут разделять его взгляда.

Таким образом, Кавелин достаточно высоко ставил Погодина как исследователя древнейшего периода русской истории и находил, что с этой стороны Погодин был тогда еще мало оценен.

Иное мнение высказал единомышленник Кавелина С.М. Соловьев: “Погодин засел в варяжский период, остановился здесь; вследствие прекращения движения явилась плесень. Погодин ничего не ведал дальше варягов, дошел до нелепых крайностей, запутался, завяз (...)”<sup>33</sup>. Мнение Кавелина представляется более объективным. Тем не менее такое признание не мешало Кавелину видеть недостатки трудов и взглядов Погодина, рассмотрение которых и составляло главное содержание его

рецензий. Но в настоящей статье, посвященной историографическим взглядам Кавелина, важны не его замечания по вопросам русской истории, а его понимание роли М.П. Погодина в отечественной историографии. Тем более, что Кавелин, говоря о Погодине, отмечал: “развитие самого автора гораздо интереснее того, что он сказал; исторические мнения г. Погодина имеют больший интерес литературный, нежели объективный; они теперь сами предмет истории”<sup>34</sup>.

Пристальное внимание Кавелин уделил эволюции взглядов Погодина по его отношению к Карамзину. По началу, говорил он, Погодин играл не последнюю роль в критическом направлении. В подтверждение этого кавелинского тезиса приведу для примера мнение Погодина о Карамзине, высказанное им в конце 1820-х годов: “В его Олегах и Святославах мы видим часто Ахиллесов и Агамемнонов расиновских. Как критик Карамзин только что мог воспользоваться тем, что до него было сделано, особенно в древней истории, и ничего не прибавил своего. Как философ он имеет меньше достоинства, и ни на один философский вопрос не ответить мне из его “Истории” (...). Чем отличается Российская история от прочих, европейских и азиатских? Апофегматы Карамзина (...) суть большею частью общие места”<sup>35</sup>.

Но позиция Погодина не оставалась неизменной. “Странно, когда подумаешь, – писал Кавелин, – что тот же ученый исследователь, который еще так недавно был во главе нового поколения и вел его против старой школы, теперь уже является защитником старого против нового и стоит на стороне Карамзина, которого недостатки он открывал и обличал так основательно и дельно”. Такую перемену во взглядах Погодина Кавелин объяснял быстрым движением времени: “Всею виной время! Оно шло так быстро; так скоро стало выветриваться и ветшать снаружи великолепное, изнутри призрачное строение русской истории, что Погодин не узнал в своих последователях (не по изысканиям, а по взглядам) продолжателей его же дела и испугался крайних последствий, выведенных из критики карамзинского воззрения. Ему показалось, что пошли уже слишком далеко, и он понял, что стоит ближе к прежнему, чем к новому”. В числе главных причин отставания Погодина от современного ему движения науки Кавелин называл путь, который был им избран, и прием, с которым он взялся за дело. Погодин отдался частностям, употребив на них все силы, и забыл главное – “целое прошедшее воззрение, которое нужно было изменить с корня”. Общее, таким образом, было им “потеряно из вида”. Кавелин писал, что Погодин очень удачно нападая на Карамзина в отдельных фактах и исторических явлениях, остался при нем в целом, так и “не понял или забыл свое призвание в русской исторической литературе”<sup>36</sup>.

По убеждению Кавелина, Погодин не мог открыть собою новую эпоху “ученого обрабатывания русской истории”, так как у него не было цельного взгляда на весь предмет, “взгляда, в котором различные эпохи и фазисы хоть как-нибудь вязались бы между собою”. У него есть светлые мысли, признавал Кавелин, но нет ясной системы, “есть ученые приемы, довольно удачные, но совершенно нет методы”. Словом, Погодин – “не охотник” до взглядов и теорий. При этом у него есть

страсть “возводить в систему свою нелюбовь, нерасположение к цельному, систематическому взгляду на предмет”<sup>37</sup>.

Для подтверждения справедливости этого утверждения Кавелина я снова воспользуюсь словами Погодина: “Нас губит система, желание строить систему, прежде чем приготовлены материалы. Молодые люди даровитые, деятельные погибают у нас для науки. Слепец слепца ведет, оба падают в яму, да и благодарят друг друга, поздравляют со славою! А журнальные крикуны (вроде египетских плакальщиков) и праздные невежи, которым нет дела до науки, аплодируют”<sup>38</sup>. Однако позднее, стараясь отвести от себя упрек Кавелина в отсутствии у него цельного общего взгляда, Погодин утверждал, что он любит общие мысли и ясные обозрения и горячо соболезнует по поводу того, что даже в европейской литературе очень мало встречается общих мыслей об истории (“горизонт истории сузился, – историки обмелели”). Он же, Погодин, делал насилие над своей душой, “корпя над буквами, разбирая кавычки и запятые, сличая свидетельства (...), роясь в подземелье, в пыли, в кламе”, принося жертву Русской Истории. Не обработав источников, нельзя рассуждать, нельзя строить систем. И он принялся за тяжелый, скучный и утомительный труд по сбору фактов из разных источников без их комментирования и систематизации, что он полагал делать в последующих сочинениях<sup>39</sup>. Таким образом, Погодин сознательно остановился на (по определению Шлецера) “низшей” критике, не стремясь раньше времени подняться до “высшей”.

Кавелин, конечно же, не отрицал важность собирания и изучения источников. Но для историка знание только фактов без их осмысления, он считал недостаточным. Поэтому Погодина, увлеченного односторонним, исключительно практическим, направлением, он называл не историком, а исследователем-экзегетиком. “Сказано много, но где же взгляд? Сделано ли хоть сколько-нибудь для уяснения, уразумения предмета?” – спрашивал Кавелин. Неоднократно он признавал, что по отдельным вопросам Погодиным сказано много, даже хорошего, остроумного, но “из всего этого ровно ничего не выходит и ничего не следует”. Погодин “не позаботился, правильно или неправильно, прямо или непрямо объяснить закон”, по которому совершается история. Кавелин подчеркивал, что Погодин, отзываясь свысока, с пренебрежением о существующих теориях, не давал при этом никакого их разбора, никакой критики. Он желал лишь набросить тень на “взгляд вообще”, “на самое теоретическое направление”. И опять он утверждал, что Погодин – “созерцатель, а не историк, даже не художник”<sup>40</sup>.

Особенно странным в Погодине Кавелину казалась его непоследовательность. Так, он писал, что Погодин, отзываясь неблагоприятно о системах и теориях русской истории, сам как бы невольно строит их. У него, современника Каченовского, было тоже какое-то смутное предчувствие цельного, полного взгляда на русскую историю, признавал Кавелин. Это видно из того, продолжал он, Погодин в своих разысканиях иногда “наперекор фактам”, преследует какую-нибудь любимую мысль. “Но так как г. Погодин большей своей половиной принадлежит к экзегетикам, толкователям, – его чаяние, предчувствие осталось не-



развитым”. Не будучи в состоянии ни совершенно отказаться от теоретического воззрения, ни обосновать его на твердых, ясных началах, Погодин, считал Кавелин, впал в “исторический мистицизм”. Он остановился, продолжал Кавелин, на точке “какого-то благоговения” перед каждым историческим событием, “не стараясь объяснить его значение и место в целом историческом развитии. Мог бы умереть Игорь, да не умер; мог бы Олег иметь детей – да не имел” и т.п. (не будем перечислять все приведенные Кавелиным примеры). По Погодину, ни одна История не заключает в себе столько чудесного, как Российская: “перст Божий ведет нас (...) к какой-то высокой цели”. И он подчас выступал в роли наблюдателя чудесных происшествий, руководимых “движением высшей Десницы”. К этому положению примешивались политические соображения, которые подталкивали его к выводу о влиянии России в прошлом, настоящем и особенно в будущем. В ходе своей рецензии Кавелин привел и известное утверждение Погодина, сказанного им во вступительной лекции “Взгляд на русскую историю” о том, что “Российская История может сделаться *охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия*”. Он вообще замечал, что Погодин часто смешивает политику с историей, и что это смешение не всегда ему удаётся<sup>41</sup>.

Зная тщеславный и обидчивый характер Погодина, Кавелину не трудно было предположить, что тот будет с ним не согласен. И, действительно, Погодин не замедлил с возражениями. Можно только удивляться, с какой колоссальной энергией Погодин отбивался, нападая сам на своих оппонентов и критиков. Одному только Кавелину он отвечал в “Москвитянине” не менее шести раз<sup>42</sup>. Да и Кавелин не оставался безответным.

Время шло вперед, и ученики опережали своего учителя, что вполне нормально для развития науки. Погодин же не мог и не хотел с этим смириться. Он решил печатно обратиться к молодым историкам, своим бывшим ученикам – И.Д. Беляеву, А.Ф. Бычкову, Н.В. Калачову, А.Н. Попову, К.Д. Кавелину и С.М. Соловьеву, чтобы побеседовать с ними об их трудах по русской истории и “подать им несколько советов”. Некоторые из этих учеников к тому времени заняли уже кафедры в том же Московском университете, где лет 15–20 тому назад преподавал им Погодин, и все стали самостоятельными учеными. Погодин же по старой привычке вел с ними беседу снисходительно поучительным тоном – кого-то пожурил, кого-то немножко похвалил, другого похвалил побольше, а кого-то “заблудшего” направлял “на прямой путь”. Например, он считал, что “новая историческая школа” (то есть К.Д. Кавелин и С.М. Соловьев) “покусилась коверкать Русскую Историю, точно как покойный Полевой”. Менторский тон бывшего профессора задел бывших студентов, и они не остались безмолвными. Беседы Погодина со своими учениками причинили ему, по признанию его биографа Н.П. Барсукова, много неприятностей. Он обращался за поддержкой к своим сторонникам; те старались его урезонить: “Тревогу вы подняли сами: следовательно, должны терпеть”. К тому же Погодин получил письмо от попечителя Московского учебного округа С.Г. Строганова с

упреком за диктаторский тон, на что он, по мнению графа, не имел никакого права<sup>43</sup>.

Адресуясь к Кавелину, Погодин повторял, что он не против высших взглядов и теорий вообще, что он вооружается против “высших взглядов Полевого”, к которым теперь присоединил “такие же высшие взгляды Соловьев, и несколько, – не без ехидства добавлял он, – извините ваших”. При этом Погодин писал, что он у Кавелина видит “гораздо более отчетливости и последовательности”, нежели у его товарища, т.е. у С.М. Соловьева. “Вот таких высших взглядов и теорий я не люблю, и буду их преследовать критикой, как преследовал славистов и скептиков Каченовского”<sup>44</sup>.

Оба они – Кавелин и Соловьев – писал Погодин “отделали или хотели отделать меня одинаково (знать сильны!), следовательно, и в этом отношении я могу судить о них, не склоняясь ни на чью сторону”. Между тем он все-таки делал различие между Кавелиным и Соловьевым. О первом Погодин, в частности, писал: “Вообще он пишет ясно – большое достоинство! Понимаешь всегда, что он хочет сказать, видишь, с какой точки он смотрит. В этом отношении он берет большее преимущество перед Соловьевым, который решительно видит все наыворот и не помнит, что говорит, хоть говорит, пишет легко и живо”. И далее Погодин продолжал: “После ваших в высшей степени несправедливых, не говоря уже неприличных, выходов, коими вы, на первых порах, хотели показать свое преимущество предо мною, старым учителем, другой не стал бы и думать об вас, а я подаю руку, для пользы любимого предмета, для пользы вашей. Не хотите принять ее – прощайте!” – патетически восклицал Погодин<sup>45</sup>. Он и дальше ревностно отстаивал свою позицию и вел “лютую борьбу” против Соловьева и Кавелина. Таким образом, продолжая стоять на своем, Погодин остался глух к новому движению в науке и не понял перспектив ее развития.

В ответ на печатное обращение Погодина к ученикам, Кавелин в свою очередь поместил в “Современнике” яркую критическо-язвительную статью. В.Г. Белинский был от нее в восторге. “Как все ловко, метко, как с начала до конца ровно выдержан тон!”. И чем злость добродушнее и спокойнее, замечал Белинский, “тем вострее ее щучьи зубы”. “Что если бы вы так же высекли Самарина, как Погодина!” – добавлял великий критик.

В этой статье Кавелин как бы резюмировал (хотя и в резкой форме) свое мнение о Погодине и определил его роль в исторической науке России. Так как эта статья не была включена ее автором в собрание своих сочинений, то более или менее подробно процитирую ее. Погодин, читаем там, “издавна был поклонником старины и недоверчиво смотрел на всякую новизну – до того недоверчиво, что даже, противодействуя ей, не всегда разбирал средства”, – писал Кавелин и продолжал: “Вечный поклонник и защитник всякого рода авторитетов, г. Погодин в блестящую эпоху своей деятельности представлял в нашей исторической литературе вспять идущее направление, везде гибельное, тем более у нас, где некуда нечего останавливать, а надо еще понукать. Чем больше, выше была его ученая репутация, тем вреднее его влия-

ние, наложившее печать на стольких людей. На нем вина, что многие замечательные деятели по Русской истории были забыты, или несправедливо и пристрастно оценены современной литературой и критикой. Ни литературу, ни критику нельзя в этом винить. Могли ли они поступать иначе, когда взгляды и понятия, давно отжившие свой век, начали выдавать публике за неприменные истины и навязывать молодежи под страхом отлучения? К счастью, – верил Кавелин, – это время проходит. Теперь каждый может беспристрастно судить о русских писателях всех веков и всяких направлений, не боясь явиться поддержкой и поборником исторического обскурантизма<sup>46</sup>.

В связи с анализом работы С.М. Соловьева “Об отношении Новгород к великим князьям”, говоря о состоянии исторической науки тех лет, Кавелин сказал несколько слов о славянофилах, но не как о своих постоянных оппонентах, а как бы с историографической точки зрения. Новая историческая школа в лице Соловьева и Кавелина боролась, как известно, со славянофилами по коренным вопросам русской истории. В этой полемике они обосновывали свои научные позиции, прежде всего принцип историзма против теории славянофилов об исконных, коренных и неизменных началах народного духа.

Напомню, что Соловьев называл славянофилов антиисторическим направлением в знак протеста против данного ими Шлецеру и его последователям (куда он причислял и себя) названия “отрицательное направление”. Он обвинял славянофилов в плохом знании и понимании истории, квалифицируя их позицию как позицию застоя, противопоставлял ей идею исторического закономерного развития, теорию исторического прогресса. Фактически Соловьев не признавал никаких заслуг славянофилов перед отечественной исторической наукой. Он нескрывая решал чисто полемические задачи: с одной стороны, разбивал теоретические позиции противников, отнюдь не заботясь о выявлении их вклада в историческую науку, а с другой, – утверждал свое понимание процесса исторического развития. Славянофильский кружок, писал он, “слагался не из мыслителей, а из мечтателей, поэтов и дилетантов науки”<sup>47</sup>.

Близкой к соловьевской точке зрения была и позиция Кавелина. Он называл славянофильское направление историческим романтизмом. По его мнению, авторы исторических сочинений этого направления вместо того, чтобы высказывать необходимый закон, по которому совершалась древняя русская история, высказывали только любимую мысль, “почерпнутую Бог знает откуда, может быть из вольного воображения, только наверное не из фактов. Напротив, эту мысль насильно вставляют в факты”. Неподдающиеся же любимой мысли факты остаются в тени, а плохо поддающиеся – искажаются. Лозунгами такого романтизма служат мысли “самые недействительные, неисторические, преимущество Руси перед Россией и словенского мира перед романо-германским”. Такой романтизм, писал Кавелин, свидетельствует только, что до истинной, действительной исторической науки еще очень, очень далеко. “Странное дело! – рассуждал он. – Не имея никакой исторической основы, блуждая в мечтаниях и отвлеченных мыслях, этот

романтизм воображает, что он-то и есть истинное историческое направление”<sup>48</sup>.

Вместе с тем Кавелин признавал некоторое “временное, преходящее”, но все же хоть какое-то их значение в недавнем прошлом, когда “по малоизвестности фактов и совершенному отсутствию исторического смысла, отвлеченным взглядам и теориям было раздолье”. Но когда факты древнерусской истории стали более доступными и известными, и историческая наука двинулась вперед, историческому романтизму стало “и тесно, и как-то неловко”. Но отказаться от самого себя у него не хватило ни сил, ни мужества. Вот тогда “в сознании своего бессилия, исторический романтизм прикинулся ультра-историческим направлением: ведь нужно же было, когда все кругом изменилось, придать благовидный предлог своему существованию”. Кавелин утверждал, что романтизм не хлопотал о том, чтобы новые взгляды на Древнюю Русь получили историческое оправдание. Напротив, факты, которых он никогда не понимал, он вздумал противопоставить мысли и историческим взглядам, чтобы удержать их напор и спасти себя. Стремлением остановить истину, а не узнать ее, было унижено значение фактов, писал Кавелин. “Что за забавная игра в историю! Факты в ней, как стеклышки в калейдоскопе, стоят кверху ногами, а что-то выходит!”<sup>49</sup>. Но мистификация была непродолжительна, посчитал Кавелин. Он думал, что романтизм пал навсегда и представлял собой уже только давно прошедшее явление. Характерна заключительная фраза рецензии Кавелина на Валуевский сборник\*: «От души желаем полного успеха “Сборнику” и полного неуспеха его направлению»<sup>50</sup>.

Итак, главной фигурой переходного периода (или переходного состояния) Кавелин считал М.П. Погодина. Поэтому он уделил этому историку большое внимание и именно в связи с анализом его работ рассматривал взгляды Карамзина, Каченовского, Полевого и др. Однако Кавелин не выделил труды Погодина в качестве вехи, через которую прошло развитие исторической науки XIX в., как то было сделано им по отношению к трудам Карамзина, Полевого и Соловьёва.

Переходное время, когда по определению Кавелина в исторической литературе была какая-то усталость мысли, нравственное утомление и бессилие, когда “господствовал хаос”<sup>51</sup> и разные взгляды “бродили нестройно и наугад”, он характеризовал двумя основными чертами. С одной стороны, указывал он, почти полностью исчезли смелые гипотезы, полемика, “страсть к историческим теориям”. Тогда возрастал перевес с фактического изучения над теоретическим. Поэтому в исторических

\* Называемый так по имени Д.А. Валуева – издателя “Сборника исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единомышленных”. 1845. Т. 1.

\*\* Погодин называл слова Кавелина о хаосе в русской исторической науке придуманным тезисом. “Хаоса не было в той науке, которую обрабатывал Шлецер и Карамзин”, утверждал он, не учитывая при этом, что Кавелин говорил о другом, послекарамзинском времени. Слова о хаосе, продолжал Погодин, можно найти у Полевого и Каченовского. “Это все только слова. Хаос был нужен Кавелину только для того, чтоб эффективнее озарить русскую историю солнцем родового быта”<sup>52</sup>. Что ж, в этом, вероятно, есть доля истины.

работах предмет исследования излагался чисто фактически. Но зато, с другой стороны, успешно шло издание источников и различных исторических материалов. Кавелин признавал это явление важным для России, где наука истории была еще в зародыше. Внимание историков было тогда обращено не на первостепенно важные, существенные, а на частные вопросы, на восстановление исторических событий и на обработку материалов. В результате историческая литература оказалась под сильным влиянием “исключительно-фактического направления”. “Воззрение на историю потеряло историческую почву и стало совершенно отвлеченным, прикрывая себя фактами”, писал Кавелин<sup>51</sup>.

“Видимое бессилие уразуметь факт”, “склонение мысли под авторитет исторического данного”, “фактический скептицизм” Кавелин объяснял предшествующим необузданным разгулом фактических представлений, которые принимались за исторические воззрения. По наблюдению Кавелина прежде легче было написать книгу по русской истории, потому что меньше требовалось от историка и легче было создать взгляд, теорию. Он полагал, что по мере того как раздвигается круг исторических данных должен “стесняться простор для вымыслов имевших вид исторических теорий”. Неумышленный обман, невольное самообольщение должны исчезнуть перед строгой действительностью. Следовательно, переходное время не могло удержаться навсегда. Оно только приготовило материалы для новых взглядов. В глубине современной жизни, писал Кавелин, зарождается новое историческое сознание, ищущее формы и выражения. До очевидности стало ясно, утверждал он, что “без строго научного систематического воззрения наука русской истории не может идти дальше”. Он констатировал, что с конца 1840-х годов историки “стали вникать в связь и стройность явлений в истории”, стали искать “главные начала, проходящие чрез жизнь народа”, которые помогают понять ход его истории<sup>53</sup>.

Кавелин признавался, что ему приятно было думать о том, как теперь (писал он в 1847 г.) историческая наука далеко ушла от воззрения Погодина и какая “огромная разница в воззрении между г. Погодиным и нами успела образоваться в какие-нибудь двадцать лет”. В жизни обычно не замечается как неизменно быстро двигаются вперед: “только история литературы невольно раскрывает нам глаза”<sup>54</sup> – отдавал дань историографии Кавелин.

В утверждении нового историографического направления (которое сначала так и называлось новой исторической школой, потом теорией родового быта, историко-юридической школой, государственной школой) важнейшую роль сыграла работа К.Д. Кавелина “Взгляд на юридический быт древней России” (1847). Она была этапной и для самого автора и для науки в целом; ее по праву называют программной. Впервые же со своими основными положениями теории родового быта Кавелин выступил еще в 1842 г. в отрывке из магистерской диссертации, напечатанном в сборнике “Юридические записки”. Затем они были развиты в самой диссертации и в курсе по истории русского права (1844–1848). Однако в своих историографических размышлениях Каве-

лин ни разу не упомянул о собственных заслугах перед русской исторической наукой и все лавры отдал С.М. Соловьеву.

В жизни С.М. Соловьева Кавелин сыграл немаловажную роль, подержав его в трудную минуту. По возвращении из-за границы Соловьев встретил в Московском университете настроенное к себе отношение и со стороны профессоров-западников, считавших его погодинским последователем, и со стороны Погодина с Шевыревым. Рекомендация к защите его магистерской диссертации (“Об отношении Новгорода к великим князьям”) затягивалась. Соловьев, как полагалось, подал диссертацию декану И.И. Давыдову, который переслал ее Погодину. Однако Михаил Петрович не торопился с заключением и долго продержал работу у себя. Соловьеву пришлось вытерпеть томительный разговор с бывшим учителем, чтобы получить обратно собственную работу с кратким погодинским резюме: “Читал и одобряю”. Соловьев вновь передал диссертацию Давыдову, тот – Т.Н. Грановскому, Грановский – Кавелину. Константин Дмитриевич прочитал работу, очень быстро и, как описывал Соловьев, “восплясал от радости, найдя в ней совершенно противное славянофильскому образу мыслей”. Кавелин объявил Грановскому и “всем своим” то, продолжал Соловьев, что “диссертация моя составляет эпоху в науке, вследствие чего вся западная партия обратилась ко мне с распростертыми объятиями”<sup>55</sup>. После того диссертация Соловьева была поставлена на защиту.

В своих воспоминаниях Соловьев свидетельствовал и об установившихся дружеских отношениях с Кавелиным. Им приходилось и поспорить (например, по религиозным вопросам), а потом “мы с ним (...) упивались развитием наших сходных научных взглядов”<sup>56</sup>. Можно только удивляться, как два человека, разные по складу характера (и, как оказалось, по научной судьбе) параллельно и независимо друг от друга под влиянием одной и той же господствовавшей идеи выработали столь идентичные взгляды на историю России, что стали основателями нового историографического направления, которое долгие годы играло ведущую роль в русской исторической науке.

И дальше Кавелин следил за научным творчеством Соловьева и по возможности печатно откликался на выходявшие труды историка. Он сразу распознал и оценил огромный научный потенциал Соловьева, приветствовал его как своего молодого коллегу и единомышленника, как ученого, которому предстояло большое будущее. Чутье и понимание важного историографического явления, каким был С.М. Соловьев в истории науки, не обманули Кавелина. Он говорил об огромном историческом таланте Соловьева, о трезвости его мысли, о тщательном изучении источников, о неутомимом трудолюбии, об отсутствии у него “всяких предубеждений”.

Труды Соловьева Кавелин рассматривал в контексте развития исторической науки, что помогало ему оттенить заслуги ученого и ярче подчеркнуть его достоинство. Так, сопоставляя “Историю России” Соловьева с главными обобщающими трудами по русской истории Н.М. Карамзина и Н.А. Полевого (а также с М.П. Погодиным и славянофилами), Кавелин отдавал предпочтение Соловьеву. Его “Историю” он на-

зывал зрелым и сознательным ученым историческим трудом в полном значении слова. В отличие, например, от Карамзина, который более обращал внимание на внешние события, чем на внутренние (“он мало понимал последовательное, внутреннее развитие русской жизни”), Соловьевым все исторические явления рассматриваются с их внутренней стороны “во взаимной связи и раскрываются последовательно, по их преемственности; бытовая сторона обращает на себя, как и следует, гораздо больше внимание автора, чем внешние события”. Взгляд Соловьева был, по определению Кавелина, гораздо серьезнее и приемы строже. Конечно, в “Истории” Карамзина, добавлял Кавелин, встречаются намеки на мысль, которую развил Соловьев, “но им едва ли можно придавать какую-нибудь важность”<sup>57</sup>.

Современные историки должны были, по убеждению Кавелина, спросить себя – “какое же было движущее начало русской истории, что в ней развивалось?” Он находил, что “все сказанное об этом доселе или было слишком нелепо, или слишком обще, прикладывалось ко всем государствам в мире, и именно потому нисколько не поясняло русской истории”. Соловьев же открыл и показал родовое начало как основной движущий принцип древнерусской истории – и в этом Кавелин видел главную заслугу историка.

Многие до Соловьева – Эверс, Рейц, Погодин и отчасти Карамзин “вертелись около этой мысли”, – писал Кавелин. Но только Соловьеву принадлежит “честь бесспорно величайшего открытия в русской истории”. “Он поднял знамя и является основателем нового воззрения, богатого выводами и последствиями”, утверждал Кавелин<sup>58</sup>, деликатно промолчав о своей заслуге в этой области. Между тем самое обстоятельное обоснование и раскрытие теории родового быта принадлежит Кавелину.

Отдавая должное Соловьеву и очень высоко оценивая его труды, Кавелин тем не менее не всегда был согласен с Соловьевым. В его изложении, указывал Кавелин, “встречаем натяжки, неестественные выводы, не вполне удовлетворительное понимание среды, в которой совершалась наша история, и потому события и лица не всегда правильно освещены”; “заметна какая-то идеализация фактов”, отчего рассказ его “не довольно прост и отзывается фразой”; Соловьев “не вполне верно и последовательно развил свою мысль”. Это Кавелин объяснял тем, что Соловьев “недостаточно глубоко вник в законы естественного, органического развития родового начала”<sup>59</sup>. И далее Кавелин на конкретном материале обосновывал свои замечания. Заметим попутно, что Соловьев во многом учитывал кавелинскую критику, но при этом не упоминал его имени. Когда же Соловьев не был с ним согласен, тогда он называл имя Кавелина.

В данной статье остановимся лишь на одном, чисто историографическом замечании Кавелина, высказанного им в адрес Соловьева. Кавелин отчетливо понимал потребность науки в историографии. Он замечал, что везде, где науки процветают, существует “особливая литература сочинений собственно ученых”. “Даже только свести разумным и ученым образом сделанное доселе по русской истории – один такой

труд сам по себе – достойный предмет самого ученого и самого талантливого историка”, утверждал Кавелин. Рецензируя первый том “Истории России с древнейших времен” С.М. Соловьева (1851), Кавелин ставил перед собой, в частности, задачу определить в какой мере эта книга соответствует современному состоянию науки и отвечает ли она требованиям русской историографии. “Многие, например, требуют, чтобы всякий новый труд был заключительным звеном всех других трудов по той же части, но появившихся прежде”, – отмечал он. И именно с этой точки зрения книга Соловьева не удовлетворила Кавелина и более того, вызвала у него серьезные замечания. Кавелин резко упрекал автора, которого всегда активно и горячо поддерживал, за “совершенное молчание” о целой литературе по русской истории, за отсутствие у него какой-либо научной оценки трудов предшественников и за неосвещение им какой-либо полемики. “Что бы сказал Каченовский и его непосредственные последователи, не встречая не только ни слова о своих некогда знаменитых отрицаниях достоверности источников, кроме одних ссылок?” – спрашивал он. После жарких и продолжительных прений, наполнявших некогда страницы журналов и составлявших любимую тему письменных и устных споров, “следовало бы хоть по крайней мере упомянуть о сомнениях и их неосновательности”<sup>60</sup>.

Опровергать и разбирать чужие мнения, по-видимому, лежало вне задачи Соловьева, с упреком замечал Кавелин. Даже во множестве примеров (около 450-ти, уточнял он) “редко-редко где встретим опровержение мнений прежних или современных исследователей, да и эти редкие исключения автор допускает в свою книгу как-будто нехотя, когда уже нельзя без того обойтись”<sup>61</sup>.

Жестко упрекал Кавелин Соловьева за отсутствие в его книге историографии: «В первом томе “Истории России” ни слова не сказано о прежних писателях по русской истории» (выделено мной. – Р.К.). “Кто трудился над нею до г. Соловьева, какие их сочинения, какие достоинства и недостатки этих сочинений, – обо всем этом мы не найдем даже упоминания, даже простого перечня имен и книг! Не странно ли? – продолжал он. – Не значит ли это добровольно лишить свой труд ученого основания и авторитета и отдать на жертву именно тем воззрениям, которые всех слабее и не признаются наукой; другими словами: не значит ли это сделать дело только вполнину? Нельзя не пожалеть, – сокрушался Кавелин, – что г. Соловьев допустил такую существенную неполноту в своем новом сочинении, тем более, что ученому автору легко было избежать этого упрека”<sup>62</sup>.

Суровый “приговор” Кавелина безусловно подтолкнул Соловьева к написанию впоследствии серии историографических статей (1853–1857). Знаменательно, что Соловьев для названия своей самой известной историографической работы взял кавелинское выражение: “Писатели русской истории”.

Взгляне Кавелина, который первым взглянул на историческую науку России с точки зрения государственной школы, было значительным. Так, Соловьев опирался на его оценки при характеристиках Карамзина, Погодина, Каченовского, славянофилов. Воздействие Кавелина замет-



но сказалось и на работах их общего с Соловьевым ученика, ставшего со временем крупным историком науки, К.Н. Бестужева-Рюмина, что тот признавал сам. А через Соловьева и Бестужева-Рюмина его влияние передалось В.О. Ключевскому, П.Н. Милюкову, В.С. Иконникову... Все это свидетельствует о весомом вкладе К.Д. Кавелина в историю русской исторической науки.

- 1 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. СПб.; 1897. Т. I. Стлб. 583, 584.
- 2 Там же. Стлб. 585.
- 3 Там же.
- 4 Там же.
- 5 Там же. Стлб. 509.
- 6 Там же. Стлб. 744.
- 7 Там же. Стлб. 221.
- 8 *Ключевский В.О.* Соч. В 9-ти т. М., 1989. Т. VI. С. 66.
- 9 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. I. Стлб. 668–669.
- 10 Там же. Стлб. 67.
- 11 Там же. Стлб. 10.
- 12 Там же. Стлб. 419, 226.
- 13 Там же. Стлб. 224, 225.
- 14 Там же. Стлб. 100, 225.
- 15 Там же. Стлб. 277, 263.
- 16 Там же. Стлб. 263.
- 17 Там же.
- 18 Там же. Стлб. 272.
- 19 Письмо от 12 июля 1820 г. Н.И. Гнедичу // Русский архив. 1868. № 12. С. 972.
- 20 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. I. Стлб. 100.
- 21 Там же. Стлб. 101–102.
- 22 Цит. по кн.: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1895. Кн. 9. С. 110–111.
- 23 *Полевой Н.А.* История русского народа. Т. I. М., 1829. С. XLI–XLII.
- 24 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. I. Стлб. 418.
- 25 *Милюков П.Н.* Главное течение русской исторической мысли. СПб., 1913. С. 296.
- 26 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. I. Стлб. 418.
- 27 См.: *Корсаков Д.А.* Погодин М.П. // Русский биографический словарь. Т. Плавильщиков–Примеч. СПб., 1905. С. 165.
- 28 *Гончаров И.А.* Собр. соч. В 8-ми т. Т. 7. М., 1954. С. 215.
- 29 *Барсуков Н.П.* Указ. соч. Кн. 9. С. 104.
- 30 *Гончаров И.А.* Собр. соч. Т. 7. С. 215.
- 31 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. I. Стлб. 97.
- 32 Там же. Стлб. 98, 223, 99.
- 33 *Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 265.
- 34 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. I. Стлб. 227.
- 35 *Погодин М.П.* Ответ издателя // Московский вестник. 1828. Ч. 12. № XXII. С. 189.
- 36 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. I. Стлб. 225, 226.
- 37 Там же. Стлб. 102, 103.
- 38 *Погодин М.П.* Рецензия на книгу П.В. Павлова “Об историческом значении царствования Бориса Годунова” СПб., 1850 // Москвитянин. 1850. № 8. С. 122.
- 39 *Барсуков Н.П.* Указ. соч. Кн. 9. С. 107.
- 40 *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. I. Стлб. 235, 104, 241.
- 41 Там же. Стлб. 250.
- 42 Это статьи: «О трудах Кавелина и других ученых “новой школы”», «Ответ Кавелину на его критику “Исследований, замечаний и лекций”»; “Послание к г. Кавелину”, “Разбор антирецензии г. Кавелина”, “Заметки о своих статьях по поводу рецензии на книгу Павлова”, “О трудах гг. Беляева, Бычкова, Калачева, Попова, Кавелина и Соловьева по части Русской Истории”.

- 43 Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 9. С. 146, 142, 144.  
44 Там же. С. 108.  
45 Там же. С. 115–116.  
46 Цит. по кн.: Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 9. С. 136.  
47 Соловьев С.М. Указ. соч. С. 302.  
48 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. I. Стлб. 263, 264.  
49 Там же. Стлб. 264, 265, 727.  
50 Там же. Стлб. 746.  
51 Там же. Стлб. 278, 746, 747.  
52 Цит по: Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 11. С. 204–205.  
53 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. I. Стлб. 747, 756, 278, 1014.  
54 Там же. Стлб. 222, 223.  
55 Соловьев С.М. Указ. соч. С. 291.  
56 Там же. С. 299.  
57 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. I. Стлб. 262–263, 419.  
58 Там же. Стлб. 294.  
59 Там же. Стлб. 266, 413, 414, 294 и др.  
60 Там же. Стлб. 105, 415, 420.  
61 Там же. Стлб. 415.  
62 Там же. Стлб. 421.

**Н.В. Иллерицкая**

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РОССИИ  
В ТРУДАХ В.И. СЕРГЕЕВИЧА, А.Д. ГРАДОВСКОГО  
И Ф.И. ЛЕОНТОВИЧА**

Вторая половина XIX в. – судьбоносное время для русской исторической науки. Ее общее развитие в 40–50-е годы, успехи вспомогательных исторических дисциплин дали толчок к дальнейшему усложнению исторического знания. Вместе с первой половиной века ушла в прошлое всемирно-историческая парадигма. Позитивизм – новая “неметафизическая” философия – принес в науку отказ от стремления найти универсальное объяснение мира и его дезинтегрированное понимание. Ядро позитивизма составили положения о том, что подлинное знание должно опираться на эмпирические факты. Такое знание дает только наука, поэтому единственно возможный метод исследования – естественнонаучный. Эта теория явилась большим шагом вперед по сравнению с гегелевским пониманием истории как откровения мирового разума и сделала предметом истории прежде всего общество. Только в таком виде предмет истории мог быть разложен и снова составлен на основе принципа естествознания. В исторической науке это повлекло за собой оформление специальных направлений исторического знания, в том числе находящихся на стыке гуманитарных наук. Так выделилась в XIX в. молодая наука – история права, которая стала органической частью как исторического знания, так и правоведения.

Классические образцы историко-правового исследования сложились именно в 60–90-е годы XIX в. и связаны с именами историков русского права – В.И. Сергеевича, А.Д. Градовского и Ф.И. Леонтовича.

Эти выдающиеся ученые работали над разными периодами истории, в центре их внимания были различные проблемы, но их объединяло общее теоретическое и методологическое видение исторических особенностей России. Для Сергеевича, Градовского и Леонтовича было характерно рассматривать исторический процесс с точки зрения зарождения и последовательного развития государственных отношений и государственной власти. Различные периоды и проблемы истории России изучались ими с разной степенью полноты, что определялось прежде всего индивидуальными интересами и наличием необходимой источниковой базы, способной обеспечить аргументацию разработок. Право для них стало инструментом, сквозь призму которого они надеялись “разглядеть” реальную историю России с точки зрения воплощения в ней идеи государства. Именно поэтому нам представляется возможным объединить научные труды Сергеевича, Градовского и Леонтовича в качестве объекта исследования и анализировать их как новый этап развития историко-юридической школы. Это делается с целью раздвинуть границы представлений о русской исторической школе в целом. Для выполнения поставленной задачи необходимо выделить в качестве предмета исследования те конкретно-исторические темы, общие для трудов Сергеевича, Градовского и Леонтовича, которые бы высвечивали особенности их концепции русской истории, с одной стороны, и были бы показательны для определения уровня науки того времени – с другой.

К середине XIX в. в историко-правовой науке сложился ряд историографических констант. Для истории русского права это была в первую очередь проблема происхождения русской государственности. Поэтому нам представляется правомерным в данной статье провести анализ трудов Сергеевича, Градовского и Леонтовича, посвященных политической истории Древней Руси.

Древняя история составила основу историко-правовых исследований В.И. Сергеевича и Ф.И. Леонтовича, поскольку оба разделяли убеждение, что изучение именно этого периода позволяет понять проблему генезиса русской государственности. А.Д. Градовский обращался к русской истории лишь эпизодически. Центральной проблемой его историко-юридической концепции являлось общество и государство в их взаимном отношении и изменении в ходе исторического процесса. Но и Градовский разделял мнение, что древний период любого государства предопределяет самобытность ее дальнейшего развития.

Первая монография В.И. Сергеевича “Вече и князь”, вышедшая в 1867 г., была попыткой исследовать политический быт России княжеского периода и установить схему государственного устройства древнерусских княжеств<sup>1</sup>.

Во введении автор обозначил круг проблем, которые являются для него главными. Предмет исследования составляет княжеский период русской истории. В области управления Сергеевич остановился на трех вопросах: правительственном делении, личном составе администрации и военном управлении<sup>2</sup>. Весь материал монографии распадается, таким образом, на три части. Цель вторая – беспристрастно изложить начало

государственного устройства Древней России. При этом Сергеевич особо подчеркивал, что он имел в виду представить опыт обработки устройства и управления учреждений общих всей Русской земле, а потому мимоходом остановился на некоторых особенностях отдельных властей. Поэтому сочинение Сергеевича имеет характер догматического изложения “начал” и “примеров”, которые составляют все его содержание. Конечно, он не мог совсем обойтись без факторов, видоизменивших государственный порядок времен князей Рюриковичей, но автор остался верен до конца своему плану изложить начала нашего древнейшего государственного быта во всей чистоте.

Само заглавие книги свидетельствует, что Сергеевич признавал два одинаково существенных элемента древнерусской государственности: народ и князь. Деятельность княжеской власти и формы народного быта одинаково влияли на образование государства. Русское государство было произведением народа (вече) и правительства (князя).

Исследование Сергеевича впервые дало строго научное изображение вечевого строя, как общего уклада политической жизни древнерусских земель. Народноправство или вече оказалось, по Сергеевичу, не только принадлежностью северных торговых республик, но общераспространенной формой быта всех русских земель, их повсеместность выяснена рассмотрением как документальных свидетельств, так и общих условий быта.

До монографии Сергеевича вечевой строй либо оставался в тени, либо освещался односторонне. Н.М. Карамзин признавал, что Новгород, киевляне и другие российские граждане издревле привыкли решать дела государственные на собраниях народных, и поэтому видел в вече древнее гражданское образование. Существенное влияние на развитие исконного вечевого строя, по его мнению, оказало призвание князей. С водворением монархической власти “славяне добровольно уничтожили свое древнее народное правление”<sup>3</sup>. Вече перестало быть основой политического уклада и удержалось лишь как пережиток доисторической древности.

Н.А. Полевой в “Истории русского народа” недалеко ушел от Карамзина по вопросу вечевого строя. Вече, как “совет старцев и избранных мужей”, представлялось ему исконным учреждением славян. Призвание варягов повело не к “уставу монархическому”, а к феодализму, который выразился в установлении уделов и в отсутствии единого государства Российского. Варяжский феодализм на славяно-русской почве “решительно принадлежал системе Востока”, характеризуясь отсутствием политической свободы. Только тогда, когда “самобытность славян превозмогла скандинавские обычаи”, вече возродилось. Возродившееся вече, по мнению Полевого, получило различное значение в двух частях Древней Руси – северной и южной<sup>4</sup>.

М.П. Погодин в своих “Исследованиях, замечаниях и лекциях о русской истории” содействовал сглаживанию той пропасти, которая образовалась в изображении предшествовавших историков между вечевым строем Новгорода и остальных земель Древней Руси. Он собрал и систематизировал данные летописей как в отношении Новгородского ве-

ча, так и вече других земель<sup>5</sup>. Тем не менее, сопоставление собранных Погодиным данных, а также наглядное распределение их по рубрикам, давали материал, которым могли воспользоваться последующие исследователи для выяснения общих оснований вечевого уклада Древней Руси. Главное – Погодин наметил основной прием дальнейшего изучения института вече по летописям.

С.М. Соловьев выводит институт “общенародного вече” из разложения первоначального родового строя русской жизни. По его мнению, вече, неопределенное по своему характеру и по формам проявления, составляло принадлежность быта старых городов Древней юго-западной Руси. Его нет, как юридического учреждения, в быту новых городов Руси северо-восточной. Общее падение вечевого строя происходит после 1228 г. вследствие политического возобладания северо-восточной Руси<sup>6</sup>. Таким образом, Соловьев обесценивал общее значение вече в Древней Руси, схематически суживая его роль под влиянием родовой теории.

Воззрения московских славянофилов на историю русских политических учреждений не способствовали исследованию вечевого строя, поскольку последний мало их интересовал, ибо представлялся им узурпаторским популизмом “земли” на “власть”, которое оказалось для русской истории недействительным в гегелевском смысле и потому не заслуживало изучения.

Специальное внимание уделили вече С.М. Шпилевский и А.П. Щапов. Шпилевский посвятил вечевому укладу Древней Руси особую статью “Об участии земщины в делах правления до Иоанна VI”. В ней он признавал “земщину” “основной стихией русского народа, но усматривал в ней реальную политическую силу, считаться с которой заставляла князей фактическая необходимость”<sup>7</sup>.

В учении о вечевом строе Шпилевский следует за Соловьевым и принимает как его теорию о происхождении вече из разложения родового строя, так и об отсутствии вечевого уклада в северо-восточной Руси. Собственное его утверждение о смене родовой общины общиной договорной, сделанное в духе Б.Н. Чичерина, остается у него бездоказательным и голословным<sup>8</sup>.

А.П. Щапов писал о вечах в статье “Городские мирские сходы”, напечатанной в газете “Век” за 1862 г. В древнем вече Щапов нашел “полную демократическую свободу самовыражения народной жизни”<sup>9</sup>. Древним вечем была признана неправильная конструкция “городских мирских сходов”, которые Щапов генетически связывал с земскими сорами и городским самоуправлением XVIII в.<sup>10</sup>

Н.И. Костомарову политический уклад московской жизни представлялся торжеством всепоглощающего Левиафана деспотической власти. В поисках “правды” и свободы он обращался к периоду домосковской Руси<sup>11</sup>. В пределах последней Костомаров монографически изучил северорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада<sup>12</sup>. В качестве народоправства северной Руси он понимал Новгород, Псков и Вятку, но весь смысл монографии свел к изучению вечевого уклада Новгорода. Для нас важно, что устройство вече автор изображал применительно к Новгороду, как наиболее осязаемому проявлению вече-

вой жизни, но картина получилась не полная: в двухтомнике оно заняло всего шесть с небольшим страниц<sup>13</sup>. Неопределенность, отсутствие юридической точности не позволили Костомарову сформулировать сколько-нибудь серьезное учение о вече.

Сложная историографическая традиция изучения вечевого уклада приводится нами столь подробно для того, чтобы еще рельефнее показать новизну и значение капитального исследования В.И. Сергеевича “Вече и князь”. Сергеевич точно установил “пространство и время, в пределах которых действовал вечевой быт”<sup>14</sup>. Он убедительно доказал истинность веча, как первоначальной формы быта; исчерпал все свидетельства летописей о проявлениях вечевой жизни в различных землях и на этом основании сделал вывод о повсеместном действии веча в Древней Руси. Этот вывод опровергал теорию С.М. Соловьева о коренном отличии политического быта старых городов юго-западной Руси от новых городов Руси северо-восточной.

Второй элемент в составе власти, по Сергеевичу, – князь – определяет свое отношение к народу, к дружине на основе договора. Договорным началом проникнут весь государственный быт, им же определяют и отношения между князьями.

Сергеевич выступил одним из самых горячих противников родовой теории, оформленной во втором томе “Истории России с древнейших времен” С.М. Соловьева. По мнению Сергеевича, теория родového быта появилась благодаря применению иллюстративно-описательного метода в работе с источниками. В результате значительная часть информации, содержащейся в них, не использовалась. Именно поэтому определения отдельных договоров приняты за обычаи родового быта. Не подвергая ни малейшему сомнению существование родового быта как переходной ступени к быту государственному, Сергеевич утверждал только, что в историческую эпоху Рюриковичей род не существовал как учреждение с определенными правами и обязанностями его членов. Слово “род” употреблялось для обозначения семьи, родственников вообще и целого народа<sup>15</sup>. Теория родового быта разумеет подчинение всех князей воле одного, старшего в силу обычаев. Но государя всей страны еще не было. Неправильное представление о старшем князе было богато последствиями: оно повело к неправильному представлению о порядке перехода столов, о князьях, исключенных из старшинства, об изгоях и т.п. Источник этого неправильного представления, по мнению Сергеевича, надо искать в предшествующем состоянии исторической науки, во взглядах И.Г. Эверса и А. Рейца. Определение характера “верховой власти старшего брата” и привело к представлению о родовом быте князей Рюрика дома<sup>16</sup>.

Идеи родового старшинства Сергеевич противопоставил идею равного достоинства князей. В противовес теории лестничного восхождения при распределении волостей между князьями, он сформулировал совершенно новую идею: волость в Древней Руси не наследовалась, а добывалась. Отношения между волостями и существовавшими в них князьями определялись лишь началами войны и мира. Древней Руси неизвестна была идея права в политических отношении-

ях, все здесь зависело от “ряда” или “суда Божьего”, или войны. Таковой же недостаток юридических основ замечается во внутреннем устройстве волостей: удельная Русь представляла ряд независимых княжеских волостей, не имевших между собою никаких органических связей.

Все население древней волости состояло, по мнению Сергеевича, из равноправных домохозяев, которые не делились еще на сословные чины. Древняя Русь не знала сословий. Население представляло единообразную массу, разные слои которой отличались достоинством, а не правами. Результатом такого состояния общества было следующее: в его среде не могло образоваться особого правительственного класса и не было лиц, заслонявших других от верховной власти. В России каждый свободный “человек” имел дело с государственной властью. Следовательно, в древнерусском обществе была возможна только непосредственная демократия.

“Две главные волостные силы, – утверждал Сергеевич, – вече и князь – находились между собой в таких же отношениях ряда и суда Божьего, как и целые волости между собой, без прочих органических связей и основ”<sup>17</sup>. Вечевые порядки не устанавливались, самоуправление не было в средствах веча. Вече было необходимым и, следовательно, всеобщим вследствие слабости собственных сил призванных князей, не обладавших еще достаточно развитыми орудиями управления и поэтому вынужденных искать для себя опоры в согласии с народом. Сергеевич прибавляет и другой мотив – видит корень веча в личном начале. По теории Сергеевича князь был не только высшим представителем исполнительной власти, но и призывался для водворения “наряда” в обществе. Словом, княжеская власть являлась главным общественным двигателем, наиболее жизненным и деятельным нервом древнерусского общества.

История договоров есть ни что иное как история княжеских отношений. Древняя Русь не знала верховного князя. Не было порядка, определявшего хотя бы в идее отношения между князьями: отсюда “добывание” волостей, с одной стороны, и княжеские съезды и договоры, с другой. Не было никаких прочных отношений между волостями: отсюда отсутствие центра государственной жизни и дробление Руси на самобытные части.

Приведенная Сергеевичем характеристика публичного строя Древней Руси была аргументирована данными источников на уровне методологических возможностей позитивистского знания. Она представляла собой ценное достояние русской историко-правовой науки. Исследование Сергеевича “Вече и князь” окончательно ниспровергло мнение о единой верховной политической власти для всей Древней Руси, мнения, на котором сходились и представители традиционной теории государства Российского и представители родовой теории.

Сам Сергеевич прямо называл своих оппонентов, против взглядов которых была направлена его теория: Н.М. Карамзин, А. Рейц, С.М. Соловьев, Д.И. Иловайский. Но на своих предшественников, идеями которых он пользовался, Сергеевич не указывал, а такие были.

Прежде всего должен быть упомянут Н.А. Полевой – первый решительный противник традиционной концепции Древней Руси как единого государства. Вслед за Полевым необходимо отметить М.П. Погодина. Если Полевой опровергал концепцию единого древнерусского государства скорее умозрительно, то Погодин искал в летописях “подлинные свидетельства” и “ясные, положительные подтверждения”<sup>18</sup>. Таких подтверждений не было и “сношения князей между собою” представлялись Погодину как их “договоры, союзы и ссоры”<sup>19</sup>.

М.П. Погодин выяснял значение великого князя и характер междукняжеских отношений только по летописям, призывая других исследовать этот вопрос по грамотам. На этот призыв откликнулся Б.Н. Чичерин. Он специально занялся юридическим анализом духовных и договорных грамот великих и удельных князей. Целью его было установление существа княжеской власти и междукняжеских отношений северо-восточной Руси, начиная с XIV в. Относительно более древнего времени и Руси юго-западной он всецело примкнул к учению родовой теории. Но в междукняжеских отношениях северо-восточной Руси Чичерин усмотрел смену родовых начал договорными<sup>20</sup>. Теперь необходимо было ответить на вопрос, какова же природа той связи, которая несомненно существовала между независимыми и самостоятельными землями-княжествами. Прямой ответ на этот вопрос пытался дать Н.И. Костомаров, когда излагал свои мысли о федеративном начале в Древней Руси<sup>21</sup>.

Итак, свободная личность и договор – вот коренные элементы древнерусского общественного и политического строя по теории В.И. Сергеевича. Такой подход, на первый взгляд, роднит позиции Б.Н. Чичерина и В.И. Сергеевича. Но, несмотря на видимое тождество, основы их мировоззрения существенно различны. “Безграничное господство личной свободы” у Чичерина было лишь конструктивным моментом диалектической системы, существенным признаком гражданского общества, как антитезы к родовому быту. Сергеевич же отвергает диалектический метод Гегеля во всех отношениях. У него произвол личности, связанной лишь соглашениями, реальный исторический факт, от которого идет историческое развитие и которым должен быть объяснен весь древнерусский быт.

Монография В.И. Сергеевича привлекла к себе большое внимание историков самых различных ориентаций. Уже на диспуте в декабре 1867 г. сказалось признание труда Сергеевича. Сам патриарх русской истории М.П. Погодин считал, что диспут был очень оживленный. Погодин не соглашался с некоторыми выводами участников полемики (повсеместность и необходимость вече, добывание столов) и попенял на то, что не все существенные недостатки нашли должное возражение, но остался очень доволен доводами исследователя, направленными против родового быта. Заметка кончалась словами: “Дельная, отчетливая, много содержательная диссертация обещает, кажется, полезного деятеля для русской истории. Пожелаем ему полного успеха”<sup>22</sup>.

Ценность основных выводов исследования Сергеевича признала и ученая критика. Одним из первых рецензентов выступил В.Н. Лешков. Он приветствовал то, что автор говорит о русском государстве при



князьях Рюриковичах и то, что автор на основании изучения летописей добирался до народа и его быта, но его мучили сомнения, правильно ли Сергеевич усвоил понятие о народе как об идеальном единстве населения. Вывод рецензента таков: речь идет о политическом вече как о постоянной и необходимой форме правления, которая была лишь одним из проявлений общинного быта, отражающего существование исконной основы русского народного духа<sup>23</sup>.

Из отзывов Погодина и Лешкова следует, что они не очень-то вникли в истинный смысл монографии; в содержании книги В.И. Сергеевича четко просматривалась попытка видоизменить толкование формулы “Земля и государство”, предложенной К.С. Аксаковым, и защитить основные принципы историко-юридической школы.

Появилась академическая рецензия. Составивший ее А.Ф. Бычков признал за автором крупные научные заслуги. Он подчеркивал, что до сих пор у нас не было столь подробного и добросовестного, тщательно исследованного о вече. Заслуга Сергеевича заключалась не столько в собрании материалов, сколько в их строгой группировке, в рассмотрении проблемы о взаимных отношениях князей и о порядке распределения волостей между ними. Рецензент отзывался с похвалой об отчетливом разборе родового быта. Он не согласился лишь с выводом о необходимости и повсеместности вечевых собраний. Бычков также полагал, что автор не всегда верно в подтверждение мысли о существовании вече истолковывал летописные источники.

На основании этого отзыва работе Сергеевича “Вече и князь” была присуждена поощрительная награда графа Уварова<sup>24</sup>.

Одним из главных оппонентов труда Сергеевича стал А.Д. Градовский, издавший в 1868 г. очерк “Государственный строй древней России”<sup>25</sup>. По сути, это была рецензия на монографию “Вече и князь”, в которой Градовский сформулировал собственное видение процессов древнерусской истории. Первое, что необходимо иметь в виду, это то, что Градовский во второй половине 60-х годов находился на позициях общинной теории, поэтому его споры с Сергеевичем носили методологический характер, ибо Сергеевич сразу зарекомендовал себя последователем личной теории права. С этой точки зрения рецензию Градовского следует рассматривать как самостоятельное исследование древнерусского права.

А.Д. Градовский считал, что утверждать, что элементы непосредственной демократии в Древней России выражались в вечевом устройстве, значит сказать половину. В отношении своих личных прав древнерусский народ имел сходство со многими древними народами. Непосредственная демократия не есть исключительное произведение древней русской жизни. Начала ее в самых разных формах проявлялись у различных народов. Условия, делавшие из вече явления русской жизни, заключались в форме общественного быта. Вече, по мнению Градовского, соответствует не личной свободе, а общинному быту. Поэтому оно выражало общинную свободу, было правом не каждого лица, а целой общины<sup>26</sup>.

Ни одно начало русского древнего государственного быта, считал Градовский, не могло получить полного развития. Древняя жизнь пред-

ставляла собой ряд противоречий, которые, однако, не ослабляли государственный строй. Общие представления князей об идеальном государственном строе препятствовали установлению грубого насилия, удерживали общины от полного раздробления государственной теории, а впоследствии дали общую и определенную цель народу и князьям – собирателям Русской земли. По мнению Градовского, Сергеевич рассматривает древний государственный быт, изначально получивший свое окончательное развитие, вне его эволюции.

Политический быт Руси времен Рюриковичей был только зародышем государства, а не государством. Этот зародыш Градовский видел в территориальной общине, бывшей, по его мнению, основной формой народного быта. Государство было приурочено к общине, как политическая единица. В каждой общине было свое государство: государственная идея не выделялась из общинной как особый, самостоятельный элемент. Идея государственного единства поэтому имела мало практического значения в древнейший период: волости воспевали “святую Русь”, не могли тянуться и к нерусским центрам, могли призывать князей из иноземцев. Были условия, поддерживающие в князьях и народе сознание о народном единстве, но только сознание это не было настолько сильным, чтобы из него могла возникнуть идея о государственном единстве народа. Развивая далее свои мысли, автор обстоятельно раскрывает внутреннюю организацию общины как политической организации. Градовский ставит деление по землям в соответствие с делением по племенам, народностям.

Иное значение, по мнению Градовского, имела волость. В ней следует видеть политическую общину. В таком значении волость составляла федерацию общин, пространственно связанных между собой в округ, подчиненный одной политической власти, но только не князя, а главной общины – города. Князь не мог образовать своей волости ни путем наследства, ни завоевания: он получал власть не сам собой, а через город. Волость – цепь общин, связанных между собой иерархическими отношениями: единство волости определяется не принадлежностью ее одному князю, а соблюдением иерархических отношений между ее частями. Волостное единство зависело от согласия и единодушия всех общин волости, но более всего от силы главного города.

Вся иерархия общины коренилась в колониационном начале, утверждал Градовский. Починок, деревня, село, слобода, пригород, город – это ступени, по которым проходила почти каждая община. Место каждой общины в этой “лестнице” не было определено раз и навсегда. Община была пригородом, пока сама не могла стать городом, пока не была достаточно сильной, чтобы самой составить волость и призвать для себя особого князя. Этим обстоятельством лучше всего объясняется порядок замещения волостей и причина политической раздробленности России.

Вполне самостоятельной политической организацией община, подчеркивал Градовский, являлась только в эпоху перед призванием князей, задачей которых было заменить политическую общину, вытеснить ее из политической сферы. Само призвание князей, как представителей

государственной власти, в течение всей княжеской эпохи было реакцией против общинного быта. Тем ни менее князь не уничтожил общины: призвание его не было “самоубийством вече”. Община выделяла князю только внутренний “наряд” (собственно, управление и суд), которого она не могла достигнуть своими силами. Князь – посредник между общинами, а не лицами. В глубь общины власть его не распространялась, она сдерживалась и заслонялась властью общины. Политическую несостоятельность общины Градовский доказывал общими несовершенствами общинного быта, борьбой партий, неорганизованным характером вече – вообще бытовыми условиями, при которых община не могла выработать из себя политического единства, не могла организовать прочной политической власти. При князьях политическая роль общины ограничивалась только немногими делами – призыванием и рядом с ними, но за нею оставалась широкая сфера административной и хозяйственной деятельности.

Основы вечевой формы, по мнению Градовского, глубоко коренятся в общине, как единице хозяйственной и административной. Общинные (вечевые) начала, определяемые формами народного быта, вместе с тем выражались по отношению к организованной княжеской власти в присутствии каждой автономной общины праве призвания князей. Но это начало находилось в постоянной борьбе с началом княжеским, родовым (наследование по родовому старейшинству).

Та же борьба начал княжеских и народных определила отношения между князьями, утверждал Градовский. Князья принадлежали к одному роду и, как братья, были равны между собой. Народным сознанием и мнением князей устанавливалось преимущество старейшинства князей. Князья были волостные, владели равными волостями: старшую из них занимал старший князь как представитель Русской земли и всего княжеского рода. Такой порядок держался до времени Андрея Боголюбского, когда старые родовые начала окончательно уступили территориальным. Появилось несколько совершенно независимых княжеств-вотчин, находившихся в постоянном, наследственном обладании отдельных княжеских линий. Из постепенного усиления территориального могущества и преобладания одной волости и одного княжеского рода (Московского) над другими возник в XVI в. новый порядок вещей, который лег в основу Московского государства – таков вывод Градовского.

По мнению Сергеевича, из двух сил – князя и вече – осталась только одна – князь. Князь отменил вече. Из причин перехода вечевой России к единодержавию автор выделил три: влияние татарского владычества, установление поместной связи между служивыми людьми и князем, объединение России. Градовский же считал, что первая причина чисто внешняя, а вторая и третья – производные. С его точки зрения, причина падения вече, как политической силы, заключалась в свойствах нового центра Руси – Москве. В это время начала призвания совершенно изменили свой характер. Основная идея призвания уцелела и у московских князей, где князь был представителем государственной власти, созданной для водворения порядка и суда. С усилением начала престолонаследования народное призвание возобновлялось лишь в редких слу-

чаях в связи с прекращением княжеского рода. Государственный идеал, зародившейся в первый момент призвания князей, как реакция на общинный быт достиг новой, высшей степени развития. Татарское владычество дало новый толчок народному самосознанию и повело к практическому осуществлению государственного единства.

Таким образом, по мнению Градовского, государство только закончило дело, начатое некогда самими общинами. Высшим пределом подчинения общин государству было закрепление сословий. Общины спокойно тянули возложенное на них тягло и “стянули” Московское государство<sup>27</sup>. Очевидно так же, что А.Д. Градовский был сторонником идеи органического происхождения общины, и лишь впоследствии она была использована государством для возложения тягла, что превращало ее в государственный институт.

Иначе сформулировал свои выводы Ф.И. Леонтович, который оформил свои взгляды на общину в 1874 г. Это была оригинальная теория<sup>28</sup>. По мнению Леонтовича, один из важнейших недостатков современного ему уровня исторической науки – путаница в самых элементарных понятиях. Жертвой этой путаницы стало понятие общины. Леонтович считал, что важный закон органической жизни состоит в том, что каждый народ, как политический организм, проходит определенные стадии развития. На каждой из них возник и укоренился один из основных, неразложимых и неотъемлемых элементов политической жизни.

Община, – утверждал Леонтович, – вторичная формация политического быта, переживаемая каждым народом. Политическая роль общины выражалась в том, что она собственными творческими силами организовала местный, территориальный элемент политической жизни, укореняла отношение народа к месту его оседлости и этим выясняла понятие о народной территории, без которого немислимо позднейшее образование государства. Народ этой формации слагался из общин семейных и территориальных, связанных между собой как в силу колониационного принципа сожительства, так и в силу единства бытовых и территориальных интересов общины.

Основной общественной клеточкой общинного порядка, утверждал Леонтович, являлась семейная община. Она имела огромное значение в средневековой истории всех европейских народов и была важнейшим историко-культурным началом<sup>29</sup>. Семья получила самостоятельное значение, являлась лицом юридическим. Общинный строй задруги везде был один и тот же. Задруга – это союз лиц и семей, живущих на одном огнище, одним или несколькими домами; союз, связанный территориально и экономически одним участком земли, бывшим в общем пользовании общины. Задруги, соединенные пространственно, сводились общими бытовыми интересами в более обширные союзы – общины чисто территориальные<sup>30</sup>. Между старыми и новыми общинами устанавливались федеративные отношения метрополии к колонии. Из условий задружного быта вытекло и начало общинного единения, федеративности и начало волостной обособленности общин<sup>31</sup>.

“Задружные” начала, продолжал свои рассуждения Леонтович, определяли отношения князя и общины. Первоначально князь общинной

эпохи – дружинник-колонизатор, волостной князь, который вместе с дружиной и общиной развивает, организует волостной наряд, раздвигает его за пределы волости, ведет борьбу с враждебными силами. Так обозначались пределы колонизации и окрепли группы общин, которые освоили народные территории. С этого момента началось оседание князей по волостям, которые группировались в политически самобытные области. Оформилось новое воззрение на князя как на “государя”, окончательно распалась прежняя солидарность князя и общины и обозначилась поворотная точка всего политического быта народа<sup>32</sup>.

Леонтович делает вывод, что в состав права общинной эпохи пришли элементы племени, принадлежащего к одному территориальному союзу, создавалась система общинно-волостного обычного права, из которого оформилась широкая система права народного.

Таким образом, при всей оригинальности идей, широте и разнообразии предложенного фактического материала и аргументации, выводы В.И. Сергеевича, А.Д. Градовского и Ф.И. Леонтовича относительно государственного устройства и управления Древней Руси, о решающей роли общественных сил народа в оформлении российской государственной власти концептуально полностью совпадают.

<sup>1</sup> *Сергеевич В.И.* Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во время князей Рюриковичей. М., 1867.

<sup>2</sup> Там же. С. 6.

<sup>3</sup> *Карамзин Н.М.* История государства Российского. СПб., 1818. Т. 1. С. 98.

<sup>4</sup> *Полевой Н.А.* История русского народа. М., 1829. Т. 1. С. XXXVI–XXXVII.

<sup>5</sup> *Погодин Н.М.* Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1846. Т. 3. С. 493–497.

<sup>6</sup> *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. М., 1852. Т. 2. С. 395.

<sup>7</sup> *Шпилевский С.М.* Об участии земщины в делах правления до Иоанна IV // *Юридический журнал.* 1861. № 5, январь. С. 207–208.

<sup>8</sup> Там же. С. 210.

<sup>9</sup> *Шапов А.П.* Городские мирские сходы // Соч. СПб., 1906. Т. 1. С. 773–776.

<sup>10</sup> Там же. С. 777.

<sup>11</sup> *Костомаров Н.И.* Исторические монографии и исследования. СПб., 1872. Т. 12. С. 18–21.

<sup>12</sup> Там же. С. 44–48.

<sup>13</sup> Там же. С. 55–60.

<sup>14</sup> *Сергеевич В.И.* Указ. соч. С. 44–46.

<sup>15</sup> Там же. С. 248–250.

<sup>16</sup> Там же. С. 265–272.

<sup>17</sup> Там же. С. 280.

<sup>18</sup> *Погодин М.П.* Историко-критические отрывки. М., 1846. Кн. 1. С. 341.

<sup>19</sup> Там же. С. 342.

<sup>20</sup> *Чичерин Б.Н.* Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей // *Опыты по истории русского права.* М., 1858. С.260–369.

<sup>21</sup> *Костомаров Н.И.* Указ. соч. С. 24.

<sup>22</sup> *Русский.* 1868. № 1.

<sup>23</sup> *Русский.* 1868. № 48, 49, 51, 53.

<sup>24</sup> Отчет об одинадцатом присуждении наград графа Уварова 25 сентября 1868 г. СПб., 1869. С. 39–57.

<sup>25</sup> *Градовский А.Д.* Государственный строй Древней Руси // *Журнал Министерства Народного Просвещения.* 1868. № 10. С. 101–143.

<sup>26</sup> Там же. С. 108.

<sup>27</sup> Там же. С. 141–142.

- 28 *Леонтович Ф.И.* Задружно-общинный характер политического быта Древней России // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1874. № 7, 8.
- 29 Там же. № 7. С. 136.
- 30 Там же. С. 136–138.
- 31 Там же. С. 140–145.
- 32 Там же. С. 144–145.

**М.Ф. Румянцева**

## **“ЧУЖОЕ Я” В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ: И.И. ЛАПШИН И А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ**

Для рубежа XX–XXI, как и для рубежа XIX–XX вв., характерны методологические поиски в сфере исторического познания. Эти поиски обусловлены как логикой саморазвития исторического знания (и научного знания в целом), так и новыми социокультурными задачами, стоящими перед исторической наукой. Специфика методологических поисков в постсоветской историографии может быть отчасти охарактеризована сакраментальной фразой принца датского: “Распалась связь времен”. Одна из фундаментальных задач современной российской историографии – восстановить эту связь, осмыслить возможности и границы как методологической преемственности, так и необходимость методологического новаторства. Осмысление этой задачи заставляет историков обратиться в первую очередь к русской историографии рубежа XIX–XX вв. Это неслучайно. Обострившиеся в “перестроечный” и “постперестроечный” периоды споры о путях развития России влекут за собой желание выяснить особенности не только российского исторического процесса, но и способов его осмысления в русской историографии, именно в этот период особенно склонной к методологической саморефлексии.

Несомненно, самое большое внимание современных гуманитариев привлекает творчество Л.П. Карсавина. Это чрезвычайно любопытно, поскольку Карсавину свойственны масштабные исторические построения, сочетающиеся с гораздо менее строгим отношением к методу исторического исследования. В настоящее время начинает активизироваться интерес к историкам-методологам, в частности, к А.С. Лаппо-Данилевскому. Но за исключением О.М. Медушевской<sup>1</sup>, привлечшей своими работами внимание к этому оригинальному историку-философу и проведшей серьезный анализ его методологических трудов, другие авторы дают либо общий обзор его творчества<sup>2</sup>, либо сосредоточиваются преимущественно на неокантианских философских основаниях его концепции<sup>3</sup>. На мой взгляд, наиболее существенный интерес представляют теоретико-познавательные принципы и методы исследования как обладающие не только историографической, но и практической значимостью.

Одной из проблем, активно разрабатываемых в философии конца XIX – начала XX в., была проблема “Другого”, “чужого Я”, существен-

но повлиявшая и на методологические поиски в историческом знании. Иван Иванович Лапшин (1870–1952) и Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1919) внесли наиболее существенный вклад как в философскую разработку этой проблемы, так и в исследование принципа признания “чужой одушевленности” в историческом познании. Их объединяет философская углубленность теоретических исканий, методологическая строгость построений. Но если Лапшин сосредоточил свое внимание на исследовании творческого процесса в целом – в философии, в науке, художественном творчестве, и на этом фоне поставил вопрос о специфике исторического познания, то Лаппо-Данилевский создал системное методологическое учение в сфере исторического познания. Свою задачу я вижу не столько в воспроизведении взглядов Лапшина и Лаппо-Данилевского на обозначенную проблему, сколько в попытке понимания социокультурного и теоретико-познавательного смысла их построений. Следовательно, необходимо обратиться к тому философскому и социальному контексту, в котором формировались их концепции.

Можно обозначить несколько причин актуализации интереса к индивидууму в теоретико-познавательном смысле. Не имея здесь возможности подробно проанализировать их, остановимся на самых, на мой взгляд, существенных факторах, обнаруживающихся, с одной стороны, в социокультурной ситуации рубежа веков, а с другой стороны, связанных с развитием науки.

Глобализация экономических и информационных процессов в мире на рубеже XIX–XX вв. приводит к пониманию взаимозависимости человечества. В философии сформировалось понятие “всеединое человечество”, в историческом знании происходит расширение того, что А. Тойнби называет “умопостигаемое поле истории”. Попытки осмыслить единство культурного бытия как в эволюционном (единство исторического процесса), так и в коэкзистенциальном плане (единство культуры) должны были привести к проблеме понимания иной культуры и философского воспроизведения “чужого Я”.

С другой стороны, в конце первой трети XX в., в 1927 г., как бы подводя итоги культурного развития рубежа веков, З. Фрейд делает неутешительное наблюдение: “Если в деле покорения природы человечество шло путем постоянного прогресса и вправе ожидать еще большего в будущем, то трудно констатировать аналогичный прогресс в деле упорядочения человеческих взаимоотношений...” Размышляя о перспективах человечества, Фрейд приходит к выводу о том, что “центр тяжести переместился, по-видимому, с материального на душевное”<sup>4</sup>. Но заметим, что мысль о необходимости такого “смещения” высказывалась Н.Я. Гротом еще в 1889 г. В программной статье журнала “Вопросы философии и психологии” Грот пишет о том, что на фоне бесспорно великих достижений “положительных наук” “...вот уже давно тянется, особенно на Западе, во многих отношениях ненормальная, несчастственная жизнь, напряженная по своему процессу и по-видимому ничтожная по своим нравственным результатам”<sup>5</sup>. Грот видит перспективу в перемещении внимания с “положительных наук”, которые имеют дело с

“внешним опытом”, на “познавание действительности путем внутренне-го чувства и опыта, через которые может быть только и открывается нам жизнь в ее истинном корне, в ее внутреннем содержании и значении”<sup>6</sup>. Грот ставит задачу путем междисциплинарного синтеза на основе психологии как специальной науки о “внутреннем опыте” “построить цельное, чуждое логических противоречий, учение о мире и о жизни, способное удовлетворять не только требованиям нашего ума, но и запросам нашего сердца”<sup>7</sup>. На последние слова в этом высказывании Грота стоит обратить особое внимание и подчеркнуть, что они вовсе не относятся к красотах стиля, а имеют совершенно конкретный философский смысл при разработке проблемы “чужого Я” в рамках неокантианского переосмысления “практического разума”.

Потребности решения проблемы понимания “Другого” в связи с расширением картины мира и осмыслением однобокости естественнонаучного познания отвечает на рубеже веков бурное развитие психологии. Еще в 60-е годы XVIII в. Ж.-Ж. Руссо в своей “Исповеди” заявил: “Я один... Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете... Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила...” – провозгласив тем самым свою – пока только свою – индивидуальность. Спустя двести лет, в 1962 г., неотрейдист Э. Фромм вынужден будет поставить риторический вопрос: “Как бы мы могли понять искусство совершенно иных культур, их мифы, их драму, их скульптуру; не свидетельствует ли это о том, что все мы обладаем одной и той же человеческой природой?”<sup>8</sup>. Равно отстоят во времени от этих двух позиций искания психологов конца XIX в. Для рассматриваемой нами проблемы ключевое значение имеет “Описательная психология” В. Дильтея<sup>9</sup>. Зафиксируем внимание на трех моментах. Во-первых, описательная психология, т.е. цель ее – описание (воспроизведение) психики индивидуума, а не позитивистское обнаружение общих свойств и закономерностей. Во-вторых, Дильтей раскрывает механизм воспроизведения “чужого Я”: “Происходит это путем духовного процесса, соответствующего заключению по аналогии. Недочеты этого процесса обуславливаются тем, что мы совершаем его лишь путем перенесения нашей собственной душевной жизни. Элементы чужой душевной жизни, различающиеся от нашей собственной не только количественно..., не могут быть восполнены нами...”<sup>10</sup> При этом Дильтей убежден в возможности понимания другого человека. “За большое внутреннее сродство всей человеческой душевной жизни, – считает он, – говорит то, что для исследователя, привыкшего оглядываться вокруг себя и знающего свет, понимание чужой человеческой душевной жизни в общем вполне возможно”<sup>11</sup>. Обратим внимание на логику высказывания Дильтея: фактически он не доказывает возможность понимания “чужого Я”, исходя из единообразия структуры человеческой психики, а выводит “внутреннее сродство всей человеческой душевной жизни” из основанного на жизненном опыте убеждения, что понимание возможно. В-третьих, будучи психологом, Дильтей, естественно, основную роль в описательной психологии отводит методам наблюдения и самонаблюдения, но при этом он подчерки-



вает, что “весьма важным дополнением к этим методам... является пользование предметными продуктами психической жизни. В языке, в мифах, в литературе и в искусстве, во всех исторических действиях вообще мы видим перед собою как бы объективированную психическую жизнь” (выделено мною. – М.Р.). Дильтей считает, что обращение к таким объективированным продуктам психической жизни даже имеет некоторые преимущества, поскольку именно они дают науке такие объекты, “к которым наблюдение и анализ всегда могли бы возвращаться”, в то время как непосредственное наблюдение или самонаблюдение трудно уловимы<sup>12</sup>.

Итак, факт интереса к человеческой индивидуальности, сначала на философско-психологическом уровне, а затем и на теоретико-познавательном и конкретно-методологическом, неоспорим. И если философов интересует вопрос доказательства бытия “Другого”, то историков-методологов – проблема понимания “Другого”, воспроизведения “чужой одушевленности” в историческом познании.

Но как это сделать? Как понять “Другого”? Как воспроизвести “чужое Я”? По-видимому, вполне логично обращение некоторых ученых-гуманитариев к художественной литературе, которая предлагает уже готовый результат воспроизведения “чужого Я” – художественный образ. Логику такого обращения обосновал Н.Я. Грот: “У кого мы, с большею надеждою просветиться станем искать верного описания и объяснения тончайших изгибов души человеческой, глубочайших превращений и изменений идей, чувств и стремлений человека – у Бэна, Спенсера, Вундта, Рибо, – или у Шекспира, Диккенса, Золя, Льва Толстого, Достоевского? Даже сколько-нибудь беспристрастный психолог принужден сознаться, что у последних он научается большому... У первых он найдет большею частью только субъективные и спорные схемы, у последних – действительное, реальное содержание: правдивое, жизненное изображение”<sup>13</sup>. Грот, как и другие философы-неокантианцы, различал естественные науки, имеющие дело с “экземпляром” от истории, имеющих дело с индивидуумами, “психическая жизнь которых разнообразится не только по видам и разновидностим организмов, но и по типам личностей и даже от одной личности к другой”.

Если нацеленность художественной литературы на воспроизведение “чужого Я” очевидна, то должны быть не менее очевидными и некоторые возникающие здесь проблемы. Сделаем одно терминологическое замечание: мы, вслед за Лапшиним, используем понятие “чужое Я”, тогда как в философской литературе мы можем встретить понятие “Другой”<sup>14</sup>. Не будем здесь вести спор о терминах и тем более углубляться в философскую аргументацию, но заметим, что применительно к художественной литературе понятие “Другой”, по-видимому, более уместно, чем “чужое Я”, поскольку писатель воспроизводит не психику конкретного индивидуума (даже если у его героя есть реальный прототип), а художественный образ другого человека.

У Грота мы обнаруживаем смешение задач художественного и научного творчества. Ставя перед психологией задачу воспроизвести одушевленность великих исторических деятелей, таких как Сократ, Спи-

ноза, Шекспир, Байрон, Достоевский, Ньютон, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Петр I, Наполеон, он в этот же ряд ставит не только Магомеда и Будду, но и “знаменитых и исключительных личностей, правдиво созданных воображением художников (вроде Гамлета и т.п.)”<sup>15</sup>. Такое же смешение реальных людей и литературных персонажей мы обнаруживаем в “Очерках истории мысли” Д.Н. Овсяннико-Куликовского, опубликованных также в журнале “Вопросы философии и психологии” в 1889–1890 гг. Грот, по сути, видит различие между реальным историческим лицом и литературным персонажем не в модификации цели воссоздания “чужого Я”, а в несколько большей сложности воссоздания исторически реальных индивидуумов, которое “затрудняется иногда недостатком точных биографических сведений о них”. Важно отметить, что Грот, как и Дильтей, обуславливает возможность воспроизведения чужой душевной жизни возможностью обращения к тому, что Дильтей называет “предметными продуктами психической жизни”, а Лаппо-Данилевский – “реализованными продуктами человеческой психики”. Грот замечает: “...Относительно многих исторических личностей можно сказать, что живым памятником их психической жизни являются произведения их мысли и слова, особенно художественные и философские”<sup>16</sup>.

Проблему воспроизведения “чужого Я” в художественном и историческом творчестве, общности и различия в подходах к воспроизведению чужой душевной жизни на строгой философской и методологической основе рассмотрел И.И. Лапшин. Не буду в историографической работе увлекаться философскими проблемами (хотя, замечу в скобках, без их понимания освоение русской философски ориентированной историографии невозможно), поэтому остановлюсь лишь на принципиальных моментах.

Привлек внимание русских ученых к философской проблеме “чужого Я” философ неокантианского направления, учитель И.И. Лапшина А.И. Введенский, опубликовавший в 1892 г. работу “О пределах и признаках одушевления...”<sup>17</sup> Свою задачу Введенский видит в том, чтобы “определить, как именно каждый из нас проверяет свое убеждение, что, кроме него, есть душевная жизнь и у других существ, хотя можно наблюдать не ее самое, а только сопутствующие ей телесные явления”. В результате исследования Введенский пришел к выводу, что “душевная жизнь не имеет никаких объективных признаков”, т.е. никакие данные опыта (ни внешнего, ни внутреннего) не позволяют решить вопрос “о пределах одушевления”<sup>18</sup>, и переосмыслил проблему как, с одной стороны этическую, а, с другой – теоретико-познавательную. Прежде всего, исследуя кантовскую этику, Введенский формулирует четвертый постулат практического разума – убеждение в существовании “чужих Я”<sup>19</sup>. В теоретико-познавательном плане, считает Введенский, поскольку доказать наличие чужой одушевленности невозможно, “мы вправе пользоваться тою точкой зрения, при помощи которой нам удобнее расширять свое познание данных опыта, то есть тою, при помощи которой мы можем легче ориентироваться среди изучаемого класса явлений...” Введенский замечает, что мы можем “отрицать существование

душевной жизни... у всех исторических деятелей и объяснять их поступки и жизнь как результаты деятельности чисто физиологической (бездушной) машины”. Такая точка зрения может быть тем или иным образом согласована с фактами, но она не позволяет “ни восстановить исторических событий по их уцелевшим следам; ни предугадать поступков людей, среди которых я живу; ни управлять своею деятельностью относительно их...”<sup>20</sup> Таким образом, признание чужой одушевленности (психологическая точка зрения) выступает как регулятивный принцип<sup>21</sup>.

Введенский также обращается к проблеме способов воспроизведения чужой душевной жизни и замечает, что “...наблюдать *саму* чужую душевную жизнь мы не можем, а должны лишь *заключать* о ней по ее внешним, материальным, то есть, объективным обнаружениям, следовательно, при каждой попытке решать подобные вопросы мы уже должны быть уверены в том, какие именно материальные явления служат признаком, обнаруживающим присутствие душевной жизни, и какие проходят без ее участия”<sup>22</sup>.

Лапшин, вслед за Введенским, обратился к философскому рассмотрению проблемы “чужого Я”, сосредоточив свое внимание сначала на истории вопроса и выявлении типологии подходов к проблеме<sup>23</sup>, а затем специально разработал гносеологические аспекты признания чужой душевной жизни в связи с проблемой опровержения солипсизма<sup>24</sup>. Лапшин выделил шесть основных способов решения проблемы “чужого сознания”: наивный реализм, материализм, гилозоизм, монистический идеализм, монадология и солипсизм<sup>25</sup>. С точки зрения историографической практики для нас существенный интерес представляет первая из них, поскольку лишь она последовательно реализовывалась в исторических исследованиях. В рамках наивного реализма, по мнению Лапшина, “мы непосредственно воспринимаем чужие душевные состояния”. Неслучайно эта точка зрения названа Лапшиным наивным реализмом, поскольку в исследованиях она проводится обычно бессознательно.

Исследуя проблему “чужого Я” в современной ему философии, Лапшин приступает к рассмотрению ее с психологической точки зрения и обращается к исследованию не столько метода, сколько механизма перевоплощения. Естественно, что объектом такого исследования он выбирает художественное творчество<sup>26</sup>. Лапшин выделяет два существующих подхода к проблеме проникновения художника в “чужое Я” – “интеллектуалистический” и “мистический”. Изучив огромный материал, в первую очередь дневники, мемуары, письма творческих людей, Лапшин раскрыл механизм создания художественного образа художниками-объективистами (т.е. теми, кто воспроизводит по преимуществу чужую одушевленность, а не выражает исключительно свой внутренний мир), показал роль различных видов памяти – зрительной, слуховой, моторной, аффективной и выявил у них “исключительную способность самонаблюдения и целостную память личного прошлого”<sup>27</sup>.

Память и самонаблюдение дают материал для перевоплощения, но оно невозможно без художественной фантазии и мышления. Под худо-

жественной фантазией Лапшин понимает “наклонность выдумывать ситуации и типы правдоподобные и соответствующие действительности” (выделено мною. – М.Р.)<sup>28</sup>. Обратим внимание на то, что художника вполне устраивает “правдоподобие”. Другими словами, речь идет исключительно о художественной убедительности, а не точности воспроизведения реальности.

В результате своего исследования Лапшин пришел к выводу об ограниченности как “интеллектуалистического”, так и “мистического” подходов к проблеме воспроизведения “чужого Я”. Лапшин показал, что «материал для своих художественных перевоплощений художник черпает из опыта... что “чужое Я” не врожденная идея, но постройка воображения и чувств, сообразная с телесными проявлениями окружающих нас индивидуумов». Однако только из данных опыта, считает Лапшин, невозможно воспроизвести “чужое Я” путем “умственного заключения по аналогии”, но это и не интуитивный (в мистическом смысле) способ перевоплощения. Лапшин в споре “интеллектуалистов” и “мистиков” предлагает третий путь, снимающий их антиномию<sup>29</sup>, – путь сочетания материала, сохранившегося в памяти и почерпнутого из самонаблюдения, с творческим воображением, позволяющим выстроить целостный образ.

Спустя несколько лет Лапшин возвращается к проблеме психологии творчества в своем фундаментальном труде “Философия изобретения и изобретение в философии” (1922) и многоаспектно рассматривает различные творческие сферы – философию, науку, искусство. Одним из основных понятий в концепции Лапшина выступает вводимое им понятие “фантасм”, который он отличает от “фантастических образов” в искусстве: “*Научные фантасмы* таковы, что они в сознании ученого хотя и не соответствуют вполне по своему содержанию действительности, но в гипотетической форме и в самых грубых и приблизительных чертах верно схватывают известные объективные отношения между явлениями...”<sup>30</sup> Таким образом, воспроизведение содержания чужой душевной жизни, выступает теперь как частный случай фантасма. Лапшин подчеркивает, что научный фантасм формируется на основе объективных данных, и не должен подменяться субъективной фантазией ученого.

Если у Лапшина воспроизведение “чужого Я” – частный случай фантасма, то для Лаппо-Данилевского – системообразующий принцип его теоретико-познавательной концепции.

Лаппо-Данилевский, вслед за Введенским, исходит из того, что в строгом онтологическом смысле решить проблему “чужого Я” не удастся, и использует принцип “признания чужой одушевленности” в этическом и теоретико-познавательном аспектах. Принцип “признания чужой одушевленности” принимается ученым в регулятивно-телеологическом значении, т.е. “в качестве научной гипотезы, нужной для объяснения некоторой части действительности”. По убеждению Лаппо-Данилевского, “признание чужой одушевленности” необходимо “...психологу, социологу или историку для того, чтобы объединять свое знание о наблюдаемых им чужих поступках и деятельности”. В историческом

исследовании на основе этого принципа историк “конструирует... перемены в чужой психике, в сущности, недоступные эмпирическому... наблюдению”<sup>31</sup>.

Кроме того, с точки зрения “практического разума” принцип “признания чужой одушевленности” принимается «в качестве нравственного постулата, без которого нельзя представить себе “Другого” как самоцель, в отношении к которой наше поведение и должно получить нравственный характер»<sup>32</sup>.

И Лапшин, и Лаппо-Данилевский исследуют механизм воспроизведения “чужой одушевленности”. В их подходах есть как общие черты, так и существенные различия. Оба ученых признают необходимость рефлексии собственной душевной жизни в качестве исходного момента воспроизведения “чужого Я”. Лапшин пишет, что “... познания своей и чужой душевной жизни до того взаимно проникают друг в друга, что едва ли возможно углубленное постижение Я без ТЫ, как ТЫ без Я”<sup>33</sup>. Он исследует механизм взаимодействия Я и ТЫ в процессе художественного перевоплощения: “Познание чужого Я и своего собственного идут рука об руку. Поэтому склонность к перевоплощению (речь идет... о перевоплощении не фантастическом), есть равнодействующая двух сил: 1) меткой наблюдательности к чужой душевной жизни и 2) объективно верного понимания художником своего Я”<sup>34</sup>.

Уделяет внимание этому вопросу и Лаппо-Данилевский. Он утверждает, что “историк может приблизиться к научно-психологическому пониманию прежде бывшей психики лишь путем научного анализа элементов своей собственной душевной жизни и признаков чужой, уже признанной им...”<sup>35</sup>

При всей схожести позиций Лапшина и Лаппо-Данилевского акцентируем внимание на одном различии. Лапшин пишет о познании “чужого Я” и самопознании как о взаимообусловленных равно важных процессах. Лаппо-Данилевский явно отдает приоритет самопознанию. На мой взгляд, это не случайно и связано с возможностью верификации полученного результата.

Признание “чужой одушевленности” как теоретико-познавательный принцип, считает Лаппо-Данилевский, нельзя смешивать с “мнимо-эмпирическим знанием” “Другого” (“чужого Я”), так как исследователь может лишь гипотетически конструировать “чужое Я” по внешним обнаружениям его духовной жизни, по объективированным результатам его психической деятельности. При этом исследователь исходит из собственной индивидуальности, из собственного исследовательского и жизненного опыта и использует для воспроизведения в себе “чужого Я” переживание, ассоциирование и заключение по аналогии. Отметим, что особенностью труда Лаппо-Данилевского является то, что он, конструируя свою методологическую систему, начинает с анализа того, как протекает процесс познания в человеческом сознании вообще и в сознании исследователя, в частности. Отмеченные способы воспроизведения “чужой одушевленности” не являются, строго говоря, научными методами. Переживание – это обыденный способ воспроизведения в себе “чужого Я” в ситуации повседневного человеческого общения. На

ассоциировании была построена режиссерская система К.С. Станиславского. Актер должен вжиться в образ, сознательно ассоциировать себя с персонажем, т.е. воспроизвести в себе “чужую одушевленность” – “Я” своего персонажа, что повлечет за собой соответствующее внешнее выражение душевной жизни. Именно это внешнее выражение (действие, реализация) и воспринимается зрителем. Кстати, режиссерская система Станиславского разрабатывалась в те же годы, на рубеже XIX–XX вв.<sup>36</sup> В качестве собственно научного способа воспроизведения “чужого Я”, по мысли Лаппо-Данилевского, выступает заключение по аналогии, что соответствует концепции Дильтея.

Лапшин обобщает свои наблюдения над механизмом воспроизведения “чужой одушевленности” следующим образом: “Когда я вижу чужое лицо с известной экспрессией, я воспринимаю...  $N$  чувственных качеств... но я воспринимаю эти  $N$  ощущений не как алгебраическую сумму безразличных друг ко другу психических элементов – сверх  $N$  различных ощущений, я получаю еще  $N + 1$ -е чувство, которое соответствует комбинации или группировке этих элементов... Таким образом, моментальная экспрессия человеческого лица охватывается мною сразу, как целое, вызывающее во мне, кроме  $N$  ощущений,  $N + 1$ -е чувство целостного впечатления, которое в силу прежних опытов произвольно ассоциируется у меня с настроениями и переживаниями, подобными душевным состояниям наблюдаемого мною лица”<sup>37</sup>. Здесь же Лапшин подчеркивает произвольность этого восприятия. Он пишет, что при наблюдении, например, плачущего человека, сам он может и не заражаться симпатически его печалью. Лапшин, по сути дела, вскрывает природу иллюзорности непосредственного восприятия “чужого Я” в “наивном реализме”: “Целостное впечатление экспрессии... так тесно срослось с телесными проявлениями, что мы проецируем этот добавочный психический процесс в тело другого человека... Вот почему нам кажется, что мы прямо видим, интуитивно постигаем чужое Я...”<sup>38</sup>

Мы видим, что описываемый Лапшиным механизм соответствует в построении Лаппо-Данилевского таким способам воспроизведения чужой одушевленности, как переживание и ассоциирование. Как мы уже видели, Лапшин, в отличие от Лаппо-Данилевского, считает, что «в большинстве случаев познание “чужого Я” совершается не путем умственного заключения по аналогии»<sup>39</sup>.

Строго говоря, в отношении Лапшина и Лаппо-Данилевского к аналогии как к методу воспроизведения “чужого Я” нет существенных различий: и тот и другой признают ограниченность возможностей этого метода. Но выводы делают разные.

Лаппо-Данилевский вовсе не отрицает роль интуиции в процессе воспроизведения “чужой одушевленности”. Более того, он считает, что интерпретация как исследовательская процедура понимания “Другого” “...возникает применительно к тем сложным объектам, психическое значение которых не дано в чувственном восприятии наблюдателя (выделено мною. – *М.Р.*), а конструируется им и сознательно прилагается при какой-либо задержке или сомнении в их понимании...”<sup>40</sup> Лаппо-Данилевский не отрицает и значение “чутья” историка, которое

вырабатывается путем постоянных упражнений при работе с источниками одной эпохи. Но при этом он подчеркивает, что наличие у историка интуиции, исторического “чутья” не устраняет необходимости рассматривать проблему “с методологической точки зрения”<sup>41</sup>. Рассматривая психологическое понимание человека как основную задачу гуманитаристики, а понимание человека прошлого (и шире – индивидуума, под которым может пониматься как отдельный человек, так и общность людей – в предельном смысле – человечество) как задачу исторической науки, именно невозможностью полного воспроизведения “чужого Я” обуславливает Лаппо-Данилевский границы исторического, и в целом гуманитарного, познания. Он пишет: «... воспроизведение чужой одушевленности во всей ее полноте представить себе нельзя, хотя бы уже потому, что в таком акте всегда соучаствует то сознание, в котором чужая одушевленность воспроизводится: “я” не могу перестать быть “я” даже в момент сочувственного переживания чужого “я”. Такое переживание, ассоциирование и заключение по аналогии обыкновенно сводится к воспроизведению в себе не чужого “я”, а более или менее удачной комбинации некоторых элементов его психики...»<sup>42</sup> Лаппо-Данилевский подчеркивает эпистемологические сложности, возникающие при “воспроизведении одушевленности” исторического субъекта. Исследователь при этом исходит из того, что его психика и психика изучаемого им субъекта различаются лишь интенсивностью составляющих ее элементов. Однако историк не может быть полностью уверен в соответствии друг другу самих комбинаций этих элементов, поэтому, исходя из анализа собственной психики, историк вынужден ограничиться констатацией сходства отдельных элементов, “общих обеим одушевленностям”, а не их систем<sup>43</sup>. Ученый так описывает процесс воспроизведения “чужой одушевленности” в ходе гуманитарного исследования: “он (историк. – М.Р.) как бы примеряет наиболее подходящие состояния своего собственного сознания к проанализированному и систематизированному им внешнему обнаружению чужой одушевленности, подделывается под нее и т.п.; ему приходится искусственно... ставить себя в условия, при которых он может вызвать его и т.п., хотя бы и несколько раз. Лишь после таких исследований он может перевоспроизвести в себе то именно состояние сознания, которое он считает нужным для надлежащего понимания чужих действий...”<sup>44</sup>.

Лапшин же, констатируя ограниченность возможностей метода аналогии, по сути отказывает ему в действенности, причем не только в сфере художественного, но и научного творчества. Например, сравнивая работу художника и психолога, он подчеркивает, что и в научном исследовании, начинающемся с аналитических процедур, «синтез “чужого Я”... складывается в воображении путем воспроизведения в себе подобия целостного состояния чужой души»<sup>45</sup>. Эту идею Лапшин развивает применительно к различным видам творческой деятельности в своем трактате “Философия изобретения и изобретение в философии...”, где пишет, что “... *построение* характеристики получается не одним механическим объединением отдельных записей, но сверх того

при наблюдении человека и экспериментации над ним мы должны по возможности перевоплотиться мысленно в него”<sup>46</sup>.

Мне представляется, что в данном случае подход Лапшина достаточно близок построениям Л.П. Карсавина, не отличающимся методологической строгостью. Рассматривая три вида “истории души” (автобиография, биография и художественная литература), Л.П. Карсавин констатирует: “Исходным моментом художественного творчества всегда является усмотрение некоторой реальной личности”<sup>47</sup>. Обнаружив как и Лапшин, аналогии труда художника и историка, Карсавин пишет: «Историк... стремится к возможно большей индивидуализации и конкретизации познаваемого. Он “вычитывает” из текста всегда более того, на что текст его уполномочивает. Описание характера исторического героя, его наружности... всегда конкретнее, чем говорящие о них свидетельства современников”<sup>48</sup>. Карсавин пишет о неизбежности “художественно-творческой конкретизации исторической действительности”, но при этом подчеркивает, что “конкретизация не должна противоречить тому, что доподлинно известно: историк более связан, чем художник”<sup>49</sup>.

Обобщая различия в позициях Лапшина и Лаппо-Данилевского по проблеме воспроизведения “чужого Я”, можно прийти к выводу, что суть их в конечном счете сводится к тому, что Лапшин, исследуя с привлечением обширного эмпирического материала и строгими методами процесс воспроизведения “чужого Я”, фактически не ставит проблему верификации полученного результата. Практически это означает, что исследованный Лапшиным метод работает только в границах одной культуры в определенный период ее существования, потому что если мы можем лишь надеяться, что правильно опознали по внешним проявлениям состояния душевной жизни у близкого нам по культуре человека, то без всякого сомнения такая уверенность невозможна при попытке понять человека иной культуры. Причем, говоря об иной культуре, целесообразно воспользоваться понятиями “состояние культуры” и “период культуры”, применяемыми Лаппо-Данилевским, что позволяет рассматривать иную культуру как в коэкзистенциальном, так и в историческом плане<sup>50</sup>. Таким образом, если метод, описанный Лапшиным, некорректен при анализе иной культуры, то это означает, что он неприменим и к историческому познанию. Хотя Лапшин и отмечает, что в начале XX в. перевоплощаемость в искусстве затрагивает все новые сферы, поскольку “с ростом общечеловеческой солидарности, с развитием в человечестве демократических тенденций, с успехами исторических знаний, искусство захватывает все более и более широкие круги в пространстве и времени для перевоплощаемости художника”<sup>51</sup>. Мне представляется, что Лапшин выдает здесь желаемое за действительное. В начале мы, рассматривая социокультурные факторы актуализации проблемы “чужого Я”, акцентировали внимание на том, что именно осознание “всеединства человечества” как в культурном (коэкзистенциальном), так и в историческом (эволюционном) плане заставляет поставить проблему “Другого”, но при этом вовсе не предопределяет ее адекватного решения.



Лаппо-Данилевский сосредоточил свои усилия на разработке строго научной теоретико-познавательной концепции точного, верифицируемого исторического знания. Он создал оригинальное учение о продуктах культуры – исторических источниках, составляющих основу такого понимания. Вспомним, что и В. Дильтей, и Н.Я. Грот отмечали необходимость пользоваться “предметными продуктами психической жизни” при воспроизведении “чужой одушевленности”.

Воспроизведение “чужой одушевленности” достигается главным образом в процессе интерпретации исторического источника. Лаппо-Данилевский детально разработал интерпретационные процедуры в своем фундаментальном труде “Методология истории”. Лаппо-Данилевский определяет интерпретацию как “**общезначимое научное** (выделено мною. – М.Р.) понимание исторического источника”<sup>52</sup>. Понимание автора в процессе интерпретации исторического источника лежит в основе любого исторического исследования, поскольку только правильно поняв источник, историк может установить – “знание о каком именно факте он может получить из данного источника”. В противном случае исследователь не может быть уверен, что он “не приписывает источнику продукта своей собственной фантазии”<sup>53</sup>.

Лаппо-Данилевский считал, что исследователь в первую очередь должен стремиться выяснить, какое значение автор придавал своему произведению. “Идеальная интерпретация источника, – пишет Лаппо-Данилевский, – разумеется, состояла бы в том, чтобы истолкователь достиг такого состояния сознания, при котором он мог бы самопроизвольно обнаружить его в произведении, тождественном с данным, и при котором он, значит, мог бы понимать его, как свое собственное...”<sup>54</sup>

Соглашаясь с Лаппо-Данилевским, что целью научной интерпретации является достижение общезначимого знания, мы не можем разделить его представление об идеале интерпретации. Мы уже отмечали, что Лаппо-Данилевский считал, что рефлексия собственного сознания является основой понимания “чужого Я”. Против этого невозможно возражать, но представления Лаппо-Данилевского явно находятся на дофрейдовской стадии гуманитарного знания. Он, по-видимому, разделял уверенность многих своих современников в возможности полной рефлексии содержания собственного сознания. Поэтому границы исторического познания Лаппо-Данилевский обуславливает невозможностью полного воспроизведения чужой психики. З. Фрейд показал, что структура психики сложна и она не полностью доступна самопониманию. То есть исследователь, исходя из собственной психики при воспроизведении “чужого Я”, сам себя до конца не понимает. Отсюда можно сделать пессимистичный вывод: интерпретаций произведения культуры столько же, сколько интерпретаторов (и даже больше, поскольку один человек может по-разному интерпретировать произведение), все интерпретации равноправны (в том числе и авторская) и, следовательно, говорить об “общезначимом” понимании не приходится.

Но возможно и другое направление размышлений. Исследователь, находясь в иной точке эволюционного пространства, имеет возмож-

ность воспринимать исторический источник в контексте всей породившей его культуры и, следовательно, понять его глубже, чем понимал автор.

Лаппо-Данилевский выделяет четыре метода интерпретации – психологический, технический, типизирующий и индивидуализирующий – и обращает внимание на необходимость их сочетания в разных комбинациях в зависимости от особенностей исследуемого исторического источника. Мы же обратим особое внимание на типизирующий метод интерпретации, в ходе реализации которого исследователь воссоздает целостность культуры, породившей тот или иной исторический источник. Лаппо-Данилевский пишет, что историк для того, чтобы “придать толкованию источника более исторический характер... исходит из понятия о том культурном типе, к которому источник относится, и сообразно с ним понимает его содержание”<sup>55</sup>. При этом культуру Лаппо-Данилевский рассматривал как в коэкзистенциальном, так и в эволюционном плане и в соответствии с этим разделяет систематическую и эволюционную интерпретацию. В целом типизирующий метод интерпретации дает историку возможность “с систематической или эволюционной точки зрения выяснить те родовые признаки источника, которые объясняются реальной его зависимостью от среды, т.е. от данного состояния или периода культуры...”<sup>56</sup> Таким образом, типизирующая интерпретация, с одной стороны, создает условия для индивидуализирующей, в ходе которой исторический источник рассматривается как “продукт более или менее цельной индивидуальности”, а с другой стороны, позволяет воссоздать эволюционную и коэкзистенциальную целостность культуры, что в свою очередь создает основу для адекватного понимания социальных и культурных феноменов. По сути, именно типизирующая интерпретация позволяет понять исторический источник глубже, чем понимал его автор.

Нельзя сказать, что другие исследователи игнорировали проблему культурного целого. В философской литературе мы обнаруживаем разнообразные подходы к ее постановке и решению. Например, Лапшин, опровергая одну из форм солипсизма – иллюзионизм, замечает, что “... мысль о необъятном множестве явлений, лежащих за пределами узкого кругозора восприятий, *необходимо привходит* в сферу непосредственного опыта, даже тогда, когда я не думаю *актуально* о той части мира, которая не воспринимается мною непосредственно”<sup>57</sup>. С.Н. Трубецкой, философ, также активно публиковавшийся в журнале “Вопросы философии и психологии”, рассматривал проблему соотношения индивидуального и коллективного сознания и утверждал, что “...учение, сводящее все существующее к состояниям индивидуального сознания, может держаться исключительно благодаря смешению его с сознанием коллективным. Ибо когда говорят о человеческом сознании вообще, никто не думает только о себе одном, но каждый разумеет в себе общее-человеческое сознание”<sup>58</sup>. Но только Лаппо-Данилевский последовательно соединил неокантианскую теоретико-познавательную концепцию с методологией истории и методами исторического исследования. Лаппо-Данилевский привнес в историческую науку признание “чужой

одушевленности” в качестве системообразующего принципа строго научного исторического познания и разработал проблему “чужого Я” в ее исторической составляющей.

- 1 *Медушевская О.М.* Феноменология культуры: Концепция А.С. Лаппо-Данилевского в гуманитарном познании новейшего времени // Исторические записки. М., 1999. Т. 2 (120). С. 100–136.
- 2 *Нечухрин А.Н., Рамазанов С.П.* Мир абсолютных ценностей: Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский // Историки России XVIII – начало XX века. М., 1996. С. 512–537.
- 3 *Синицын О.В.* Неокантианская методология истории и развитие исторической мысли в России в конце XIX – начале XX вв. Казань, 1998.
- 4 *Фрейд З.* Будущее одной иллюзии // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1991. С. 20.
- 5 *Грот Н.Я.* О задачах журнала // Вопросы философии и психологии. 1889. Кн. 1. С. VII.
- 6 Там же. С. VIII.
- 7 Там же. С. X.
- 8 *Фромм Э.* Из плена иллюзий: Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом // Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 308.
- 9 *Дильтей В.* Описательная психология. СПб., 1996.
- 10 Там же. С. 98.
- 11 Там же.
- 12 Там же. С. 99–100.
- 13 *Грот Н.Я.* Жизненные задачи психологии // Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 4. С. 160–161.
- 14 *Майборода Д.В.* Другой // Новейший философский словарь. Минск, 1999. С. 226–227.
- 15 *Грот Н.Я.* Жизненные задачи психологии... С. 183.
- 16 Там же. С. 184.
- 17 *Введенский А.И.* О пределах и признаках одушевления: Новый психо-физиологический закон в связи с вопросом о возможности метафизики. СПб., 1892.
- 18 Там же. С. 3.
- 19 См.: *Лосский Н.О.* История русской философии. М., 1991. С. 191.
- 20 *Введенский А.И.* Указ. соч. С. 71.
- 21 Там же. С. 72.
- 22 Там же. С. 7.
- 23 *Лапшин И.И.* Проблема “чужого Я” в новейшей философии. СПб., 1910.
- 24 *Лапшин И.И.* Опровержение солипсизма // Философские науки. 1992. № 3. С. 18–45.
- 25 *Лапшин И.И.* О перевоплощении в художественном творчестве // Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1914. Т. V. С. 161–262.
- 26 Там же.
- 27 Там же. С. 165.
- 28 Там же. С. 192.
- 29 Там же. С. 236.
- 30 *Лапшин И.И.* Философия изобретения и изобретение в философии: Введение в историю философии. М., 1999. С. 103.
- 31 *Лаппо-Данилевский А.С.* Методология истории. СПб., 1910–1913. Вып. 1–II. С. 308.
- 32 Там же. С. 307.
- 33 *Лапшин И.И.* О перевоплощении в художественном творчестве... С. 168.
- 34 Там же. С. 219.
- 35 *Лаппо-Данилевский А.С.* Указ. соч. С. 317.
- 36 См.: *Столович Л.Н.* И.И. Лапшин и К.С. Станиславский // Вопросы философии. 1999. № 10. С. 165–170.
- 37 *Лапшин И.И.* О перевоплощении в художественном творчестве... С. 236–237.
- 38 Там же. С. 237.
- 39 Там же. С. 236.
- 40 *Лаппо-Данилевский А.С.* Указ. соч. С. 409.
- 41 Там же. С. 413–414.
- 42 Там же. С. 313.

- 43 Там же. С. 317.  
44 Там же. С. 315–316.  
45 *Лапишин И.И.* О перевоплощении в художественном творчестве... С. 251.  
46 *Лапишин И.И.* Философия изобретения и изобретение в философии... С. 106.  
47 *Карсавин Л.П.* Философия истории. СПб., 1993. С. 83.  
48 Там же. С. 84.  
49 Там же. С. 85.  
50 *Лаппо-Данилевский А.С.* Указ. соч. С. 463–464.  
51 *Лапишин И.И.* О перевоплощении в художественном творчестве... С. 258.  
52 *Лаппо-Данилевский А.С.* Указ. соч. С. 408.  
53 Там же. С. 407.  
54 Там же. С. 409.  
55 Там же. С. 463.  
56 Там же. С. 493.  
57 *Лапишин И.И.* Опровержение солипсизма... С. 29.  
58 *Трубецкой С.Н.* О природе человеческого сознания // Вопросы философии и психологии. 1889. Кн. 1. С. 122.

**В.П. Корзун, А.В. Свешников**

### **ТРЕТИЙ УГОЛ**

**(И.М. Гревс в пространстве переписки  
“Из двух углов” В.И. Иванова и М.О. Гершензона)\***

Ситуация “заброшенности” историка в историю давно и, конечно, заслуженно стала предметом историографического анализа. Однако вечно подпитывающий науку живой, экзистенциальный опыт не позволяет отбросить эту тему как отработанную, сдать в архив науки. Более того, актуализируясь в трагических ситуациях надлома истории, тема иной раз приобретает такое звучание, что говорить о ней традиционным академическим языком становится затруднительно (и дело здесь не только в неадекватности описания). Воспринимая проблемы истории как свои личные, в той точке, где возможен невозможный прыжок в будущее, историк вдруг совершает “исторический поступок” и, вопреки всякой логике развития науки, рождаются непредсказуемые откровения об истории и, по большому счету, о себе, а история становится самопознанием.

Известный петербургский историк Иван Михайлович Гревс (1860–1940) за свою долгую нелегкую жизнь пережил немало “трагических надломов истории”, безусловно, повлиявших на его судьбу. Достаточно вспомнить имевшие место в 1920-е годы многочисленные нападки на И.М. Гревса “за идеализм”, закрытие Петроградского экскурсионного института, постановление научно-политической секции ГУСа “отвести” его от преподавания, принятое в 1923 г. и подтвержденное Наркомпросом, и, наконец, арест в 1930 г. Однако непосредственно в научных исследованиях эта включенность присутствует неявно, в имп-

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 990/00277а.

лицитной форме, уловимой подчас только близкими людьми. Так, Н.П. Анциферов пишет, что, работая над “Тацитом”, “в последнюю главу он (Гревс. – В.К., А.С.) вложил много своего, личного”<sup>1</sup>.

Архив Гревса содержит огромное количество не вовлеченных в научный оборот материалов<sup>2</sup>. К числу последних принадлежит неизвестная современному читателю рукопись статьи Гревса “О культуре (Мысли при чтении “Переписки из двух углов” Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона)”<sup>3</sup>, одна из немногих, на наш взгляд, работ, в которой вдруг обнаруживается беспокойный образ автора, болезненно воспринимающего свою историческую ангажированность.

Небольшая по объему рукопись (32 с.) имеет авторскую датировку – лето 1921 г., содержит многочисленные правки и указания (пометы) для типографии, разбивку на части-главы.

К изучению культуры в самых различных ее формах и проявлениях Гревс неоднократно обращался на протяжении всего своего творчества. Гревс-медиевист был одним из основоположников изучения культуры средневековой Европы в России<sup>4</sup>. Следует указать хотя бы на серию ярких, самобытных научно-популярных статей в журнале “Научное слово” под названием “Научные прогулки по историческим центрам Италии” с подзаголовком “Очерки флорентийской культуры”<sup>5</sup>, целый ряд статей, посвященных рассмотрению отдельных аспектов творчества Данте<sup>6</sup> и книгу “Кровавая свадьба Буондельмонте: Жизнь итальянского города в XII веке”, освещающую яркий эпизод истории средневековой Италии<sup>7</sup>. Тема средневековой культуры постоянно присутствует и в учебных курсах И.М. Гревса. В автобиографическом очерке он определяет себя как “историка средневековых романских культур”<sup>8</sup>.

Такая направленность отозвалась в трудах его учеников и последователей и может быть определена как одна из черт научной школы Гревса<sup>9</sup>.

Интерес Гревса к культуре не ограничивался средневековыми сюжетами. Наряду с книгой “Тургенев и Италия: культурно-исторический этюд”, следует указать и на многочисленные работы по теории экскурсионного дела<sup>10</sup>.

Все названные работы, безусловно, заслуживают почтительного и бережного отношения. Очевидно, что, за редким исключением, это “продукты” спокойного размеренного творчества, существующие в беспроблемном режиме историописания и сочетающие “светлую тягу к знанию” с научностью, а скрупулезность в подборке фактов – с классически размеренным стилем эстетической обработки деталей. Работы были ориентированы на идеалы классической науки, либерализма и гуманизма. Недаром П.П. Муратов, литературный критик и искусствовед, на страницах своей известной книги называет Гревса “представителем гуманистического течения в русской науке”<sup>11</sup>. “Спокойный, светлый и сердечный” образ ученого, хранящего принципы, запечатлен и в воспоминаниях, оставленных близкими ему людьми<sup>12</sup>. Статья “О культуре” дает возможность увидеть другого Гревса – Гревса, вставшего на защиту своих принципов в критической ситуации, выявившей хрупкость последних. Позитивистско-гуманистическая риторика уже не скрывает

живую боль Гревса, которого в этой ситуации трудно назвать “старомодно многословным”. Очевидность угрозы, в данном случае проявившейся на интеллектуальном уровне, заставляет его открыто и емко изложить свою целостную концепцию культуры, по-иному расставить акценты. Теперь уже каждое слово нелишнее, каждое на своем месте, за каждое он готов биться.

Актуальным интеллектуальным “раздражителем” для И.М. Гревса послужила знаменитая “Переписка из двух углов” В.И. Иванова (1866–1945) и М.О. Гершензона (1869–1925). Оформление проблемы предельного основания культуры в письменном диалоге, происходившем в “санатории для переутомленных работников умственного труда”, поражающей своей глубиной и насыщенностью. Недаром появление этого “провоцирующего” текста вызвало целый ряд переводов, переизданий и откликов. В 1923 г. в Берлине вышло второе издание, в 1926 г. его публикует по-немецки Мартин Бубер, в 1930 – по-французски Франсуа Мориак и Шарль Дю Бос, в 1931 – Габриэль Марсель, в 1933 г. – по-испански Х. Ортега-и-Гассет. В русских эмигрантских кругах текст переписки также породил массу откликов<sup>13</sup>, превратившись “в универсальный – вне пространства и времени – документ постнищпеанской гуманитарной рефлексии”<sup>14</sup>. Тем большую значимость для исследователя приобретает рукопись Гревса и как наиболее ранний из известных нам откликов на “Переписку” (гревсовский текст завершается указанием места и времени появления – “Павловск под Петербургом. Лето 1921 года”, а “Переписка”, как известно, была напечатана в июне того же года), и как связанный по происхождению с реальным локусом – единым для всех наших героев – пространством постреволюционной столичной России – две столицы, и, наконец, как текст из иного профессионального сообщества. Гревс был лично знаком с В.И. Ивановым, по воспоминаниям Е.Ч. Скржицкой называл его своим учителем, указывая тем самым на ту роль, которую поэт сыграл в приобщении историка к достижениям гуманитарной мысли Германии<sup>15</sup>. Безусловно, были ему известны и работы М.О. Гершензона. В архиве И.М. Гревса хранятся письма обоих мыслителей, причем значительнейшая по объему переписка с В.И. Ивановым велась на протяжении 30 лет. Почтительное отношение было взаимным. По воспоминаниям Н.П. Андиферова, Иванов посвятил Гревсу строки своего стихотворения “Возврат” (1918)<sup>16</sup>.

“Чудесен поздний твой возврат  
С приветом давнего былого  
И голоса, все молодого,  
Знакомый звук, любимый брат!  
И те же темные глаза,  
Из лона вдруг вся юность глянет,  
Порой по-прежнему туманит  
Восторга тихая слеза”.

Все трое принадлежат к одной генерации русских, даже шире, европейских интеллектуалов, оказавшихся на грани бездны в момент кризиса культуры.

Небольшой, казалось бы ясный, но на самом деле достаточно сложный, насыщенный различными символами и аллюзиями текст, порой, не всегда прозрачный, совершенно осознанно, ставит очень важную проблему сущности культуры, тесно связанную с пониманием современного кризиса культуры и возможностью его преодоления. Текст сознательно выстроен как диалог, с обращенностью собеседников друг к другу, разворачиванием своей позиции именно как ответ, и в то же время пространство текста принципиально открыто. Входя в него, с определенной, вполне осознанной долей упрощения, позицию М.О. Гершензона можно определить как “усталость от культуры”. Даже в диалог он входит как бы нехотя: “Меня тяготит... это заоблачное зодчество... оно кажется мне праздным и безнадёжным делом... все умственные достижения человечества, все накопленное валами и закреплённое богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мутило мне душу ... а теперь оно стало во мне постоянным”. Обосновывая свою позицию, он делает акцент на разрыве “культуры” и “жизни”. Культура давит, в ней нет свободы, нет подлинной жизни духа. Выработанные ей абстрактные ценности превратились в мертвые глыбы. “Культурное наследие давит на личность тяжестью 60 атмосфер”. Вяч. Иванов согласен с кризисной оценкой современной культуры, но придерживается оптимистического взгляда на возможность его продуктивного преодоления. Выход этот напрямую связывается с осмыслением подлинной сущности самой культуры. Культура оказывается для сознания человека прежде всего ступенью на пути к Богу, через которую невозможно перепрыгнуть, этапом, который в обязательном порядке следует пройти. Без проживания культуры движение к Богу невозможно, и этим она оправдана. Культура, по мнению Иванова, позволяет прийти к пониманию мира как сложности, дает опыт сложности: “К простоте вождельной... путь лежит через сложность”. Бегство от культуры – трусость и непонимание задач собственной жизни. Культура в первую очередь – “культ предков” и свободное воссоздание ее в своем сознании, повторение великих духовных подвигов прошлого (платоновское “забвение” и “воспоминание”). По сути, культура свободна. “Она лестница Эроса и иерархия благоговений... благоговения мои свободны – ни одно не обязательно... правда, каждое благоговение, переходя в любовь, открывает зорким взглядом любви внутреннюю трагедию... во всем. Отлучившимся от источников бытия... Но это уже тоска по Богу”. Это движение от мира греховного к Богу. И этим культура оправдана, для этого она и нужна. Культуру в этом движении необходимо преодолеть, пройдя до конца.

Актуальность проблемы, отмеченная Гревсом<sup>17</sup>, заставила его оформить свою реакцию в текст, который условно можно обозначить как текст, написанный “для себя”, обусловленный в первую очередь собственной внутренней потребностью. По Гревсу, “должно думать о культуре, когда постоянно слышишь о ее сумерках, о наступающей ночи..., когда происходит роковой перелом истории, кризис бытия и кризис мирозерцания, всеобщий надрыв”. В гревсовской характеристике интеллектуального ландшафта 1920-х годов слышится тревожный пульс

автора, болезненно ощущающего духовный вакуум, в котором “дух коснеет под гнетом временных партийных лозунгов, захвативших господство над нынешним преходящим днем”: “У нас все теперь пропадает в хаосе общего распада. Мы не знаем в Петербурге, о чем пишут, что происходит в Москве, и обратно, не говоря о других центрах России, тем более на Западе. У нас отсутствуют независимые газеты и журналы, где бы обсуждались явления дня, интересы духовной жизни, где бы разносторонне и беспристрастно, со знанием дела оповещалось о новинках науки, литературы, философии, искусства. Мы совсем отрезаны от цивилизованных стран, тоном в провинциальном, захолустном разобщении, будто замкнуты в безвоздушном пространстве. Душа рвется от этого с особой силой к сообществу с другими, и, в частности, сейчас горит в ней желание поделиться думами, на какие наводит поименованная книга, сообщить и свои домыслы о том, что мучит всех причастных к работе духа людей”<sup>18</sup>.

Анализируя текст, Гревс фиксирует “некоторую искусственность” диалога, склонность авторов к стилизации и одновременно принимает переписку как художественный текст: они выбрали удобный литературный прием, чтобы выявить, заострить антиномии в природе культуры и в ее раскрытии, обнаружить коллизии в ее судьбах, интуитивно улавливает некоторое сопротивление, неохоту “монологичного” Гершензона ввязаться в эту “причуду”. Подтверждение гревсовской догадки мы находим в письме самого Гершензона Льву Шестову от 26 июня 1922 г., опубликованном в Париже более полувека спустя на страницах исторического альманаха “Минувшее”: “Начал переписку он (Вячеслав Иванов. – В.К., А.С.), стал понуждать меня ответить ему письменно. Мне было неприятно, потому что в этом есть театральность, и я был очень слаб – не было никакой охоты писать. Но он мучил до тех пор, пока я написал. Потом все время он отвечал тотчас, а я тянул ответ по много дней, и он пилит меня, а мне не писалось”<sup>19</sup>. Как отмечает современный исследователь В. Проскурина, Гершензон, понимая, что попался на утонченную культурную провокацию со стороны Иванова, демонстративно не скрывал своего неудовольствия и неизменно резко отзывался о “Переписке”<sup>20</sup>.

Историк сознательно формулирует свои мысли, не становясь над текстом, а пытаясь войти в него, став еще одним собеседником, проговаривая достаточно подробно позиции спорящих сторон. В разговор “скрипки и виолончели”, по определению Г. Марселя<sup>21</sup>, вступает еще один инструмент – альт: “Я не философ, а историк, – пишет Гревс, – но и как таковой – много и мучительно размышлял о культуре и хотел бы теперь высказать нечто, что вызвано опубликованною беседой двух братьев (полагаю, что имею право так их назвать). Сделаю это без претензий и хитрости, но с искреннею серьезностью, без полемики, но с правом на свободу, не за и не против кого-нибудь из обоих авторов и не непременно против ныне распространенных идей, но во имя того, что чувствуется постоянною правдою, нужною всегда и для всех”<sup>22</sup>.

Безусловно, следует обратить внимание на логику построения гревсовской статьи. Автор выделяет шесть следующих друг за другом час-



тей. Первая – вводная, в ней Гревс отмечает актуальность книги и “болезненность” избранной темы, коротко обозначает позиции авторов, говорит о стилистической искусственности построения анализируемого текста, которую он в общем-то оправдывает, но не принимает. Затем (вторая часть) Гревс подробно прописывает собственное понимание культуры, подчеркивая, что это понимание именно историка, не являющееся “общей отвлеченной формулой”. После этого Гревс возвращается к “Переписке...”, воспроизводя позиции обоих спорщиков. Делается это нарочито досконально, с большим количеством цитат и дополнений, развивающих отдельные положения авторов. При этом он, пожалуй, несколько спрямляет, утрирует и огрубляет их позиции, делая их по преимуществу идеологемами, лишая иронии. Первым из авторов (в третьей части) представлен М.О. Гершензон, в истолковании Гревса видящий зло в культуре. Затем в следующей части предпринята реконструкция позиции В.И. Иванова, ратующего, по Гревсу, за человеческую свободу через культуру. В пятой части разворачивается идея борьбы против “грехопадения культуры”, возможность которой напрямую связывается с религиозным возрождением, а шестая, заключительная, посвящена теме кризиса культуры в последних работах В.В. Розанова и знаменитом сборнике статей «Освальд Шпенглер и “Закат Европы”». Таким образом, мы видим, что, декларативно претендуя на построение текста в рамках научно-исторического дискурса, Гревс фактически разворачивает достаточно нетрадиционную структуру. Вместо обычных канонических частей: постановка проблемы, основная аналитическая часть, итоговый вывод – ее решение, историк пытается встроить в диалог М.О. Гершензона и В.И. Иванова собственную позицию. А подведению итогов, “последнему слову”, окончательной точке мешают Розанов со Шпенглером, и необычно пугающее историка, чувство неразрешимости проблемы.

Итак, пространство текста становится принципиально неоднородным, нет ни малейшей возможности говорить о кристаллизации его суммарного смысла. О жизненно важных, насущных, животрепещущих проблемах все трое говорят на разных языках, реализуя себя в рамках совершенно различных типов дискурсов. Для В.И. Иванова это религиозное поэтикомифотворчество, использующее логику убеждения, заволаговывания, мистически таинственное вглядывание, проговаривание символов с надеждой показать что-то бесконечно непроговариваемое. Для М.О. Гершензона – экзистенциально осмысливаемый психологический опыт личного проживания кризиса культуры, честной усталости от нее. Именно М.О. Гершензон, развивая свою позицию наиболее выпукло, лично присутствует в тексте. Недаром для персонификации своих взглядов он вводит в пространства текста “эксгибициониста” Руссо, становящегося протагонистом его дискурса, так же как Данте у Иванова, а Гете у Гревса (связь эта достаточно символична). Гревс строит аргументацию в рамках своего “родного” историко-научного дискурса с органическими добавками либерализма и позитивизма. Но, пожалуй, никогда “расхожие штампы” не были до такой степени выпрямлены смысловым напряжением. “Задетый за живое”, Гревс старается под-

няться если не до философского (на уровне предельных оснований), то по крайней мере концептуально-систематического оформления своего видения культуры. Его не увлекает символическая геометрия “Переписки”, ее эзотеризм, и это приводит автора к упрощению. Заметим, что говоря о своеобразии поэтики одного из “углописателей” В.И. Иванова, современный исследователь С.С. Аверинцев отмечает “жизненную важность” для поэта мировой культуры, продуманность и гармонию системы символов<sup>23</sup>. Гревс же в рамках позитивистского дискурса стремится выявить “образ культуры, обнять сферу, обозначенную этим понятием”, “пытаясь подойти к явлению с разных сторон, посмотреть в перспективу, придвигаться вплотную, фиксировать различные грани и аспекты”, реализуя тем самым сложившийся историографический канон, разворачивая свое видение (собственно, этому и посвящен второй раздел рукописи). Заметим, что для Гершензона времени “Переписки” характерно отторжение сложившейся модели историко-научного анализа, что еще ранее проявилось в иронии к “истории литературы” и постепенном охлаждении к проблемам истории русской интеллигенции<sup>24</sup>.

Гревс фиксирует различия в понимании культуры, сложившиеся в интеллектуальной немецкой и русской традициях. «Когда мы читаем в немецкой литературе, научной или популярной, книги с подзаголовком “Kulturgeschichte”, – пишет историк, – то находим обычно в их содержании картину или исследование форм внешней жизни народов, обществ, государств, эпох. Это – изображение их пищи, одежды, жилища, орудий, утвари, вообще вещей обихода, хотя бы в широком смысле, с присоединением сюда и предметов украшения и роскоши, а также обстановки научной и художественной, даже религиозной (ближе всего культуровой). Но в общем у немцев “Kulturgeschichte” – чаще всего есть история техники, восстановление процесса борьбы и победы человеческой силы над стихиями и сокровищами природы; Kultur – это материальная культура»<sup>25</sup>. Социальная востребованность такого прочтения культуры объясняется, по Гревсу, “торжеством техницизма и экономизма в общем направлении жизни новейшей Германии”. В русской же терминологии, наоборот, при раскрытии понятия “культура”, полагает историк, выявились сильнее всего признаки, направляющие внимание вглубь, в область жизни внутренней. “Культурная история противопоставлялась истории социальной или экономической; под нее подводилось изучение и реконструкция... умственного развития, образованности, просвещений, но с постепенным включением в круг веяния искусства, нравов, религиозности. Так, для русского ума конца XIX и начала XX века культура – это, главным образом, духовная жизнь”<sup>26</sup>. При этом Гревс ссылается на работы С.Л. Франка и П.Б. Струве, оставляя без внимания иные толкования “культурной истории”, в частности, П.Н. Милюкова. Мы согласны с оценкой, данной С.С. Неретиной, “Очеркам по истории русской культуры” как катализатора культурологического среза истории<sup>27</sup>. Менее всего можно заподозрить Гревса в незнании безусловно этапной работы Милюкова, явившейся “катализатором культурологического среза истории”, и более широкой трактовки этой дефиниции (напомним, что под культурной историей Милюков понимал “и эконо-

мическую, и социальную, и государственную, и умственную, и нравственную, и религиозную, и эстетическую”<sup>28</sup> составляющие человеческой эволюции. Другое дело, как воспринималась эта дефиниция, да и собственно подход Миллюкова к культуре – большинство авторов квалифицировали его как “опыт истории русского самосознания”). Можно предположить, что предлагаемая Гревсом “история вопроса” с акцентом на духовной компоненте выстраивалась как антитеза “выдвинувшемуся господству материалистических инстинктов и девизов” в постреволюционные годы.

Но тем не менее, по Гревсу, оба выделенные им направления в толковании “культуры” сужают понятие. Для него культура – “это весь человеческий мир, все, что в нем видимо, слышимо, осязаемо, но также и все невесомое, не ощущаемое, а лишь улавливаемое ... чуждое и угадываемое интуицией и откровением внутреннего опыта. Вся культура исходит и рождается из единого источника – творческого сознания, составляющего врожденный дар человека и единственно ему свойственный, потому и культура есть факт исключительно человеческий”<sup>29</sup>. Гревсу импонирует толкование культуры (по Г. Риккерт – Weltall) как целого, особого мира внутри вселенной, как “сферы”, занятой деятельностью людей, людских множеств или, лучше, сферы, созданной работой всего человечества. Тем самым культура выделяется как самостоятельное начало – надорганический мир – в недрах мира природы, обладающее своими законами и формами бытия и познаваемое специфическими способами и приемами<sup>30</sup>. Культура равноправна с природой; “она проецируется во вселенную, связана с нею многими нитями, рвется слиться с нею в новозданное единство. Человеческая культура разливается на земле по миру природы, поднимается над землей в мировые пространства, влечется ими овладеть через мысль и волю людей, стать выше материи духом”<sup>31</sup>. Такое представление о культуре имело корни и в российской традиции начала XX в., хотя, заметим, вплеталось в различные философские координаты, в частности, и в оптимистическое мировидение ближайших друзей Гревса по Приютинскому братству (именно в этот период В.И. Вернадский интенсивно разрабатывает теорию ноосферы), и в метафизическое отторжение рационального, подтверждением чего является философская книга М. Гершензона “Тройственный образ совершенства”, на которую неоднократно ссылается наш автор (по Гершензону, мистический Гнозис противостоит логическому и научному способам познания мира). Формула самого же Гревса эклектична, хотя позитивистская компонента в ней безусловно определяющая – для него культурным узлом выступает мировоззрение – «слияние мира и человека в виде “космизации” человека миром и “спиритуализации” мира человеком». Сила мира движет человека к познанию и уразумению его смысла, и сила человека, уразумевающего смысл мира, вносят как бы душу и усовершенствование в самый мир.

Итак, источником культуры, по Гревсу, является “творческое самосознание”, а ее ядро формируется из результатов деятельности этого самосознания – “идей и идеалов”. «Они обретаются великими гениями человечества, подготавливаются и разыскиваются; быть может непред-

намеренно, трудом всего общества и им перенимаются. Они хранятся, эти истины, в недрах народных и передаются из рода в род. Потом они множатся и совершенствуются новыми просветителями, растекаются все шире и так ведут человечество преемственно к высшим формам существования. Самое достоинство человека, народа, человечество измеряется их “культурностью”, то есть конкретно, высотой и полнотой ее, а в тайне – сознанием ее, привязанностью к ней и почитанием, способностью стоять за целостность и рост. Главным показателем культуры и культурности является состояние человеческих сознаний, которое знаменует ее уровень и одаренность к ней общества в данный момент и эпоху истории. Стало быть по существу, культура есть просвещение в самом широком смысле этого слова»<sup>32</sup>.

Выделенные конструктивные элементы культуры формируют ее ядро – “миросозерцание”, “то есть, осознание человеком, людьми, обществом, народом – своего существования, внешнего бытия и его внутренних целей, оно дается познанием мира и жизни; оно же и само реализует мир и жизнь и на них реагирует, изменяет их процессами и продуктами своего творчества”<sup>33</sup>.

Итак, собственная концепция Гревса нарочито традиционна. Он определяет культуру через оппозицию к природе, говорит о ее надличностном характере и идейном ядре, степени “культурности” и прогрессе, фактически не занимаясь в данном пункте обоснованием этих положений, поставленных под сомнение эпохой. “Производство” культурных ценностей у Гревса оказывается элитарным. Поддержание и подготовка их напрямую связываются с “интеллигенцией”. В полном соответствии с традициями русского XIX в. Гревс отводит просвещению и интеллигенции решающую роль в формировании миросозерцания, в совершенствовании “надорганической (= человеческой) среды”. «”Интеллигенция” являет собой самую полную форму содержания и напряжения “культурности”. Поэтому в ней и должны сливаться в согласном единстве два элемента “миросозерцания”, теоретический и практический». Гревс называет их образованностью (правдой-истиной) и нравственностью (правдой-справедливостью)<sup>34</sup>.

Но достаточно неожиданно “традиционность”, которую можно было до сих пор принимать как принципиальность (“я песни прежние пою”), дополняется новым элементом. Гревс осознает слабость позитивистского дискурса и дополняет его обращением к вертикали – она как бы “проецирует” человечество в вечность как ступень в эволюции духа в процессе возвращения к Абсолюту, соединения с ним в высшей гармонии. Приведенное рассуждение об интеллигенции дословно повторяет одну из ранних университетских лекций Гревса<sup>35</sup>, принципиально новым здесь является обращение к религии, понимание веры как ядра культуры и ее гаранта.

Описательное определение с выделением факторов социологического и смыслового ядра культуры, попытка фиксировать ее направленность и оправдать ценности – вот все, что может дать (и дает в данном тексте) в ее защиту классическая традиция. Но этого оказывается мало. Все три автора, воспринимая диагностику кризиса культуры как ме-

ханизм самозащиты, вынуждены обратиться за оправданием, обоснованием культуры к чему-то иному, внешнему. Кризис сделал наглядной ее несамодостаточность. Для В.И. Иванова именно культура дает возможность “выхода в вертикаль”, который без нее невозможен, который ее, по большому счету, и оправдывает. Для М.О. Гершензона культура должна позволять совершать “работу духа” индивида, не заваливая своими “каменными глыбами” уникальную личность. Для И.М. Гревса опора культуры тоже “вертикаль”, от нее производны все ценности культуры, но точка соприкосновения “вертикали” и “горизонталей” – это тайна. Здесь Гревс строго последователен в рамках избранного курса (“О чем нельзя говорить, о том следует молчать”<sup>36</sup>). В пятой части работы, говоря о “грехопадении культуры” (т.е. перейдя на принципиально иной, “чужой” язык), Гревс пытается обозначить взаимоотношения культуры и религии. Вслед за В.И. Ивановым он повторяет: «Борьба против “грехопадения культуры” идет через откровения Бога. Из мрака мы выйдем к свету лишь тогда, когда найдем Бога. В “богоискании” – залог активности и полноты человеческого творчества»<sup>37</sup>. И.М. Гревс фактически связывает возможность преодоления кризиса с “неоправославием”, к представителям которого относит С.Н. и Е.Н. Трубецких, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева и др. “Спасение культуры только в омовении ее новой струей божественного света”<sup>38</sup>. Возрождение культуры, связанное с реализацией христианских идеалов, соотносится с будущим. В связи с этим Гревс должен, однако, внести определенные изменения в свою модель прогресса культуры. И он это делает – не та ситуация, чтобы держаться за модель. Гревс говорит о кризисе современной культуры как результате европейского развития: «Современная культура будто дошла до безысходного тупика самопротиворечия, стала непроходимой стеною. Да, потому то она отравлена безидеализмом и безбожием. (...) Начало упадка еще в XVIII в., в односторонних и горделивых притязаниях рационализма, приведших к поклонению разуму... Здесь коренится источник иллюзий о непогрешимости и всемогущей силе науки (одной науки), которая будто бы все разрешит до конца и за пределами ведения которой ничего не существует, которая объемлет и покоряет все бытие. Отсюда пошло и самомнение “позитивизмов” всякого рода...»<sup>39</sup>

Момент по большому счету достаточно напряженный. Гревсу – университетскому профессору, всю свою жизнь посвятившему науке, приходится говорить о той негативной роли, которую она сыграла в судьбе европейской культурной традиции. Слово “позитивизм” используется с совершенно очевидным негативным оттенком. Приходится, таким образом, признать и свою собственную вину. И Гревс, как мы видим, делает поправку: наука должна понять и признать свою ограниченность, отказаться от претензий на универсальность, от уверенности в возможность выработки исчерпывающих ответов на предельные вопросы, а именно в этом и был основной грех. Гревс и в момент написания статьи, и позднее был и остается ученым, но с памятью о своей родовой вине.

В своем тексте Гревс рассуждает о религии как историк, акцентируя внимание на ней как на составной части культуры, важнейшей, но все же

части, подчеркивая неразрывность культуры и религии – “...надобно отождествлять культуру со всем творчеством человечества, каков бы ни был его источник; научное познание есть необходимый высокий ее элемент; творчество же религиозное ее фундамент и вершина, корень и венец...”<sup>40</sup>

Важно уже то, что Гревс обращается за помощью к религии, больше называя, чем описывая эту помощь. Классический научный дискурс, стремясь быть научным, стесняется говорить о вере. Однако обращение к ней оказывается для его представителей единственным способом защитить культуру. Показательно, что и до этого религия присутствует у Гревса лишь на уровне тем научных исследований, на уровне “объекта” в рамках классической научной эпистемологии. Недаром в тот период он критиковал своего ученика Л.П. Карсавина за нарушение чистоты научного дискурса (не столько творчества, сколько жизни). “Вы теперь мистик”<sup>41</sup>, – неодобрительно отмечал он в личном письме, считая, что опора на “вертикаль” возможна лишь в экстремальных кризисных ситуациях. Если же говорить о мировоззренческой позиции Гревса в последующем “советском” периоде его жизни, то важным для нашей темы являются слова исследователя творчества историка Б.С. Кагановича: «Путь, пройденный Гревсом, можно определить “от идеализма к православию”. Христианство не означало для Гревса отказа от либерализма, западничества, веры в прогресс и науку. (...) Свое общее историческое и философское мировоззрение Гревс в последний раз сформулировал в неопубликованной статье 1940 года, в которой он подтвердил свое неприятие социализма и материализма, исповедовал идеализм и веру в Бога»<sup>42</sup>.

Однако следует признать, что даже тревожная “симфония защиты”, которую нам дает текст “Мыслей о культуре”, не позволяет считать проблему разрешенной, что очевидно и для самого автора – пространство текста остается принципиально открытым и провоцирует новых защитников культуры. Предмет текста, ускользнув от четкой фиксации, присутствует в нем, проявляясь в монтажных швах, пытающихся дать описание ее дискурсов.

Зачем же, отдавая себе отчет в тщетности подобной попытки, И.М. Гревс взялся за перо?

В 1922 г. в предисловии к известной книге Н.П. Анциферова Гревс напишет: “В эпоху кризисов великих культур особенно остро пробуждается сознание содержащихся в них духовных ценностей, особенно ярко поднимается чувство любви к ним и вместе с тем желание и жажда их хранить и защищать”<sup>43</sup>.

Итак, культура, состоящая из различных несинтезируемых сфер, существует в силу недетерминированных усилий, направленных на то, чтобы “длить” ее, усилий по ее защите. Именно таким актом культуры видится нам текст И.М. Гревса.

<sup>1</sup> Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1991. С. 177.

<sup>2</sup> Каганович Б.С. И.М. Гревс – историк средневековой городской культуры // Городская культура. Средневековье и начало нового времени. Л., 1986. С. 217; См.: Вялова С.О. К творческой биографии И.М. Гревса // Из истории рукописных и старопечатных собраний: Исследования. Обзоры. Публикации. Л., 1979. С. 125–141.

- <sup>3</sup> Петербургский филиал архива РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 270. (Далее: ПФА РАН). Недавно авторами этой статьи была подготовлена публикация рукописи полного текста Гревса в сб. "Мир русского историка: идеалы, традиции, творчество". Омск, 1999. С. 279–318.
- <sup>4</sup> *Каганович Б.С.* Указ. соч. С. 216; *Гутнова Е.В.* Историография истории средних веков. М., 1976. С. 312.
- <sup>5</sup> См.: Научное слово. 1903. № 4. С. 50–81; № 5. С. 54–85; 1905; № 1. С. 61–89; № 7. С. 81–122.
- <sup>6</sup> *Гревс И.М.* Когда был написан трактат Данте "О монархии" // Н.И. Карееву ученики и товарищи по научной работе. СПб., 1914. С. 354–385. *Он же.* Первые главы трактата Данте "De monarchia". Опыт синтетического толкования // Из далекого и близкого прошлого: Сборник этюдов из всеобщей истории в честь Н.И. Кареева. М., 1923. С. 120–134; *Он же.* Топография загробных миров у Данте // Данте. Божественная комедия. Ад. М., 1939.
- <sup>7</sup> *Гревс И.М.* Кровавая свадьба Буондельмонте: Жизнь итальянского города в XII веке. Л., 1925.
- <sup>8</sup> Цит. по: *Каганович Б.С.* Указ. соч. С. 218.
- <sup>9</sup> См.: К 25-летию учено-педагогической деятельности И.М. Гревса: Сборник статей его учеников. СПб. 1911; Средневековый быт. Л., 1925.
- <sup>10</sup> См.: *Гревс И.М.* Монументальный город в исторической экскурсии // Экскурсионное дело. 1921. № 1. с 1–14; *Он же.* Город как предмет краеведения // Краеведение. 1924. № 3. С. 245–258. *Он же.* Город как предмет школьного краеведения // Вопросы краеведения в школе. Л., 1926; *Он же.* Развитие культуры в краеведческом исследовании. Рукопись. СПб., ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 178; См.: *Враская О.Б.* Архивные материалы И.М. Гревса и Н.П. Анциферова по изучению города // Археографически ежегодник за 1981 год. М., 1982. С. 303–315.
- <sup>11</sup> *Муратов П.П.* Образы Италии. М., 1993. Т. 1. С. 1.
- <sup>12</sup> Наиболее стилистически выстроенный пример подобных воспоминаний см.: *Анциферов Н.П.* Указ. соч. С. 165–178.
- <sup>13</sup> *Коган П.С.* Рец. на: Иванов В.И., Гершензон М.О. Переписка из двух углов. Пг., 1921 // Печать и революция. М.; Пг., 1921. Кн. 3. С. 223–225; *Кузьмин М.* Мечтатели // Жизнь искусства. Пг., 1926. № 764. С. 5–6; *Мещеряков Н.* О новых настроениях русской интеллигенции // Печать и революция. М.; Пг., 1921. Кн. 3. С. 33–43; *Воронский А.* На стыке. М., 1923. С. 171–195.; *Флоровский Г.* В мире исканий и блужданий. Знаменательный спор ("Переписка из двух углов" Гершензона и Иванова) // Русская мысль, 1922. Кн. IV. С. 129–140; *Шлецер Б.* Русский спор о культуре (Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон "Переписка из двух углов") // Современные записки. М., 1922. Т. XI. С. 195–211; *Ландау Г.* Византиец и Иудей // Русская мысль. 1923. Кн. I–II. С. 182–219; В. З(еньковский) М.О. Гершензон, В.И. Иванов. В.И. Иванов. Переписка из двух углов. Москва–Берлин, 1922 // Православие и культура. Сборник религиозно-философских статей. Берлин, 1923. С. 223–233.
- <sup>14</sup> *Проскурина В.* Течение Гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь и миф. СПб., 1998. С. 338.
- <sup>15</sup> *Скржинская Е.Ч.* И.М. Гревс: Биографический очерк // *Гревс И.М.* Тацит. М.: Л., 1946. С. 233.
- <sup>16</sup> *Анциферов Н.П.* Указ. соч. С. 167.
- <sup>17</sup> ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 270. Л. 1.
- <sup>18</sup> Там же. Л. 1–2.
- <sup>19</sup> *Гершензон М.О.* Письма к Льву Шестову (1920–1925) // Минувшее. Исторический альманах. М., 1992. № 6. С. 262–263.
- <sup>20</sup> *Проскурина В.* Указ. соч. С. 348.
- <sup>21</sup> V. Ivanov et M.O. Gerschenson. Correspondance d'un coin à l'autre. Precendée d'une introduction de Ç. Marcel et suivie d'une lettre de V. Ivanov á Gerschenson. P., 1931. P. 11–12.
- <sup>22</sup> ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 270. Л. 2.
- <sup>23</sup> *Аверинцев С.С.* Системность символов в поэзии Вяч. Иванова // *Аверинцев С.С.* Поэты. М., 1996. С. 178.
- <sup>24</sup> *Проскурина В.* Указ. соч. С. 30.
- <sup>25</sup> ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 270. Л. 6.
- <sup>26</sup> Там же. Л. 6

- 27 *Неретина С.С.* Одиссея философии культуры // Культурологический семинар. Вып. 1. Кемерово. АМФ. 1993. С. 159.
- 28 *Милюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры СПб., 1898. Ч. 1. С. 3–7.
- 29 ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 270. Л. 7.
- 30 Там же. Л. 8.
- 31 Там же. Л. 28.
- 32 Там же. Л. 7.
- 33 Там же. Л. 8.
- 34 Там же. Л. 9.
- 35 ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 283.
- 36 ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 270. Л. 10.
- 37 Там же. Л. 24.
- 38 Там же. Л. 22.
- 39 Там же. Л. 21.
- 40 Там же. Л. 21.
- 41 ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 2. Д. 135. Л. 175.
- 42 *Каганович Б.С.* Русские историки западноевропейского средневековья и нового времени (конец XIX–первая половина XX века): Автореферат дис. ... д.и.н. СПб., 1995. С. 9–11.
- 43 *Гревс И.М.* Предисловие к книге Н.П. Анциферова “*Душа Петербурга*” // Анциферов Н.П. *Непостижимый город*. Л., 1991. С. 25.

## **А.Н. Сахаров**

### **“СЕ ТЕБЕ ТАЛАНТ ВЛАДЫКА ВВЕРЯЕТ” (АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ КАРТАШЕВ)**

Случилось так, что основной труд Антона Владимировича Карташева – профессора Петербургской Духовной Академии, профессора Бес-тужевских курсов, последнего российского обер-прокурора Священно-го Синода, первого и последнего министра по делам исповеданий Вре-менного правительства, затем изгнанника, эмигранта и снова профессо-ра уже Парижской Свято-Сергиевой Духовной Академии – “Очерки по истории русской церкви” в двух томах был издан в 1959 г., лишь за год до смерти автора. В то время почтенному общественному деятелю и ма-ститому ученому шел уже восемьдесят пятый год. За плечами была трудная жизнь, полная политических борений, глубоких личных и об-щественных драм, научных озарений, радостной жизнеутверждающей религиозной публицистики, блестящей череды лекционных курсов по истории христианства, православия, русской церкви.

Уже угасая, он продолжал работу над третьим, заключительным то-мом своего фундаментального сочинения: история позднесинодально-го периода русской церкви была уже в набросках. Знавший его в послед-ние годы Н. Веритинов вспоминал, что незадолго до смерти ученый и педагог говорил: “Если Господь Бог даст пожить еще пяток лет, эта вещь будет закончена”<sup>1</sup>. Его судьбе был уготован иной исход, и хму-рым сентябрьским днем 1960 г., епископ Кассиан, ректор Академии, совершил заупокойную литургию и чин отпевания над его телом, хор студентов Академии, в котором нередко пел и сам Антон Владимиро-



вич, исполнил погребальные хоралы, в том числе особенно любимые им песнопения Страстной Седмицы. Затем немногочисленная русская колония в Париже проводила А.В. Карташева в последний путь из небольшой Успенской церкви на русском кладбище в Сан-Женевьев де Буа к могиле. За гробом шли его сверстники и соратники, с кем он создавал на Сергиевом Подворье в Париже православную богословскую Академию – этот ярчайший феномен русской национальной культуры за рубежом, его коллеги, русские и иностранные друзья, представители русского и греческого духовенства, его ученики. Среди них немало было будущих светил богословской и исторической науки, которые не раз еще вспомнят своего учителя и друга в лекциях и собственных сочинениях...<sup>2</sup>

С тех пор прошли годы. Имя А.В. Карташева, хорошо известное в течение нескольких десятилетий в научных, и в первую очередь русских эмигрантских кругах зарубежных стран от Харбина до Парижа и Нью-Йорка, прочно было забыто на Родине. И не только забыто, но и предано проклятию. Его работы были замурованы за железными дверями специальных хранений, его имя было вычеркнуто вместе с именами многих других выдающихся деятелей русской науки и культуры, выступавших против советского строя или неугодных ему. Лишь в 1991 г., уже в иных общественных условиях, издательство “Наука” стараниями автора этих строк выпустило в свет впервые в России двухтомные “Очерки по истории Русской Церкви”, которые тут же стали библиографической редкостью. По существу, и сегодня сочинения А.В. Карташева мало известны даже весьма исторически подготовленному читателю, не говоря уже о молодом поколении, хотя, думается, наследие ученого достойно лучшей участи.

Сегодня готовятся к изданию образцы творчества А.В. Карташева – его не печатавшаяся на Родине статья “Временное правительство и русская церковь”, опубликованная в 1936 г. в Париже статья “Русское христианство”, выдержки из “Очерков”, блистательные портреты некоторых иерархов русской церкви XVI–XVII вв. – митрополитов Макария, Филиппа, патриархов Гермогена и Филарета.

\* \* \*

Будущий профессор, министр, стойкий противник большевизма родился в 1875 г. на Урале, в старинном горнозаводском городке Каштыме Екатеринбургского уезда Пермской губ. в семье горнозаводских рабочих. Его прадед, дед и отец (до шестнадцати лет) были крепостными. Оставаясь в крепостном состоянии, они пробивались по жизни своим трудом, талантами; работали, служили. Идеей фикс семьи было “выйти в люди”, дать детям образование. Однако для крепостного человека добиться этого было невероятно трудно, хотя и прадед, и дед Карташева уже заняли в горнозаводской иерархии заметное место. Первый закончил жизнь управляющим заводом, а второй – помощником казначая. Отец Карташева был первым, кто получил некое систематическое образование, – это была двухклассная

местная школа, которая и позволила ему вырваться из горнозаводского круга и пойти по писарской линии. Со временем он стал земским гласным и членом земской управы. Карташевы со временем переехали в Екатеринбург.

В этих условиях естественно, что семья будущего историка все свои достижения, чаяния, надежды связывала с Великими реформами, с именем царя-освободителя, Александра II. Либерализм, антикрепостнические, позднее антиабсолютистские воззрения стали надолго, едва ли не навсегда путеводной звездой для будущего ученого и политического деятеля. Очень рано эти общественные идеалы стали “окрапливаться” религиозным смыслом. Мы никогда не достигнем этого таинства приобщения к религии – не карьерного, не показного, а глубинного, искреннего, которое овладело душой А.В. Карташева уже в юные годы и не оставляло до конца дней, пройдя с ним сквозь мятежные годы революций, гражданской войны, эмиграции.

Уже в восемь с половиной лет он был посвящен в стихарь екатеринбургским епископом Нафанаилом. Возможно, он и оказал на мальчика решающее воспитательное воздействие. Во всяком случае биографы Карташева отмечают необыкновенную и искреннюю любовь к детям этого преклонных лет вдовца<sup>3</sup>.

Поступление в Духовное училище стало логическим результатом ранней приобщенности мальчика к церкви. Затем последовало поступление в Пермскую Духовную семинарию, а по ее окончании в 1894 г. – посылка на казенный счет в Петербургскую Духовную Академию.

В 1899 г. А.В. Карташев окончил Академию и лишь после этого Каштымское волостное правление вычеркнуло его из списков податного крестьянского сословия. Итак, на рубеже нового века будущий историк и политик стряхнул с себя прах бывшего полукрепостного состояния. Но и долгие годы после этого в разных своих трудах он будет вспоминать о том неблагоприятном времени в истории своего Отечества, когда человеческая несвобода была его доминантой. Эти воспоминания и личный человеческий опыт, кроме общественного и религиозного воспитания, и стали основой того прочного либерализма и искреннего свободолюбия, которые пронизывали всю жизнь и творчество А.В. Карташева.

Это проявилось уже в полной мере во время революции 1905 г. К этому времени, Карташев, будучи доцентом Академии уже стоял во главе кафедры. Его статьи стали появляться в журнале Академии “Христианское чтение”. Первой из них стал “Краткий историко-критический очерк систематической обработки русской церковной истории”. Видимо, уже тогда молодой богослов и историк церкви понял, что создание обобщающей работы по истории русской церкви требует огромных усилий, аналитического овладения всей предшествующей историко-церковной и общегражданской историографией, критического пересмотра уже введенного в оборот источникового материала, разработки новых исследовательских направлений, которые стояли бы на уровне великолепного русского исследовательского периода конца XIX – начала XX в.

Еще в дореволюционное время появляется серия научных статей А.В. Карташева, посвященных различным аспектам истории русской церкви: “Был ли апостол Андрей на Руси?”, “Христианство на Руси в период догосударственный”, “Был ли православным Феофан Прокопович?” и другие. Так закладывались на будущее основы “Очерков по истории Русской Церкви”<sup>4</sup>.

Революционные события увлекли молодого доцента, а поскольку его общественная и публицистическая деятельность были несовместимы со статусом сотрудника Духовной Академии, он оставил ее и перешел на светскую работу в Императорскую публичную библиотеку, продолжая активно выступать на общественном поприще и в публицистике. В ту пору его статьи по религиозным и церковным вопросам уже за собственным именем, а не под псевдонимом, как прежде, стали появляться в столичных газетах и журналах. В это же время А.В. Карташев занял кафедру истории религий и церкви на Высших женских (Бестужевских) курсах, которой и руководил до 1919 г., т.е. до дня ухода за границу. Биографы отмечают, что особую популярность А.В. Карташев снискал в качестве председателя Религиозно-философского общества. Его вдохновенные выступления в диспутах, с докладами имели большой резонанс в тогдашнем Петербурге. В Москве председателем этого общества в те же годы был С.Н. Булгаков, бывший марксист, проклявший революцию, и будущий отец Сергий. В отличие от Булгакова Карташев верил в справедливое переустройство общества, мечтал о симфонии государства и церкви, защищал в своих статьях концепцию теократического общества и выступал против схемы отделения церкви от государства, как это понимали П.Н. Милюков и М.Н. Туган-Барановский. В одном из своих выступлений он говорил: “Полное живое Православие в той же мере неистребимо теократично, в какой оно истинно церковно. Ибо теократия и Церковь – понятия неразлучные”<sup>5</sup>. Поиски этого теократического царства на земле привели А.В. Карташева к близким связям с религиозной интеллигенцией той поры, в частности, с Д.С. Мережковским, о чем рассказывала З. Гиппиус в своих мемуарах<sup>6</sup>. Однако жизнь властно толкала его в сторону решения неумозрительно утопических проблем, а практической либеральной деятельности, свойственной ему по духу, воспитанию, жизненному темпераменту.

В 1917 г. А.В. Карташев пламенно приветствовал Февральскую революцию. Казалось, отныне навеки рухнули те общественные структуры, которые определяли отсталость, косность, бедность России, ее общемировое цивилизационное отставание, в том числе в вопросах взаимоотношения церкви и государства, когда Духовным регламентом Петра I церковь была поставлена в прямую зависимость от государственной власти.

В момент формирования Временного правительства пост обер-прокурора Синода был отдан члену партии “октябристов”, богатому помещику В.Н. Львову. Как писал позднее А.В. Карташев: “В.Н. Львов не имел достаточно политического воображения и *политического радикализма* (курс. наш. – А.С.), чтобы расстаться с вождленным титулом

обер-прокурора и его подавляющей властью над архиереями. А расстаться с этим титулом и с той властью было нужно”<sup>7</sup>. Именно такой политический радикализм был, как мы увидим ниже, присущ либеральному богослову и религиозному публицисту А.В. Карташеву. По настоятельному совету многих депутатов Думы, В.Н. Львов пригласил в товарищи обер-прокурора беспартийного Карташева, а когда после июльского кризиса правое крыло Временного правительства, куда входил и В.Н. Львов, вынуждено было оставить кормило власти, А.В. Карташев уже в левом правительстве А.Ф. Керенского получил пост обер-прокурора Синода. Причем всего на две недели. Он оказался последним российским обер-прокурором и первым и последним министром (уже в светском качестве) по делам исповеданий. В эти дни А.В. Карташев вступил в партию кадетов.

Во многом эти метамарфозы с церковным управлением были связаны с энергичной и целенаправленной деятельностью самого А.В. Карташева. Об этом он довольно подробно рассказывает в до сего времени не печатавшейся на родине его статье “Временное правительство и русская церковь”, которая открывает, возможно, впервые в послереволюционной российской печати объективное понимание политики Временного правительства в отношении церкви и в известной мере либеральные и терпимые подходы этого правительства к внутренней политике.

Основной принцип А.В. Карташева в этой политике состоял в том, что “под эгидой Временного правительства и с его помощью русская православная церковь вернула себе присущее ей по природе право самоуправления по ее каноническим нормам”<sup>8</sup>. А.В. Карташев полагал, что бюрократический строй петровского Духовного регламента открывал иерархию от народа и народ от дел церкви. Поразительно признание Карташева по поводу бесправности народа в церковной организации, что являлось частью его общей исторической бесправности при самодержавном строе<sup>9</sup>. Такое положение было нестерпимо для “религиозно добросовестных лиц”. “Этих страданий, – подчеркивал автор, – не поймут люди внецерковные”<sup>10</sup>.

Последняя реплика объясняет определенный налет идеализации в отношениях русской православной церкви и народа, религиозности самого этого народа, громившего после революции церкви и монастыри. Автор апеллировал в своих оценках именно к религиозным, церковным людям, перенося эту апелляцию на российский народ.

Все же в части историко-политических оценок действий Временного правительства в отношении русской православной церкви трудно не согласиться с автором. Здесь его характеристики беспристрастны и точны. Он подчеркивает, что программа Временного правительства в отношении церкви базировалась на нескольких определенных демократических цивилизационных постулатах: свобода религиозной совести для всех исповеданий, свобода соборного самоуправления для православной церкви, отмена государственной опеки обер-прокурора над церковью, упразднение некоторых привилегий православия в смысле его полицейской защиты от сторонней пропаганды. Новое революционное прави-

тельство, свергнувшее самодержавие, при котором церковь была подчинена государству, должно было мыслить себя как правительство светское, “принципиально невероисповедное”. Этот подход, как подчеркивал А.В. Карташев, следовало читать в контексте политики демократических свобод, декларации государственной независимости Польши, автокефалии грузинской церкви и т.д. Думается, такая оценка общей линии Временного правительства послеиюльского созыва, дополненная, конечно, иными ее аспектами, имеет право на жизнь.

А.В. Карташев сначала как обер-прокурор, а затем министр по делам исповеданий имел самое прямое отношение к созданию чисто церковного правительства, могущего управлять делами русской православной церкви. Его письменный меморандум на этот счет еще при прежнем составе Временного правительства, а затем личное участие в выработке принципиальных документов, регламентирующих новое положение церкви в демократическом государстве, подготовило не только преобразование обер-прокуратуры в светское министерство, но и дальнейший созыв 16 августа 1917 г. I Всероссийского Церковного Собора. В качестве министра А.В. Карташев, собственно, и открывал его в Храме Христа Спасителя, закончившийся принятием программных документов русской православной церкви, самоорганизации церкви и выборами патриарха. Он зачитал написанное им обращение к Собору, которое открывалось такими словами: “Временное Правительство поручило мне заявить Освященному Собору, что оно гордо сознанием – видеть открытие сего церковного торжества под его сенью и защитой. То, чего не могла дать русской национальной церкви власть старого порядка, с легкостью и радостью предоставляет новое правительство, обязанное насадить и укрепить в России истинную свободу”<sup>11</sup>.

Однако дни Временного правительства были сочтены. В ночь с 25 на 26 октября 1917 г., после захвата Зимнего дворца большевистски настроенными красногвардейцами и матросами, члены Временного правительства, в том числе и А.В. Карташев, были арестованы и препровождены в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Оттуда А.В. Карташев попал в знаменитые “Кресты” и лишь 26 января был выпущен из тюрьмы “в поднадзорное состояние”.

В это время Освященный Собор – детище Карташева продолжал работать, но законопроект об отношениях церкви и государства, разработанный под руководством бывшего министра видными российскими юристами, уже потерял свою актуальность. Наступала мрачная, трагическая пора в отношениях церкви и новой власти в России.

Из “Крестов” А.В. Карташева повезли не домой, – там ему запрещалось жить, – а на Васильевский остров к профессору В.Н. Бенешевичу; отсюда после четырехдневного пребывания на профессорской квартире его препроводили к Л.П. Карсавину, видному ученому и педагогу. От Карсавина путь лежал к профессору П.Н. Жуковичу, а от него к секретарю Религиозно-философского общества С.П. Каблукову. Это была какая-то сюрреалистическая жизнь, начатая по инициативе властей, а затем продолженная уже самим А.В. Карташевым, перешедшим на нелегальное положение. Свое место в этом совершенно абсурдном суще-

ствовании заняло абсолютно легальное участие А.В. Карташева в продолжающемся в Москве Соборе. Там летом 1918 г. он был избран членом Высшего церковного совета при патриархии.

Одновременно бурный темперамент Карташева, его глубочайшая убежденность в необходимости защиты недавно обретенной Россией демократии привели его к антибольшевистской деятельности. Он включился в работу подпольной политической организации, так называемого “левого центра”, принимал участие в разработке программ и законопроектов “для декларативного и делового, – как вспоминал А.В. Карташев, – употребления в Южной России, находившейся под управлением генерала Деникина, а также на случай появления национального Правительства и в самой Москве”<sup>12</sup>. В эти дни А.В. Карташев посетил вновь избранного патриарха Тихона. Описывая позднее эту встречу, А.В. Карташев с горечью передает слова умудренного жизненным опытом патриарха в ответ на его пылкие политические надежды и прогнозы: «Хорошо! Уж очень все хорошо! Да только когда все это будет? Конечно, не теперь!». Как сын народа, патриарх Тихон тогда уже инстинктивно чувствовал силу и длительность народного увлечения большевизмом, не верил в возможность скорой победы белого движения и не был согласен с ними в политических расчетах»<sup>13</sup>. Это было написано уже в эмиграции, когда не было в живых патриарха Тихона, когда всякая живая связь с Отечеством была потеряна и автора нельзя было заподозрить в политическом обелении погибшего главы русской православной церкви. Но поразительно, что сомнения, высказанные позднее Тихоном, стали переплавляться в собственные убеждения А.В. Карташева, который, отнюдь, не отказываясь от своих либеральных, свободолобивых взглядов, реально оценивал ситуацию в Советской России и верно воспринимал отношение низов российского народа к новой власти. Уже позднее А.В. Карташев все чаще пишет о закономерности победы большевизма, вовсе ему не сочувствуя, и более того, все более и более ненавидя его и страдая от того, что его чувства и чувства значительной части народа на Родине не совпадают. По свидетельству П.Н. Милюкова, А.В. Карташев все чаще говорил, что “психика масс выше механической силы оружия”, что хотя воля народа “преступная, грешная”, но это “реальная и решающая политическая сила”, почему белое движение и не смогло отвоевать Россию у большевиков, и до тех пор пока не изменится эта воля народа, демократия не сможет вновь завоевать Отечество. Поэтому он призывал отбросить идеи “реставраторства” силой. “Просто кулак – это ничего, – говорил он. – Без творческой силы нечего браться за борьбу с большевизмом”. “Славный ход белого движения бесславно замрет в песках эмиграции; бесплодно погибнут доблести ген. Кутепова, таланты ген. Врангеля, бескорыстные благородство и мудрость в. кн. Николая Николаевича, если короста реставраторства не будет отброшена ими... Россия может быть только демократией по существу... А для этого необходимо с этой выдвораивающей, борющейся и сознающей свою силу волей дружески встретиться... Мы за освобождение воли народа и за свободное устройство России по воле народной”<sup>14</sup>.

Вместе с тем А.В. Карташев призывал к непримиримой борьбе с большевизмом, полагал, что “большевизм не просто политическая партия, течение, это – тонкое духовное явление. Это растление совести”, и рано или поздно выздоравливающий народ следует всячески лечить демократией от этого растления духа<sup>15</sup>.

Но все это понимание сложности, противоречивости, закономерности исторических процессов, протекавших на Родине, проникновение в ментальное и психическое состояние народа, задавленного в течение веков мерзостями прошлого режима, придет позднее. А пока же, летом и осенью 1918 г., все помыслы А.В. Карташева были направлены на подпольную борьбу с новым режимом. Он менял нелегальные квартиры, встречался с единомышленниками, постоянно балансировал на грани ареста и, конечно, расстрела.

Наконец, стало ясно, что “воля народа” была несовместима с этой деятельностью. Одно за другим подвергались разгрому антибольшевистские сопротивленческие гнезда. Борцы за свободу и демократию Отечества, как они понимали ее, уходили в эмиграцию.

В ночь на новый 1919 год ушел через границу в Финляндию и А.В. Карташев. Там еще по инерции он продолжал свою организационную антисоветскую деятельность, вошел в “Русский комитет”, состоявший при командовании генерала Юденича. После разгрома Юденича, а затем и белого движения на юге России А.В. Карташев перебирается в Париж, ставший на долгие годы центром русской эмиграции в Европе. Там он входит в состав “Русского национального комитета”. Из Парижа он предпринимал поездки в Константинополь к Врангелю и к остаткам белой армии, дислоцированной в Галлиполи. В 20-е годы А.В. Карташев активно сотрудничал в антибольшевистском еженедельнике “Борьба за Россию”, издававшемся С.П. Мельгуновым. Он участвовал в различных совещаниях, проводимых вождями антибольшевизма в Париже и Белграде, содействовал координации усилий русской эмиграции различных направлений в борьбе за отвоевание Родины. Но уже в это время в его беседах и статьях появляются мотивы, о которых мы говорили выше: нужно полагаться на волю народа, ждать его выздоровления, помогать ему в преодолении духовного растления. Одной из спасительных и целительных лекарств здесь могла быть религия, церковь. С середины 20-х годов исследовательский голос А.В. Карташева все громче слышен в общей военной, политической, литературной, научной эмигрантской сумятице. В эмигрантских русских изданиях Берлина, Праги, Парижа – в журналах “Современные записки”, “Путь”, “Вестник русского студенческого (христианского) движения” и др., в газете “Возрождение” появляются его статьи как по общеисторическим, так и историко-церковным, богословским вопросам. В 20–50-е годы А.В. Карташев продолжает разрабатывать тему истории церкви в Древней Руси, выходят его статьи “Заветы святого князя Владимира”, “Влияние церкви на русскую культуру”; большое внимание уделяет он изучению взаимоотношений церкви и государства, общества на протяжении всей русской истории (“Государство и русская церковь”, “Церковь и государство”, “Смысл старообрядчества”, “Церковь и нацио-

нальность”); продолжает изучать богословские проблемы, пропущенные сквозь призму общественных событий и потрясений (“Личность и общественное спасение во Христе”, “О соединении всех”, “По какому закону мы живем”, “Еще об идеологии”, “Путеводитель по русской богословской науке”). В том же ряду стоит и его статья “Русское христианство”, удивительно емко сочетающая в себе историко-церковные и нравственно-религиозные аспекты.

Этот наметившийся общественно-духовный поворот в жизни А.В. Карташева совпал, казалось, с незаметным событием в жизни русской эмигрантской колонии в Париже: в 1924 г. митрополит Евлогий, которому патриарх Тихон поручил руководить русскими православными заграничными приходами, купил на аукционе на улице Крине небольшое подворье: дом с церковью, учебными помещениями, библиотекой, спальней, столовой для организации богословской школы. Прежде, до Первой мировой войны, здесь размещалась немецкая колония в Париже. Скрытое от проезжей части, выходявшее во двор, полностью изолированное подворье было непривлекательно для коммерсантов, но стало, как писал позднее А.В. Карташев, “подлинным кладом для русской эмигрантской церкви”<sup>16</sup>. Это скромное помещение вскоре превратилось в мощный центр русской православной творческой мысли, духовной культуры и образования. Основатель института митрополит Евлогий мечтал о том времени, когда и профессора, и студенты института вернутся на Родину и обретутся в закрытой большевиками Троице-Сергиевой лавре для восстановления нарушенной революцией преемственности богословской науки и образования в стенах Академии, где еще не так давно преподавали Е.Е. Голубинский и В.О. Ключевский.

Церковь подворья была посвящена преподобному Сергию Радонежскому и расписана в древнерусском стиле и весь комплекс в связи с этим стал называться Сергиевское подворье. Имя преподобного Сергия получила и Духовная Академия, так и не вернувшаяся в свое Отечество.

В доме и учебных классах усилиями сначала митрополита Евлогия, затем появившегося здесь и возглавившего всю организацию С.Н. Булгакова (о. Сергия), А.В. Карташева и других церковных и светских эмигрантских подвижников была создана не только Академия, но и подлинный коллектив высокообразованных преподавателей, самоотверженных и упорных студентов, истинное духовное братство.

С большим воодушевлением рассказывает в своих позднейших воспоминаниях А.В. Карташев о возникновении Академии. Первоначальный скромный замысел создать пастырскую школу для всех желающих послужить делу церкви постепенно перерос в фундаментальное академическое богословское “сооружение”, в строительстве которого участвовали лучшие историко-богословские и университетские силы эмигрантской России, оказавшиеся в Европе. К преподаванию в Академии позднее приобрелись и профессура, осевшая в Чехословакии и Болгарии. После 1922 г., когда советское правительство высладо за рубеж выдающихся русских ученых, инженеров, преподавателей, в Европе оказались многие видные деятели русской науки и культуры. Часть их после 1924 г. приняла участие в создании Свято-Серги-



евской Духовной Академии. Там преподавали епископ Кассиан (Безобразов), прот. С.Н. Булгаков, архим. Киприан (Керн), прот. Г. Флоровский, прот. Н. Афанасьев, проф. Б.П. Вышеславцев, проф. В.Н. Ильин; многие другие и, конечно, А.В. Карташев. Общее направление работы было выбрано не чисто православное, а скорее экуменическое. Не случайно основатель Академии епископ Евлогий говорил о ее задачах: “Открытие Богословского Института в Париже, в центре Западно-европейской – не русской, не христианской – культуры, имело... большое значение: оно предначертало нашей высшей богословской школе экуменическую линию в постановке некоторых теоретических проблем и религиозно-практических заданий, дабы Православие не лежало больше под спудом, а постепенно делалось достоянием христианских народов”<sup>17</sup>.

А.В. Карташев с головой ушел в новую работу. В Академии долгие годы он вел два курса: истории церкви и Ветхого завета (с использованием еврейского языка). Его работы по обоим этим выбранным им научно-богословскому и историко-церковному направлениям стали публиковаться в органе Академии – журнале “Православная Мысль”, выходить отдельными изданиями.

Все, кто знал в те дни А.В. Карташева отмечали его самопожертвенную и вдохновенную работу на новом поприще. О нем вспоминали как о “настоящем Бояне русского слова”, блестящем ораторе, ярком публицисте, замечательном педагоге, “одним примечательным достоинством которого было пробуждать заложенное в учениках призвание”, “направлять их по намечающемуся для них пути, снабжать их на всю жизнь духовным зарядом для следования по нему”<sup>18</sup>. Один из учеников отмечал его необычайную одухотворенность и чрезвычайную личную скромность<sup>19</sup>. Видный американский церковный историк о. Иоанн Мейендорф, автор ряда историко-церковных научных исследований, а также известной монографии “Византия и подъем России. Изучение византино-русских отношений в XIV столетия”<sup>20</sup> и бывший в свое время также одним из учеников А.В. Карташева в Свято-Сергиевской Духовной Академии отмечал, что Антон Владимирович создавал вокруг себя атмосферу серьезного научного поиска и “подлинной церковности”. Он вспоминал сколько первоначального нового узнал от учителя, слушая его курс истории русской церкви, с каким увлечением воспринимал его историческую критику Ветхого Завета<sup>21</sup>.

Масштабная научно-богословская и историко-церковная работа в Академии, ставшая заметным явлением культурной жизни Европы и оказавшая влияние не только на православный мир Греции, Румынии, Югославии и других православных стран, но и на католический, весь христианский мир, постоянно испытывала всякого рода затруднения. Это был и чисто эмигрантский феномен – жизни русской диаспоры в чужой стране, частые непонимания, возникавшие между русскими эмигрантами и французскими властями, их грубое вмешательство в жизнь выходцев из России, что приводило “к деформации образа жизни и ментальности российской эмигрантской интеллигенции”<sup>22</sup>. Сам же А.В. Карташев говорил по этому поводу: «Вы не имеете представления

о странной духовной подъяремности русского православного ученого и здесь, в зарубежье. Тяжелый наш путь. Говорят, “деньги не пахнут”. Неправда. Они не только пахнут, в них страшный яд кроется...»<sup>23</sup>. Подлинное потрясение русская православная диаспора в Париже испытала в начале второй мировой войны. Академия оказалась отрезанной от внешнего православного мира, профессура в это летне-осеннее время была на отдыхе, по большей частью за границей, и не смогла вернуться из-за начавшихся военных действий. В сентябре 1939 г. в Париже были лишь А.В. Карташев и больной Булгаков. Академия стоял на пороге закрытия. А.В. Карташев был один из тех, кто возглавил ее работу в то время, не дал угаснуть здесь факелу знаний, научных и богословских поисков, кто сплачивал оставшихся преподавателей и студентов в деятельный монолитный коллектив. Академия, несмотря на огромные материальные лишения, выстояла, продолжая и в эти годы воспитывать молодых людей, которые уже после войны заняли профессорские кафедры и высокие церковные посты как в западноевропейском русском экзархате, так и в других регионах мира, где обитала православная религиозная вера и мысль.

До конца своих дней Антон Владимирович Карташев оставался русским патриотом, правдолюбом и свободолобом, неукротимым врагом “подъяремности”, насилия над человеческой личностью, откуда бы оно не исходило.

Незадолго до смерти он признался одному из своих учеников: “Вот только бы теперь родиться, имея тот багаж, который уносит с собой в вечность человек”. Эта ненасытность к творчеству была в нем еще одной характерной чертой русского ученого и интеллигента.

\* \* \*

Творческое наследие А.В. Карташева, значительно, разнопланово и достаточно велико. Это проблемы богословские и прежде всего историческая критика Ветхого Завета; история христианской церкви, включающая исследования деятельности Вселенских соборов; история русской православной церкви, выразившаяся в серии статей и публикации уже упомянутых двухтомных “Очерков по истории Русской Церкви”.

Что касается первых двух аспектов творчества ученого, то они остаются за пределами историографического анализа как такового, поскольку являют собой совсем иную исследовательскую специфику. Все же даже в этой сугубо богословской области, по свидетельству знатоков этой сферы гуманитарных знаний, А.В. Карташев прежде всего выступал как историк, религиозный, глубоко верующий, но историк. Свою программу исследования Ветхого Завета он сформулировал в актовой речи в феврале 1944 г. “Ветхозаветная библейская критика”, где призвал к изучению Ветхого Завета в его историческом контексте.

Опираясь на материалы Халкидонского Собора, определившем богочеловеческую личность Христа, А.В. Карташев защищал мысль о необходимости исследования человеческой природы библейских текстов, че-

рез которую можно распознать и заключающийся в тексте божественный смысл и божественное Откровение. И. Мейендорф вспоминал, что эта речь вызвала дискуссию среди богословов, некоторые расценили ее как покушение на устои религии, хотя, по мнению того же Мейендорфа, церковь, в том числе православная, всегда признавала принцип исторической критики религиозных текстов<sup>24</sup>. Другой его ученик А.М. Никольский вспоминал, как А.В. Карташев, освещая первые главы книги Бытия стремился убедить слушателей в том, что человек является действительно венцом творения, призванным “в творчестве хвалить и воспевать песнь своему Творцу”, а в текстах Ветхого Завета старался постигнуть Божественное откровение, содержащееся в нем для всех времен и народов<sup>25</sup>. Так вера сочеталась в этих подходах с исследовательскими приемами, божественное сопрягалось с человеческим, и это потрясало его учеников и привлекало их души к маститому профессору.

В “Очерках по истории Русской Церкви” синтезировалось все лучшее, чем отмечено историко-церковное творчество А.В. Карташева, его человеческие идеалы, научные scrupulousness и терпимость, его врожденный исследовательский объективизм.

Он писал во введении к своему двухтомному труду: “Очерки стремятся, путем вовлечения читателя в проблематику характерных моментов и явлений в исторической жизни русской церкви, способствовать любовному пониманию ее слабостей, изнеможений, преткновений, но и ее долготерпеливого, христианизующего подвига и ее медленных, таких, смиренно-величественных святых и славных достижений”<sup>26</sup>.

Эта фраза удивительно точно вскрывает не только смысл, содержание, методологию этого фундаментального обобщающего труда по истории русской церкви, но и показывает нравственные критерии автора, его мировоззренческие координаты, соотносит его творчество с лучшими образцами отечественной историографии.

Для А.В. Карташева история русской церкви – это действительно “историческая жизнь” живого противоречивого общественного организма, вплетающегося в ткань исторической жизни отечества, государства, народа. Не случайно, верный стремлению к научному, объективному, критическому – там, где это требовал источник – исследованию отечественной истории вообще, истории русской церкви, в частности, он опирается на богатейший опыт своих научных предшественников, своих учителей, светских и духовных.

Поэтому совершенно естественно, что возвещая цели своего труда, автор на первый план выносит хотя и “любовное”, но понимание “слабостей” русской церкви, ее “изнеможений” и “преткновений”, и уж потом говорит о ее “христианском подвиге”, ее “медленных”, “тихих”, “величественных”, “святых” и “славных” достижениях. Ну, что возразишь против этого! Здесь нет безудержной апологетики, как нет, конечно, и знакомого нам по советским работам недавнего прошлого безудержного атеистического отрицания и обличения. Зато есть все, что необходимо подлинному исследователю: спокойствие, взвешенность духа, стремление понять историческое явление во всей его сложности, во всей его противоречивой эволюции. И еще одно: раскрывая смысл выполненно-

го им обобщающего сочинения, А.В. Карташев обращается не к читателям, живущим на Родине, а к людям, возвращенным “старой нормальной Россией”. Они, по словам автора, продолжают нести в себе “опытное ощущение ее духовных ценностей” и их предчувствие “нового возрождения и грядущего величия и государства, и церкви питается отечественной историей”. Трагические, но и пророческие строки.

Можно, конечно, оспаривать политические оценки автора, его понимание русской революции как трагедии народа, трудно, видимо, согласиться и с утверждением о том, что лишь те, кто рожден “старой нормальной Россией”, способен на возрождение отечественной духовности. Но вот эта апелляция к духу истории, к ее великому опыту, немеркнущим ценностям вряд ли может вызвать сомнения “здорового” ума, независимо от того, в какой России он рожден – в “старой” или “новой”.

По мере своих творческих сил, эрудиции, исследовательского и культурного опыта А.В. Карташев и стремится к тому, чтобы его труд, который он весьма скромно, опять же в духе отечественной исследовательской традиции, называет “повторительным” и “обобщительным”, способствовал выполнению этих больших гуманистических задач.

А как современно, вернее как вечно, внеременно звучат слова автора о том, что его возрожденное Отечество рано или поздно встанет в первые ряды строителей общечеловеческой культуры, “ибо другого, достойного первенства земному человечеству не дано”. Разве не эту мысль мы выдуваем сегодня из всех политических, общественных, религиозных фанфар, разве не на эту идею осторожно, с оглядкой и опаской переориентируется наше общество, уставшее от классовых идеологических битв и от “великих побед”, каждая из которых, как показал опыт истории, оказывалась победой Пирровой.

“Очерки” А.В. Карташева охватывают период с первых свидетельств появления христианства в восточно-славянских землях до конца XVIII в., когда секуляризационные процессы, коренное реформирование русской церкви, начатое еще в петровское царствование, превратили во время правления Екатерины II и Павла I церковную организацию, по существу, в разновидность государственного аппарата, против чего всю свою сознательную жизнь выступал А.В. Карташев.

В соответствии с принятой историками русской церкви XIX – начала XX в. периодизацией А.В. Карташев делит историю церкви на несколько основных периодов: 1) Киевский или домонгольский; 2) Московский до разделения митрополий западной и восточной в 1469 г.; 3) Московский до учреждения патриаршества; 4) История юго-западной церкви с 1469 г. до Брестской унии 1596 г.; 5) Патриарший период (1589–1700 гг.); 6) Синодальный период с 1700 г. Особо выделяет А.В. Карташев и седьмой “революционный период”, который, по его мнению, наложил неизгладимую печать на историю русской церкви.

Однако эта традиционная периодизация не является для автора неопровержимой догмой. Это деление, – считает А.В. Карташев, – “недостаточно глубоко и принципиально”, так как история церкви в своей сути определяется не церковно-каноническими или организационными установлениями, а политической истории страны<sup>27</sup>.

К этой основополагающей мысли об “исторической жизни” русской церкви автор неоднократно возвращается на страницах своего труда. Для него важно не развитие церкви и церковных организаций как таковых, а органическая связь истории церкви с историей государства, общества, народа. Исторический процесс для него един и органичен, в нем “нет перерывов и сказочных скачков”, он имеет свою логику развития, а потрясения, происходящие в обществе, – это итог предшествовавших исторических дел, которые, накапливаясь и зрея, подводят общество к той или иной роковой черте<sup>28</sup>. Церковь, как общественный организм, занимает в этом ряду свое, положенное ей место.

Такой общеисторический подход А.В. Карташева к истории русской церкви резко отличает его труд от предшествовавших ему историко-церковных работ. В то же время в нем нет той строгой социально-экономической, классовой детерминанты, которой характеризовались и характеризуются издания по истории русской церкви, принадлежащие советской историографии. В “Очерках” А.В. Карташева большое внимание уделяется личностному, психологическому, нравственному факторам истории, которые являются для него все той же “исторической жизнью”, собственно, жизнь со всей своей сложностью и многообразием привлекает его внимание.

Именно с этих общеисторических, “жизненных” позиций подходит автор к источникам своего труда, именно они определяют его историографические оценки.

Поразительно, но историк церкви написал: “Любой курс общего источниковедения есть в то же время и путеводитель к источникам русской церковной истории”<sup>29</sup>. А.В. Карташев строит свои “Очерки” на основании тех же источников, что и исследователи гражданской истории – это летописи, гражданские акты, записки, вся древнейшая русская письменность, памятники материальной культуры. Один период истории церкви сменяется другим, а вместе с ними меняются и источники, но этот комплексный, общеисторический подход остается неизменным, что делает труд А.В. Карташева удивительно органичным, превращает его, по существу, в один из вариантов русской истории, рассматриваемой сквозь специфическую историко-церковную призму.

Говоря об историографии вопроса, автор справедливо замечает, что XVIII в. трудами В.Н. Татищева, И.Н. Болтина, И.М. Щербатова подготовил плацдарм для изучения истории русской церкви, но лишь в XIX в. началось ее настоящее изучение, выделение в самостоятельную историческую дисциплину. Вначале это были робкие и малоквалифицированные подступы “иностранных голов” (А.Б. Селля и А.Л. Щлецера), затем первые опыты митрополита Платона, выпустившего в 1805 г. “Краткую российскую церковную историю”, и Е. Болховитинова, и лишь позднее были созданы настоящие полнокровные курсы, связанные с творчеством архиепископа Филарета, митрополита Макария и Е.Е. Голубинского.

Уже характеризуя творчество митрополита Платона, А.В. Карташев положительно отметил его критический подход к оценке источников, в частности, к летописным известиям о проповеди апостола Андрея на

Киевских горах и о крещении Руси. А.В. Карташев с большой симпатией обратил внимание на слова митрополита о том, что главное в историческом исследовании – это “истина и беспристрастность”. Зато труд арх. Филарета, несмотря на его фактическую полноту, основательность, продуманную периодизацию, был оценен А.В. Карташевым весьма критически за “официозную” точку зрения на историю.

Наибольшее уважение на страницах карташевских “Очерков” заслужил замечательный историк церкви, вдумчивый исследователь и блестящий стилист Е.Е. Голубинский – автор многотомной “Истории Русской Церкви”, которая именно в силу своей историчности, объективности, исследовательской честности с большим трудом продиралась в конце XIX в. через цензурные рогадки, созданные ведомством Победоносцева. Знакомясь по Карташеву с историей гонений на Е.Е. Голубинского, невольно задумываешься над тем, как мало мы знаем о нелегкой творческой жизни, мучительных исканиях, ошибках, исследовательских озарениях создателей истории церкви в дореволюционное время, как пренебрежительно легко в течение долгого времени мы отмахивались от этой весьма заметной линии в отечественной исторической науке, а если и обращались к ней, то ограничивались холодно информационными экскурсами во многом негативного характера.

А.В. Карташев ценит Е.Е. Голубинского за “выдающийся критический талант”, за то, что он “оказал редкую услугу исторической истине” постановкой ряда историко-церковных вопросов, за беспристрастность и публицистичность изложения в хорошем смысле этого слова<sup>30</sup>.

Если добавить, что А.В. Карташев весьма отрицательно отозвался о созданной уже в советское время по “соцзаказу” “Истории Русской Церкви” Н.М. Никольского и критически оценил идеологизированную советскую историю русской церкви с ее основным и безапелляционным тезисом о церкви как исключительно реакционной общественной силе, восходящему к примитивному сознанию “воинствующих безбожников” 20-х годов, то станет понятна общая научная, культурологическая, нравственная задача, которую ставил перед собой автор.

Конечно, А.В. Карташев весьма скрупулезно описал историю развития церкви как сугубо религиозной организации. Предметом его изучения стали становление и эволюция церковного управления, возникновение епархий и епископств, различных органов епархиального управления, возникновение и эволюция церковных законов, вопроса материального содержания церкви, положение различных слоев русского церковного руководства – от приходских священников до высших церковных иерархов, религиозные и церковно-организационные дискуссии, ереси, зарождение и развитие русского монашества, миссионерская деятельность церкви, история раскола и складывания старообрядчества. Большое внимание он уделил влиянию церкви особенно в ранние века на развитие просвещения, книжного дела, отметил миротворческую роль церкви, ее борьбу за права человеческой личности, достоинство женщин и т.д.

И все же, думаю, что главным в труде А.В. Карташева стали не эти, хотя и исключительно интересные для нас из-за нашего незнания воп-

росы, а те большие общеисторические проблемы, которые всегда были неотъемлемой, органической частью истории русской церкви. С полным основанием можно сказать, что “Очерки” А.В. Карташева – это в известной степени “светская” история церкви и по своему замыслу, и по своей методологии, и даже по своему языку.

Уже в первых словах, посвященных проникновению христианства на территорию будущей России, автор несмотря на свойственную русской дореволюционной и западной историографии “норманнскую” заданность древнерусской истории, рассматривает этот процесс как часть общемирового общественно-религиозного движения; “волна христианства” “в определенный час” достигла берегов нашего Отечества, вобрав в себя по пути самые разнообразные его потоки. Христианизация Руси, по А.В. Карташеву, – это прежде всего явление не столько религиозное, сколько политическое. Борьба вокруг проблем христианизации – это в основном внутривнутриполитическая борьба во времена и Олега, и Игоря, и Ольги, и Святослава, и Ярополка, и Владимира. Мне кажется, что в таком обнаженном “светском” виде мировая историография к середине XX в. христианизация восточно-славянских земель еще не была сопряжена с их политическим развитием и внешнеполитическими проблемами. В связи с этим и подход автора к источникам по этой теме весьма критический.

Вслед за Е.Е. Голубинским А.В. Карташев с большим сомнением относится к апологетическим летописным сказаниям о крещении Руси, о преображении князя Владимира, к так называемым “посольствам о вере”, хотя и признает их возможную историчность, к “паннонским житиям” Кирилла и Мефодия, другим древним источникам. “От дел”, а не “от чудес”, как писал едва ли не первый историк крещения Руси, автор XI в. Иаков Мних, шло это крещение. Этот светский пафос, доходящий от древних источников, является стержнем авторских оценок переломной на Руси эпохи.

А.В. Карташев пишет о широких реформаторских замыслах Владимира, в рамках которых укладывается и крещение, о его европейских связях, оказавших влияние в делах выбора веры.

Дальнейшее описание борьбы вокруг церковных вопросов автор рассматривает сквозь призму внутри- и внешнеполитических проблем: скажем, известный кризис в отношениях с греческой церковью в середине XI в. и настоящий антигреческий запл древнерусских письменных источников – летописей, сочинений Иллариона, Иакова Мниха – автор связывает с борьбой русских политических сил с оппозицией константинопольского патриарха канонизации первых русских святых, со стремлением Киева к независимой русской церкви в соответствии с международным уровнем и престижем древнерусского государства.

Высоко оценивая миротворческую роль церкви в период феодальных междоусобиц XII–XIII вв., ее посредническую миссию, сохранение ею едва ли не единственной “высшей нравственной силы” в стране, А.В. Карташев в то же время отмечает, что церковные иерархи порой вставали “на кривые пути политики”, втягивались в ее круговорот. Борьба в лоне церкви этих постоянных начал – духовных, нравствен-

ных и мирских, прагматических составляет едва ли не основную и весьма положительную доминанту карташевских “Очерков”.

С этих же позиций рассматривает автор и монашество: с одной стороны, подвиг отшельничества и аскезы, подлинного иночества, впоследствии старчества, бескорыстное служение высшей религиозной идее, людям, а с другой – стяжательство, ханжество, утрата нравственных ценностей и погружение в мирскую суету.

История русской церкви в период татаро-монгольского нашествия и последующего ига также написана А.В. Карташевым в далеко нетрадиционной для церковных историков манере. Перед нами выступает не бездумный апологет православия, обличающий “неверных”, а внимательный и беспристрастный аналитик. Он замечает не только известные материальные и духовные потери православной церкви, но и ее большую изворотливость и приспособляемость к новым условиям существования, а также определенную веротерпимость татаро-монгольских владык. Автор объясняет это не их расчетом на то, что церковь, религия (этот “опиум для народа”) помогут им держать в узде завоеванные русские земли, а лояльным отношением к мировым религиям вообще, уважением к иным верованиям, что соответствовало в какой-то степени их языческому мировоззренческим основам. В связи с этим А.В. Карташев цитирует удивительные слова третьего чингисида в Сарае – хана Менгу, объясняющие религиозный “индифферентизм” монголов: “все люди обожают одного и того же Бога, и всякому свобода обожать его как угодно. Благодеяния же Божии, равно на всех изливаемые, заставляют каждого из них думать будто его вера лучше других”<sup>31</sup>.

История русской митрополии в XIII–XVI вв. едва ли не лучшая часть “Очерков”. Здесь тесно сплетены судьбы России, Европы, Византии, здесь политические страсти, вызванные Флорентийской унией, накладываются на религиозные диспуты и осифлян нестяжателей на внутриполитические и династические интриги времен Ивана III и Василия III; публицистика князя-инока Вассиана Патрикеева дополняется духовными и политическими открытиями Максима Грека, а ереси в их религиозных и чисто мирских, социальных ипостасях с XIII и по XVI в. являются собой неотъемлемую часть общеисторического фона развития русской церкви в этот период.

Параллельно А.В. Карташев раскрывает основные страницы истории русской церкви в составе Польско-Литовского государства как в XV–XVI вв., так и в позднейший уже “патриарший” период. Он рисует всю сложность положения русской церкви в формирующейся инациональной среде, ее сотрудничество и борьбу с католицизмом и православием, развитие и, за “московским кордоном”, антидогматических ересей, отстаивание русской церковью национального достоинства русских людей, их культуры. Особо автор выделяет в этом национально-культурном движении беглого русского интеллектуала XVI в., противника Ивана Грозного, князя Андрея Курбского.

Любопытно то значение, которое придает автор Флорентийской унии, расколовшей в конечном итоге русскую митрополию на две ветви – восточную во главе с московскими митрополитами и западную во



главе с униатскими иерархами, ориентированными на Польско-Литовское государство. Эта уния, – считает А.В. Карташев, – буквально потрясла русскую церковь, содействовала взрыву национального самосознания, определила фактическую автокефалию русской церкви и ее канонический разрыв с греческим патриархатом, поддерживавшим унию. Именно с этого времени начинается по-настоящему Московский период в истории русской церкви, складывается идея Москвы – третьего Рима<sup>32</sup>. По существу, вся история участия русских представителей в Ферраро – Флорентийском соборе, дальнейшего церковного и политического дезавуирования выступавшего в защиту унии митрополита Исидора, его бегство в Литву носит совершенно “мирской” характер, что ставит эти страницы “Очерков” на уровень добротной общеисторической работы.

В подобном же ключе А.В. Карташев излагает и вызревание в России идеи собственного патриаршества. Ее истоки, считает автор, как раз и восходят ко времени раскола русской православной церкви на западную и восточную. “Идея патриаршества, – пишет он, – органически выростала из всей истории русской митрополии московского периода”<sup>33</sup>. Учреждение патриаршества в конце XVI в. А.В. Карташев рассматривает в контексте острейшей внутриполитической борьбы в Русском государстве, где к власти шел Борис Годунов, опиравшийся на своего ставленника и союзника митрополита (будущего патриарха) Иова, а также – на фоне развития международных событий времени, в частности, состояния вселивской православной церкви.

“Мирскими” мотивами пронизана и история русской церкви в период Смуты, во времена правления патриарха Филарета, ставшего, по существу, правителем Русского государства при малолетнем первом царе из династии Романовых Михаиле Федоровиче. Полны политического и социального драматизма страницы “Очерков”, раскрывающие представления о расколе как об отчаянной борьбе за власть патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, за которыми стояли церковные и дворцовые правящие кланы.

Вообще проблема раскола в русской православной церкви – это, по мнению знатока творчества А.В. Карташева И. Мейендорфа, лучшая часть “Очерков”. “Заслуга Карташева, – пишет ученый, – в том, что он дает такую историческую картину событий, которая справедливо исключает идеализацию той или другой стороны”<sup>34</sup>. Но, думаю, что дело даже не в этой объективности, а в том, что раскол А.В. Карташев рассматривает как органическую часть русской и светской, и духовной истории, русского менталитета. Попытку Никона поставить “священство” над “царством” он связывает с общим историческим наступлением “царства” на “священство”, с этапами этого наступления в XVI–XVII вв., ярким выражением чего стало Уложение 1649 г., практически поставившее церковь (за исключением патриаршей вотчины) в полное материальное и судебное (по гражданским делам) подчинение государству.

Никон, как и ряд архиереев, считает Карташев, уловили это “искажение традиционной теократии” и встали на его защиту. Победа доста-

лась “царству”, а отсюда уже было рукой подать до Духовного регламента Петра I, затем секуляризации церковных земель при Екатерине II, общего огосударствления и унижения церкви. Обращение Никона к церковной реформе, исправление богослужебных книг в соответствии с греческими оригиналами, приведение обрядности к каноническим древнеправославным образцам как раз и служило его сверхзадачей поставить “священство” над “царством”. Церковный собор, осудив Никона и освободив “царство” от угрозы узурпации его власти честолюбивым и фанатичным патриархом, в то же время достиг компромисса между светской и духовной ветвями власти, отметил “стройность и непоколебимость” церковного учреждения, подчеркнул, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх – церковных<sup>35</sup>.

Однако все реформаторские начинания Никона по очищению православия от скверны невежества и отступления от подлинных канонов православия были продолжены. Но они уже потеряли прежнее властное, даже политическое начало, какое вкладывал в эти усилия Никон. Напротив, под руководством светской власти, русского царя они приобретали важное значение в деле борьбы за духовное и религиозное наследие Византийской империи, за возвышение Москвы, России как истинных и масштабных наследников и адептов мирового православия.

Однако случилось то, что не предвидел ни Никон, ни его противники. Уже в ходе проведения церковной реформы выявилось глубокое расхождение – вид и количество поклонов, двое- или троеспертное крестное знамение, незначительные исправления в ряде церковных книг переросли в принципиальный вопрос о соотношении традиций и новаторства, о преданности старине и покушении на эту старину, об истинном и неистинном православии, и в конечном итоге о сути веры.

Особый колорит борьбе за старую веру придало включение в нее низов общества в городе и деревне, социальный характер многих выступлений раскольников.

Эти проблемы А.В. Карташев рассматривает не только в соответствующих разделах второго тома “Очерков”, но и в специальной статье “Русское христианство”, опубликованной им в пору работы над “Очерками”<sup>36</sup>. Раскол он связывает с особенностями русского христианства, основными чертами которого он считал, как и национальными чертами русских, широту, стихийность, страстность, не сдерживаемых “достаточной волей и дисциплиной”. Такой народ, подчеркивает А.В. Карташев, не мог отнестись к христианству слишком умеренно и сдержанно. «Он отнесся к христианству с горячей ревностью, сначала с насмешками и ненавистью как к некоему безумию – “юродству”... а потом с энтузиазмом самоотречения... как к радостному, аскетическому завоеванию Иерусалима небесного»<sup>37</sup>. Именно Русь, по наблюдениям А.В. Карташева, дала миру самые смелые аскетические подвиги, перед которыми, как героями Христовой веры, преклонялась масса людей из поколения в поколение. Сюда же он относит и монашеский постриг перед смертью многих русских благочестивых людей, и саму суть русского монашества, которое в своих идеальных образцах – печерские подвижники, герои

северных, заволжских монастырей, пустынь, скитов – выступало как аскеза в форме отречения от мира. Славянина, – писал А.В. Карташев, – задела за живое в христианстве “мука”; страдающий Христос “предстал русскому сердцу как Первый Мученик”<sup>38</sup>. В этой же связи он рассматривает и странничество, хождения. Притом странничество охватывало в основном не элитные слои русского общества и даже не духовенство, а простонародье. Подчеркнул он и общность христианской эсхатологии русской души. Пришествие Антихриста, конец Света, Страшный суд вошли вместе с христианством в плоть и кровь русского человека.

Эти черты русского христианства наложились, по мысли автора, на художественную русскую натуру. Русский человек и в христианской религии остался художником, эстетом. Икона, обряд, молитва, богослужбная книга стала для него теми видимыми образами религии, которая потрясала его душу и в которые он вложил всю мощь своей художественной души. Поэтому, когда Никон и Алексей Михайлович обратились к своей церковной реформе, они покусились практически на святая святых русского чувствования христианства – на культовое благочестие. “Во всей истории христианства, – отмечает А.В. Карташев, – никогда и нигде не наблюдалось подобного явления раскола из-за обрядов”<sup>39</sup>. Причем он подчеркивает, что этот факт не свидетельство низшей, языческой формы христианства, а “несравнимая, математически несоизмеримая форма переживания христианского откровения, особый мистицизм, который не знают другие народы”<sup>40</sup>. Это откровение выражается не только в учении Христа, но и в “обоженных объектах”, которые потрясают русского человека так, как, возможно, ни один другой народ. “Русскому благочестию присуще особо острое опущение Бога в материя”<sup>41</sup>. Поэтому всякое покушение на эту материя русским верующим человеком воспринималось как великое святотатство, как грех, а люди, воплощавшие это покушение в своей деятельности воспринимались как “сосуды дьявола”, слуги “антихриста”. В этом и состоит, по мысли А.В. Карташева, корень раскола и последующего старообрядчества. Отсюда неистовство Аввакума, бесконечные “гари”, самосожжения сторонников старой веры, раскол всего общества. Тяжело переживал русский человек покушение на те святыни, в которые он уже уверовал. Можно, конечно, уловить определенную идеализацию духовного облика русского человека, но ведь автор говорит не о всем народе, а о его благочестивой части, о тех, кто верил глубоко и истово и кто высшим смыслом этой веры делал все же не Голгофу, не мучение, а преображение через мученичество. Заклучая этот пассаж о понимании А.В. Карташевым старообрядчества, можно закончить словами автора: “Не Голгофе, а Воскресению Христа придает восточная и русская душа, в частности, решающее значение”<sup>42</sup>.

Возможно, подобный подход к объяснению причин русского раскола и не беспорен, но он существует, он предложен А.В. Карташевым и, думается, дает историкам неплохую перспективу в понимании не только раскола XVII в., но и последующих неистовых разломов русского общества в истории страны.

Истоки церковной реформы Петра I, круто изменившей судьбы русской церкви, А.В. Карташев относит к тому времени, когда потрясенный мальчик, будущий император столкнулся, как и за стопастьдесят лет до него Иван Грозный, со звериной злобой дворцового окружения в борьбе за власть, с жестокими сценами стрелецкого бунта 1682 г., закончившегося убийствами на его глазах боярина А.С. Матвеева, родного дяди Нарышкина. Старая церковь, патриарх, поддержавшие враждебную Петру “старину”, стрелецкую диктатуру, стали навеки лютыми врагами Петра I.

Упразднение патриаршества, образование Синода, активизация секуляризационных процессов – вся “революционная” церковная реформа Петра I стоит, по мнению А.В. Карташева, в одном ряду с такими “бесспорно переломными событиями русской истории, как крещение Руси святым Владимиром, как татарское завоевание”<sup>43</sup>. Отсюда берет начало императорский, синодальный период в истории русской церкви – “западнический, секулярный, антитеократический, дух деспотического преобладания государства над церковью”<sup>44</sup>.

Верный своей “светской”, общеисторической трактовке ключевых поворотов в истории русской церкви, А.В. Карташев и этот поворот связывает не с религиозными мотивами его участников, его сторон, а с этапами государственной истории страны, с “синтезом плодов и методов европейской культуры, с потребностями русской жизни, но неизменно глубокой русской ментальности”<sup>45</sup>. Смысл синодального периода истории русской церкви автор видит в отрыве “от обетшалых форм средневековой теократии”, в восхождении русской церкви “на значительно большую высоту по всем сторонам ее жизни”, когда истинное просвещение, более совершенное понимание христианства начинают пронизывать церковную жизнь.

Привыкшие к традиционным трактовкам русской церкви (XVIII – начала XX в., как к деградирующей и загнивающей организации, мы с удивлением воспринимаем эти странные для нас пассажи А.В. Карташева, но поразмыслив, не можем не воспринять с пониманием глубокую мысль автора о том, что просветительно-богословский подъем сил русской церкви, который, действительно, наблюдался в это время наряду с разложением части духовенства, вырождением монастырской жизни, развитием мистицизма и мракобесия, появлением на общественном небосклоне таких зловещих фигур, как архимандрит Фотий (начало XIX в.) или архиепископ Антоний Храповицкий (начало XX в.), может вполне быть соотнесен с глубинными процессами в самой церковной среде, с общим культурным подъемом в стране.

Поразителен этот авторский гимн русской культуре XIX в., которая, по его мнению, оказала неизгладимое влияние на всю историю страны: «Разве это не парадокс, что в эпоху последнего гнета крепостного права и самого черствого полицейского самодержавия императора Николая I мы вошли в наш золотой век русской литературы, ставшей и мировой литературой в лице Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Л. Толстого и еще многих других неугасающих светил? Как это понять: вопреки режиму или благо-

даря ему? От изобилия и благополучия, или от скудости и страдания? Одно только бесспорно, что банальная диалектика, ставящая все материальные и духовные блага в прямую пропорциональную связь с эволюцией политических режимов, не годится для объяснения данного парадокса. В страданиях и лишениях совершался рост России. Для Премудрого это не парадокс: “Его же любит Господь наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет” (Притч. 3, 12). Его причина (база) – глубже вторичных условий политических режимов. Это база биологическая, способность роста даже вопреки неблагоприятным экономическим и политическим условиям. Как ни дефективен по-своему весь послепетровский имперский период, он есть, очевидно, наиболее ценный, самый блестящий и славный период России. Мы знаем его недостатки. Он был бы еще лучше, еще ослепительнее, если бы их не было. Но ведь это отвлеченное, бесплодное суждение. А реальный, фактический, положительный, прогрессивный результат пережитого периода налицо. Никакая лгущая классовая историография не в силах затемнить слияния этой бьющей в глаза правды – всевосходящей линии биологической эволюции единого организма России по ее государственной и церковной стороне»<sup>46</sup>.

И пусть здесь не все для нас бесспорно, пусть странна в XX в. концепция “биологической эволюции единого организма России”, свойственная старым историкам второй половины XIX в., но нельзя не принять с благодарностью этот свободный полет авторской мысли, которая помогает нам выйти из наших прежних плоскостных, метафизических рассуждений об истории страны, истории культуры и истории церкви этого времени и взглянуть на них под более сложным и противоречивым ракурсом.

На протяжении всего двухтомника автор ни минуты не дает нам усомниться в том, что человеческая личность, человеческая душа такой же равноправный участник и строитель исторического процесса, сколь и политические расчеты и, добавим мы, социально-экономические факторы, которые А.В. Карташев оставляет в тени, считая, видимо, что советская историография в этом смысле внесла свой, хотя и односторонний, но неоспоримый вклад.

Так при всей политической подоплеке крещения, как ее видит А.В. Карташев, он вполне допускает влияние на Владимира одной из его жен – христианки, бывшей греческой монахини и пишет, что его “душа искала света и мира”. Что ж, мы над этим никогда не задумывались, полагая, что подобные фразы – это лишь дань церковным стереотипам, отражение житийных панегириков. Между тем к моменту крещения Владимир прошел через море крови, клятвопреступлений, прелюбодеяний, преступил через убийство старшего брата и трудно думать, что человеческая душа, как бы ни была она испорчена и опустошена властью, не способна к раскаянию, к поиску ответа на вопрос о смысле бытия, к поискам “самореабилитации”. Такой исход вообще свойственен человеческой природе; большинство людей в разном возрасте, при разных обстоятельствах, в разной степени, но приходят к нему и, думается, что в случае с обращением Владимира мы не вправе спи-

сывать с исторических счетов эти личные мотивы его крещения, тем более, что уже и в истории с крещением княгини Ольги мы явственно видим тот же поиск душевного равновесия, который позднее помогает ей, судя по летописи, спокойно встретить смерть.

Каждый из московских митрополитов, а позднее и патриархов под пером А.В. Карташева имеет не только свою особую историческую судьбу, но и отмечен яркими личностными чертами, помогающими нам понять и изломы их исторического пути, их порой бурной и чисто церковной, и политической деятельности.

Изворотливый политик и любитель строительства храмов митрополит Феогност; неукротимый, склонный к авантюризму, ярый сторонник Флорентийской унии, едва ли не первый крупный политический эмигрант митрополит Исидор; эстет, прекрасный оратор и даже певец митрополит Михаил (Митяй); тайный сторонник еретиков-жидовствующих митрополит Зосима; необыкновенный книголюб и любомудр, человек исключительных духовных нравственных качеств митрополит Макарий, венчавший на царство молодого Ивана Грозного; мягкий, добрый и милосердный в делах личных, но твердый в делах политических, в отстаивании интересов своего любимца Бориса Годунова митрополит, затем патриарх Иов; могучий духом, патриотически настроенный, убежденный противник польских интервентов и их московских пособников патриарх Гермоген; фактический глава государства, честолюбивый, властный патриарх Филарет, чья судьба – от пострига и темницы до высот церковной и государственной власти при сыне-царе Михаиле была так изменчива; наконец, – поистине шекспировская фигура патриарха Никона, человека с умом и страстями, которые выводили его за пределы переживаемой эпохи.

Блестящие очерки об этих и других столпах русской церкви являются своеобразным личностно-историческим стержнем, помогающим нам понять и ход исторического процесса, и людей, его воплощающих.

К этому следует добавить и интересные характеристики религиозных взглядов и церковной политики Ивана Грозного и Лжедмитрия I, Бориса Годунова и царя Алексея Михайловича, Петра I и Екатерины II, Петра III и Павла I. Так, о Петре I А.В. Карташев пишет, что “трезвый позитивный ум... не доводил его до мертвого деизма”, в то же время всю жизнь, по мнению автора, Петр I “хранил в своем сердце образ живого библейского бога”. Петр имел сугубо утилитарный взгляд на роль религии в государстве, но это не исключало его глубокого и живого ее понимания; “кто не верует в Бога, – говорил он, – тот либо сумасшедший, или с природы безумный”. О Екатерине II и ее церковной политике А.В. Карташев говорит весьма образно: “осторожно скрываясь, Екатерина приближалась к реформе секуляризации”.

Рассказывая об истории церкви и пропуская ее через всю русскую историю, автор, конечно, не может обойти и острые социальные потрясения на Руси, участницей которых была церковь. Мы видим здесь и “большевизм” Болотникова, и движение Разина, и народно-монастырское восстание Соловецкого монастыря, и Пугачевщину, в которой духовенство порой стояло на разных сторонах борьбы.

А.В. Карташев, являясь по своей сути глубоким исследователем, с удовольствием касается многих спорных, до сих пор дискуссионных сторон истории русской церкви. Так, он дает свою версию появления митрополии на Руси, пытается ответить на вопрос, кто же был первым русским митрополитом.

В течение десятилетий, когда научный мир, весь мир любителей русской истории и русской словесности с благодарностью прикасался к исторически взвешенным, интеллектуально насыщенным, беллетристически ярким страницам карташевских “Очерков”, мы были искусственно оторваны и от этой книги, и от других интересных трудов этого автора. И отрадно, что нынешнее поколение, пусть и с запозданием, но восполняет эти утраты прошлого...

Мы вынесли в название статьи слова из стихира Великого Вторника “Се тебе талант Владыка вверяет, душа моя, страхом прими дар”. Эти слова особенно любил А.В. Карташев, завещавший пропеть их вместе с другими песнопениями во время своего отпевания. Он сознавал свою даровитость, считал ее Божьим даром и строго судил и этот свой дар, и его творческую реализацию. Это было главным в его жизни как христианина, религиозного деятеля, историка.

<sup>1</sup> Веритинов Н. Человек великого разума (памяти учителя) // “Возрождение”. “La Renaissance”. Литературно-политические тетради. Париж. 1960. Окт. Тетрадь сто шестая. С. 112.

<sup>2</sup> См., например: Мейендорф Иоанн. А.В. Карташев – общественный деятель и церковный историк // Вопросы истории. 1994. № 1. С. 169–173.

<sup>3</sup> Зеньковский В. Автобиография Антона Владимировича Карташева (1875–1960) // Вестник студенческого христианского движения. Париж; Нью-Йорк. 1960. № 58–59. III–IV.

<sup>4</sup> См., например: Краткий историко-критический очерк систематической обработки русской церковной истории // Христианское чтение. 1903. Июнь–июль; Был ли апостол Андрей на Руси? // Там же. 1907. Июль; Христианство на Руси в период догосударственный // Там же. 1908. Май. В дальнейшем эти первые подходы к историко-церковной проблематике, обогащенные новым исследовательским опытом и освоением историографического наследия, послужили основой первых разделов будущих “Очерков по истории русской церкви”.

<sup>5</sup> Цит. по: Мейендорф И. Указ. соч. С. 170.

<sup>6</sup> Веритинов Н. Указ. соч. С. 110.

<sup>7</sup> Карташев А. Временное правительство и русская церковь // Современные записки. Париж. 1933. Кн. II. С. 375.

<sup>8</sup> Там же. С. 369.

<sup>9</sup> Там же. С. 370.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Там же. С. 385–386.

<sup>12</sup> Там же. С. 387.

<sup>13</sup> Там же. С. 388.

<sup>14</sup> Милюков П.Н. Эмиграция на перепутье. Париж. 1926. С. 67–70.

<sup>15</sup> Карташев А. Непримириемость // Возрождение. 1949, № 6. С. 14.

<sup>16</sup> Карташев А. Лев Платонович Карсавин // Вестник студенческого христианского движения. Париж–Нью-Йорк, 1960. № 58–59. III–IV. С. 76.

<sup>17</sup> Цит. по: Российская эмиграция: вчера, сегодня, завтра. Круглый стол: Выступление В.Ф. Федорова. Русское православие в эмиграции // Кентавр. 1994, № 5. С. 45.

<sup>18</sup> Князев Алексей. Памяти А.В. Карташева // Вестник студенческого христианского движения. С. 68, 70.

<sup>19</sup> Веритинов Н. Указ. соч. С. 107, 112.

- <sup>20</sup> См.: *Meyendorf John*. Byzantium and the Rise of Russia. A Study of Bizantino – Russian relations in the fourteenth century. L.; N. Y.; New-Rochell; Melbourrn; Sydney. 1981.
- <sup>21</sup> *Мейендорф И.* Указ. соч. С. 169, 172.
- <sup>22</sup> Российская эмиграция... С. 39.
- <sup>23</sup> *Зноско-Боровский М.* В защиту правды. Нью-Йорк. 1983. С. 97.
- <sup>24</sup> *Мейендорф И.* Указ. соч. С. 171. Этот курс А.В. Карташева позднее был издан в Париже отдельной книгой (Ветхозаветная библейская критика. Париж, 1947).
- <sup>25</sup> *Никольский А.М.* Памяти учителя // Вестник студенческого христианского движения. С. 63, 67.
- <sup>26</sup> *Карташев А.В.* Очерки по истории Русской Церкви (далее: Очерки...). Париж. 1959. Т. I. С. 9.
- <sup>27</sup> Там же. С. 139.
- <sup>28</sup> *Карташев А.В.* Очерки... Париж. 1959. Т. II. С. 311.
- <sup>29</sup> *Карташев А.В.* Очерки... Т. I. С. 10.
- <sup>30</sup> Там же. С. 31.
- <sup>31</sup> Там же. С. 279.
- <sup>32</sup> Там же. С. 139–140.
- <sup>33</sup> Там же. Т. II. С. 111.
- <sup>34</sup> *Мейендорф И.* Указ. соч. С. 172.
- <sup>35</sup> *Карташев А.В.* Очерки... Т. II. С. 212–218.
- <sup>36</sup> *Карташев А.* Русское христианство // Путь. Париж. 1936. № 51. Май–октябрь. С. 19–31.
- <sup>37</sup> Там же. С. 20.
- <sup>38</sup> Там же. С. 21.
- <sup>39</sup> Там же. С. 25.
- <sup>40</sup> Там же. С. 26.
- <sup>41</sup> Там же. С. 27.
- <sup>42</sup> Там же. С. 30.
- <sup>43</sup> *Карташев А.В.* Очерки... Т. II. С. 311.
- <sup>44</sup> Там же. С. 311–312.
- <sup>45</sup> Там же. С. 312.
- <sup>46</sup> Там же. С. 316–317.

**В.Э. Багдасарян**

## **НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ УЛЬЯНОВ**

Несмотря на то, что самую высокую оценку историческому творчеству Николая Ивановича Ульянова дали в разное время такие известные и авторитетные мыслители, как М.А. Алданов, В.В. Вейдле, Г.В. Вернадский, С.А. Зеньковский, М.М. Карпович, С.П. Мельгунов, В.И. Невский, Н.В. Первущин, С.Ф. Платонов<sup>1</sup>, его фигура оказалась все же вне поля историографического изучения. О степени изученности творческого наследия Ульянова можно получить представление, приведя слова известного французского слависта Н. Струве, который, говоря об А.И. Солженицыне, заявил: «Увы, это не шутка, а одно из проявлений сальтеризма, растерянности перед большим явлением, зависти к всемирной славе, иногда еще и личной обиды. Первым “Сальери” Солженицына был третьестепенный писатель из первой эмиграции Н. Ульянов, объявивший в печати, когда вышел “Август Четырнадцатого”, что никакого писателя Солженицына в природе нет, что все книги, им под-



писанные, сфабрикованы на кагэбэшной писательской шарашке, поскольку очевидно, что одному человеку такой труд непосилен... К сальеризму примешивался и идеологический момент: не всех устраивали полное отрицание социалистического опыта, не от Сталина, а искони, и жгучая боль за истерзанную Россию»<sup>2</sup>. Хотя Ульянов являлся в действительности представителем второй эмиграционной волны, а не первой, никогда ничего подобного и не высказывал – но сама по себе данная цитата символична и характеризует общий уровень знаний о творчестве данного ученого.

Николай Иванович Ульянов родился 23 декабря 1904 г. Почти все без исключения писавшие о нем начинали с сообщения о его рождении в северной столице. Так, один из петербургских авторов, П.Н. Базанов, писал: “Николай Иванович Ульянов родился в нашем городе в семье потомственных петербуржцев”<sup>3</sup>. Однако на основании архивных данных удалось установить, что это не соответствует действительности. Ульянов родился в крестьянской семье в одной из глухих деревень Петербургской губ. Гдовского уезда, где и постоянно проживал до девятилетнего возраста. Ульяновы не относились к сельскому пролетариату, имели надел земли, по-видимому, не принадлежали к числу безлошадных. Но отец хозяйство забросил, его вела одна мать, сам же уехал в Петербург, где работал в качестве слесаря и водопроводчика при Александровском лицее. В 1908 г. он заболел тяжелым психическим недугом, до 1918 г. находился в психиатрической лечебнице, где и скончался. Мать после болезни мужа, не имея возможности поддерживать хозяйство, тоже переехала в Петербург, где устроилась уборщицей в общество “Детский городок”, а затем в школу. Николай Ульянов еще некоторое время оставался жить в деревне под наблюдением дяди и переехал к матери только в 1914 г. В тот же год он поступил во 2-й класс начальной городской школы, которую закончил в 1916 г. После этого, осенью 1916 г., он поступил уже в четырехгодичное народное училище, которое после Октябрьской революции было преобразовано в Трудовую школу II ступени, с добавлением двух дополнительных лет обучения<sup>4</sup>.

Духовная жизнь Петрограда начала 20-х годов, возможно, по инерции, дышала еще атмосферой русского серебряного века. Ульянов пытался находиться в гуще этой жизни. Он слушал А. Блока, В. Ходасевича, М. Кузьмина, некоторых будущих эмигрантов, с кем впоследствии встретился за границей. Безусловно, эта атмосфера оказала на него громадное воздействие. Позднее редактор “Возрождения” С.С. Оболенский писал: “Вполне ясно, что Н.И. Ульянов стоит в продолжении культурного ренессанса, начавшегося в России в первую четверть нашего столетия и так трагически оборванного”<sup>5</sup>.

Но главным увлечением будущего историка был театр. В то время Ульянов мечтал о театральной карьере и был к тому весьма близок – он практиковался даже в Мариинском театре, учился в Институте ритма совершенного движения, а затем на Курсах мастерства сценических постановок, которые рекламировались как первые в мире режиссерские курсы. Но режиссерская карьера не состоялась. По свидетельству

П. Муравьева, Ульянова оттолкнула прежде всего закулисная атмосфера театра<sup>6</sup>.

По окончании школы в 1922 г. Ульянов поступил в Петроградский университет на общественно-педагогическое отделение факультета общественных наук, и в 1925 г. перевелся на 4-й курс Историко-архивного цикла факультета языкознания и материальной культуры. Научное руководство над его работой осуществлял С.Ф. Платонов. Ульянов был, по-видимому, последним учеником Платонова, взятый им из университета для дальнейшей учебы. Он предложил Ульянову дипломную работу на тему “Влияние иностранного капитала на колонизацию Русского Севера в XVI–XVII вв.” Сохранились оценки, данные ей Платоновым, который настаивал на ее печатном издании. В рецензии Платонов писал: “Тема понята правильно, хорошо обдумана и выполнена прекрасно. Автор обладает хорошими сведениями по экономике, широко осведомлен в литературе вопроса и непосредственно знаком с первоисточниками. Считаю работу выдающеюся”<sup>7</sup>. Более того, на “Неделе русских историков”, организованной в Берлине в 1928 г., в докладе “Проблемы Русского Севера в новейшей историографии”, он выделил данную работу Ульянова в общем ряду с трудами А.Я. Ефименко, М.М. Богословского, Б.Д. Грекова, А.А. Кизеветтера, С.В. Бахрушина, С.В. Рождественского и др., хотя она являлась всего лишь выпускным дипломом<sup>8</sup>. Из других университетских преподавателей Ульянова следует выделить А.Е. Преснякова, который наряду с Платоновым рекомендовал Ульянова для дальнейшего прохождения учебы.

После окончания Ульяновым университета в 1927 г. первоначально предполагалось оставить его на кафедре. Однако уход Платонова и централизаторская политика Наркомпроса предопределили поступление в Москву в аспирантуру РАНИОН, куда Николай Иванович и был зачислен 14 октября 1927 г. после сдачи на “удовлетворительно” мало привлекавших его исторического материализма и теоретической экономики. Платонов предложил Ульянову продолжить исследования в области истории русского Севера, тема диссертации была сформулирована как “Кола и Мурманск в 17 веке”<sup>9</sup>. Защитить ее все же не удалось по ряду обстоятельств, о которых мы скажем ниже. То, что это не было обусловлено научными причинами, свидетельствует доклад Ульянова по данной проблематике, прочитанный в РАНИОН 7 мая 1929 г. Давая оценку ему, ведущий семинара известный историк В.И. Невский писал: “Прекрасный доклад. Обнаружил умение разбираться в большом материале, критическое к нему отношение и марксистскую методологическую установку. Будущий ученый – несомненно”<sup>10</sup>. В 1934 г. была напечатана работа Ульянова “Феодальная колонизация и экономика Мурманска в XVII в.”, которая, по-видимому и являлась публикацией написанного прежде труда. Об этом свидетельствуют, в частности, используемые ссылки на архивные источники как раз те же, с которыми Ульянов работал и будучи в аспирантуре (определенную помощь ему в этом оказывал ведущий семинара по эпохе торгового капитализма С.В. Бахрушин)<sup>11</sup>.

Ульянов отличался многосторонностью интересов и не сосредоточивался на одной диссертационной теме. Составленная им рукопись “Бо-

рис Николаевич Чичерин. Опыт классовой характеристики” погибла впоследствии при аресте историка.

В справочнике “Вся Москва” за 1930 г. была опубликована его статья “Краткая история г. Москвы”. Являясь краеведческим пособием, эта работа – одна из наиболее ярких в доэмигрантский период творчества ученого. Предлагаемая в ней схема отечественной истории в основном выдержана в духе методологии М.Н. Покровского: вотчинный феодализм московских князей, торговый капитализм “в мономаховой шапке” с эпохи Грозного, с полным триумфом его при Петре I, затем – капитализм промышленный. Другая работа, написанная им еще в аспирантуре и изданная отдельной книгой – “Разинщина”, которую он посвящает доказательству постулата, что в Разинщине проявилась борьба крестьянства и казачества “за свободу торговли, за выход на рынок, за развитие буржуазных отношений, за переход к высшей сельскохозяйственной технике”<sup>12</sup>.

В семинаре по истмату, который вел А.Д. Удадьцов, Ульяновым был прочитан доклад “Маркс и Энгельс как методологи в области международной политики”. В этой связи показательно, что наиболее цитированной Ульяновым в трудах, написанных им в советское время, была работа К. Маркса “*Secret Diplomatic History of the Eighteenth century*”, более известная теперь под названием “Разоблачение дипломатической истории XVIII века”. Архивы РАНИОН свидетельствуют, что Ульянов выступал оппонентом по докладу о “Первобытном коммунизме”, разрабатывал тему историографии Великой французской революции. Небезынтересно, что сокурсником Ульянова, а весь курс составлял 19 человек, был будущий специалист в этой области А.З. Манфред<sup>13</sup>.

Помимо указанной деятельности, Ульянов в это время сотрудничал с Институтом В.И. Ленина, где он под руководством С.Н. Валка, который одновременно вел у него семинар по источниковедению, занимался описанием нелегальных листовок и брошюр 1890-х и 1900-х годов. В РАНИОН Ульянов состоял секретарем всей секции русской истории и секретарем комиссии по изучению эпохи торгового капитализма в России. Он выполнял и общественную работу: руководил кружком текущей политики на шелковой фабрике “Красная Роза”, состоял председателем комиссий по изучению быта рабочей молодежи, работал в качестве секретаря редакции стенгазеты Института истории. Все предвещало стремительную карьеру. К тому же вышло постановление об учреждении аспирантуры при Академии наук, которая находилась тогда в Ленинграде, и С.Ф. Платонов предложил именно Ульянову перевестись туда из РАНИОН, что давало перспективу по ее окончании остаться при Академии. И когда уже все технические формальности перевода были выполнены, никто иной как С.Н. Валк (даже позже, оказавшись в эмиграции, он поддерживал с С.Н. Валком дружеские связи) отговорил Ульянова от этого шага, предупредив об опасности, угрожающей и Академии, и С.Ф. Платонову лично<sup>14</sup>.

Ситуация резко изменилась, с 10 октября 1929 г. РАНИОН как организация ликвидировалась, а все аспиранты переводились в ведомство Коммунистической академии под непосредственное наблюдение

М.Н. Покровского. Так что последний год обучения в аспирантуре Ульянову пришлось провести в Комакадемии, учреждении, конкурировавшим с беспартийной Академией наук. Там, естественно, к нему как ученику С.Ф. Платонова не могло быть благожелательного отношения. По свидетельству Ульянова, один из организаторов травли Платонова С.А. Пионтковский, “гнусная личность, сексот и доносчик”, взял и его самого под свое персональное наблюдение<sup>15</sup>. Удивительно, как в этой ситуации удалось избежать репрессий.

Из-за нехватки преподавательских кадров в провинции Ульянов был командирован в Архангельский педагогический институт, где и работал с 1930 по 1933 г. Впоследствии Ульянов писал: «Захваченные с детства величайшим в истории вихрем, росшие в условиях, которых ни прежняя русская, ни любая из современных западных интеллигенций не знала, мы достигли зрелого возраста в такое время, когда в анкетах не существовало больше рубрики о “сочувствии” советской власти. Создавалась “служилая интеллигенция”, жившая не под знаком “убеждений или мировоззрения”, а под знаком тягла. Ее уже не спрашивали “како веруеши”, а смотрели, так ли она пишет, как надо. В советской России людям оставлено право писать, но у них отнято право думать»<sup>16</sup>. Именно этими обстоятельствами, дополненными угрозой привлечения по “платоновскому делу”, можно объяснить характер последующих работ Ульянова, изданных до его ареста в 1936 г. В качестве такого “тягла” было поручение, исходившее от руководства Коми-Зырянской АО о написании национальной истории ее народа, книги, которая и увидела свет в 1932 г. как “Очерки истории Коми-Зырян”. За этот труд автору была присвоена кандидатская степень без формальной защиты диссертации. В идейном аспекте он вполне в традициях времени развивал две темы: с одной стороны, боролся с российским великодержавным шовинизмом, с другой, с местным буржуазным национализмом. Ульянов оценивал концепцию о мессианстве России как реакционную пошлость, экспансия русских в Сибирь и на Север допускалась им в сравнении только с жестокостью колонизаторов Америки и даже хуже того, русские оказывались повинны во всех тамошних бедах, вплоть до особого распутства северных женщин. Особенно доставалось православной церкви и больше всего Стефану Пермскому, который был представлен отнюдь не как просветитель, а как торговец, даже спекулянт и вооруженный агрессор. Вместе с тем, большое внимание он посвятил изучению панфинской пропаганды на русском Севере (позже эти изыскания он оценивал как весьма конструктивные). По материалам, собранным Ульяновым (большая часть их погибла при его аресте, как, например, найденное в архангельском губархиве следственное дело о панфинской пропаганде в Карелии), – складывалась картина активной работы, начатой еще в бытность Финляндии в составе российского государства, по отторжению у последнего обширных его территорий. Причем не только Карелия или Коми, Великая Финляндия мыслилась от пределов Ботнического залива до берегов Тихого океана<sup>17</sup>.

Значительно слабее в научном отношении выглядели две заключительные главы, повествующие о революции и последующем социали-

стическом строительстве в Коми, где, по сути, единственным используемым источником послужила переработка материалов, собранных и опубликованных в местном журнале “Коми-му” А. Цембером, обвиненным к тому времени в “правом уклоне”. В том же году эти главы были изданы отдельной книгой “Октябрьская революция и гражданская война в Коми области”<sup>18</sup>. Главной ее темой была борьба с кулачеством: бичевались эсеры как кулацкая партия, духовенство как их пособники, и, напротив, превозносилась практика военного коммунизма, политика “трепания кулака”, как, к примеру, экспедиция Б.Д. Мандельбаума, бывшего австрийского пленного, сочетавшего расправы с тотальным ограблением населения.

Работа Ульянова оказалась замечена сверху, что не замедлило сказаться в виде перевода его с 1933 г. в Ленинград. Ульянов приступил к работе в должности доцента по кафедре истории СССР Ленинградского института истории, философии, литературы и лингвистики (ЛИФЛИ). Там на литфаке он вел общий курс русской истории, а на историческом факультете специализировался на истории Московского государства. В качестве пособия для своих институтских студентов он написал ряд работ, которые пытался издать собственными средствами с помощью стеклографа. К сожалению, все немногие вышедшие таким образом экземпляры до нас не дошли, были впоследствии изъяты и уничтожены, удалось установить только их наименования: “Феодализм в Древней Руси”, “Московское государство в XVI веке”, “Феодальная Русь и усиление Москвы”, «Самодержавие XVII века и петровские “реформы”». В методическом плане преподавательской работы он одним из первых стал осуществлять эксперимент возвращения к старой семинарской системе, замененной ранее упрощенной проработкой лекционного курса, во всяком случае, в печати это поддерживалось и представлялось именно как новое начинание Ульянова. Кроме того, по совместительству он сотрудничал в Академии им. Н.Г. Толмачева, известной после перемещения в Москву как Военно-политическая академия им. В.И. Ленина, а также в Археографической комиссии при АН СССР<sup>19</sup>.

Если говорить об исследовательской его деятельности в этот период, то им была составлена хрестоматия, изданная в 1935 г. “Крестьянская война в Московском государстве начала XVII века”, сопровождаемая небезынттересной для изучения его исторических воззрений вводной статьей. В ней, критикуя понятие “Смута” как дворянско-помещичью терминологию, он определял этот процесс в виде “гражданской войны”, а нижегородское ополчение К. Минина и Д. Пожарского как “контрреволюцию”<sup>20</sup>.

В том же 1935 г. в журнале “Борьба классов” вышла другая работа Ульянова “Основание С.-Петербурга”, чаще прочих ставившаяся в вину ему критиками в эмиграции. Реформы Петра I оценивались им как классовая борьба против наступающих революционных сил, а перенос столицы в Петербург как бегство из “бунташной” Москвы от народного гнева, угрожающего существованию самодержавия<sup>21</sup>.

Помимо указанных публикаций, Ульяновым был написан ряд работ, так и не увидевших свет и пропавших после ареста, в их числе: “Сбор-

ник материалов по истории Тульской оружейной слободы”, “Карелия в эпоху Великого Новгорода” (прочитанная на кафедре в виде доклада), “Национально-освободительное и панфинское движение в Карелии” (эта последняя работа была уже принята к печати в “Исторический сборник” Академии наук и даже набрана, но затем изъята). К тому же, по спецзаданию Ленинградского горкома ВКП(б), Ульянов был мобилизован на участие в составлении общей истории Севера.

Ему, по некоторым свидетельствам, предназначалось возглавить кафедру истории СССР в ЛИФЛИ, в печати о нем отзывались как об ударнике исторического и педагогического фронта, как о коммунисте, хотя он еще в партию не вступил, а был к моменту ареста только кандидатом ВКП(б). Серьезная личная борьба развернулась в стенах института между Ульяновым и М.М. Цвибаком, бывшим, по сути, главным обвинителем С.Ф. Платонова как контрреволюционера от лица “исторического фронта”. Эта борьба нашла свое выражение в учебном процессе: М.М. Цвибак читал лекционный курс по истории России промышленного капитализма, а Ульянову пришлось вести параллельный семинар, первый заставлял студентов изучать труды М.Н. Покровского, последний же рекомендовал В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова (!), с именами которых вообще само понятие “промышленный капитализм” плохо связываются. Вопрос был даже поднят на страницах общеститутской газеты, за чем последовало объявление М.М. Цвибака уже самого в качестве контрреволюционера, “троцкиста-зиновьевца”. Но ситуация осложнялась тем, что границы вредительской школы не были строго очерчены, к ней причисляли всякого, имеющего хотя бы весьма отдаленное отношение к М.И. Покровскому, и даже основных его критиков. Неудивительно, что в эту волну попал и Ульянов. Избежав репрессий как ученик С.Ф. Платонова, он оказался неожиданно для себя определен учеником М.Н. Покровского<sup>22</sup>.

Роковое значение для судьбы Ульянова имела его статья, опубликованная 7 ноября 1935 г., “Советский исторический фронт”, посвященная анализу новой политики партии в историческом вопросе. Смысл выступления заключался в умеренной критике тезиса об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма. Естественно, следствие из этого могло быть только одно<sup>23</sup>.

Работу, тем более напечатанную в октябрьский праздник, заметили: после этой статьи, ключевой в газете, следующий номер которой вышел в свет только через четыре месяца (15 марта 1936 г. и уже с другим ответственным редактором). Ульянов был обречен, публиковать его перестали, было заведено специальное следственное дело под номером 22240. Единственное событие за первую половину 1936 г. произошло в личном плане, когда непосредственно перед арестом он женился на Надежде Николаевне Калнишь, выпускнице Московского I-го медицинского института, с которой он познакомился годом раньше в бытность ее студенткой, во время одной из своих командировок в столицу (первый брак Ульянова еще в годы аспирантуры оказался кратковременным и неудачным, сохранилось упоминание о жалобах, подаваемых супругой на него в местком).

2 июня 1936 г. Ульянов был арестован и помещен в следственный изолятор на Шпалерной улице, где и пребывал до вынесения окончательного приговора постановлением областного совета от 15 октября 1936 г. Ему было предъявлено обвинение на основании статей 58-10 и отягчающей 58-11. В итоге за “контрреволюционную троцкистскую деятельность” вышло 5 лет ИТЛ, для отбытия которых Ульянов направлялся в распоряжение Бел. Балтлага, в ведомство которого и прибыл 12 ноября 1936 г. за номером У-2697/8<sup>24</sup>.

С 1939 г., ввиду обострившихся отношений с Финляндией, Соловецкая тюрьма, как близкая к театру военных действий, рассредоточивается на Новую Землю и в Норильск, куда и был перемещен в числе других Ульянов. В Норильске он обратился с ходатайством к властям о пересмотре дела, однако по решению секретариата окружного совета от 29 января 1941 г. было постановлено “в пересмотре дела отказать”. Ульянов был близок к мысли о самоубийстве и принял решение о его осуществлении в случае продления срока (впрочем, для некоторых привлеченных в связи со школой М.Н. Покровского такое ходатайство заканчивалось расстрелом). Он был освобожден день в день по его истечению – 2 июня 1941 г.<sup>25</sup>

Но в связи с удаленностью Норильска от основных железнодорожных магистралей, ему удалось добраться лишь до Ульяновска, где его застало известие о начале войны. Ему некоторое время пришлось оставаться там, зарабатывая на жизнь посредством работы в качестве ломового извозчика в городе. Затем, в сентябре, он был мобилизован на строительство оборонительных сооружений на подступах к Москве, откуда направлен для рытья окопов под Вязьму. Во время осуществленной немцами вяземской наступательной операции был пленен и очутился в Дорогобужском лагере для военнопленных. Однако ему удалось совершить побег, чему способствовало освобождение Дорогобужа в феврале 1942 г. силами партизанских соединений. Далее невероятное: пройдя более 600 км по немецким тылам, он проник в пригород Ленинграда, прифронтовой Пушкин, разыскал там супругу и затем с ней переправился под Гдов, на свою родину. Там среди местного населения Надежда Николаевна применяла свои знания в медицинском деле, а сам Ульянов пытался создать поэтический сборник, по памяти записывая стихи русских классиков.

Осенью 1943 г. в связи с осуществлением тотальной мобилизации супруги были вывезены в качестве остарбайтеров в Германию, вначале в знаменитый Durchgangslager в Дахау, а оттуда в пригород Мюнхена, Карлсфельд, где Ульянов работал сварщиком на заводе BMW, а жена трудилась в лагерьном госпитале.

Карлсфельд в 1945 г. был освобожден американскими войсками и затем включен в их зону оккупации, и, таким образом, Ульяновы оказались в созданном здесь лагере для “перемещенных лиц” (dispersed persons – DP в английском прочтении – далее в тексте ди-пи). В соответствии с ялтинским межсоюзным соглашением, подкрепленным в г. Галле решением об обязательной репатриации бывших советских граждан, возникла реальная перспектива принудительного возвращения в СССР.

Тем не менее Ульяновым удалось спастись, переправившись нелегально в 1947 г. по каналам созданной годом ранее Международной организации по делам беженцев (ИРО) из Германии в Марокко. Объясняя такой выбор страны, Б.С. Пушкарев, видный деятель НТС, причастной к попыткам вызволения и вывода из лагерей ди-пи, вспоминал: “Старались бежать, как можно дальше: в Аргентину, в Австралию, в Канаду, США. В США небезопасно. Там бомбы будут падать. Вот Аргентина и Австралия, скорее, более или менее безопасны для эмиграции... в Испанию никак нельзя, потому что Испанию Сталин завоюет во всяком случае, но в Марокко, может быть, можно будет отсидеться... Такая психология была”<sup>26</sup>. Действительно, под Касабланкой вырос целый поселок, по советским данным, возможно неточным, в Марокко оказалось вывезено и осело 355 человек бывших граждан из СССР. Там Ульянов устроился работать на завод металлических конструкций “Schwartz Naumont”, в соответствии со специальностью, приобретенной в качестве оstarбайтера, т.е. сварщиком.

С наименованием завода был связан и используемый им литературный псевдоним, шутливый, как пишут некоторые авторы, – Н. Шварц-Омонский (или Н. Шварц-Оманский). Но дело заключалось, понятно, не в шутке, не случайно, что большинство дипийцев приобрели известность не под своими настоящими именами (впоследствии известная “безрезовская болезнь”). Репатриация шла полным ходом даже в 1950-е годы, лишь в 1955 г. декларировалась амнистия “сотрудникам оккупационного режима”. Неслучайно, что все эти годы Ульяновы на случай ареста хранили при себе зашитые в одежду ампулы с ядом.

Кроме того, ситуация осложнялась вследствие общего кризиса, переживаемого эмиграцией первой волны, вспоминая о котором Ульянов писал: “Это было время великого предательства и великой трусости, время посещения советских посольств, получения советских паспортов, сотрудничества в советских газетах. Эмиграция притаилась и замолчала, как премудрый пескарь. Ни одного листка, ни одной газеты, все завяло и съезжилось... Куда девались антибольшевистские витии, уничтожавшие советскую власть пером и словом в течение тридцати лет?”<sup>27</sup> В целом первая эмиграция встретила дипийцев в штыки. Показательно, что при первом же знакомстве М.В. Вишняк в лицо Ульянову заявил, что вся вторая волна – “фашистская и большевистская сволочь”, при этом подчеркивая “все без исключения”, что, впрочем, не помешало тут же предложить тому сотрудничество в “Социалистическом вестнике”<sup>28</sup>.

Возможно не случайно, что в первой же опубликованной за рубежом своей работе “К национальному вопросу”, которая вышла именно в “Социалистическом вестнике”, Ульянов выступил с полемикой против ведущих авторов этого издания, подвергнув исторической критике тезис о правах наций на государственное самоопределение и план федеративного устройства России (развитию тех же идей посвящалось и следующее его произведение, увидевшее свет в парижском “Возрождении” в 1949 г. – “Об одном учении в национальном вопросе”). Еще почти 50 лет назад он предсказывал, что в случае федеративного решения вопроса послебольшевистским правительством, на чем настаивала эмиг-



рантская социал-демократия, в конечном итоге “вместо обширной страны она будет иметь всего лишь великое княжество московское, в окружении стран малоблагоприятных для социал-демократического движения”<sup>29</sup>. В теме национального вопроса, в связи с историей российской государственности, им в марокканский период были написаны также “Геноцид или усердие не по разуму?” (из истории крымских татар и русского освоения Крыма), “Большевизм и национальный вопрос” (начатое им исследование явления русофобии и объяснения через него характера советского режима), “История и утопия” (где проводилась мысль об исторической неизбежности единого надэтнического государственного образования, объединяющего российское пространство)<sup>30</sup>. Более частным случаем этой темы явилось изучение Ульяновым украинского вопроса, отданного до сих пор на откуп сепаратистской националистической литературе.

Широкую известность Ульянову принесла его речь, расцененная как “скандал”, на Дне русской культуры в Касабланке 5 августа 1951 г., где он впервые публично выступил под своей настоящей фамилией. Отмечая славянофильские умонастроения, когда на щит поднимались этнографические ценности, а российская эмиграция рассредоточилась по землячествам – сибиряков, малороссов, кавказцев, Ульянов говорил, что “Наша культура не местная, а всемирная. Вот почему нам не след уходить в этнографию, рядиться в сарафаны, косоворотки и распространять запах блинов и пельменей. Оставаясь национальными, мы больше всего должны ценить и развивать в себе мировые общечеловеческие устремления”, (та же идея получила последующее развитие в работе “Русское и Великорусское”, 1967 г.)<sup>31</sup>.

В 1952 г. в знаменитом Чеховском издании в Нью-Йорке публикуется задуманный им еще в войну исторический роман, повествующий о скифском походе Дария I, – “Атосса”, многократно переиздаваемый впоследствии. С художественной стороны его высоко оценивали такие специалисты в области литературы, как Н.Н. Берберова, Г.П. Струве, П. Муравьев, а В.Л. Пастухов по стилистическим качествам даже проводил аналогии с знаменитой трилогией Д.С. Мережковского<sup>32</sup>.

Проживая в Марокко, где отсутствовали какие-либо русскоязычные издательства и литература, Ульянову приходилось посещать Париж, что позволило ему довольно близко сойтись с В.К. Зайцевым, Н.О. Лосским, Н.Н. Берберовой, И.В. Одоевцевой, Г.В. Ивановым, Н.М. Херасковым, А. Мазоном, В.В. Вейдле, М.А. Алдановым, П.Е. и С.П. Мельгуновыми. Последний очень много сделал для Ульянова, способствовал переправке в Марокко, будучи редактором “Возрождения” и “Российского демократа”, обеспечил его возможностью публиковаться и сделать научное имя, что, в условиях эмигрантской борьбы за сферы политического влияния, независимому историку сделать было проблематично. Партийность науки и литературы была характерна не только для Советской России, но и, в не меньшей степени, для зарубежной; за всеми крупными эмигрантскими деятелями и учеными стояла та или иная политическая организация. Ульянов по этому поводу писал: «В своем падении мы зашли так далеко, что научились на саму культу-

ру смотреть, подобно большевикам, сквозь призму партийности: делим ее на “правую” и “левую” и травим, либо поощряем (чаще, конечно, травим), в зависимости от нашей принадлежности к тому или иному лагерю. Надпартийное, общенациональное восприятие русской культуры угасает в эмиграции. Печать уже почти сплошь узко партийна, издания типа “Современных Записок” сделались величайшей редкостью. Свободному творчеству и росту талантов наглухо закрывается дверь. Писатель ныне, чтобы быть напечатанным, должен увиваться около какой-нибудь политической организации, кадить ей, быть ее Демьяном Бедным. Его уже, как в Советской России, расценивают не по таланту, а политическому созвучию<sup>33</sup>. Такая ситуация заставила его самого, видевшего в политике главное зло эмигрантской жизни, также искать “политическую крышу”, которую он и нашел в лице созданного С.П. Мельгуновым в 1947 г. “Союза борьбы за свободу России”. Оставаясь членом этой организации вплоть до ее ликвидации в 1961 г., он при этом ни в чем не разделял ее программных установок, энэсовских увлечений С.П. Мельгунова, и пришел туда только в силу личных симпатий испытываемых к последнему. К тому же С.П. Мельгунов с 1950 г. возглавлял создаваемый им Координационный центр антибольшевистской борьбы (КЦАБ), в ведомство которого тогда относилось и радио “Освобождение”, ныне известное как “Свобода”. Благодаря покровительству Мельгунова на работы Ульянова обратили внимание и иностранные советологи, что нашло свое выражение в приглашении в 1953 г. Американским комитетом по борьбе с большевизмом на должность главного редактора русского отдела названной радиостанции. Но проработав на посту редактора три месяца, не соглашаясь с методами пропаганды и идеологическими предписаниями насаждаемыми американской администрацией, вынужден был его оставить и, в очередной раз, сменив место жительства, в мае 1953 г. переселился в Канаду.

Там, в Монреальском университете, он в 1955 г. прочитал курс лекций по истории русской революции, а помимо этого устраивал на общественных началах бесплатные чтения в молодежном кружке, организованном на квартире эмигрантов Сливичких, именуемом как Свободный университет. Переезд его в “страну кленового листа” был связан с гораздо лучшими условиями для исследовательской работы, созданными за океаном. К тому же Канада, как давнишний центр украинской эмиграции, позволяла Ульянову получить необходимый материал для будущей монографии “Происхождение украинского сепаратизма”.

Но в “украинофильском” Монреале, где действовали всякого рода оуновские группировки, Ульянов, который не только подвергал критике их историческую доктрину, но и вообще ставил под сомнение реальность такого феномена как украинская нация, не имел возможности длительного там пребывания и 4 октября 1955 г. снова переехал, на этот раз в Нью-Йорк. Там пробыл сравнительно недолго, всего несколько месяцев, но при том сумел завоевать себе широкую аудиторию своими публичными докладами, довольно часто организуемыми в Обществе друзей русской культуры. В это время, в 1956 г., в университете (Нью-Хейвен, штат Коннектикут) ушел в отставку с преподаватель-

ской работы патриарх русской исторической мысли за рубежом Г.В. Вернадский. При участии последнего на его место пригласили именно Ульянова, которому и была предложена должность лектора по русской истории и литературе. Кроме того им читались спецкурсы “Театр и драматургия в России” и “История русской культуры”. Квартира Ульяновых в Нью-Хейвене использовалась в качестве места полемических дискуссий, частыми посетителями которой являлись лично близкие ее хозяину люди: историки С.Г. Пушкирев с сыном, Г.В. Вернадский, М.М. Карпович, писатели А. Парри, Р. Герра, М. Коряков, декан Св. Владимирской академии А. Шмеман.

Одним из первых трудов Ульянова этого периода явилась опубликованная в “Новом Журнале” от 1956 г. работа “Комплекс Филофея”, посвященная генезису концепции “Москва – третий Рим”, высоко оцененная специально занимавшимся этим вопросом М.М. Карповичем. К тому времени в эмиграции хрестоматийным стало утверждение о русском мессианстве, трансформировавшемся посредством указанной доктрины в политическую идеологию, а отсюда в российский и даже позже в большевистский империализм. Ульянов подобрал материалы, доказывающие иноземный характер этой концепции: с одной стороны, южнославянский, а с другой, католический, как намерение столкнуть Москву с османами. Формула Филофея была, по мнению Ульянова, чисто религиозной, а не политической, да и официальным курсом она тоже никогда не являлась<sup>34</sup>.

Не менее важной получилась работа, увидевшая свет в том же году, где он излагал свое понимание природы национального в контексте мирового исторического процесса, – “Патриотизм требует рассуждения”. Комментируя эту свою работу, в ответе, адресованном ее критикам, он разъяснял: «Национальное пробуждение самосознания представляется мне не светлым праздником, а явлением весьма мрачным с точки зрения судеб нашей культуры. В нем – все “болезни века” – прекращение культурного творчества, гибель оплотов цивилизации, зародыш государственного политического уродства в виде тоталитарных режимов. Важнейшим последствием процесса “осознания” своей национальности я считаю умерщвление души нации – того единственного, неповторимого, что в ней есть, и что составляет основу ее творческой жизни»<sup>35</sup>.

Эти критики в основном группировались вокруг “Социалистического вестника”. Главное неудовольство вызвала не историческая часть, а упоминаемые политические фигуры у Ульянова стали усматривать “крамольный”, направленный на их партийный блок, смысл. Но особенно в штыки была встречена серия работ Ульянова по истории русской интеллигенции, таких как “Ignogantia est”, “Интеллигенция”, “Необъяснимое” и др., где он развивал старую веховскую традицию, трактуя интеллигенцию в качестве особого “духовного ордена”. Ее своеобразие он видел в антинациональном характере деятельности, с одной стороны, и в слабой культуре умственной организации, с другой. Через “Социалистический вестник” (М. Вишняк, Б. Николаевский, Р. Абрамович) была организована настоящая травля Ульянова, к научным вопросам не имеющая никакого отношения, прерванная только вследст-

вие ликвидации самого журнала в 1963 г. Было заведено “дело Ульянова”, стали собираться сведения о его советской биографии, известный историк Б.И. Николаевский даже написал специальный очерк, где посредством некоторой подтасовки фактов представил из него видного коммунистического ответственного работника<sup>36</sup>.

В нескольких работах, как “Мысли о Чаадаеве” (1957), или “Шевченко легендарный” и “Еще о шевченковских легендах” (1961), Ульянов писал о преопределяющей воззрения Чаадаева и Шевченко русофобии и антидемократической направленности их творчества – в первом случае, апологетика католической инквизиции, во время казацкой гетманщины. Правда, на защиту последнего выступил с довольно серьезной аргументацией видный представитель второй эмигрантской волны, В. Завалишин, который, давая характеристику ульяновского исследования, писал: «Не секрет, что страсть Ульянова – это карательные экспедиции и публичные экзекуции. Его, как и его духовного предка Писарева, хлебом не корми – только дай ему кого-нибудь выпороть или какой-либо авторитет ниспровергнуть. В этом смысле его статья “Шевченко легендарный” содержит правильные, ценные мысли, но к ним, к огорчению, приходится пробиваться по зыбучим пескам заблуждений, ошибок, кривотолков»<sup>37</sup>.

13 мая 1962 г. на собрании, посвященном празднованию 1100-летия государства Российского в New York City College, Ульянов произнес свою знаменитую речь, которая была издана отдельной книгой под наименованием “Исторический опыт России”. Предлагая глобальное рассмотрение отечественной истории, он вслед за многими выдающимися учеными “государственной школы” видел в ней, прежде всего, историю государства Российского, где государству, в отличие от Запада, отводил роль единственной дееспособной силы,демиурга русской культуры и общественной жизни. Развивая впоследствии эту идею, он писал: “Русское государство строилось не снизу, а сверху, не с фундамента, а с крыши; не хозяйственно-экономические условия создавали у нас общество и власть, а власть создавала общество и экономику. Другого пути у России не было, она могла возникнуть только так, либо совсем не возникнуть”<sup>38</sup>.

В 1963 г. в “Новом Журнале” была напечатана работа “Тень Грозного”, где Ульянов подверг разбору историографию проблемы опричнины, включая труды С.Ф. Платонова, С.Б. Веселовского и др. Сам он предложил ее своеобразную интерпретацию – как борьбу царя заодно с царским окружением против собственного же государственного аппарата, мотивированные политикой Ивана IV преобразования абсолютистской модели в деспотическую, что служило ключом и для последующей русской истории, включая в том числе сталинские партийные программы<sup>39</sup>.

В 1964 г. отдельной книгой в Вашингтоне была издана другая работа Ульянова “Северный Тальма”, приуроченная к 150-летию взятия Парижа. Это историко-психологическое исследование, посвященное Александру I. Его “комплекс Наполеона”, зависть к славе последнего преопределили избранную им внешнеполитическую стратегию, не отвечающую

щую российским национальным интересам, кульминацией чего служил заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Именно в актерстве, смене театральных масок, популярных в то или иное время, и заключалась разгадка зигзагов его политических пристрастий: в период Конвента и Директории он чуть ли не якобинец, во всяком случае республиканец, после низложения республики, когда из ее идейного арсенала уцелел главным образом конституционализм – он стал ревностным поборником конституционного правления, ну, а когда в посленаполеоновской Европе началось повальное увлечение мистицизмом – он предстал перед миром уже в качестве “Царственного мистика”<sup>40</sup>.

В следующем году вышло наиболее интересное в историософском плане эссе “Шестая печать”, где проводилось рассуждение о конце истории, мировом апокалипсисе, но не как о вмешательстве потусторонних сил, а бытовом явлении, капитуляции высокой культуры перед серостью и ординарностью, угрозой негритянской революции и нашествия желтой расы. Это позволило А. Небольсину констатировать: «Н.И. Ульянов охвачен неким беспокойством. Он духовно близок Флоберу, жестоко карающему обывателя, он не признает “поэзии пошлости”... Его выступление против лавочной духовной буржуазии напоминает мне свободолюбивое нищестановление Шестова, братство Леонтьева и Бердяева»<sup>41</sup>. Когда Ульянов предложил эту работу редактору “Воздушных путей” Р.Н. Гринбергу, тот был в полном недоумении: гибель мира? – уж не из страха ли перед негритянской революцией и китайским нашествием? Но прошло лишь несколько лет, и последнее уже не стало восприниматься в качестве фантастики: столкновение на Даманском и других приграничных с СССР участках, пропаганда воинствующего маоизма, “хунвэйбиновщина”, “черный радикализм” в США, африканские заимствования в американской молодежной культуре.

В 1966 г. вышла монография “Происхождение украинского сепаратизма”, до сих пор пока единственное глобальное исследование по данному вопросу. Как резюме исследования Ульянов проводил мысль как раз об искусственном, надуманном характере всего сепаратистского движения: “В противоположность европейским и американским сепаратизмам, развивавшимся, чаще всего, под знаком религиозных и расовых отличий либо социально-экономических противоречий, украинский не может оставаться ни на одном из этих принципов. Казачество подсказало ему аргумент от истории, сочинив самостийническую схему украинского прошлого, построенного сплошь на лжи, подделках, на противоречиях с фактами и документами”, – а потому, помимо этих сомнительных историографических построений, нет действительных причин обособления украинского и российского государства<sup>42</sup>.

Из прочих произведений Ульянова шестидесятых, по своей важности в историографическом плане следует выделить книгу “Замолчанный Маркс” (1969). Чем мог привлечь русскую интеллигенцию К. Маркс с его учением о пролетариате, совершенно не подходящим к русской действительности? Ульянов давал на это вполне однозначный ответ, собрав уникальную подборку высказываний классиков марксизма, не за-

ставлявших сомневаться в общей славянофобской направленности их воззрений и деятельности, нашедшей благодарный отклик среди русской “смердяковщины”<sup>43</sup>.

Это был период наибольшей творческой активности. Начиная с семидесятых годов, ситуация резко изменилась – хлынула “третья волна”, и неудобные западным службам во всех отношениях “второволновники” стали повсеместно вытесняться новой генерацией. Расхождение в системе ценностных предпочтений было принципиально. В. Бондаренко пишет в этом связи: “Историки ди-пи – это был последний щит на пути грязного потока русофобии, разлившегося ныне по многих центрам Европы и Америки. Пока слависты и советологи всего мира общались с Авторхановым, Ульяновым, Самариным, Ржевским, Филипповым и другими профессорами, выходцами из послевоенной эмиграции, идея антикоммунизма во многих центрах славистики была отделена от анти-русских, антигосударственных концепций”<sup>44</sup>. Не случайно, в 1973 г. Ульянов, не только в связи с преклонным возрастом, был отправлен в отставку из Йельского университета. На это, возможно, повлияла наступившая в том же году смерть покровительствовавшего ему до тех пор Г.В. Вернадского. Количество новых публикаций работ Ульянова после его университетской отставки резко сократилось. Одну из наиболее интересных в историографическом отношении работ семидесятых “Петровские реформы”, где предлагалась модная для эмигрантской печати апология Петра I, удалось издать усилиями жены и друзей только в 1986 г., уже после смерти историка<sup>45</sup>.

Следует также обратить внимание на работу “Роковые войны России” 1976 г. Вся внешнеполитическая деятельность, проводимая русскими императорами после Петра I, с постоянным ввязыванием во всевозможные конфликты на европейской арене, расценивалась им как противоречащая геополитическим интересам России, ведущая ее к последующей катастрофе: “Вместо накапливания хозяйственных и культурных сил, совершенствования армии, ослабления внутренних противоречий, проведения давно назревших реформ – они безрассудно расходовали энергию империи на разорительные, ничем не оправданные войны”<sup>46</sup>.

Как бы в продолжение указанной проблематики в 1977 г. отдельной книгой в Нью-Хейвене был издан исторический роман из жизни императорского окружения – “Сириус”, хронологически охватывающий период от 1914 г., начала наиболее “роковой” из этих войн, до ликвидации монархии в 1917 г. Свое отношение к фигуре последнего русского самодержца, которого он считал ответственным в гибели Российской империи, Ульянов выразил словами, вложенными им в уста Николая Михайловича Романова: “Ему, видите ли, стыдно за нас перед Россией!.. А нам за него не стыдно? Ведь еще не было такого киселя на троне. В ногах нам валяться у России и тогда не вымолим прощения за такое исчадьё. Ни уха, ни рыла не смыслит в государственном управлении, в министерства набрал отменную дрянь, армию заполнил куропаткинцами и сам поступил под команду жены. Кто из наших царей доходил до такого падения?”<sup>47</sup>

После оставления преподавательской деятельности, учитывая вместе с тем стабильное материальное положение, у Ульянова появилась возможность путешествий в Европу, куда он старался выезжать чуть ли не ежегодно. Более всего он любил Италию, не современную, а “мертвую”, античную, и за это умерщвление не мог простить пришедшего ей на смену христианства, отдавая предпочтение Аполлону перед Христом. Эти путешествия вылились в особые очерки, представлявшие собой историко-философскую эссеистику<sup>48</sup>.

Кроме того, Ульянов в последние годы сосредоточился на систематизации и некоторой литературной корректировке написанных ранее трудов, что позволило выпустить отдельными книгами несколько сборников: “Диптих” (1967), “Под каменным небом” (1970), “Свиток” (1972), “Спуск флага” (1979), “Скрипты” (1981).

Восьмидесятилетнюю годовщину уже умиравшего ученого не посчитали нужным отметить ни в одном эмигрантском издании. Только наступившая двумя месяцами позже – 7 марта 1985 г. смерть вызвала широкий общественный резонанс и привлекла на некоторое время внимание<sup>49</sup>. Похоронен он был в Нью-Хейвене на Йельском университетском кладбище. Только в 1990-е годы на творческое наследие Ульянова было обращено внимание в отечественной печати: изданы некоторые его произведения, вышел ряд статей, посвященных биографии ученого<sup>50</sup>, в 1996 г. состоялась защита кандидатской диссертации “Исторические взгляды Николая Ивановича Ульянова”<sup>51</sup>, а в 1997 г. выпущена монография “Историография русского зарубежья: Николай Иванович Ульянов”<sup>52</sup>. В настоящее время стоит вопрос о дальнейшей популяризации его творчества, научной и практической апробации исторических воззрений.

<sup>1</sup> Архив РАН. Ф. 359. Оп. 3. Д. 66. Л. 103, 106, 111; *Зеньковский С.А.* Верный флагу. Памяти Николая Ивановича Ульянова (1905–1985) // Новый журнал. Нью-Йорк, 1985. № 160; *Карпович М.М.* Комментарий. О русском мессианстве // Новый журнал. Нью-Йорк, 1956. № 45. С. 274–275; *Муравьев П.* Жизнь – это творчество // Отклики. Нью-Хейвен, 1986. С. 45; *Платонов С.Ф.* Проблемы Русского Севера в новейшей историографии // Летопись занятий Археографической комиссии за 1927–1928 годы. Л., 1929. № 35. С. 113.

<sup>2</sup> *Струве Н.* Год Солженицына // Лит. газ. 1991. 17 июля. С. 11.

<sup>3</sup> *Базанов П.Н.* Судьба отечественной культуры в творчестве Н.И. Ульянова // Российская культура глазами молодых ученых. СПб., 1995. Ч. 1. Вып. 4. С. 13.

<sup>4</sup> Архив РАН. Ф. 359. Оп. 3. Д. 66. Л. 112, 113, 115.

<sup>5</sup> *Оболденский С.С.* [Рец.] // Возрождение. Париж, 1968. № 194. С. 55.

<sup>6</sup> *Ульянов Н.И.* Книга о Мейерхольде // Новый журнал. Нью-Йорк, 1956. № 44; *Он же.* Курмасцеп // Там же. 1980. № 100.

<sup>7</sup> Архив РАН. Ф. 359. Оп. 3. Д. 66. Л. 106, 111.

<sup>8</sup> *Платонов С.Ф.* Указ. соч. С. 105–114.

<sup>9</sup> Архив РАН. Ф. 359. Оп. 3. Д. 8. Л. 32.

<sup>10</sup> Там же. Д. 66. Л. 103.

<sup>11</sup> Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 147; Д. 55. Л. 16; Оп. 3. Д. 66. Л. 95, 96.

<sup>12</sup> *Ульянов Н.И.* Разинщина. Харьков, 1931. С. 68.

<sup>13</sup> Архив РАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 7. Л. 1; Оп. 3. Д. 3. Л. 1; Д. 66. Л. 97, 102.

<sup>14</sup> Там же. Д. 55. Л. 16; Оп. 3. Д. 66. Л. 96, 104, 105; *Ульянов Н.И.* С.Ф. Платонов // Спуск флага. Нью-Хейвен, 1979. С. 135–136.

<sup>15</sup> Там же. С. 132.

- 16 Ульянов Н.И. "Дело Ульянова" // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1961. 5 янв. С. 2.
- 17 Ульянов Н.И. Очерки истории народа Коми-Зырян. М.; Л., 1932.
- 18 Ульянов Н.И. Октябрьская революция и гражданская война в Коми области. Архангельск, 1932.
- 19 Ульянов Н.И. Удар по скептицизму // За пролетарские кадры. Л., 1934. 28 окт. С. 2; Израилевич Л. Николай Иванович Ульянов // Там же. 1935. 22 янв. С. 2; Он же. Молодой историк ударник // Там же. С. 1; Выпускной экзамен у историков // Там же. С. 2.
- 20 Крестьянская война в Московском государстве начала XVII века. Л., 1935. С. 8–13.
- 21 Ульянов Н.И. Основание С.-Петербурга // Борьба классов. Л., 1935. № 7–8. С. 13–24.
- 22 Архив УФСБ РФ по СПб и Лен. обл. Д. 248606; Гришин. Необходимо внести ясность // За пролетарские кадры. Л., 1935. 4 янв. С. 3.
- 23 Ульянов Н.И. Советский исторический фронт // За пролетарские кадры. Л., 1935. 7 нояб. С. 2.
- 24 Архив УФСБ РФ по СПб и Лен. обл. Д. 248606.
- 25 Там же.
- 26 Пушкарев Б.С. НТС – Народно-трудовой союз российских солидаристов // Библиография. 1994. № 2. С. 51.
- 27 Ульянов Н.И. Сергей Петрович Мельгунов // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1956. 10 июня. С. 3.
- 28 Ульянов Н.И. "Дело Ульянова" // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1961. 5 янв. С. 2.
- 29 Шварц-Омонский [Ульянов Н.И.] К национальному вопросу // Соц. Вестник. Нью-Йорк; Париж, 1948. № 6. С. 117.
- 30 Шварц-Омонский [Ульянов Н.И.] Геноцид, или усердие не по разуму? // Возрождение. Париж, 1950. № 10; Он же. Большевизм и национальный вопрос // Там же. 1951. № 13; Он же. История и утопия // Там же. 1951. № 1; Он же. Зеркало украинского национализма // Там же. 1950. № 9; Он же. Богдан Хмельницкий // Там же. 1953. № 28–29; Он же. Казакида // Рос. демократ. Париж, 1950. № 1; Он же. Русь–Малороссия–Украина // Там же. 1953. № 23.
- 31 Ульянов Н.И. Культура и эмиграция // Новый журнал. Нью-Йорк, 1952. № 28. С. 261.
- 32 Пастухов В.Л. Н.И. Ульянов "Атосса" // Опыты. Нью-Йорк, 1953. № 1. С. 203; Струев Г. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Нью-Йорк, 1956. С. 390; Берберова Н.Н. Н.И. Ульянов. "Атосса" // Новый журнал. Нью-Йорк, 1956. № 32. С. 313–314; Муравьев П. [Предисловие] // Ульянов Н.И. Атосса. Нью-Хейвен, 1988. С. 7–11.
- 33 Ульянов Н.И. Культура и эмиграция // Новый журнал. Нью-Йорк, 1952. № 28. С. 268.
- 34 Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Новый журнал. Нью-Йорк, 1956. № 45. С. 249–273; Карпович М.М. Комментарии: 1) О русском мессианстве // Там же. С. 274–279.
- 35 Ульянов Н.И. О разумном и не разумном // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1957. 7 апр. С. 7.
- 36 Николаевский Б. Об общественном и личном. (Вынужденный ответ Н. Ульянову) // Соц. Вестник. Нью-Йорк; Париж, 1960. № 11; Абрамович Р. Неумная выходка // Там же. 1960. № 2–3; Вишняк М.В. Суд скорый и неправый над русской интеллигенцией // Там же. 1959. № 12.
- 37 Завалишин В. Шевченко без преувеличений // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1961. 25 июня. С. 5.
- 38 Ульянов Н.И. Немного истории // Спуск флага. Нью-Хейвен, 1979. С. 43.
- 39 Ульянов Н.И. Тень Грозного // Новый журн. Нью-Йорк, 1963. № 74.
- 40 Ульянов Н.И. Северный Тальма. Вашингтон, 1964.
- 41 Небольсин А. О "Диптихе" Н. Ульянова // Новый журн. Нью-Йорк, 1968. № 91. С. 288.
- 42 Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма. Нью-Йорк, 1966. С. 139.
- 43 Ульянов Н.И. Замолчанный Маркс. Франкфурт-на-Майне, 1969.
- 44 Бондаренко В. Возвращение невозвращенцев // Слово. М., 1992. № 1–6. С. 51.
- 45 Ульянов Н.И. Петровские реформы // Отклики: Сб. ст. памяти Н.И. Ульянова (1904–1985). Нью-Хейвен, 1986.
- 46 Ульянов Н.И. Роковые войны России // Скрипты. Анн Арбор, 1981. С. 165.
- 47 Ульянов Н.И. Сириус Нью-Хейвен, 1977. С. 322–323.
- 48 Ульянов Н.И. Свиток. Нью-Хейвен, 1972. С. 141–232; Он же. Луара // Новое рус. слово.



- Нью-Йорк, 1976. 15 февр.; *Он же*. Флоренция // Там же. 1978. 12 нояб.; *Он же*. По Франции // Там же. 1978. 3 дек.; *Он же*. Размышления у Римских руин // Там же. 1979. 29 июля.
- <sup>49</sup> Отклики // Сб. ст. памяти Н.И. Ульянова (1904–1985). Нью-Хейвен, 1986; *Самарин В.* Служение России. (Памяти Н.И. Ульянова) // Вече. Мюнхен, 1985. № 18; *Зеньковский С.А.* Верный флагу. Памяти Н.И. Ульянова (1904–1985) // Новый журн. Нью-Йорк, 1985. № 160; *Крыжицкий С.* Ульянов Н.И. // Там же.
- <sup>50</sup> *Базанов П.Н.* Петропольский Тацит в изгнании // Сфинкс. СПб., 1995. № 1; *Ульянов Н.* Комплекс Филофея / Вступ. статья В.И. Дурновцева // Вопросы истории. 1994. № 4; *Филонова Л.Г.* Николай Иванович Ульянов // Русские философы (конец XIX – середина XX века): Антология. М., 1996. Вып. 3.
- <sup>51</sup> *Багдасарян В.Э.* Исторические взгляды Николая Ивановича Ульянова: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1996.
- <sup>52</sup> *Багдасарян В.Э.* Историография русского зарубежья: Николай Иванович Ульянов. М., 1997.

Д.М. Колеватов

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М.А. ГУДОШНИКОВА

Исторические взгляды Моисея Андреевича Гудошникова не стали предметом специального анализа. Это связано не столько с личностью автора, сколько со сложившейся советской моделью историографического письма, для которой характерно жесткое деление на центральную – научную “метрополию” и провинциальную – научную периферию. Теоретико-методологический статус последней рассматривался как весьма сомнительный; исключалась внутренняя социальность, присущая провинциальной науке, сугубо личная и культурная соотнесенность между индивидом и миром. Имя Гудошникова пользуется известностью в кругу сибирских ученых как одного из первых исследователей революции и гражданской войны в Сибири, в несколько меньшей мере – как историка общественного движения. Немногочисленные упоминания об историке в историографической литературе содержат в целом положительную оценку его деятельности<sup>1</sup>. Его относят к числу ученых-исследователей, “профессионалов-эрудитов, заложивших прочную основу для последующего развития исторической науки...”, оставивших заметный след в сибирской историографии и культурной жизни. В данной статье мы рассмотрим соотношение сугубо личного и научного в творчестве Гудошникова, попытаемся проникнуть в интересующую нас “внутреннюю социальность” науки, проанализировать включенность историка в пространство провинциальной науки.

Исследовательский ракурс во многом корректируется состоянием источниковой базы. Библиография Гудошникова насчитывает более 50 наименований и включает в себя не только исследовательские работы (статьи, хрестоматии, сборники документов, в том числе специфическое монографическое исследование – “Очерки по истории гражданской войны в Сибири” (Иркутск, 1959), но и публицистическую, просветительскую – “превращенную” науку. В Государственном архиве Иркутской области сохранился личный фонд историка<sup>2</sup>, содержащий комплекты семинаров периода обучения в Институте Красной профессуры,

с критическо-аналитическими комментариями самого Гудошникова, конспекты и тексты лекций, рукописный и машинописный вариант подготовленного им в 1930-е годы школьного учебника, тексты кандидатской и докторской диссертаций, выписки по истории, социологии и т.д. Пожалуй, самый интересный для нас источник – “подневные записи” по вопросам истории<sup>3</sup>. В целом – это пласт профессионального умствования, который вряд ли можно извлечь из других источников. Он корректирует образ ученого-исследователя, который складывается у современного читателя на основе изданных трудов историка. Интересны для нас, хотя и более традиционны, такие источники, как документы делопроизводства Института Красной профессуры (ИКП), где обучался Гудошников с 1926 по 1930 г. (ГАРФ. Ф. 5284), а также фонд Истпарта, хранящийся в Центре документации новейшей истории Иркутской области (ЦДНПО. Ф. 300).

В профессиональной биографии историка можно выделить два этапа: этап формирования исторического мировоззрения и овладения профессией, который, на наш взгляд, начинается просветительно-пропагандистской деятельностью в Карелии в первой половине 1920-х годов, а в основном приходится на годы обучения в Институте Красной профессуры (столичный период его жизни). Этап, называемый в современном науковедении продуктивным, когда ученый преобразует накопленный опыт в свои внутренние установки и реализует его в виде собственных научных результатов. Последнее, условно говоря, приходится на иркутский период жизни Гудошникова (1930–1956). Деление на два периода по условиям “времени и личности”, конечно же, во многом формально. Как у личности незаурядной и амбициозной, его профессиональное становление осуществляется через оппозицию постулатам, диктуемым официальной наукой. Он отторгает навязываемую социальную роль, которая в стенах ИКП определяется М.Н. Покровским следующим образом: “ИКП... не преследует цели подготовки преподавателей истории, ИКП готовит смену вождем”<sup>4</sup>. Гудошникова же привлекает роль не политически ангажированного политика, а профессионального историка.

Феномен Гудошникова в определенной степени оправдывает и объясняет гносеологический оптимизм, проявляемый частью деятелей науки в первое послереволюционное десятилетие. Напомним, что в 1918 г. в статье В.А. Крусмана в плане умеренного реалистического оптимизма подчеркивались адаптивные возможности человеческого общества и самой науки, неизбежность обогащения исторической науки за счет осмысления нового исторического опыта – мировой войны и русской революции<sup>5</sup>. А.Е. Пресняков в 1920 г. характеризовал эпохи “глубоких политических и социальных переворотов” как “опытные лаборатории исторического сознания”<sup>6</sup>. Размышляя о судьбах индивидуального сознания в переломную эпоху, Е.В. Тарле допускал, что подавляющее большинство историков ослабнет интеллектом, но те, кто поборет роковое увлечение псевдоисторическим творчеством, ролью прокурора или адвоката, “тот, вероятно, даст науке больше, чем дал бы это без пережитого катаклизма”<sup>7</sup>.

Жизненный путь М.А. Гудошника (1894–1956) – путь человека советской науки. Новой эпохе он соответствует и по социальному происхождению (мать – крестьянка из *середняцкой* семьи, отца – не знал, – пишет Гудошников в своей автобиографии, требуемой для поступления в ИКП)<sup>8</sup>. Соответствие наблюдается и в области первоначального жизненного опыта, первоначальных занятий. Он начинает трудовую деятельность чернорабочим, затем – конторщиком на заводе, мобилизуется в царскую и Красную (1918) армии. В армии последовательно занимает должности в системе технического обеспечения: красноармейца команды связи, инструктора, начальника команды связи. С сентября 1921 г. переводится на политическую работу – в качестве заместителя комиссара батальона, затем – комиссара батальона войск ВЧК, начальника политчасти Карельского района. После демобилизации в 1924 г. Гудошников работает заместителем заведующего агитационно-пропагандистским отделом обкома партии в Петрозаводске, ведет пропагандистскую работу по партийной линии, преподает обществоведение, историю классовой борьбы, пробует перо, выпуская краеведческие работы по истории Карелии, самостоятельно изучает немецкий язык. Подобного рода жизненная школа могла воспитать и воспитывала исправных партийно-государственных функционеров, но в случае с Гудошниковым способствовала становлению других качеств, коими он и мотивирует свое стремление поступить в ИКП: “У меня есть стремление и любовь к теоретической работе”<sup>9</sup>.

Пройденная жизненная школа воспитала у нашего героя и такие черты, проявившиеся впоследствии в его профессиональной деятельности, как высокий уровень самооценки, самостоятельность, стремление писать от первого лица. О самостоятельности, непоработченности правилами свидетельствуют и обстоятельства поступления Гудошника на учебу в ИКП. Вопреки условиям приема, он присылает не только тему вступительной работы, но и саму работу, что полагалось делать только после одобрения темы. Интересна мотивировка Гудошника: “Одно название темы ровно ничего не говорит, а шансы на то, что тема будет забракована, увеличивались еще и вследствие того, что она слишком несовременна” (рукопись Гудошника носила название “К вопросу о роли монастырей в колонизации русского Севера”). Самостоятельность проявляется и в оценке Гудошниковым своего труда. Не берясь судить, насколько удалось “справиться” с материалом, хотя и многочисленным, но все-таки явно недостаточным, “правильно применить к выводам марксистский метод”, автор берет на себя смелость утверждать, что его сочинение “оригинально в смысле обработки материалов и выводов”, и, что интересно, приводит профессионально составленный список источников и литературы, которые ему не удалось использовать в работе (ввиду их недоступности)<sup>10</sup>. Проявляя своеволие при поступлении, Гудошников не был учеником примерным и в период обучения. Лаконичная однозначность оценок характеризует академическую работу Гудошника только на первом курсе. Доклады Гудошника “Расцвет крепостного сельского хозяйства в XVIII веке” и “Социальная доктрина Р. Штамлера”<sup>11</sup> получают положительную оценку руководителей

семинаров, а их автор характеризуется как умело владеющий материалом, “один из наиболее подготовленных работников”. Но на втором курсе ситуация становится более сложной. Изложение Гудошниковым взглядов М.М. Ковалевского и Б.И. Лучицкого по вопросу о мелкобуржуазной собственности в дореволюционной Франции вызывает неоднозначное отношение у руководителя семинара профессора М.Н. Лукина. В качестве недостатка работы он называет недифференцированность социальной базы двух концепций, хотя и отмечает добросовестно изученную литературу вопроса, достаточную способность к критическому анализу<sup>12</sup>.

Более категоричен в оценках другой руководитель семинара – М.Н. Покровский: «Представил (М.А. Гудошников. – Д.К.) доклад на тему “Крепостное хозяйство” – доклад понравился, но нет классовой характеристики и социальных корней историков. Заключительное слово показало, что т. Гудошников плохо владеет марксистским методом»<sup>13</sup>. Отметим, что упреки в невнимании к социально-классовой обусловленности, “недоовладении” марксистским методом будут преследовать исследователя в течение всей его последующей деятельности. У самого Гудошникова подобного рода упреки вызывают уже на этом этапе иронический комментарий: “Анализируя концепции Ковалевского и Лучицкого, не упоминаю о чугуне, о хлопке... даже о хлебных ценах. Я пытался из анализа... идеологии вывести ответ на вопрос, почему русским ученым принадлежит приоритет в изучении аграрных отношений в западноевропейской истории”<sup>14</sup>.

Как видим, анализируя концепции Ковалевского и Лучицкого, Гудошников особо сосредоточивается, пользуясь его терминологией, “на своеобразии идеологического узора эпохи”, вскользь упоминая об обусловленности идейной сферы социально-экономическим базисом.

На третьем курсе у М.А. Гудошникова возникает академическая задолженность, и вопрос о ликвидации ее постоянно будет преследовать его на протяжении оставшегося времени учебы. Окончание учебы сопровождается формулировкой “Считать выпущенным, считать учебный план невыполненным, вопрос об окончании оставить открытым и обязать представить выпускную работу в годичный срок. Поставить на вид за уклонение от академической проверки”<sup>15</sup>.

Оценка педагогической и партийной работы Гудошникова эволюционирует также от “безусловно хорошей” к “положительной с недостатками”. На втором году обучения в ИКП он преподает историю классовой борьбы на общественно-экономическом факультете Рабочего университета им. Уханова и характеризуется администрацией как “квалифицированный, педагогически весьма опытный и аккуратный к своим обязанностям преподаватель”. Характеристика подтверждается отзывами слушателей на двух листах. Причем слушатели особо выделяют то, что “т. Гудошников сумел просто, по-товарищески, подойти к преподаванию предмета”<sup>16</sup>. В последних отзывах содержатся критические замечания: отмечается, что он “педагогически не всегда удовлетворяет студентов”. При характеристике его партийной работы говорится об удачном дебюте. Но в то же время фиксируется “недопустимое остав-

ление работы без предупреждения об этом РК (районного комитета) и недостаточная связь с вышеупомянутым РК”<sup>17</sup>.

Сложности вписывания Гудошника в систему ИКП объясняются, на наш взгляд, не только возрастающей учебной нагрузкой и духом студенческой свободы, личностно-психологическими факторами, которые нам, очевидно, не дано уяснить до конца. Для Гудошника – это время напряженной внутренней работы, выбора методологической и мировоззренческой ориентации, создания подневных записей по истории (1928–1930). В биографии страны – это годы “великого перелома”, в науке – годы трагической амальгамы, сочетания бурных научных дискуссий с политическими выводами, которые привели, во многом, к утрате наукой автономного пространства. Это время породило тип методологической деятельности, надолго ставший господствующим. Для большей части исследователей эта деятельность сводилась к принятию готовой системы взглядов (именуемых “марксистскими”) на исторический процесс. Выбор методологической ориентации в этом случае не носил интеллектуально-личностного характера и в конечном счете породил нигилистическое отношение к теории вообще. Хотя до определенного времени, до рубежа 1920–1930-х годов, можно говорить о существовании иного типа методологической деятельности, для которого характерно было критическое отношение ко всем теоретическим системам, включая марксизм. Эту позицию замечательно выразил психолог Л.С. Выготский: “Я не желаю получать марксизм в подарок, как пару удобно пригнанных формул”. Традиции методологических поисков, теоретической рефлексии (включая теорию самого исторического процесса) сохраняются, во многом на уровне индивидуального сознания, а несовпадение личного и социально-нормативного провоцирует интенсивную рефлексию, “работу в стол”. И повседневные записи Гудошника тому свидетельство.

Методологическая и историографическая направленность присуща Гудошникову на всех этапах его деятельности. В определенной степени она была задана работой в семинарах М.Н. Покровского, М.Н. Лукина, Н.А. Рожкова, где рассматривались как конкретные исторические сюжеты, так и связанные с ними концепции В.О. Ключевского, Б.Н. Чичерина, Б.Н. Ковалевского, Б.И. Лучицкого, А. Токвиля, А. Сореля. Особенностью обучения в ИКП, по воспоминаниям Э.Б. Генкиной, кстати, однокурсницы Гудошника, было перенесение “центра тяжести на самостоятельную работу”<sup>18</sup>, приоритет консультативного метода (семинары и доклады) в преподавании. Да и программы по истории, как вспоминает еще один выпускник ИКП А. Авторханов, практически оставались дореволюционными, «беспартийные профессора усиленно отказывались преподавать курсы, близкие к новейшему времени, где плавали только “киты” из школы Покровского». Более того, труды эмигрантов П.Н. Милюкова, А.И. Деникина, В.А. Мякотина, А.А. Кизеветтера, Н.И. Ростовцева входили в список обязательной литературы<sup>19</sup>. Программы преподавания предусматривали курсы по специальности и по методологии. Методологические штудии в рамках ИКП должны были носить утилитарно-усеченный характер. Предусматривалась

“основательная проработка подлинников классиков марксизма и Ленина, критическое продолжение главных работ представителей буржуазных исторических школ, в особенности их представителей в советской исторической науке. Чисто же философские проблемы, предполагалось обсуждать “лишь в абсолютно необходимых размерах”<sup>20</sup>. Подтверждение данной ситуации мы находим в дневнике В.И. Вернадского: “Логика и философия выброшены из преподавания. В Инст(итуте) красн(ой) проф(ессуры), где очень хорошо оплачены и преподаватели и студенты, учение Платона, Канта не изучается”<sup>21</sup>.

По конспектам Гудошникова мы можем проследить нарастание неудовлетворенности содержанием обучения и руководителями. В особенности это относится к М.Н. Покровскому. На упреки в отсутствии марксистской методологии, предъявляемые нашему автору, Гудошников отвечает выражением несогласия как по отдельным историческим сюжетам, так и по части общеметодологического подхода. Предположение руководителя семинара, что теория закрепощения сословий Ключевского основывается на народнической литературе, содержащей данные о кулацкой эксплуатации, Гудошников считает ни с чем не сопоставимым. Ключевский никогда народником не являлся, а был, если можно так выразиться, буржуазным демократом. Не народники преувеличивали значение кулака и рост расслоения деревни, а марксисты, и гораздо позднее, чем Ключевский писал свою работу. У него вызывает раздражение сам метод проведения семинара: “Толкует, постоянно повторяя одни и те же цитаты из Маркса и Энгельса о торговом капитале, а на обсуждении стоят ведь петровские реформы”<sup>22</sup>.

Гудошников с раздражением отмечает вульгаризаторскую бесцеремонность обращения М.Н. Покровского с марксизмом: “Говорит так, как будто он обучался в Хедере Талмуду, сравнивает цитаты..., показывает эквилибристическую ловкость”. Трудно сказать, в какой мере этот упрек относится лично к М.Н. Покровскому, а в какой – к историографической ситуации конца 1920-х годов. Но ситуацию эту он характеризует в своих конспектах периода обучения вполне определенно: “Ей-богу, в этой галиматее не виноват Маркс. Ведь он, бедный, предупреждал, что его теория – не отмычка, годная для всех и вся. Здесь же действуют не отмычкой, а прямо фомкой”<sup>23</sup>. Позднее Гудошников охарактеризует подобный метод как “марксизм типа раззудись плечо, размахнись рука”.

Методологические взгляды Гудошникова эволюционируют от признания марксизма как метода, который дал человеческой истории универсальный социологический закон, выраженный в общей форме: “Человеческая история есть борьба классов”<sup>24</sup>, до понимания исторической ограниченности марксизма, плохо согласующегося с последними достижениями истории, философии, искусствovedения и т.д. Несомненной заслугой марксизма он считает вскрытие причин исторических явлений, впервые по-настоящему поставленный вопрос не “как?”, а “почему?” (вопрос об экономической основе исторического процесса). Еще в период учебы в ИКП, анализируя социологическую теорию неокантианца Р. Штаммлера, он противопоставляет его концепции внешнего регулирования социальной жизни “поиск ее экономической подосновы”<sup>25</sup>.

В то же время Гудошников отмечает незавершенность марксистской социологии. В этом отношении он разделяет взгляды Штаммлера, который указывал, что последователи К. Маркса ограничились популяризацией, а не разработкой вглубь основных мыслей своих учителей. Этот тезис Гудошников проводит и в своих более поздних лекционных курсах: “Поколение марксистских историков... не удосужилось привести взгляды Маркса в систему”<sup>26</sup>.

По М.А. Гудошникову, если в будущем серьезно строить марксистскую социологию, то начинать придется с критики существующих систем, “подобно тому, как Маркс в половине прошлого столетия начал свою политическую экономию с критики политической экономии”<sup>27</sup>. Именно эта посылка заставляет нашего исследователя обратиться к характеристике основных направлений социологической мысли. Он выделяет позитивистское направление, “исходящее из того, что общество имеет свои особые законы, которые надо найти и сформулировать (О. Конт, Г. Спенсер, М.М. Ковалевский)”; неопозитивистское, “которое смотрит на социологию как на коллективную психологию (Г. Тард, Д. Уорд, П.А. Сорокин, Г. Бехтерев)”; и, наконец, неокантианское, “как собственно, не социологическое, а философское, занимающееся теорией познания и философией”. М.А. Гудошников выступает, в данном случае, представителем “открытого марксизма”, признающего диалог с другими научно-философскими системами. По понятным причинам, для нас интересен критический диалог М.А. Гудошникова с марксизмом, попытки критического его преодоления. Автор размышляет о марксизме с позиции целостности культуры, отдельных ее частей, индуцированных этой целостностью, пытается рассмотреть процесс научного познания в единстве.

Гудошников обнаруживает страсть к синтезу, он старается вобрать предшествующее, осмысливая новое. Его интересует яфетическая теория, проблемы языкознания, зоологической и ботанической систематики. Он отыскивает параллели и общие закономерности и неожиданно приходит к мысли об ограниченности марксистской философии истории: “Не то ли и с общественными формами? Маркс думал, что каждая общественная форма развивает все заложенные в ней возможности до тех пор, пока не изживет себя и не будет стихийно заменена другой формой. Он насчитывал для Европы три таких формы: античную, феодальную и капиталистическую. Уровень исторической науки того времени не позволил Марксу ознакомиться как следует с тем, что собственно представляют из себя две первые формы”<sup>28</sup>.

Гудошников апеллирует к современной ему исторической науке, которая, как он считает, нарисовала нам “полную картину и античного мира и средневековья”, выдвинута была проблема античного капитализма, заговорили о вотчинном капитализме, и в итоге приходится “...отодвигать начало капитализма очень далеко”, с другой стороны, в современном капиталистическом обществе мы находим массу форм некапиталистических, которые так скоро не собираются умирать<sup>29</sup>. По Гудошникову, не только уровень научно-исторической проработки, но и требования самой теории ограничивали возможности познания, —

“...Марксу пришлось построить картину не реального, а абстрактного капитализма, настолько абстрактного, что он не годился даже для Англии, не говоря уже об остальной Европе”<sup>30</sup>. Основываясь на теоретических построениях исторической науки конца XIX – первого десятилетия XX в., на собственных наблюдениях современного ему общества, историк приходит к выводу, что общественные формации “... не сменяют друг друга, но сожигаются вместе спокойно и в наши дни, правда, с разной интенсивностью распространения”. Задачей является, по Гудошникову, выяснить оптимум для каждой из этих форм. Теорию Маркса он сравнивает с теорией катастроф Кювье<sup>31</sup>. Отметим, что одной из таких общественных форм он считает не совсем по-марксистски понятый социализм (государственные железные дороги, муниципальные предприятия, кооперация), отводит ему большое будущее, но предполагает, что последний не вытеснит остальные формы, а “заставит их только потесниться”<sup>32</sup>.

Универсальные объяснительные возможности марксизма оспариваются Гудошниковым и применительно к сфере искусства, законы развития которого, как он считает, темны. Искусство, полагает Гудошников, развивается по присущей ему имманентной логике; никакими классовыми интересами, экономикой, не объяснить сходство стилей в искусстве различных эпох, например Рима начала нашей эры и итальянских республик эпохи Возрождения, крепостной России Александра I и буржуазно-мужицкой культуры эпохи Столыпина<sup>33</sup>. Процесс создания нового стиля Гудошников рассматривает как обозначение в вещах известным образом (“вещным порядком” по его терминологии) организованного мироощущения автора. В дальнейшем происходит процесс завершения и усложнения стиля, но основа остается. Он проводит некоторые аналогии с процессом технических и физических открытий, пытаясь найти общую логику развития науки и искусства: “Границы стиля определяются самим стилем и техническими возможностями эпохи, именно с последними он связывает возрождение и дальнейшее развитие стиля в другое время в другой стране”<sup>34</sup>.

В качестве примера трансплантации стиля он указывает “на рококо и барокко как доведение до логического конца стиля Возрождения”, перенесение и дальнейшее развитие стиля классической древности в Италии XV–XVI вв. или воскрешение в XX в. в России ампира начала XIX в. Рождение стиля Гудошников связывает с “подробной жизнью, обыденными отношениями”. “Реализм в живописи вырос из карандашных уличных сенок. Эти уличные сценки делаются в 50-х годах XIX в. настоящей, большой живописью, геометрический стиль родился на фабричных зданиях, с их рациональным использованием пространства и материала. Стиль искусства надо связывать со стилем жизни”, который так или иначе определяет его характер. В этом и проявляется связь с эпохой. Гудошников указывает на круг явлений, которые “обычно бывают очень сходны между собой, носят одностилевый характер – мебель, моды, в особенности, архитектура, живопись”. В то же время эпоха – это сосуществование, “переплетение” различных стилей. В качестве примера он обращается к России второй половины XIX в., где на-



блюдается, по мнению Гудошникова, господство реального романа, народничества в живописи, полный разброд в архитектуре, “ничего своего, склонность, пожалуй, к барочным формам, безобразнейшей модой, которые нерациональной своей противоестественностью затмевали моды рококо. И, вместе с тем, в науке – господство позитивизма”<sup>35</sup>.

При всей нечеткости и спорности авторских определений и, скорее, эмоциональных, чем отрефлектированных характеристик, очевидно одно: классовую обусловленность трансплантации стиля он несомненно отрицает. Вряд ли данный культурологический сюжет, которому Гудошников уделяет достаточное внимание в своих подневных записях, можно считать случайным. Выскажем предположения, что можно говорить об определенной спаянности рассматриваемого текста на основе примерки, апробирования, критики культурологических идей из арсенала неокантианства.

Дополнительным аргументом в пользу такого предположения является завершающий фрагмент записок, где речь идет о природе и границе самого исторического познания. Заметим, что датирован этот фрагмент 13 ноября 1930 г., т.е. периодом гонений на идеализм вообще, и в исторической науке, в частности. Гудошников связывает историческое познание именно с соотношением культурных ценностей, а не просто фиксацией изменений во времени и повторяемости – историк должен фиксировать, хронологически обозначать процесс выделения культурных индивидуальностей<sup>36</sup>. В то же время он отмечает сложность реализации указанного принципа в историческом исследовании. Сложность реконструкции даже простого исторического события, интерпретации исторических источников – “чистые историки.., которые по их словам заняты чистыми описаниями, большей частью занимаются пересказом документов или мемуаров, то есть принимают схему событий государственных людей того времени или случайных авторов мемуаров”<sup>37</sup>. Исторические факты многозначны по последствиям, отмечает Гудошников, и каждая эпоха выдвигает свои культурные ценности.

Размышляя над особенностями научного и исторического познания, он приходит к пессимистическим выводам: “Жизненный процесс алогичен. Историк должен согласовать ход событий с их логическим объяснением, так как только материал, логически обработанный, способен усвоить мозги”<sup>38</sup>.

Особый интерес представляет рассмотрение Гудошниковым русского исторического процесса. Свои исторические взгляды исследователь конструирует, используя труды государственной школы, В.О. Ключевского и размышления своего современника, философа-интуитивиста С.Л. Франка. Не борьба классов, а роль бессознательного в народном движении, особое место государства в российской истории, революционные движения и возможность его трансформации, диктатура типа наполеоновской – вот темы, над которыми размышляет М.А. Гудошников. Обращение к подобным сюжетам во многом объясняется историографическими пристрастиями автора. Мысль Б.Н. Чичерина о государстве-Левиафане, о создании русского общества-государства – идет через целые исторические школы и создает своих сторонников среди тех,

которые не считали себя учениками Б.Н. Чичерина вплоть, пожалуй, до Г.В. Плеханова и Л.Д. Троцкого<sup>39</sup>. Стимулировались обращения к подобным темам и современной Гудошникову ситуацией. Не случайной представляется запись, сделанная Гудошниковым при обсуждении уже упоминаемого доклада о петровских реформах на семинаре М.Н. Покровского: “Мы действуем методами Петра, правда, более тонкими”<sup>40</sup>.

Русская история, считает автор, имеет величайшую социологическую значимость, изучение ее открывает завесу над многими темными сторонами мировой истории<sup>41</sup>. Центральное место в представлениях Гудошникова о русской истории занимает, на наш взгляд, тезис о неустойчивости народной психологии и архаичности народного сознания России. “Об этом свидетельствуют, – считает Гудошников, – сохранившиеся с XVIII века дела о самозванцах, изучаемые автором, различного рода слухах, оскорблениях величества, революционном брожении в народных низах, религиозно-еретических движениях”<sup>42</sup>. По Гудошникову, эти черты народной психологии в ослабленной форме сохраняются в первой половине XIX в. и даже далее. У европейцев легенда (творимая легенда) уходит в глубь и туман средневековья. У нас она приближается и к порогу XX веках<sup>43</sup>. Россия конца XVII – XVIII в. сравнивается Гудошниковым с Иудеей I–II вв. – временем возникновения и распространения христианства.

При таком состоянии народной психологии единственной железной уздой было самодержавие. Но и в современной историографии широко распространен тезис, согласно которому в начале XX в. в России наблюдается сочетание архаичного средневекового сознания и революционно-модернизаторской идеологии (для подтверждения этого тезиса чаще всего ссылаются на произведения А. Платонова). Нетрудно установить связь между взглядами Гудошникова и дореволюционной историографией, особенно с государственной школой. По Гудошникову, свойственная России социально-психологическая неопределенность влияет и на революционное движение. “В случае победы декабристов дело бы, конечно, не кончилось петербургской революцией, как бы радикальна и глубока она не была. Возникли бы раздоры и среди декабристов, между Пестелем с демократически настроенными низами из безземельного дворянства и чиновничества... и дворянами душевладельцами. Очень скоро вышли бы на сцену мужики и мещане... и начался бы распад русского государства вплоть до Наполеона, которому пришлось бы все это собирать”<sup>44</sup>. Гудошников, во многом следуя за дореволюционной историографией, не склонен накладывать на декабристское движение классовую матрицу.

Русской буржуазии в этот период, по Гудошникову, было не до политики, она была занята более важным делом – накоплением и организацией промышленности. И торговле и промышленности правительство покровительствовало более чем достаточно. Местная администрация хотя и грабила, но была в достаточной степени податлива на требования купцов. Гудошников соответственно называет декабристов просто романтиками и считает гениальной мыслью Ключевского: “Декабристы в противоположность своим отцам перестали презирать свою Родину, но не научились

ее знать”<sup>45</sup>. Декабристам, с точки зрения Гудошникова, присуще было сочетание “воскресшей традиции верховников, замашек своих отцов гвардейцев, с одной стороны, и какая-то истерическая жертвенность, характеризующая последних народовольцев”<sup>46</sup>. Современная историография признает реальность проблем, поднимаемых Гудошниковым, возможность различных вариантов развития событий в случае победы декабристов и рассмотрение данной исторической ситуации с позиций альтернативности исторического процесса. “В случае победы декабристов рабство было бы уже не восстановлено, но вполне возможны были бы смуты, народное непонимание, борьба партий и группировок. По всей видимости, через некоторое время установилась бы диктатура”<sup>47</sup>. Неустойчивое архаическое народное сознание не исключает, по Гудошникову, исторического творчества народа, творчества, во многом бессознательного. Вслед за Л.С. Франком, автором изученной Гудошниковым книги “Духовные основы общества”, историк считает, что в современной жизни роль подсознательного очень велика. Можно предположить, что его интерес к данной проблеме стимулировался современной ему исторической ситуацией, когда Великая российская революция подходила к своему наиболее трагическому этапу – сталинизму, ситуации, которая характеризовалась мощным потоком бессознательного в жизни общества. С другой стороны, как нам представляется, – это попытка соединить некоторые неокантианские положения с марксизмом. Бессознательная сфера руководит великими народными движениями – политическими и религиозными<sup>48</sup>. “Война 1812 года и революция 1917 года – вот примеры этого. И там и здесь народ выступал меньше всего логически. В одном случае он спас государство, в другом – его разрушил. Общество, где превалирует логическая сфера, – это только мещанское общество, без страстей и крайностей. В случае внешней катастрофы иногда они способны поднять со дна свои инстинкты и отстоять себя”<sup>49</sup>.

Между подневными записями, размышлениями “для себя” и дальнейшей преподавательской деятельностью Гудошникова существует несомненная связь, хотя нельзя не заметить тех ограничителей, которые накладываются временем, самостоятельность суждений и широта научных интересов сталкиваются, опосредуются, подчиняются социальному заказу. Сохранившиеся в Иркутском государственном архиве планы лекций, прочитанных в вузах города Иркутска, отличаются, на наш взгляд, высоким профессионализмом. Планы лекций 1933–1934 учебного года знакомят слушателей с философией Гегеля, марксизмом, преподавательской деятельностью В.О. Ключевского и его школы. Планы лекций для Комвуза за 1934–1935 гг. включают такие вопросы, как методология истории, предмет истории и понятие исторического факта, знакомство со взглядами великих “старых историков” С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Р.Ю. Виппера, С.Ф. Платонова и других, наконец, достаточно полное изложение хода российской истории. Завершаются лекции в духе времени: журнальной вырезкой, очевидно рецензией на работу Л.П. Берия “Из истории большевистских организаций Закавказья”: “Целый ряд исторических документов, приведенных во втором издании книги тов. Берия, ярким светом озаряют тяжелую обстановку в

атмосфере непрерывных полицейских преследований, арестов, тюрем, ссылки, каторжные условия, в которых вел напряженную героическую революционную работу великий соратник Ленина, наш великий Сталин”. Рецензия относится к 1937 г. Очевидно, что, по условиям момента, лекционные планы Гудошникова не оставались без изменений.

Профессиональная деятельность Гудошникова на протяжении большей части 1930-х годов была достаточно активной и успешной (до 1934 г. – преподаватель истории в вузах Иркутска, научный сотрудник истпартотдела Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б), доцент, автор учебника по истории СССР для 3–4 классов средней школы). В этот период Гудошников начинает свою педагогическую деятельность, получает звание доцента, разрабатывает учебник по истории для 3–4 класса, выступает с рядом публикаций, ведет партийную и общественную работу, отмеченную даже заметкой в газете “Правда” от 26 сентября 1937 г. “Семинары для преподавателей истории”.

Кратковременный арест (23 сентября 1938–17 мая 1939), во время которого, по сохранившимся сведениям, Гудошников вел себя мужественно, принадлежности к “правотроцкистам” не признал и никого не оговорил, дополняет биографию деятеля провинциальной науки 1930-х годов.

Обратим внимание на сложность познавательной ситуации, в которой приходилось действовать Гудошникову, уместность характеристики этой ситуации формулой “сочетание противоположных тенденций”. С одной стороны, многими современными Гудошникову мыслителями, да и им самим, отмечалась особая историчность переживаемой им эпохи, когда, употребляя выражение М.Н. Покровского, “исторические события пошли так же густо, как рыба в камчатских реках”. Соответственно в этот период мы говорим о подъеме исторического сознания, об осмыслении новой исторической реальности.

С другой стороны, действует противоположная противоборствующая тенденция – для непосредственных участников грандиозного революционного эксперимента представлялась уже выясненной общая направленность исторического процесса и основные его характеристики. Победа Октябрьской революции объяснялась адекватным познанием большевиками и Лениным хода мирового исторического процесса, и чем сильнее было стремление участников эксперимента совпасть со своей великой и исторической эпохой, тем меньше оставалось возможностей для исторической рефлексии. Гудошников при формулировке задач собственно исторического исследования проявляет несвойственную ему творческую робость, рассматривая в качестве таковых введение в оборот новых исторических фактов, осмысление их с марксистских позиций, написание исследований, посвященных тем или иным конкретным проблемам, – речь, как видим, не идет о создании общей картины исторического процесса. Хотя в конкретной исследовательской практике он вынужден был решать эти проблемы синтеза, отражением чего можно считать его “Учебник по истории СССР для 3–4 классов средней школы”<sup>50</sup>.

Достаточно сложной работы машинописный и рукописный варианты этого учебника<sup>51</sup>, написанного нашим автором. В тексте учебника

сочетаются заимствование из трудов Ключевского, Костомарова, элементы экономического материализма, гипертрофированный классовый подход, ультракритическое отношение к старой, дореволюционной России и задачи воспитания нового советского патриотизма (этим мотивируется и включение значительной части материала, посвященного теме “Россия – тюрьма народов” и т.д.)<sup>52</sup>.

Остановимся на наиболее разработанном: истории революции и гражданской войны в Сибири. Этой теме Гудошников посвящает ряд публикаций, такие как “Декабрьские бои 1917 года в Иркутске”. (Москва–Иркутск, 1927), статью “Октябрьская революция в Сибири”, статью о революции в Сибири в Советской Сибирской энциклопедии и др. Наконец, после смерти Гудошникова, его коллеги и ученики подготовили к печати книгу “Очерки по истории гражданской войны в Сибири”, в которой собраны результаты исследований Гудошникова по этой теме. В указанных публикациях, выдерживая общеобязательные для советской историографии требования безусловной положительности оценки революции, Гудошников достаточно объективно показывает сложности и противоречия революционного процесса в Сибири, причины его отставания от общероссийских, декабрьские бои 1917 г. в Иркутске, трудности, с которыми столкнулась советская власть в первые месяцы своего существования в Сибири и т.д. Представляется, что Гудошников в рамках марксистской историографии стремился выдержать принцип объективности исторического исследования.

Сложный противоречивый процесс становления исторической науки, профессионализации первой генерации советских историков предусматривал, разумеется, сохранение, или, как сейчас принято говорить, деление культурной традиции как в рамках генерации в целом (недаром в исторической литературе начинают говорить о позитивистской составляющей советской исторической науки), так и на уровнях группового и индивидуального сознания. И как раз обращение к уровню индивидуального сознания, размышлениям деятеля науки над основами и горизонтами своей деятельности позволяет нам оценивать его творческий потенциал, ставить вопрос о востребованности и невостребованности применительно к отдельным деятелям исторической науки и науке в целом.

<sup>1</sup> См. например: Первые историки Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири. Биобиблиографический указатель. Новосибирск, 1988. С. 46–48; *Коваль С.Ф.* М.А. Гудошников и Ф.А. Кудрявцев во главе иркутской школы историков в 1940–1960-х годах // Байкальская историческая школа: проблемы региональной истории: Тезисы докладов научных конференций. Иркутск, 1994. Ч. 1. С. 16; *Казарин В.Н.* Образование, наука и интеллигенция в Восточной Сибири (вторая половина 40-х – середина 60-х годов XX века). Иркутск, 1998.

<sup>2</sup> ГАИО. Ф. 2703.

<sup>3</sup> Этот источник введен в научный оборот автором данной статьи. См.: *Колеватов Д.М.* Методологические поиски М.А. Гудошникова в конце 1920-х – начале 1930-х годов // Проблемы истории науки и культуры. Омск, 1993. С. 128–137; *Рыженко В.Г., Колеватов Д.М.* Творческое наследие ученых-гуманитариев в меняющихся реалиях сибирской провинции XX в. (историко-культурологические подступы к проблеме) // Локальные культурно-исторические исследования. Теория и практика. Омск, 1998. С. 138–167.

<sup>4</sup> ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 11. Л. 34.

- 5 Крусман В.Э. История и современность // Пути науки. Введение в историческое знание: Сб. ст. проф. Крусмана, Дурденевского, Булаховского и Казанского. Пермь, 1918. С. 12–22.
- 6 Пресняков А. Обзоры пережитого // Дела и дни. 1920. Кн. 1. С. 346.
- 7 Тарле Е. Очередные задачи // Анналы. Петербург. 1922. № 1. С. 16.
- 8 ГАРФ. Ф. 5284. Оп. 1. Д. 269. Л. 47
- 9 Там же.
- 10 Там же. Л. 132.
- 11 ГАРФ. Ф. 5284. Оп. 17 Д. 559. Л. 1.
- 12 Там же.
- 13 Там же.
- 14 ГАИО.Ф. 2703. Оп. 1. Д. 14. Л. 73.
- 15 Сидоров А.В. Марксистская историографическая мысль 1920-х годов. М., 1998. С. 17–19.
- 16 ГАРФ. Ф. 5284. Оп. 1. Д. 559. Л. 1 об.
- 17 Там же. Л. 2 об.
- 18 Генкина Э.Б. Воспоминания об ИКП // История и историки. Историографический ежегодник за 1981 год. М., 1985. С. 263.
- 19 Авторханов А. Мемуары. Франкфурт-на-Майне, 1983. С. 347.
- 20 ГАРФ. Ф. 5284. Оп. 1. Д. 559. Л. 27.
- 21 Исторический архив. 1999. № 4. С. 178.
- 22 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 11. Л. 72.
- 23 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 11. Л. 11.
- 24 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 5. Л. 82.
- 25 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 2. Л. 28.
- 26 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 24. Л. 50 об.
- 27 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 об.
- 28 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 13. Л. 33–34.
- 29 Там же. Л. 36–37.
- 30 Там же. Л. 34–35.
- 31 Там же. Л. 35–36.
- 32 Там же. Л. 39.
- 33 Там же. Л. 11.
- 34 Там же. Л. 14.
- 35 Там же.
- 36 Там же. Л. 25–26, 30.
- 37 Там же. Л. 29–30.
- 38 Там же. Л. 31.
- 39 Там же. Д. 5. Л. 10. Отметим, для полноты картины, что конец текста, а именно ссылка на Плеханова и Троцкого Гудошниковым зачеркнута.
- 40 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 13. Л. 73 об.
- 41 Там же. Л. 20.
- 42 Там же. Л. 17–21.
- 43 Там же. Л. 23.
- 44 Там же.
- 45 Там же.
- 46 Там же.
- 47 Эйдельман Н. “Революция сверху”. М., 1989.
- 48 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 13. Л. 3.
- 49 Там же.
- 50 Колеватов Д.М. Школьный учебник как историографический источник (к вопросу о провинциальной советской науке 1930-х годов) // Мир ученого в XX веке: корпоративные ценности и интеллектуальная среда. Материалы IV Всероссийской научной конференции: Культура и интеллигенция России: Интеллектуальное пространство (Провинция и Центр): XX век. Омск, 2000. С. 79–82.
- 51 ГАИО. Ф. 2703. Оп. 1. Д. 27–28.
- 52 Там же.

# ИСТОРИЯ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



Д.А. Гутнов

## РУССКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В ПАРИЖЕ 1901–1906 гг.

Возникновение и деятельность в Париже Русской высшей школы общественных наук в 1901–1906 гг. положило начало практическому воплощению в жизнь идей создания негосударственной системы высшего образования в России.

В деятельности этой школы закладывались основные принципы организации многих будущих русских негосударственных образовательных учреждений, внесших вклад в дело образования населения и общественный прогресс нашей страны.

Освещение в отечественной литературе истории Русской высшей школы общественных наук в Париже имеет свои устоявшиеся традиции. Оно начинается с первых публикаций о международной школе Всемирной Парижской выставки 1900 г.<sup>1</sup>, которые знакомили русскую общественность с просветительскими начинаниями министра народного просвещения Французской республики Леона Буржуа и группы русских профессоров, среди которых были будущие основатели Русской высшей школы общественных наук в Париже. Впоследствии, когда появление первого высшего свободного русского учебного заведения в Западной Европе стало фактом свершившимся, его проблемам и будням были посвящены многие публикации русской прессы<sup>2</sup>. Методика и организация преподавания в этом высшем учебном заведении анализировались и в специальных педагогических изданиях<sup>3</sup>, предоставлявших свои страницы и самим основателям школы<sup>4</sup>.

В 20–60-е годы XX в. история этого учебного заведения была интересна отечественной исторической науке в первую очередь именно тем, что в ее стенах прочел несколько лекций по аграрному вопросу в России В.И. Ленин. Этот факт был досконально исследован в многочисленных статьях<sup>5</sup>, и дополнен документальными публикациями<sup>6</sup>. Последней по времени работой такого рода можно считать статью П. Московского и В. Семенова<sup>7</sup>.

И лишь в 60–70-х годах стало возможно более объективно и всесторонне посмотреть на деятельность первого свободного русского учебного заведения. Одной из первых работ о нем была статья Г.Г. Мошкова<sup>8</sup>. Следующим этапом разработки темы стала кандидатская диссер-

тация Ю.С. Воробьевой, посвященная истории народного университета Шаняевского<sup>9</sup>, где на наш взгляд совершенно справедливо подчеркивается тесная взаимосвязь между опытом создания Русской высшей школы общественных наук в Париже и последующим развитием всей системы негосударственного образования в России. Ее же перу принадлежит наиболее полная на сегодняшний день статья, об истории самой школы<sup>10</sup>. К перечисленным работам следует добавить довольно обширную статью французского исследователя Кристофа Прошассона, посвященную историю колледжа и школы общественных наук в Париже, генетически связанных друг с другом. В ней содержатся малоизвестные детали сотрудничества и кооперации обоих учебных заведений в административно-финансовых и организационно-учебных вопросах<sup>11</sup>. Наконец, содержательный анализ тех социологических, экономических и правовых идей, которые излагались с кафедры этого учебного заведения, содержится как в различных трудах общего характера<sup>12</sup>, так и в монографических исследованиях творчества ученых, работавших в школе<sup>13</sup>.

Возникновение Русской высшей школы общественных наук в Париже было порождено сложными условиями, в которых развивалось русское высшее образование в конце XIX – начале XX в.: противоречия верховной власти с университетами, участие студенчества в революционном движении, социальные и национальные ограничения образовательного процесса со стороны властей века.

Трудные условия складывались для многих русских ученых, чьи взгляды отличались от официальной идеологии. По тем или иным причинам в конце XIX в. был лишен права работать в российских высших учебных заведениях не один десяток известных профессоров. Напомню некоторые имена: Илья Мечников, известный русский медик и основатель русской иммунологической школы, ушел в отставку из-за своего несогласия с пересмотром устава 1863 г., уехал во Францию, где через некоторое время возглавил Пастеровский институт. Максим Ковалевский, известный историк и правовед был исключен из числа профессоров Московского университета за публичную критику политической системы самодержавия и был лишен права работы в российских высших учебных заведениях до 1905 г. Сходная судьба была и у коллеги Ковалевского по юридическому факультету Московского университета Юрия Гамбарова, исключенного из университета за поддержку армянского политического движения на Кавказе. Известный русский медиевист Павел Виноградов был отстранен от работы в Московском университете за свой, как казалось властям, излишний либерализм в его посреднических усилиях между студентами и Министерством народного просвещения в 1901 г. Лишенные возможности профессионально реализовываться на Родине, все эти люди находили себе применение за пределами России. Нелегальная эмиграция была, естественно, значительно большей...

Появление большого числа русскоязычного населения за рубежом в сочетании с невозможностью получения высшего образования на Родине и желанием учиться на родном языке, не могло не привести к



появлению высших русских образовательных учреждений за границей, резко контрастирующих с традиционной формой его организации в России.

Именно тогда впервые была в полном объеме востребована идея организации свободных университетов, уже практиковавшаяся в странах Западной Европы с середины XIX в. Отличительной чертой этого типа высших учебных заведений от “традиционных” была их полная формальная независимость от государства, и, как следствие этого, отсутствие многих общепринятых факторов, сдерживавших получение высшего образования всеми желающими. Так, для поступления в эти учебные заведения не требовалось специальных экзаменов или представления свидетельства о среднем образовании, к занятиям наравне с мужчинами допускались и женщины, не было возрастных ограничений и пр. Условием учебы в большинстве из них была лишь минимальная плата за обучение и желание учиться. Их программа была рассчитана на два года и строилась с учетом того, что желавшие обучаться в них днем были заняты на работе. Именно в связи с этим впервые получила свое развитие вечерняя форма обучения. Программы некоторых свободных университетов предполагали, что помимо курсов, в них преподававшихся, студенты могли или должны были посещать некоторые занятия в “традиционных” университетах<sup>14</sup>.

Таким образом, новый тип учебных заведений, каковы были “свободные” университеты отражал довольно широкую потребность в получении высшего образования. Будучи по определению “свободными”, они были более открыты новым веяниям как в области политики, так и науки, активно откликались на вызовы времени и не чурались обсуждения острополемиических и в том числе политических тем. Этим в глазах молодежи середины XIX – начала XX в. они выгодно отличались от закрытых, традиционно аполитичных и оговаривающих прием в свои ряды множеством формальных ограничений университетских корпораций Европы. Среди подобных учебных заведений можно назвать как ставшие впоследствии престижными и уважаемыми школы – типа Лондонской школы экономики и политики (основана в 1898 г.), так и бывшими достаточно влиятельными, но впоследствии закрывшимися университетами, как, например, Новый Брюссельский университет (1900) и др. Мы не будем в контексте нашей темы подробно останавливаться ни на положительных, ни на отрицательных чертах этой формы организации образования. Это вопрос специального исследования<sup>15</sup>.

В нашем случае интерес представляет то, что в силу причин, описанных выше, среди студентов и преподавателей свободных университетов в Европе было очень много русских. Яркий пример тому – упомянутый Новый Брюссельский университет, где русских студентов и профессоров было настолько много, что русский наравне с английским и французским был одним из рабочих языков<sup>16</sup>.

В это время в Европе возникла и целая сеть колледжей и учебных институтов по социологии, ставшей перспективной научной дисциплиной. Многие из них имели статус свободных учебных заведений. Среди подобных школ можно назвать Стокгольмскую свободную школу об-

щественных наук (1890), социологический факультет Лондонского университета (1898), Миланскую свободную школу общественных наук (1897), упоминавшийся ранее Новый Брюссельский университет (1895), Свободный колледж социальных наук в Париже (1898) и, наконец, возникшую на его базе Свободную высшую школу общественных наук в Париже (1900).

Эта школа была открыта по инициативе, при материальном и организационном содействии депутата французского парламента, душеприказчика О. Конта доктора Евгения Делбе. В его организации приняли также участие такие известные ученые и общественные деятели, как Э. Вандервельде, Х. Лагардель, Ш. Сеньобос, Дж. Сорель. При своем открытии школа насчитывала три факультета: журналистики, общественных наук и морали. Чуть позже в ее составе был открыт факультет искусств. Кроме того, в состав школы входил и Колледж общественных наук. Студентом этой школы мог стать любой желающий без каких-либо ограничений. Плата за обучение составляла 30 франков в год. Учебный план строился исходя из двухгодичного обучения. Школа давала два типа дипломов: об окончании факультета и школы. Для получения диплома об окончании факультета необходимо было прослушать полный курс факультета, представить и публично защитить дипломную работу. По итогам защиты руководивший подготовкой диплома профессор докладывал о результатах работы совету факультета, который давал добро на выдачу документа. Диплом второго типа могли получить все окончившие два или более факультетов без каких-либо специальных испытаний, но при условии, что обе дипломные работы были посвящены социологической тематике<sup>17</sup>. В глазах французских властей это учебное заведение являлось если не “социалистическим”, то ультралиберальным. Об этом свидетельствуют документы наружного наблюдения французской полиции<sup>18</sup>. Этот вывод следовал не только из донесений полицейских филеров о политических пристрастиях студентов и лекций тех или иных профессоров школы. Ее либерализм проявлялся, например, в таких казусных вещах, как обращение в полицию от имени совета этого учебного заведения, имевшее целью “разрешить студентам школы появляться в ее стенах в мужском костюме из-за неудобств пользования велосипедами в женском платье”<sup>19</sup>. С самого начала функционирования в составе школы работали и русские ученые. Среди них назовем профессора Нового Брюссельского университета В. Лесеви-ча<sup>20</sup> и М.М. Ковалевского<sup>21</sup>.

Я столь подробно остановился на истории этого учебного заведения потому, что в ноябре 1901 г. именно в его составе возникла Русская высшая школа общественных наук.

Впервые идея о том, чтобы начать в Париже чтение лекций на русском языке по русскому гражданскому и государственному праву в дополнение к тому, что читалось в Свободном колледже общественных наук и Школе права была высказана М.М. Ковалевским в письме к Ю.С. Гамбарову осенью 1899 г.: “Если бы дело пошло, – писал М.М. Ковалевский, – можно было бы расширить и образовать род заграничного юридического факультета”<sup>22</sup>.

Однако, реальная история этой институции восходит к Всемирной Парижской выставке 1900 г. Тогда, по инициативе Леона Буржуа при выставке была организована международная ассоциация содействия науке, искусству и образованию. Последняя решила учредить международную школу, призванную дополнить экспонаты национальных павильонов живым рассказом о представляющих эти павильоны странах, развитии национальных наук, искусств и культуры. В связи с этим при выставке были организованы национальные образовательные комитеты, имевшие автономную структуру и координировавшие совместную работу через избиравшиеся на два года центральное бюро. Помимо самого Л. Буржуа, туда вошли известный французский социолог Вормс, профессора Моверт из Канады и Элли из США, Геддес из Великобритании и Ю.С. Гамбаров от России<sup>23</sup>. Состав этого органа должен был обновляться на проводимых раз в два года общих собраниях ассоциации. Решения этих съездов были обязательны для национальных комитетов. Постоянным местом пребывания бюро был избран Париж.

Одним из первых из национальных комитетов стала так называемая русская секция данной международной ассоциации<sup>24</sup>. Туда вошли знакомые уже нам профессора М.М. Ковалевский и Ю.С. Гамбаров, давно уже живший в Париже И.И. Мечников, сотрудничавший с русским журналом “Ревю де позитивизм”, издававшимся в Париже Е.В. де Роберти. Почетным членом секции согласился быть Л.Н. Толстой. Обязанности председателя секции были возложены на И.И. Мечникова, а М.М. Ковалевский и Ю.С. Гамбаров стали его заместителями.

Лекции и семинары русских профессоров пользовались огромным успехом у русскоязычных посетителей выставки. За все время работы международной школы русскими профессорами была прочитана 51 лекция<sup>25</sup>. На некоторые занятия собиралось до 350 слушателей. Немалую часть их составляли члены так называемого русского студенческого общества в Париже. В эту организацию входили выходцы из Российской империи, обучавшиеся во французских учебных заведениях и организовавшие на кооперативных началах собственную студенческую столовую, служившую им и местом собраний. Студенты пользовались имевшейся здесь библиотекой, обсуждали свои проблемы. Практиковалось и хоровое пение. Учитывая, что в 1901 г. в столовой продавалось до 400 завтраков в день, можно предположить, что таковым было минимальное число членов этого общества<sup>26</sup>.

Присутствовавший на лекциях корреспондент русского журнала “Вестник воспитания” В.П. Хопров писал: “...именно из уст последних были высказаны пожелания перевести лекции международной школы на постоянную основу”<sup>27</sup>. Эта идея показалась не безнадежной и главным строителям русской секции Ю.С. Гамбарову и М.М. Ковалевскому. Они предполагали в качестве эксперимента проработать на этом поприще два года (т.е. срок до своих перевыборов с постов в русской секции международной ассоциации при выставке). Именно эти два профессора вложили в организацию будущей школы часть своих личных сбережений. Как сообщал позже Ю.С. Гамбаров, организация школы обошлась в сумму 3000 франков (1100 рублей), причем одна половина была состав-

лена из средств профессоров, а вторая половина собрана слушателями<sup>28</sup>. Правда, сам М.М. Ковалевский зафиксировал в своем архиве такой любопытный факт, что открытие школы стало возможным после того, как на нужды этого учебного заведения в Лионский банк от неизвестного дарителя была внесена круглая сумма размером в 30 000 франков<sup>29</sup>. Эта немаловажная деталь позволяет говорить о том, что в России или за ее пределами существовали отдельные люди или более широкие группы, заинтересованные в появлении подобного учебного заведения. К сожалению, неизвестно, кто были эти добродетели.

Устав Русской высшей школы общественных наук не дошел до нас в своем оригинальном виде и известен лишь через свидетельства заинтересованных лиц и организаций. Так, из документов особого отдела русского департамента полиции, пристально следившего за деятельностью школы, ясно, что вся полнота власти в этом учебном заведении принадлежала совету, состоящему из профессоров школы и выбиравшему из своей среды распорядительный комитет. Последний состоял из 5 человек: президента, двух вице-президентов, генерального секретаря и его помощника<sup>30</sup>. Президентом школы стал И.И. Мечников, вице-президентами Е.В. де Роберти и М.М. Ковалевский. Генеральным секретарем был избран французский славист Виктор Анри<sup>31</sup>. Именно распорядительный комитет должен был организовывать преподавание в школе, наблюдать за его ходом, приглашать для чтения лекций преподавателей.

Устав предполагал существование при школе и специального попечительского совета. В 1903 г. он состоял из 31 человека, по преимуществу из выдающихся представителей французской науки и общественных деятелей. Среди членов этого органа были такие люди, как уже известный нам Леон Буржуа, депутат бельгийского парламента, видный общественный и политический деятель, профессор Нового Брюссельского университета Э. Вандервельде, директор Пастеровского института Э. Дюло и др.<sup>32</sup> Из имеющихся в нашем распоряжении сведений трудно сделать вывод о каких-либо четких прерогативах попечительского совета. Известно лишь, что собирался он ежегодно или даже два раза в год для обсуждения возможности введения улучшений в систему преподавания<sup>33</sup>.

Если месторасположение нового учебного заведения – Париж – не вызывал особых сомнений ни у кого, то статус и организационная структура, плата за обучение и другие “технические” вопросы требовали своего неотложного решения. Тут свою роль сыграли обширные научные и личные связи М.М. Ковалевского. Он к описываемому времени был достаточно хорошо известен во французских научных и университетских кругах. Его лекции в колледже при Высшей школе общественных наук пользовались большим успехом среди учащейся молодежи<sup>34</sup>.

По свидетельству самого Ковалевского, получение разрешения на преподавание в Русской высшей школе общественных наук в Министерстве народного просвещения Франции возможно было “...при условии, что преподавание в ней не будет иметь антифранцузской или клерикальной направленности”<sup>35</sup>. Об этом мы имеем и свидетельства французских архивов<sup>36</sup>. Однако имевшиеся в распоряжении организаторов школы средства были недостаточны, чтобы одновременно оплачивать аренду

учебных помещений, платить заработную плату профессорам и оплачивать командировки приглашенных преподавателей из России.

Выход нашелся в слиянии Русской школы общественных наук (РВШОН) и Высшей школы общественных наук на правах полной самостоятельности, с сохранением автономной структуры, но с подчинением общим правилам функционирования, принятой во французской школе. Как вспоминал М.М. Ковалевский, контроль состоял в том, что от силы дважды в год в школу приходил инспектор, как правило, ничего не понимавший по-русски и ему сообщались имена лекторов и предметы их чтения<sup>37</sup>. Правда, как показывают документы, негласно контролировали деятельность школы также как русская, так и французская полиция.

Основатели РВШОН нигде не подчеркивали свою подчиненную связь с родственными французскими учебными заведениями. Поэтому и в литературе, посвященной истории школы она часто представляется как полностью независимая организация. Этой точки зрения придерживалось большинство корреспондентов русской прессы, освещавших ее деятельность, и значительная часть исследователей. Однако в данном вопросе мы более склонны доверять французской историографии в том, что РВШОН вошла в состав французской школы общественных наук. Об этом говорит и близость многих пунктов уставов обоих институций. Приведем параллельные выдержки из обоих документов:

Русская высшая школа общественных наук <sup>38</sup>	Ecole d'Hautes Etudes Sociales <sup>39</sup>
<p>П.3. В программу Высшей школы входят а) систематические курсы по различным отраслям общественных наук б) дополнительные курсы в) практические занятия г) социологические исследования.</p> <p>П.4. Профессора школы и лица, читающие в ней отдельные лекции пользуются полной свободой преподавания под свою ответственность и в пределах действующего во Франции законодательства.</p> <p>П. 8. Высшая Школа открыта для всех желающих.</p> <p>П. 9. Лица, желающие считаться вольными слушателями вносятся в списки студентов и получают номер, дающий право посещения всех занятий и всех курсов.</p> <p>П.11. Запись производится в начале учебного года в секретариате.</p> <p>П. 13. Плата за обучение составляет 10 франков для посещающих занятия на каждом из трех факультетов.</p>	<p>П.3. В программу занятий входят систематические курсы и конференции. Каждый профессор пользуется полной свободой преподавания и изложения собственной точки зрения.</p> <p>П. 10. К занятиям в школе могут быть допущены все желающие при выполнении следующих условий.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Запись в секретариате школы.</li><li>2. Общая плата за обучение в школе составляет 30 франков или по 10 франков за посещение занятий на одном из факультетов.</li></ol>

---

П.5. Для получения диплома студенты Высшей Школы обязаны

1. Предоставить удостоверение трех профессоров школы об успехах в учебе.
2. Предоставить дипломную работу по теме, одобренной и допущенной к защите советом профессоров.
3. Публично защитить диссертацию.

### **Диплом Высшей Школы Общественных наук**

П.1. Высшая Школа Общественных Наук дает два типа дипломов: диплом об окончании факультета и об окончании школы.

П.2. Для получения диплома об окончании факультета кандидат обязан проучиться не менее двух лет, прослушать все обязательные предметы и показать при этом успехи в учебе. Он обязан представить оригинальную работу, которая рецензируется профессором, назначенным советом школы.

Профессор докладывает совету об успехах кандидата, и в случае, если последний показывает необходимую квалификацию совет, дает согласие на выдачу диплома.

П.3. Диплом Высшей Школы выдается без каких-либо дополнительных экзаменов тем слушателям школы, кто представит диплом об окончании двух факультетов при условии, что обе дипломные работы посвящены социологической тематике.

П. 4. Сокращение срока обучения возможно для студентов иностранцев по разрешению президента факультета.

---

Как видно, родственность, а в ряде случаев и тождественность положений обоих уставов не вызывает сомнений.

Войдя в состав французского учебного заведения, русская школа восприняла французскую административную структуру (президент–вице-президенты–генеральный секретарь) и систему аттестации, о которой мы писали выше. Для получения диплома об окончании школы (Certificat d'Etudes Sociales) "... требуется удостоверение трех профессоров, под руководством которых слушатель занимался и письменное сочинение с публичной защитой в Ecole d'Hautes Etudes Sociales"<sup>40</sup>.

Работа в составе французского учебного заведения была крайне выгодна основателям Русской школы, так как избавляла их от необходимых расходов и формальностей самостоятельного существования в чужой стране. Они получили в пользование аудиторию в помещении, где проходили занятия французского партнера и даже могли рассчитывать на какую-то часть субвенции в 12 000 франков от французского парламента.

Объявление об открытии Русской высшей школы общественных наук было помещено в *Revue Internationale de Sociologie*<sup>41</sup>. Выступая на торжественном открытии школы 19 ноября 1901 г. в присутствии многочисленных слушателей, профессоров школы и гостей М.М. Ковалевский подробно остановился на значении социологической науки как новой синтетической дисциплины, призванной объединить воедино усилия большинства “традиционных” общественных наук, будь то история, экономика, этнография или политология. Характеризуя задачи нового учебного заведения, он говорил: “...И вот, нам показалось, что собрать в один фокус все эти взаимно восполняющие друг друга, теснейшим образом связанные между собой знания и на почве их представить, если не самостоятельные попытки возведения абстрактного обществоведения, то по крайней мере критику сделанных другими попыток в этом направлении, будет делом новым и полезным”<sup>42</sup>.

Решение этой задачи, по мнению М.М. Ковалевского, возможно лишь на основе сравнительно-исторического метода. По его словам, история раскрывается нам в постепенной смене национальных форм в более универсальные. Это касается и замены национальных религий на религии мировые, и в развитии художественного творчества от местных вкусов до общих идеалов, и, наконец, “... постепенного накопления общего положительного знания и опирающейся на него научной техники: та же история указывает на прочный фундамент, на котором развивается прогрессирующая и расширяющая свою сферу гражданственность и культура”<sup>43</sup>.

Отсюда вытекали и общие задачи, которые выдвигали основатели школы. “Особенность нашего преподавания будет состоять, во-первых, в параллельном изложении специалистами экономики и этики, права и политики, не говоря уже об этнографии и других смежных дисциплинах и, во-вторых, в приложении ко всем этим наукам исторического, или, вернее, историко-сравнительного метода”<sup>44</sup>. Не обещая будущим студентам сделать их профессиональными экономистами, финансистами, или политиками, Ковалевский, тем не менее, говорил, что полученные в школе знания при надлежащем знании современных требований, самостоятельном труде и позднейшей специализации занятий могут составить фундамент их будущего профессионализма.

Организаторы школы привлекли к работе и многих русских ученых, оказавшихся на тот момент за границей. Среди них были как бывшие преподаватели международной школы Всемирной Парижской выставки (например, И.И. Мечников, Е.В. де Роберти), так и новые имена. Назовем также жившего с 1898 г. за границей профессора политэкономии и статистики Московского университета А.И. Чупрова и сменившего его на кафедре Московского университета Н.А. Каблукова, известного экономиста М.И. Туган-Барановского, бывшего приват-доцента Киевского университета Е.В. Аничкова, бывшего приват-доцента Московского университета П.Н. Милюкова, уже упоминавшегося нами историка П.Г. Виноградова и его коллег Н.И. Кареева и В.И. Лучицкого, украинского историка Л. Трачевского, известного отечественного библиографа С.И. Венгерова, поэта В. Бальмонта, писателя-романиста Ва-

дишевского и др. Всего в 1901–1902 гг. на постоянной основе в школе работали 13 человек, 6 человек приглашенных педагогов языковых курсов, 32 сторонних преподавателей специальных курсов и практических занятий. Из них 20 человек вели занятия на русском и 12 на французском языках<sup>45</sup>.

Первое время недостаток преподавателей объяснялся тем, что школа не могла оплачивать командировочные расходы приглашенных из России педагогов. Однако, ситуация изменилась в 1903 г., когда увеличившаяся сумма пожертвований позволила решить и эту проблему<sup>46</sup>. Но и в лучшие годы своего существования для восполнения недостающих лекторов, организаторы обращались за содействием к французским коллегам. Таким образом, согласно учебному плану наряду с известными отечественными учеными работало немало иностранцев. Среди них можно назвать имена известных славистов П. Буайо и Г. Леруа-Бальо, Э. Реклю, М. Тарда, М. Мосса, Дж. Сореля и др. Немаловажным здесь являлось то, что рабочим языком Школы был русский. Поэтому все иностранные преподаватели, кто владел русским читали лекции по-русски<sup>47</sup>. Однако по мере расширения практики привлечения иностранных профессоров, некоторая часть занятий велась на французском языке.

Преподаватели школы не были связаны в своем изложении учебного материала никакими формальными запретами, за исключением необходимости и целесообразности изложения того или иного материала для полноты изучаемого предмета. Таким образом, традиционный в России министерский контроль был заменен принципом доверия между профессорами и студентами. Как совершенно справедливо пишет об этом Ю.С. Воробьева, «эта школа была первым русским учебным заведением, в котором были осуществлены принципы свободы преподавания и автономии, т.к. она находилась абсолютно вне сферы бюрократической опеки Министерства Народного Просвещения»<sup>48</sup>.

Учебный план новой школы отражал изложенные выше задачи. Чисто организационно он включал в себя несколько составляющих частей. Прежде всего, это были основные курсы (*Courses reguliers*). Помимо основных курсов слушателям предлагалось участие в семинарских занятиях (*Courses complementaires et conferences*), а также практические занятия (*Exercices et travaux pratiques*), конкретизирующие и дополняющие основные курсы.

Любопытно, что когда буквально накануне открытия школы министр народного просвещения Н.П. Боголепов своим распоряжением ввел практикумы как обязательный тип занятий в российских университетах, многие профессора, в том числе и будущие преподаватели Русской школы в Париже, посчитали этот шаг ущемлением свободы преподавания. Несколько месяцев же спустя этот тип занятий без каких-либо политических трудностей вошел в учебный план свободного русского университета за границей<sup>49</sup>. Соотношение между основными типами занятий в школе было достаточно традиционным для русских университетов. На первом месте по количеству стояли специальные курсы и практические занятия, чуть меньше проводилось конференций и семинаров, и лишь малую часть учебного времени составляли общие курсы лекций.



На протяжении четырех лет конкретная тематика претерпевала некоторые изменения, но все же их можно условно разделить на несколько групп: 1) курсы по теории и методологии естественных и гуманитарных наук; 2) философии и социологии; 3) всеобщей и русской истории; 4) правоведения и политологии; 5) экономики и статистики; 6) антропологии и этнографии; 7) истории искусства и литературы.

Если говорить о соотношении различных составляющих в учебном плане школы, то наибольшее время занимала общеполитическая, социологическая и экономическая проблематика. Чуть меньше занятий было посвящено всеобщей и русской истории, правоведению и психологии. Вслед за ними следовали курсы по антропологии и этнографии, истории религии, литературы и искусства.

Как свидетельствовал Ю.С. Гамбаров, в 1903 г. лекции обычно читались по вечерам, а специальные курсы, конференции и практические занятия, проводились днем. Вечерами на особо интересующие слушателей лекции собиралось до 400–500 человек<sup>50</sup>.

По словам организаторов школы, при ее создании предполагалось, что помимо основных занятий, студенты могут или даже обязаны “...слушать лекции одновременно в нескольких учреждениях. К счастью, в Париже, кроме Сорбонны и Коллеж де Франс, где читают светила французской науки, существуют два учреждения, задачи которых довольно близко совпадают с задачами Высшей русской школы, т.е. колледжа и высшей школы общественных наук...”<sup>51</sup>

Первоначальному успеху своего начинания, основатели школы во многом обязаны той рекламе, которую получила ее деятельность в русской либеральной прессе. О том, как происходило создание первого русского университета за рубежом, информировали своих читателей и такие солидные печатные органы, как “Российские ведомости” или “Русское слово”, а также специализированные периодические издания: газета “Право”, журнал “Вестник воспитания” и др.

Это дало определенный эффект: при открытии школы в 1901 г. среди ее первых слушателей было немало тех, кто специально приехал из России прослушать ее курс. По словам Ю.С. Гамбарова, среди студентов в то время была очень популярна история о трех иркутских учительницах, которые бросили работу для того, чтобы проучиться два года в стенах Русской Школы в Париже. При этом они добрались до Владивостока, пересекли два океана и территорию США<sup>52</sup>. Подобный же рассказ мы нашли в одном из писем А.И. Чупрова М.М. Ковалевскому, датированном ноябрем 1901 г., где он сообщает: “...мне передавали, что уходит целый ряд лиц из служащих в Московском Статистическом Бюро с тем, чтобы отправиться в Париж...”<sup>53</sup>

Одновременно быстро рос авторитет данного учебного заведения и в среде русской эмигрантской молодежи, немалую долю которой составляла революционная компонента. Например, Л.Д. Троцкий в своих воспоминаниях писал, что в 1903 г., когда по решению партии, он должен был нелегально ехать в Россию «...план был изменен. Дейч, – свидетельствовал он, – который очень хорошо ко мне относился, рассказывал мне, что он “вступился” за меня, доказывая, что юноше нужно

пожить за границей и поучиться и В.И. Ленин согласился с этим... Я вернулся в Париж, где в отличие от Лондона была большая русская студенческая колония и посещал занятия в Высшей Школе, организованной в Париже изгнанными из русских университетов профессорами...»<sup>54</sup>. Исследовательница Ю.С. Воробьева приводит такой любопытный факт, что некоторое время слушателем Русской высшей школы был известный революционер-большевик Артем (Ф.А. Сергеев). Для того, чтобы поехать в Париж, ему пришлось около полугода отработать в Одессе управляющим ресторана<sup>55</sup>.

Революционную молодежь привлекала в школе не только ее оппозиционность самодержавию и доступность как в материальном, так и в формальном смысле (вспомним, что для поступления туда не требовалось предъявлять свидетельства об окончании среднего учебного заведения). Немалое значение имел сам статус студента. Как сообщают полицейские отчеты Парижской префектуры полиции, «каждый второй из членов русского студенческого общества в Париже имеет студенческий билет Высшей Школы Общественных Наук, расположенной по ул. Сорбонны, 16. Этот билет не дает его обладателю ничего, кроме возможности получить койку в общежитии в течение двух зимних месяцев»<sup>56</sup>. Более же полный документ – аналитический доклад о состоянии и деятельности русской эмиграции в Париже в 1903–1912 гг., подготовленный Парижской префектурой полиции Министерству внутренних дел Франции, указывает, что «... приблизительно треть русских студентов, принятых в университеты в последние годы, не имела законченного среднего образования и никакого права на поступление в высшие учебные заведения... Правда, большое их число никогда не училось и стали студентами лишь чтобы получить студенческий билет, используемый ими как защита при многих обстоятельствах»<sup>57</sup>.

Как представляется, именно число этих последних учащихся продолжало увеличиваться по мере роста популярности школы, что в конечном счете способствовало ее политизации, особенно накануне Первой русской революции.

Со своей стороны русский департамент полиции с явным недоброжелательством следил за развитием образовательной инициативы оппозиционной либеральной профессуры. Охранка пыталась воспрепятствовать деятельности школы несколькими путями. Сначала, через русского посла во Франции была предпринята попытка, апеллируя к упрочению традиционно дружественных связей между Россией и Францией, добиться закрытия школы<sup>58</sup>. Когда это не удалось, то для создания материальных проблем РВШОН, были предприняты действия, мешавшие переводу личных денег М.М. Ковалевского из Харьковского банка в Париж, которые тот собирался направить на развитие своего детища<sup>59</sup>.

Наконец, пиком давления властей на руководителей школы стал ультимативный приказ ее организаторам, переданный русским правительством через своего посла в Париже, немедленно вернуться в Россию или стать эмигрантами<sup>60</sup>. Вследствие этого Е.В. де Роберти вынужден был взять на себя обязательство «не принимать участия в деятель-

ности школы...»<sup>61</sup> М.М. Ковалевский же решил продать свое имущество в России «и тем приобрести свободу действий»<sup>62</sup>.

Все это затруднило и без того непростой процесс приглашения в Париж профессоров для чтения предусмотренных учебным планом курсов. Как указывает сам Ковалевский в одном из своих писем к А.И. Чупрову, в 1904 г. для нормальной работы школы ему пришлось обращаться более чем к 80 лицам из числа как русских, так и иностранцев<sup>63</sup>.

Происходила нарастающая политизация слушателей школы. Преподаватели школы не обходили полемических тем по текущей политике и часто приглашали для докладов известных русских оппозиционных деятелей. Так, известно, что с несколькими лекциями в школе выступил П.Б. Струве<sup>64</sup>. Однако он, как и подавляющее большинство работавших там русских профессоров, были либералами. Между тем, оппозиционно настроенная молодежь открыто выражала недовольство умеренностью критики существующего в России политического строя, звучавшей с кафедры этого учебного заведения. В связи с этим уместно процитировать строки письма того же А.И. Чупрова, который, ссылаясь на разговор с одной из своих петербургских знакомых, приводит слова ее сына, учившегося в Русской высшей школе в 1903 г. Обращаясь к матери, молодой человек жаловался, что «...приезжие русские профессора читали в Париже, как будто бы и не переезжали русской границы, т.е., короче говоря, не призывая к революции»<sup>65</sup>.

В итоге, появление в учебном плане 1903 г. 20-ти часового курса лекций известного деятеля русского революционного движения В.М. Чернова по теории классовой борьбы и К.Р. Качоровского, читавшего историю крестьянской общины в России в пореформенный период<sup>66</sup>, представляется логическим продолжением всей ситуации, сложившейся вокруг школы и внутри ее к тому моменту.

Принадлежность обоих лекторов к партии эсеров была очевидна, и это в определенном смысле взорвало хрупкое согласие, особенно в студенческой среде. Так как политические пристрастия студентов школы, если судить по их немногочисленным воспоминаниям, в основном распределялись между приверженцами социалистов-революционеров и социал-демократов<sup>67</sup>, то последние были уязвлены столь весомой победой своих политических оппонентов.

Именно тогда родилась идея, в качестве ответной меры противодействия эсеровскому влиянию в школе, пригласить прочесть там несколько лекций одного из теоретиков социал-демократии. Инициативу взяла на себя, находящаяся в школе, группа сторонников «Искры», недавно прибывших в Париж после побега из киевской тюрьмы<sup>68</sup>. Обсудив этот вопрос с проживавшим в то время в Париже Ю.О. Мартовым, они внесли в совет школы предложение о том, что «студенчество, заинтересованное выслушать по аграрному вопросу представителей различных точек зрения, просит пригласить для чтения нескольких лекций известного марксиста В. Ильина, автора книг «Развитие капитализма в России» и «Экономические этюды»»<sup>69</sup>. Примечательно, что в этом обращении, переданном руководителям школы Ю.А. Ефроном, ни словом не было обмолвлено о том, что за именем В. Ильин кроется фигура В.И. Ленина.

Это важно потому, что после того, как на имя Ильина в Лондон было отправлено официальное предложение выступить в школе, а совету не без помощи русской полиции стало известно, кто кроется за этим псевдонимом, то было принято решение отозвать уже отправленное приглашение. Такой поворот мотивировался тем, что “выступление в школе нелегального политического публициста погубит полезное дело”<sup>70</sup>. Чтобы сорвать эти планы администрации, “искровцы” пригрозили, что в случае отзыва приглашения они соберут студенческую сходку, инициируют беспорядки по образцу происходивших в России и опубликуют в “Искре” свой протест. Лекции же Ильина все равно пройдут в Париже, разве что не в стенах школы, причем в объявлениях об этих лекциях будет указано, что Ильину было отказано в трибуне Русской высшей школы общественных наук “по политическим соображениям”<sup>71</sup>.

Этот откровенный шантаж возымел свое действие и трибуна Ленину была предоставлена. Однако за час до начала первая лекция чуть не была отменена. Как вспоминал исполнявший в ту пору обязанности технического секретаря школы М.А. Ингбер, «23 февраля 1903 г., буквально за час до начала лекций, в мой кабинет ввалился взволнованный донельзя Ю.С. Гамбаров и произнес: “Да поймите вы, Мирон Акимович, что наша Школа – учреждение легальное, все мы лекторы и слушатели его – люди легальные, возвращаемся в Россию и все очень сильно рискуем, если у нас выступит в Школе революционер Ленин в качестве лектора”»<sup>72</sup>.

М.А. Ингбер как мог успокоил своего либерального коллегу и лекции состоялись. Цикл из четырех лекций под названием “Марксистские взгляды на аграрный вопрос в Европе и России” был прочитан 23–26 февраля 1903 г. в помещении Коллеж де Франс, напротив Сорбонны. Аудитория была заполнена до отказа представителями различных революционных партий и групп, представленными не только в самой школе, но и в русской колонии в Париже. На лекциях присутствовали и ее руководители – Ю.С. Гамбаров и М.М. Ковалевский.

Как можно судить из сохранившихся воспоминаний, лекции Ленина имели шумный успех не только из-за их содержания или фигуры “нелегального” лектора на кафедре легального учебного заведения. Как указывает М. Плотников, «...эмигрантский Париж в 1902–1903 гг. был особенно оживлен. Шла жесткая борьба на политико-идеологическом фронте в связи с крупными политическими событиями в России. Почти ежедневно в специально нанятых помещениях происходили диспуты между социал-демократами и социалистами-революционерами, между “искровцами” и “неискровцами” с выступлениями виднейших партийных представителей»<sup>73</sup>. Лекции Ленина стали одной из существенных составляющих этих политических баталий, зачастую ведшихся не совсем парламентскими методами.

Вот что писал о непосредственном воздействии развернувшейся полемике теоретиков двух радикальных течений русского революционного движения в стенах РВШОН неизвестный свидетель этих баталий в письме из Парижа в Москву “Борьба между социалистами-революцио-

нерами и социал-демократами теперь в полном разгаре. С одной стороны, выступили такие силы, как Ленин, с другой – Чернов и др. Конечно, борьба повлекла за собой сильный раскол среди молодежи, страшный антагонизм. Но ведь без этого нельзя...”<sup>74</sup>

О накале парижских страстей того времени свидетельствуют многие, ставшие доступными в последнее десятилетие воспоминания. Один из активных участников подобных собраний именно в Париже в 1903 г. В.К. Иков писал: «...Помню, как грубая выходка Гогели по адресу покойного Либкнехта повлекла за собой драку, как председатель собрания Ф.И. Дан, всегда столь выдержанный и спокойный человек, забыв свои функции, неистово колотил чем-то по столу и кричал так же истошно, как и все мы. Кто-то с перепугу выключил свет и только случай предотвратил катастрофу. Анархисты в свою очередь, орали, стучали стульями. Романов и К<sup>3</sup> свистели в сирены, а Канчели, подобно юным братьям в “Потопе” Сенкевича спрашивал у Черкезова: “Отец, бить?”. Со стороны казалось, что их очень много, в то время как их была лишь кучка, включая двух-трех томно-эпилептических девиц... Анархистов, наконец, выкинули из зала...”<sup>75</sup>

Приведенная цитата, возможно, излишне драматизирует ситуацию, но в целом верно передает ту степень политизации русского эмигрантского общества, которая царила в Париже в то время, и во многом объясняет, почему весь последующий учебный год Русскую высшую школу сотрясали студенческие беспорядки. Опробовав, в случае с приглашением В.И. Ленина, тактику давления на руководство школы, представители различных политических партий и групп стали добиваться от совета предоставления кафедры для тех или иных своих политических кумиров или проведения в ее стенах политических манифестаций<sup>76</sup>. “Искра” за 15 мая 1903 г. сообщала, например, что в митинге, объявленном студентами школы в знак протеста против погрома в Кишиневе, профессора отказались принять участие<sup>77</sup>. Все это способствовало превращению Русской высшей школы общественных наук из образовательного учреждения в дискуссионный клуб и делало ее работу в последние годы существования эпизодической.

Как водится в подобных случаях, открылся большой простор для политической провокации, сам М.М. Ковалевский писал: “...Позднее, при первом свидании с главою русского Правительства графом Витте, я наведен был некоторыми вопросами на мысль о том, что тайные агенты русского правительства не остались в стороне от участия в этом предприятии... Кстати, за все пятилетие существования Школы в ней была и жена Азефа. Вероятно, по временам, появлялся и он сам. По крайней мере де Роберти показалось знакомым его лицо, когда месяцы спустя он встретил его случайно у М. Морозова...”<sup>78</sup>

Это создавало известное противостояние между профессорами и студентами школы. Ситуация еще больше обострилась с началом революции 1905 г. Политические изменения в России, царский Манифест 17 октября давал профессуре надежду на возможность реализации своих политических идеалов и продолжения профессиональной деятельности на Родине. Настроения студентов были менее оптимистичны. «...Ра-

скол между преподавателями и слушателями, вызванный различной оценкой революционных выступлений в лето 1905 г. оказался разительным. То, что для меня было погромами, в глазах части моей аудитории являлось справедливым возмездием русского народа своим вековым угнетателям. Азевовщина вмешалась в эту внутреннюю распря, стараясь обострить ее”, – писал Ковалевский об этих днях<sup>79</sup>.

В конце концов, после одной из лекций, где Ковалевскому пришлось вступить в полемический спор со студентами, он получил угрожающую записку, в которой говорилось, что если он еще раз попытается взойти на кафедру, в него будут стрелять. Подобные записки получили и многие другие профессора. Вопрос о том, кто был автором этого записок до сих пор остается открытым, но есть подозрения, что это была провокация русской заграничной агентуры. Однако формально это положило конец деятельности Русской высшей школы общественных наук. Большая часть ее профессоров отказалась продолжать работу на таких условиях и вернулась в Россию<sup>80</sup>.

Официальный печатный орган Высшей школы общественных наук *Revue Internationale de Sociologie* сообщил в январе 1906 г., что Русская высшая школа общественных наук закрылась по причине “политических разногласий между профессорами и студентами школы”<sup>81</sup>.

По закрытию РВШОН М.М. Ковалевский получил предложение от А.Л. Шанявского взять на себя руководство подобным учреждением в Москве. Как позже выяснилось, речь шла об идее последнего открыть в Москве свободный университет по типу подобных учебных заведений в Европе. По воспоминаниям В.А. Вагнера, “...о высшей школе, проектировавшейся Шанявским, он (Ковалевский. – Д.Г.) говорил с увлечением. Он предполагал высшую школу сначала лишь для наук общественно-государственных и юридических, и, что особенно интересно, предполагал эту школу, как и свою парижскую, доступной для обоих полов, с дипломами и без дипломов; от лекторов, как и в Парижской школе, требовал не ученых степеней, а соответствующее имя в литературе предмета”<sup>82</sup>.

Многие из высказанных М.М. Ковалевским тогда идей нашли свою реализацию через пять лет, при появлении первого в России Московского народного университета им. Шанявского.

Уже 3 декабря 1905 г. был утвержден “всеподданнейший доклад” министра народного просвещения И.И. Толстого, разрешавший открытие «... “частных” курсов с программой выше среднего»<sup>83</sup>. В 1916 г. Совет Министров выразился уже гораздо более определенно. В записке на имя царя было констатировано, что “частная школа прежде всего должна пойти навстречу в удовлетворении потребности в образовании тех групп населения, которые по той или иной причине не могут получить этого удовлетворения от школы правительственной”<sup>84</sup>.

Тут-то и пригодилось многое из тех учебно-методических наработок и организационных принципов, которые были впервые применены на практике в Русской высшей школе общественных наук. За последующие вслед за 1905 г. десятилетие число неправительственных высших учебных заведений выросло в несколько раз, практически сравнявшись

по своему количеству с учреждениями, подведомственными Министерству народного просвещения (59 в 1917 г.)<sup>85</sup>. Это составляло известную конкуренцию императорским высшим учебным заведениям, заставляя их гибче и полнее откликаться на нужды времени. В этом кроется основное значение Русской высшей школы общественных наук в Париже – одним из пионеров этого процесса.

- <sup>1</sup> Международная школа Парижской выставки. М., 1900.
- <sup>2</sup> См., например: Русские ведомости. 11.11.1902; 13.6.1903; 22.11.1904; А.К. Русский университет вне России // Право. 1901. № 33; Русская высшая школа общественных наук в Париже // Право. 1901. № 48.
- <sup>3</sup> Хопров В.П. Высшая русская школа общественных наук в Париже // Вестник воспитания. 1902. № 1. С. 136–149.
- <sup>4</sup> Ковалевский М.М. О задачах школы общественных наук // Там же. 1903. № 6.
- <sup>5</sup> См.: Ингбер М. Лекции Владимира Ленина в Парижской Высшей Школе общественных наук (1902) // Пролетарская революция. 1924. № 3; Стулов П.М. В.И. Ленин и Русская Высшая Школа общественных наук в Париже (1902–1903) // Вестник АН СССР. 1934. № 1. С. 15–30; Мошкович Г.Г. О выступлениях В.И. Ленина с лекциями по аграрному вопросу в Высшей Школе общественных наук в Париже (в феврале 1903 г.) // Ученые записки Краснодарского Педагогического Института. Краснодар, 1958. Вып. 23. С. 175–188.
- <sup>6</sup> Публикация конспектов выступления В.И. Ленина см.: Ленинский сборник. М., 1932. Т. XIX; Плотников А. Воспоминания о лекциях Ленина в русской Высшей Школе в Париже // Вестник АН СССР. 1934. № 1. С. 30–34.
- <sup>7</sup> Московский П., Семенов В. Лекции Ленина в Русской Высшей Школе в Париже // Политическое самообразование. 1974. № 7. С. 128–135.
- <sup>8</sup> Мошкович Г.Г. Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901–1906 гг.) // Тр. Краснодар. Пед. ин-та. Краснодар, 1968. Вып. 33. С. 135–154.
- <sup>9</sup> Воробьева Ю.С. Московский Городской Народный университет Шаняевского: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1973.
- <sup>10</sup> Воробьева Ю.С. Русская высшая школа общественных наук в Париже // Исторические записки. М., 1988. № 107.
- <sup>11</sup> Prochasson Ch. Sur l'environnement intellectuel de Georges Sorel: L'Ecole des hautes etudes sociales (1899–1911) // Cahiers Georges Sorel. 1985. № 3. P. 16–38.
- <sup>12</sup> См. например: Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993; Казаков А.П. Теория прогресса в русской социологии конца XIX века. Л., 1969.
- <sup>13</sup> См. например: Сафронов Б.Г. Ковалевский как социолог. М., 1960.
- <sup>14</sup> Подробнее см.: Ковалевский М.М. Вольные школы общественных наук // Страна. 1906. № 20.
- <sup>15</sup> Воробьева Ю.С. Общественность и высшая школа в России в начале XX века. М., 1994. С. 28.
- <sup>16</sup> Там же.
- <sup>17</sup> Уставные документы этого учебного заведения см.: Cahiers de la quinzaine 1900–1901. Ser. II. Vol. 1. P. 31–46.
- <sup>18</sup> Archives Nationales de France. F. 7. № 12914. Affaires Divers. Ecole d'hautes etudes sociales. P. 2.
- <sup>19</sup> Ibid. P. 4.
- <sup>20</sup> Лекции профессоров колледжа опубликованы в: Lecons professes au College libre des sciences Sociales par G. Belot, Marce, Barnes, Brunschweig, F. Buisson... / Preface de E. Boutroux. P., 1899.
- <sup>21</sup> О лекциях М.М. Ковалевского в College Libre de Sciences Sociales см.: В.А. Гольцев // Русское богатство. 1897. № 12. С. 179–180.
- <sup>22</sup> ЦГИА г. Москвы. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 1706. Л. 1.
- <sup>23</sup> Хопров В.П. Ук. соч. С. 147.
- <sup>24</sup> См. об этом: Международная школа Всемирной Парижской выставки. М., 1900. С. 5.
- <sup>25</sup> Там же.
- <sup>26</sup> ГАРФ. Ф. 102. О.о. 1903. Д. 1298. Л. 6.

- 27 Хопров В.П. Ук. соч. С. 137.
- 28 Гамбаров Ю.С., Ковалевский М.М. Русская высшая школа в Париже. Ростов, 1903. С. 3.
- 29 Архив РАН. Ф. 603 (М.М. Ковалевский). Оп. 1. Д. 126. Л. 285.
- 30 ГАРФ. Ф. 102. О.о. 1903. Д. 986. Л. 10.
- 31 Гамбаров Ю.С., Ковалевский М.М. Ук. соч. С. 4.
- 32 ГАРФ. Ф. 102. О.о. 1903. Д. 986. Л. 10.
- 33 Там же.
- 34 О громадном впечатлении, которое производили лекции М.М. Ковалевского на слушателей College libre de Sciences Sociales говорят приводимые В.А. Гольцевым слова известного французского литературного критика Ф. Сарсе. Он писал, что на лекциях русского профессора "аудитория была битком набита народом..., слушатели буквально упивались словами лектора... Я вышел из аудитории положительно восхищенный тем, что видел и слышал". Гольцев В.А. Ук. соч. С. 180.
- 35 Архив РАН. Ф. 603. Оп. 1. Д. 126. Л. 285.
- 36 Archives Nationales de France. F. 17. N 14184. Dossier 17. P. 4.
- 37 Архив РАН. Ф. 603. Оп. 1. Д. 126. Л. 334.
- 38 ГАРФ. Ф. 102. О.о. 1903. Д. 986.
- 39 Cahiers de la quinzaine. Ibid.
- 40 Там же. С. 9.
- 41 Revue Internationale de Sociologie. 1901. N 11. P. 856.
- 42 Ковалевский М.М. О задачах школы общественных наук // Вестник воспитания. 1903. № 6. С. 2.
- 43 Там же. С. 5.
- 44 Там же. С. 15.
- 45 Гамбаров Ю.С., Ковалевский М.М. Ук. соч. С. 24.
- 46 Русские ведомости // 13.6.1903.
- 47 См., например, лекции Поля Буайо: BNF. Departement de Manuscrites. Cot. 18849. (Boyer P.) Introduction a l'Etude Francaise. Ecole Russe de Paris. Dec. 1901.
- 48 Воробьева Ю.С. Русская высшая школа общественных наук. С. 51.
- 49 Учебные планы Русской Высшей Школы общественных наук регулярно публиковались в Revue Internationale de Sociologie (1901. № 11; 1902. № 11; 1903. № 2; 1904. № 10, 11; 1905. № 10).
- 50 Гамбаров Ю.С. Отчет о деятельности Русской Высшей Школы Общественных Наук в Париже за 1901–1902 уч. год // Гамбаров Ю.С., Ковалевский М.М. Ук. соч. С. 23.
- 51 Там же. С. 5.
- 52 Там же. С. 15.
- 53 ПФА РАН. Отд. Ф. 103 (М.М. Ковалевский). Оп. 3. Д. 14. Л. 3.
- 54 Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М., 1991. С. 149–150.
- 55 Воробьева Ю.С. Русская высшая школа общественных наук. С. 333.
- 56 Prefecture de Police de Paris. Service de l'Archives. BA 1708. Rapport 19/3/1904. Societe d'etudiants russes.
- 57 Archives Nationales de France. F. 7. № 12894. № 1. Les refugies revolutionnaires russes a Paris. P. 11.
- 58 ГАРФ. Ф. 102. О.о. 1898. Д. 3. Ч. 140. Л. 15 об.
- 59 ЦГИА г. Москвы. Ф. 2244. (А.И. Чупров). Оп. 1. Д. 1706. Л. 15–17.
- 60 ГАРФ. Ф. 102. О.о. 1898. Д. 3. Ч. 140. Л. 92–93.
- 61 ЦГИА г. Москвы. Ф. 687 (Е.В. де Роберти). Оп. 1. Д. 2. Л. 15–17.
- 62 Архив РАН. Ф. 603. Оп. 1. Д. 126. Л. 291.
- 63 ЦГИА г. Москвы. Ф. 2244 (А.И. Чупров). Оп. 1. Д. 690. Л. 2.
- 64 Стулов П.М. Ук. соч. С. 18.
- 65 ЦГИА г. Москвы. Ф. 2244. Оп. 1. Д. 695. Л. 5.
- 66 Revue Internationale de Sociologie. 1903. № 2. P. 243.
- 67 См.: Плотников А. Ук. соч. С. 32.
- 68 Там же. С. 22.
- 69 Там же.
- 70 Там же.
- 71 В связи с этим надо отметить, что некоторые члены с.-д. организации школы (В.Н. Крохмаль и Ю.А. Ефрон), опасаясь скандала, предлагали отказаться от манифе-



- стаций и ограничиться устройством лекций вне школы. Но эта точка зрения не нашла понимания большинства. См.: *Ингбер М.А.* Ук. соч.
- <sup>72</sup> *Ингбер М.А.* Лекции Владимира Ильича Ленина в Парижской Высшей Школе общественных Наук (1903) // Пролетарская революция. 1924. № 3. С. 34.
- <sup>73</sup> Там же. С. 32–33.
- <sup>74</sup> Красный архив. Т. 62. С. 153.
- <sup>75</sup> *Иков В.К.* Интермедия. В Мекке русской революционной общественности // Отечественные архивы. 1993. № 5. С. 81.
- <sup>76</sup> Сведения о беспорядках в школе содержатся в материалах заграничной агентуры Департамента полиции в Париже: ГАРФ. Ф. 102. О.о. 1903. Д. 986. Л. 13–14; Там же. О.о. 1902. Д. 573. ЛЛ. 116, 133–134.
- <sup>77</sup> Искра 15.5.1903.
- <sup>78</sup> *Ковалевский М.М.* Моя жизнь // История СССР. 1969. № 4. С. 63.
- <sup>79</sup> Там же.
- <sup>80</sup> Некоторое время попытки реанимировать школу предпринимал один из ее профессоров, историк Л. Трачевский. Однако и он вскоре покинул Париж. Там же. С. 63.
- <sup>81</sup> *Revue Internationale de Sociologie.* 1906. № 1. P. 75.
- <sup>82</sup> *Вагнер В.А.* М.М. Ковалевский в вопросах просвещения // М.М. Ковалевский: ученый, государственный деятель, гражданин. Пг., 1917. С. 106.
- <sup>83</sup> ГАРФ. Ф. 733. Оп. 153. Д. 143. Л. 458 об.
- <sup>84</sup> ГАРФ. Ф. 1276. Совет Министров. Оп. 3. Д. 801. Л. 138.
- <sup>85</sup> *Иванов А.Е.* Ук. соч. С. 100.

# ПУБЛИКАЦИИ

\*

**Б. Пэрс**

**“ПАДЕНИЕ РУССКОЙ МОНАРХИИ”:  
PRO ET CONTRA  
(П.Н. МИЛЮКОВ И В.А. МАКЛАКОВ  
О КНИГЕ Б. ПЭРСА)**

Бернард Пэрс (1867–1949) в отечественной историографии упоминался, как правило, в перечне “фальсификаторов”. Между тем, это был незаурядный историк и человек, влюбленный в Россию. Он окончил одну из самых престижных частных школ Англии – Хэрроу, где кстати, делил комнату с будущим премьер-министром Стэнли Болдуином. Затем – Тринити-колледж в Кембридже; здесь он занимался античной философией, но не преуспел; результаты выпускных экзаменов были плачевны и, вместо научных занятий в университете его ждало преподавание в одной из второразрядных школ<sup>1</sup>.

Все изменила поездка в Россию, которую он впервые посетил в 1898 г. Цель этой поездки состояла в том, чтобы посетить места сражений наполеоновской армии. До этого Пэрс объехал поля сражений Наполеона во всех других странах.

Известный русский историк-медиевист, специалист в области английской истории П.Г. Виноградов помог Пэрсу устроиться вольнослушателем в Московском университете, где в течение двух лет он слушал лекции В.О. Ключевского и Виноградова.

По свидетельству сына Пэрса, Россия стала его второй родиной. Он был “очарован” русскими крестьянами и его чувства по отношению к ним можно было, вероятно, сравнить с теми эмоциями, которые испытывали народники.

К тому времени Пэрс изучил французский, немецкий и итальянский языки, но он еще не знал ни одного русского слова. В научном плане его более всего интересовала история итальянского Рисорджименто. Однако все было оставлено. Россия стала главным предметом научных занятий Пэрса, круто изменив его жизнь.

Вторая поездка Пэрса в Россию состоялась в 1904–1905 гг., после которой он бывал в ней ежегодно. В это время он служил неофициальным осведомителем Британского посольства в Петербурге и Foreign Office (Форин Офис), что было распространено в то время среди ученых и писателей, прибывавших в Россию.

С 1904 по 1919 гг. Пэрс планомерно изучал историю России; вплоть до начала первой мировой войны ежегодно проводил в России от трех

до четырех месяцев. Он стал ведущим британским специалистом по истории России.

В 1906 г. Пэрс – доцент, а с 1908 по 1917 гг. профессор Ливерпульского университета по кафедре современной русской истории. В 1907 г. он основал Русскую школу, по существу Институт (Liverpool School of Russian Studies).

С 1912 г. при этом Институте выходил журнал “Russian Review”, в котором печатались и русские авторы.

За эти годы Пэрс опубликовал книги: “Россия и реформы” (Russia and Reform. 1907), “Лига Наций и другие вопросы о мире” (The League of Nations and other Questions of Peace. 1911).

В 1909 г. Пэрс помогал в организации визита делегации российских парламентариев в Англию. Среди них были А.И. Гучков, Н.А. Хомяков, М.В. Челноков, гр. В. Бобринский и П.Н. Милоков.

В 1914 г. Пэрс стал официальным осведомителем Британского правительства в России с обязательством находиться при армии. Официально он работал корреспондентом “Daily Telegraph”. Результатом этой работы Пэрса явилась его книга “День за днем с русской армией 1914–1915 гг.” (Day by Day with the Russian Army. 1915).

В 1919 г. в качестве представителя Великобритании Пэрс состоял при правительстве Колчака. Вс. Иванов в своем очерке “Коварный Альбион” вспоминал: “Сей чистый академик профессор Пэрс, поведал мне откровенно, что он состоял всю Великую войну в контрразведке штаба Третьей Армии... Все наши российскийские секретные агенты – мальчишки и щенки перед этим почтенным коварным профессором литературы, несомненно имевшим крупные связи в Англии”<sup>2</sup>.

Пэрс принял активное участие в организации Школы изучения славянства и Восточной Европы (Школа славянских исследований), в качестве директора возглавлял ее до 1939 г. При школе были созданы русская библиотека и архив; выходил журнал “Slavonic and East European Review”, где помещались статьи и русских авторов.

В 1919 г. Пэрс был возведен в рыцарское достоинство. Во время постоянных приездов в Россию у Пэрса образовался свой широкий круг знакомств среди русской интеллигенции. Он знал А. Блока, Н. Бердяева, В. Иванова, Зиновьеву-Аннибал и др. В эмиграции он активно общался с А.Ф. Керенским, Е.Д. Кусковой, С.Н. Прокоповичем, Д.П. Святополк-Мирским и др.

После революций 1917 г. Пэрс пристально следил за происходящим в России. Однако многие его оценки оказались неверными или наивными. 1921 г. Пэрс считал концом коммунистического эксперимента; он приветствовал победу здравого смысла Сталина над доктринальным марксизмом; его триумф в борьбе с Троцким расценил как победу национального лидера над интернациональным революционером.

В 1930-е годы, по мере усиления Гитлера и изменения внешней политики СССР, Пэрс стал выступать сторонником англо-советского союза. Это привело к изменению отношения к нему советских властей; Пэрс получил возможность вновь приехать в Россию. После заключения советско-германского пакта и начала советско-финской войны Пэрс про-

должал упорно верить в неизбежность советско-германского столкновения, необходимость англо-советского альянса и стал чуть ли не персоной нон-грата у себя на родине; Форин Оффис считал, что Пэрс проводит свою личную внешнюю политику. Газета “Русский в Англии” (31 декабря 1938 г.) писала, что точка зрения Пэрса “вредна как для России, так и для Англии”, однако, “нельзя не признать за ним заслуги: любовь к России, помощь русским в Англии”.

Нападение Германии на СССР вновь круто изменило судьбу Пэрса; он ездил с лекциями о России по стране; его популярная книжка “Russia” (1940) о его второй родине разошлась тиражом свыше полу-миллиона экземпляров. Почти в 76-летнем возрасте Пэрс пересек океан и продолжил свое триумфальное лекционное турне в США.

После войны Пэрс остался в США, где был консультантом ряда американских университетов по организации школ славянских исследований. Разрыв союзнических отношений стран Запада и СССР, начало холодной войны обескуражили его. Пэрс считал, что вина за ее начало лежит на обеих сторонах; возможно, на британской и американской даже в большей степени. Подозреваемый в антиамериканской деятельности, с одной стороны, проклинаемый коммунистами, с другой, не зная, “что делать и на что надеяться”, Бернард Пэрс умер в Нью-Йорке 17 апреля 1949 г.

“Он не был великим ученым в том смысле, в котором обычно употребляется это слово, – писал его сын, – но он был творцом, что, возможно, несколько больше, в особенности в академической жизни; великий оратор, живая и притягательная личность, и человек с неукротимой волей”<sup>3</sup>.

Наиболее известные книги Пэрса – “История России” (History of Russia, 1926), “Мои русские мемуары” (My Russian Memoirs, 1931), “Падение русской монархии” (The Fall of the Russian Monarchy, 1939), “Россия” (Russia, 1940). Любопытно, что он перевел на английский язык басни И.А. Крылова и “Горе от ума” А.С. Грибоедова.

Пэрс гордился, что не принадлежал ни к какой партии; но по своим воззрениям и симпатиям он тяготел к либералам. При подготовке книги “Падение русской монархии” Пэрс использовал многие источники, опубликованные к тому времени; любопытно, что он выразил благодарность “коммунистическому историку” М.Н. Покровскому, который, при организации исследовательской и публикаторской работы “не забыл, что он был историком”. Значительную роль при подготовке книги сыграли личные наблюдения и записи Пэрса; он был свидетелем многих важнейших событий, которые впоследствии описал. Кроме того, в период своих длительных визитов в Россию, Пэрс взял интервью у большинства ведущих русских политиков; он объяснял им, что делает это не для газет, а для истории; по его мнению, это обеспечило достаточную степень открытости.

В стадии непосредственной работы над книгой Пэрс совершил поездки в Париж в 1935 и 1938 годах, и в Ленинград в 1936 и 1937 – для сбора дополнительных материалов и уточнения некоторых моментов, вызывавших у него сомнения. Он ничего не пишет о том, с кем встре-

чался и чем занимался в Ленинграде; в Париже Пэрс встречался со многими ведущими деятелями политической сцены России начала века. А.И. Гучков, с которым Пэрс был дружен до революции, незадолго до своей смерти продиктовал ему “очень полное” описание своей политической карьеры на всем ее протяжении. Подробные разговоры Пэрс вел также с В.Н. Коковцевым, генералом Н.Н. Головиным, П.Н. Милюковым, А.Ф. Керенским и В.Л. Бурцевым. Личная “вовлеченность” историка в события, которые он описывает, придает книге Пэрса особый интерес. Если добавить к этому прекрасный язык, которым написана книга, нетрудно объяснить ее популярность.

Почти 50 лет спустя она была опубликована в популярной исторической серии издательства “Cassel”. В предисловии к переизданию она отнесена к тем книгам, которые как хорошее вино, только крепчают и улучшаются со временем и заслуживают того, чтобы их “попробовали” еще раз.

Содержание книги Пэрса точно соответствует названию – это не история России конца XIX – начала XX в., это история падения русской монархии. Вывод, к которому пришел историк, неутешителен для последней: “Следуя за событиями по мере их развития и позже заполняя одну лауну за другой в моих знаниях о них, – писал Пэрс в предисловии к своему исследованию, – я пришел к убеждению, что причина крушения находилась совсем не внизу, а сверху”. “Верхи” сделали все для своего падения; Пэрс приводит представлявшееся ему точным и характерным высказывание “преданного Жильяра”: “Все было сделано для того, чтобы вызвать революцию, и ничего, чтобы ее предупредить”<sup>4</sup>.

Повышенное внимание Пэрса к взаимоотношениям царской семьи и Распутина, а также другим личностным аспектам событий, предшествовавших катастрофе 1917 г., определенная абсолютизация личного начала в истории, с которым далеко не каждый историк может быть согласен, представляет тем не менее большой интерес. Очевидно, это определило в течение уже многих десятилетий пристальное внимание за рубежом к книге Пэрса.

В России имя Пэрса было долгие годы практически неизвестно. Однако в эмиграции сразу же после выхода книги “Падение русской монархии” в 1939 г. появились рецензии двух современников и участников описываемых событий, крупных представителей русской политической мысли П.Н. Милюкова и В.А. Маклакова. Их политические разногочия, лево-кадетская ориентация Милюкова и право-либеральная – Маклакова, неизбежно сказались и на оценке исторических фактов, описываемых в книге Пэрса.

Милюков первым откликнулся на книгу Пэрса, опубликовав в двух номерах “Последних новостей” свой отзыв. Затем последовала рецензия Маклакова в “Slavonic Review”. Реакцией на нее явился новый отклик Милюкова под названием “В.А. Маклаков о книге проф. Пэрса”.

Образовался, таким образом, определенный срез научной мысли, состоящий из разных точек зрения и характеризующий на данный момент уровень восприятия и освещения рассматриваемых проблем и событий истории.

В этих рецензиях Милюков и Маклаков в обосновании своих позиций сообщали новые факты и детали описываемых исторических событий, обращали внимание на новые акценты как собственных, так и противоречащих им представлений.

Публикация этих рецензий, являющихся ценным историографическим источником, обогащает и углубляет наши знания об исторической науке конца XIX – начала XX в.

<sup>1</sup> Приводимые сведения почерпнуты в основном из предисловия сына Бернарда Пэrsa, Ричарда, к очередному изданию “Истории России” его отца (*Pares R. Introduction / Pares B. A History of Russia. Dorset Press, N.Y.n.d. P. VII–XIV*), из вступительной статьи Бернарда Пэrsa к первому изданию “The Fall of the Russian Monarchy” (1939; воспроизведено в издании Cassell Publishers. L., 1988. С. 11–25), а также из кн.: *Козница О.А. Русские в Англии. М., 1997*. Кстати, Ричард Пэрс пошел по стопам отца и также стал историком. Его основные работы посвящены истории Англии XVI–XVIII вв.

<sup>2</sup> *Иванов Вc. Огни в тумане. Думы о русском опыте. Харбин, 1932. С. 93–94.*

<sup>3</sup> *Pares R. Op. cit. P. XIV.*

<sup>4</sup> *Pares B. Introduction / The Fall of the Russian Monarchy. L., 1988. P. 24.*

*М.Г. Вандалковская, О.В. Будницкий*

\* \* \*

Русская историческая наука начала XX в., особенно в лице ее наиболее ярких представителей, каковым, бесспорно, являлся П.Н. Милюков, обретала новые черты. Одной из них, и, пожалуй, одной из основных являлась сопричастность с европейской наукой. Европеизм Милюкова, его приверженность западной ориентации проявлялись не только в политической деятельности, но и в творчестве Милюкова как историка. Милюков активно изучал западноевропейскую литературу, ввел в научный оборот российской науки многие труды европейских ученых, имел прочные научные и личные контакты с учеными разных стран.

Начиная с 90-х годов, Милюков тесно общался с французским славистом П. Буайе, дружба с которым сохранилась и в эмиграции; в 1937 г. они вместе отмечали в Сорбонне 100-летнюю годовщину со дня смерти А.С. Пушкина. Милюков поддерживал отношения с французскими учеными Ж. Легра, А. Рамбо, с чешским филологом И. Поливкой, с румынским историком И. Богданом; позднее в эмиграции коллегами Милюкова по работе над трехтомной “Историей России” для французского читателя стали всемирно известные профессора Сорбонны Л. Эйзенманн и Ш. Сеньобос. Этот далеко неполный перечень дополнило имя Б. Пэrsa.

В своих воспоминаниях Милюков называл Пэrsa “своим старым знакомым”, с которым встретился в Москве в конце 90-х годов, когда Пэрс приезжал в Россию для знакомства со страной и совершенствования в русском языке.

Вторая встреча с Пэрсом, упоминаемая Милюковым, относится к августу–сентябрю 1916 г., когда делегация IV Государственной Думы приехала в Лондон. Пэрс принимал участие во встрече русских парламентариев. Он организовал в Кембридже в рамках летнего съезда

(University Extension) славянский праздник, где Милюков вместе с П.Б. Струве и Р.В. Дмовским читали лекции.

Разумеется, эти факты не ограничивают количество встреч и контактов Милюкова с Пэрсом.

Научные контакты Милюкова с зарубежными учеными, знакомство с их трудами не сопровождалось безоговорочным признанием информации и характера преподнесения этими учеными исторического материала.

В публикуемых рецензиях на книгу Пэрса “Падение русской монархии” обозначен широкий круг проблем российской истории периода, предшествующего событиям 1917 г.; значительны и интересны сведения по истории российского либерализма. Политические разногласия Милюкова и Маклакова о сущности российского либерализма, о допустимости сближения либералов с правыми и левыми направлениями общественной мысли и связанной с этим проблемой оценки деятельности кадетов, приобретают в публикуемых материалах Милюкова новое, дополнительное звучание. Это свидетельство не только наличия в русском либерализме разных течений, но и их эволюции, развития либерального самосознания.

Рецензии Милюкова на книгу Пэрса являются интересным и содержательным историографическим источником, определенным эталоном в создании подобного вида исторического сочинения. Они имеют не описательный, а аналитический характер, отличаются проникновением в сущность предмета, воздают дань труду автора, корректно выражают несогласие с авторской позицией. Милюков видел в лице Пэрса “лучшего знатока”, очевидца и свидетеля событий новейшей русской истории, и подчеркивал, что его книга уникальна, поскольку в науке подобной ей не существует. Вместе с тем он указывает и на “ограничения”, вытекающие, из личных качеств Пэрса и из особенностей его взглядов.

По мысли Милюкова, склонность Пэрса к фактографизму, а не к аналитическому подходу к истории, определила авторскую сосредоточенность на событиях истории, а не на выявлении их причин. На изложение исторического материала оказали влияние и “очень умеренные взгляды” Пэрса. Как верно замечает Милюков, из этого следует подход автора к источникам, к характеру подачи материала и, разумеется, к выводам. Пэрс безоговорочно верит источникам, исходящим из царской семьи, воспоминаниям В.Н. Коковцева, А.Ф. Керенского, но недоверчиво относится к мемуарам С.Ю. Витте, обходит молчанием свидетельства М.И. Кржижановского, т.е. материалы своих политических противников.

Милюков отмечает еще одну важную особенность монографии Пэрса: падение монархии автор понимает не как падение строя, а как падение династии.

Милюков, прошедший русскую историческую школу Б.Н. Чичерина, К.Д. Кавелина, С.М. Соловьева и В.О. Ключевского с их осознанием органических процессов и закономерности в истории, соотношения различных процессов и роли личного начала, не мог примириться с “узким” пониманием хода истории, сосредоточенном в объяснении падения монархии в России лишь на истории царской семьи и приближенных к ней министров.

Авторский “кругозор”, по выражению Милюкова, не позволил Пэрсу увидеть в полную меру жизнь страны, “подземного рокота” революции, понять устремленность монарха прежде всего сохранить свою власть и установившуюся систему управления, закономерность приближающейся революции.

Взгляд на историю России глазами умеренного либерала, идеализирующего роль царской семьи (сохраняющим, по словам Милюкова, “честность” автора) обусловил не только заданность в изложении событий времени, но и противоречивость в их освещении. Милюков усматривает тенденциозность в обозначении роли Государственных Дум, государственных деятелей этого времени. Он упрекает Пэрса в неоправданном сочувствии Столыпину, Гучкову, Керенскому, в непонимании природы российского либерализма, роли кадетов и самого Милюкова в истории российского освободительного движения.

Главный вывод Милюкова, следуемый из анализа монографии Пэрса, сводится к утверждению, что степень событий начала XX в. проходит по другим линиям (в сравнении с изображением Пэрса), что изложение Пэрса не соответствует динамике исторического процесса. Именно это породило несоответствие между тем, что пишет автор, и действительностью.

Добавление к основной своей рецензии под названием “В.А. Маклаков о книге проф. Пэрса” Милюков назвал постскриптумом. Это добавление появилось сразу же после опубликования рецензии Маклакова. Направленность этого текста иная. Милюков видит в основных позициях Пэрса сторонника маклаковского октябристского взгляда. Обвинения же Маклаковым Пэрса в следовании взглядам кадетов Милюков считает необоснованными.

“Добавочная польза” книги Пэрса, по мнению Милюкова, состоит в том, что она вновь вскрыла противоположность взглядов Маклакова и самого Милюкова, т.е. разных позиций либеральных воззрений.

*М.Г. Вандалковская*

**П.Н. Милюков**

## **ПАДЕНИЕ РУССКОЙ МОНАРХИИ В ИЗОБРАЖЕНИИ ПРОФЕССОРА ПЭРСА \***

Профессор Ливерпульского, а потом Лондонского университета сэра Бернард Пэрс – лучший знаток, можно даже сказать очевидец и свидетель событий новейшей истории России. Его обширная работа в пятисот страниц недаром носит подзаголовок: “Изучение свидетельских показаний”. Он был в России во время первой революции 1905 года и написал об этом книгу “Россия и реформа”, симпатизирующую русскому либеральному движению. Он был в рядах русской армии в дни ее успе-

\* Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 99-01-00196 а)



хов и ее поражений и вынес одно бесспорное впечатление: о превосходных качествах русского солдата.

Вторая революция очень расширила его знакомство с различными политическими деятелями той эпохи; он воспользовался им, чтобы из их собственных уст услышать подлинные рассказы об их личной роли в событиях. В результате он почувствовал как бы лежащий на нем долг, — поведать потомству о всем увиденном и услышанном за долгие годы его наблюдений. Напечатав уже после революции свою “Историю России”, проф. Пэрс решил вернуться к своей любимой теме, отчасти уже использованной в изданных им “Мемуарах”. Последние восемь лет он употребил на изучение многочисленных появившихся в последние годы подлинных документов и “Воспоминаний” — главнейших политических деятелей, очень внимательно ознакомился с показаниями перед комиссией Временного правительства, материалы которой изданы в семи томах под заглавием “Падение царского режима”<sup>1</sup>, наконец, вновь опросил по подробностям, для него неясным, оставшихся в живых участников событий. Из всего этого получилась книга, подобной которой нет, и быть может не скоро будет на русском языке.

Указав на преимущества труда проф. Пэрса, мы должны указать и на некоторые его “ограничения”, вытекающие из личных свойств автора и из особенностей его наблюдений. Проф. Пэрс — чрезвычайно лояльный англичанин и человек очень умеренных взглядов. Его наблюдения гораздо больше касаются “событий” в тесном смысле, нежели породивших эти события условий внутренней русской действительности. Эти два обстоятельства наложили на книгу определенную печать.

Прежде всего, автор не пишет истории России за критические годы, а пишет историю монархии. При этом “падение монархии” он понимает не столько как падение “строя”, сколько, главным образом, как падение “династии”. Характерно, что когда нужно характеризовать “строй” и внутреннее состояние России в описываемое время, проф. Пэрс предпочитает опираться на русские исследования. Для периода предреволюционного он пользуется предисловием к моей “Истории второй революции”<sup>2</sup>; для конечной стадии утилизирует американскую работу М.Г. Флоринского о “Конце русской империи”<sup>3</sup>. Зато события излагаются им в малейших подробностях, поневоле иногда анекдотических.

С указанными ограничениями связан и определенный выбор свидетельских показаний. К ним он относится не вполне одинаково, и в выборе чувствуются предпочтения, объяснимые его собственными политическими взглядами.

Едва ли не выше всего по искренности, вдумчивости и пронизательности он ставит “Воспоминания” гр. Коковцева<sup>4</sup>, которому верит безгранично. Он чувствует известную слабость также и к А.Ф. Керенскому<sup>5</sup>, и рисует его роль в революционных событиях по возможности в благоприятном освещении, какое дает сам деятель в своих защитительных книгах. Напротив, графа Витте<sup>6</sup> проф. Пэрс очень не любит, и к его мемуарам относится недоверчиво. Отношение проф. Пэрса ко мне, как политику, несколько двоятся. С одной стороны, он дает мне как

личности неумеренно высокую оценку, – и я должен принести автору искреннюю благодарность за то дружественное изображение, какое он недавно представил в своей лондонской лекции обо мне, как представителя определенного политического направления. Но в моей политике он не упускает случая подчеркивать мои “ошибки” и даже “большие, роковые ошибки, оказавшие фатальное влияние” на тот или другой ход революции.

Теперь, когда я пишу свои “Воспоминания” об этом же самом периоде, я могу себе позволить некоторые поправки, к сочетанию этих двух крайностей – личных похвал и порицаний, прошедших через определенную политическую призму. По совести и по крайнему разумению, я не могу приписывать себе *ni cet excès d'honneur, ni cette indignité*\*.

Перед источниками, исходящими с высокого места, проф. Пэрс преклоняется. Мягкая характеристика царя и царицы по письмам и дневнику дается почти в лирических выражениях. Но проф. Пэрс справедлив и объективен: он помнит о том, что императрица “должна отвечать перед судом истории” и что “отражение ее деятельности оказалось источником гибели миллионов человеческих существ”. Последние строки его “послесловия” посвящены настроению, испытанному посетителем царскосельского дворца двадцать лет спустя после царской трагедии. Этот посетитель (нетрудно догадаться, что это был сам проф. Пэрс) ушел отсюда с впечатлением, что “все это случилось когда-то очень давно, в средние века, когда еще считалось возможным смотреть на шестую часть света, как на домашнее хозяйство, и управлять ста семьюдесятью миллионами человеческих существ из женского будуара”. И заблудившийся в сопоставлении прежних своих впечатлений с теперешними, посетитель Царского “принужден сказать себе, в виде общего итога, что все это ушло далеко-далеко, и никогда назад не вернется”.

Все это так – и делает честь автору “Падения монархии”, что все это он почувствовал. Но из контраста прежних и нынешних впечатлений неизбежно получается несоответствие, если не желать пожертвовать одними из этих впечатлений – другим. Несоответствие не могло не сказаться и в исследовании проф. Пэрса. При всей полноте и обстоятельности работы именно соответствия между началом и концом и не хватает в книге, чтобы признать ее последним словом истории. Сужение задачи – выяснить “падение монархии” до выяснения “падения династии” – сказалось в том, что благие намерения и трагический конец самой династии, как и работавших на династию политических, административных и общественных факторов, оказались непримиренными между собой.

Самое распределение материала в книге объясняет происхождение этого несоответствия. Книга начинается с описания трогательных отношений между женихом и невестой, Николаем и Алисой<sup>7</sup>, с момента их первой встречи до обручения перед смертным одром Александра III<sup>8</sup>. Эпизод книги посвящен подробно рассказу о судьбе царской семьи после отречения государя и об усилиях Керенского спасти ее от наси-

\* ни этого избытка чести, ни этого недостойного поведения (фр.).

лия победителей. Несколько иронических фраз о “сверх-демократизме либерального” временного правительства резюмируют суждение историка о февральской революции (минус Керенский).

Внутри самой истории царствования распределение материала не менее характерно. Проф. Пэре сам предупреждает читателя, что о первых годах существования Николая II ему нечего рассказать читателю не только потому, что нет такого богатства источников, как впоследствии, но и потому, что “глубоко расстраивающие силы, которые вмешались, потом еще не начинали действовать”. Правда, “начало” их действия налицо: тут случилась революция 1905 года. Но... буря промчалась, монархия была “спасена, и поступательный ход прогресса был в главных чертах восстановлен, хотя медленно, но верно”. В этой одной фразе содержится даже вся схема будущего рассказа.

“Монархия спасена”: это главное. “Разрушительные силы” еще не “действуют”. Напротив, восстанавливается линия мирного прогресса. Вся социальная и политическая подпочва революции, после ее “генеральной репетиции” в 1905 году, как выразился Ленин, устранена со сцены, значит, устранена и из-за кулис. На сцене – радужная картина преуспевания. Что “монархия” обманывала себя этой видимостью мира, бывшего только перемирием, и притом вынужденным – это понятно. Но что той же иллюзией может тешить себя историк, это непростиительно. Мы увидим, что тут и коренится источник отмеченного выше несоответствия между началом и концом авторского рассказа.

Итак, “первые шаги: Японская война!”<sup>9</sup> Проф. Пэрс, как я заметил, не симпатизирует Витте, и упорная борьба Витте против рокового шага, начавшего царствование, остается недостаточно оцененной. Тем слабее отмечена личная ответственность государя. “Гений интриги” таково суждение проф. Пэрса о Витте, поддержанное отзывами Сазонова<sup>10</sup> и самого императора. Свет и тени распределяются автором довольно своеобразно, когда доходит речь до освещения Манифеста 17 октября<sup>11</sup>. Проф. Пэрс приводит выдержки из писем царя в момент его благоприятного отношения к Витте и к акту, вынужденному упорством Витте. Он особенно выделяет фразу царя: “это, конечно, была бы конституция”. А относительно самого Витте, – он приводит цитату из позднейшего личного разговора с ним: “Конституция у меня в голове, а в сердце...” и тут автор Манифеста 17 октября “плюнул на пол”. Проф. Пэрс, конечно, не хотел бы сделать отсюда вывода, что император искреннее относился к конституции, нежели его министр. Но тут же приведены выдержки из писем царской четы между 19 октября 1905 г. и 12 январем 1906 г., в которых Витте из нужного своего человека очень быстро превращается в “хамелеона”. Вот прекрасный материал для психологических наблюдений, – но отнюдь не для исторических выводов.

В истории “падения монархии” обращение монарха с первой думой, кажется, имело некоторое значение. От проф. Пэрса это значение ускользает. Занятый борьбой между министрами и кандидатами в министры, автор книги заявляет, что “на короткой жизни первой Думы<sup>12</sup> нет надобности долго останавливаться”. Остается неизвестным читателю,

почему монарх так же быстро от “абсолютно необходимого для него” (в дни борьбы против Витте) Трепова<sup>13</sup>, перешел к (временно) необходимому Столыпину<sup>14</sup>. Тут, кстати, отмечается одна из “роковых ошибок в карьере” Милюкова: он “сам признается, что поставил Трепову “очень суровые условия” для создания “кадетского министерства”. Впрочем, и сами кадеты, – что они такое? Конечно, это “сливки русской интеллигенции”; но “без базиса в стране”, а “стране опротивела революция”. Это говорится о той “стране”, которая тотчас после “кадетов” и после разгона их Думы дала во второй Думе<sup>15</sup> преобладание социалистам.

“Лучшим актом” кадетов в первой Думе была, по мнению проф. Пэрса, подача известного адреса монарху<sup>16</sup>, – совсем “по английскому образцу”. Надо думать, было бы хорошо, если бы монарх согласился принять его. Но... вышло иначе, и суждение историка меняется. Единственно “способным защищаться” от требований Думы (взвесил ли их автор?) оказался... Столыпин.

Противоречие продолжается и в дальнейшей оценке. Дума, распущенная Столыпиным, совершила “неконституционный политический блеф”, издав в Выборге Манифест<sup>17</sup>, – и тем лишь “повредив финляндским вольностям”. А сам Столыпин объяснил позднее автору, что “он хотел показать стране, что она навсегда рассталась со старым полицейским режимом”, а это было невозможно без поддержки Думы. Положение было, по тому же заявлению Столыпина проф. Пэрсу, “сверхчеловеческое”. Историк Пэрс, одобряющий последующие мероприятия Столыпина, по-видимому, принял его за нормальное.

Как видим, политический критерий занял тут место исторического. Раз вступив на эту почву, проф. Пэрс уже идет по ней дальше, переходя к характеристике “благоприятного” для режима периода третьей Думы. С революцией правительство сладило, “падение монархии” избегнуто. Историк как бы не подозревает, что оно только отложено. Посмотрим же, как он относится к этой призрачной идиллии.

---

Период деятельности третьей Государственной Думы<sup>18</sup> проф. Пэрс изображает в самых радужных красках. Он здесь чувствует себя, так сказать, в своей сфере. Во главе министерства стоит Столыпин. С ним сотрудничает, в качестве председателя Думы А.И. Гучков<sup>19</sup>. Финансами управляет В.Н. Коковцев. Бюджетная комиссия Думы дружно работает с ним под председательством харьковского проф. Алексеенко<sup>20</sup>. Вообще, работа в согласии с правительством энергично ведется в комиссиях Думы, где “большинство председателей и докладчиков – октябристы”. Все они – “прекрасные эксперты”. По сообщению Гучкова автору, “Столыпин не раз предлагал им занять высокие посты в правительстве; но каждый раз об этом сообщалось Гучкову, – и предложение не принималось”. Проф. Пэрс не упоминает о том, что другим методом сотрудничества с правительством были казенные субсидии в дополнение к депутатскому содержанию. Он мог бы прочесть об этом подробности

в воспоминаниях Кржижановского<sup>21</sup>. В результате, “около семидесяти человек образовали ядро в наиболее важных комиссиях и научились подробному пониманию задач и трудностей администрации, – пониманию друг друга и правительства. Можно было видеть, как с каждым днем растет политическая компетентность Думы”. Коковцев радовался “своим успехам на трибуне” – и скучал по критике “Александра” (Андрея) Шингарева<sup>22</sup>. Его знаменитая фраза: “Слава богу, у нас нет парламента”, была самым лучшим доказательством его “конституционализма”. Столыпину царь говорил: “эту Думу нельзя обвинять в желании захватить власть и вовсе нет нужды с ней сориться”. И самому проф. Пэрсу в 1912 г. царь удостоил сказать: “Дума начала слишком стремительно; теперь она тише, но лучше”, а на его “слишком смелый” дополнительный вопрос, добавил: “и прочее”. Николай II умел очаровывать собеседника, говоря то, что было нужно, – и ничем себя не связывая. С своей стороны, проф. Пэрс почувствовал полное удовлетворение. “Да будет мне позволено, – пишет он, – как англичанину, воспитанному в традиции Гладстона<sup>23</sup>, – для которого Дума была почти своим домом со множеством друзей из всех партий, вспомнить про это исчезнувшее прошлое. В основе лежало чувство возобновленной уверенности; опираясь на него, можно было наблюдать рост бодрости и почина, взаимного понимания и доброжелательности”.

Проф. Пэрс не мог понимать, что у этой светлой картины были темные стороны. Сблизившись с правительством, Дума не сблизилась его со страной, а сама от нее отделилась. Проф. Пэрс упоминает об этом как-то скользя, мимоходом. Он признает, что третья Дума была созвана путем некоего “государственного переворота” что выборы были произведены с насилием – даже на почве нового избирательного положения, нарушившего основные законы, изданные так недавно самим же правительством. Но... “полная фальсификация выборного начала” не тревожит автора, так как “те, кто знали Россию того времени, могли быть уверены, что на деле всякое национальное собрание будет в оппозиции к правительству, хотя бы оно даже состояло из бывших министров”. Фраза рискованная, резко нарушающая благодушие автора...

А вот и проверка. Столыпин хотел ввести в свое “либеральное” правительство Гучкова, Н.Н. Львова<sup>24</sup> и проф. П.Г. Виноградова<sup>25</sup>. Все они отказались, по объяснению самого проф. Пэрса, “потому, что не могли получить хотя бы минимальной гарантии в соблюдении представляемых ими принципов, так что в них можно было бы видеть только отдельных пленников реакции”. Это опять очень ценное признание, которое переворачивает всю авторскую перспективу событий. Проф. Пэрсу, по-видимому, не приходит в голову, что по этой же самой причине Милюков поставил Трепову “суровые условия”. Если там была тактическая ошибка, то она должна разделяться всеми несговорчивыми кандидатами. В “Пленники” никому идти не хотелось.

Таким образом, картины полного благополучия проф. Пэрсу нарисовать, при всем желании, не удастся. И больше всего нарушают ее его главные герои, Гучков и Столыпин. Обоим им автор выдает блестящие аттестации. Но... события разворачиваются, и в аттестаты обоих “плен-

ников” приходится внести поправки. “Недостатком Гучкова была его неугомонность”; он “любил спокойно стоять под огнем, когда хотел сделать вызов”. Опираясь на “растущий авторитет” Думы, он решился “сделать вызов великим князьям”, занимавшим sinecуры в учреждениях государственной обороны. Жест был очень патриотичен и сразу привлек внимание страны. Великие князья не ушли; но Дума этим “высказала то, что все думали”. Каков же результат жеста? “Атмосфера сотрудничества была нарушена”. “Кризис Гучкова закончился уже в конце первой сессии, в июне 1908 года”, а с ним прошел и “лучший год третьей Думы”. “Реакционеры напугали императора тем, что он выпускает из рук свою прерогативу”. Последовало то, чего и надо было ожидать. “Столпына предостерегли от чересчур большой интимности с октябристами; его сотрудничество с Гучковым ослабело”. Но автор судит не Столыпина за отступничество, а... Гучкова. Авторские краски в характеристике Гучкова сгущаются. “В нем была большая доза авантюризма; его политическим недостатком было, что он часто преувеличивал свою ловкость и чересчур на многое пускался”. Соответствующий поворот Столыпина от “конституционализма” проф. Пэрс отмечает совсем спокойно и без критики. “Он стал особенно полагаться на вновь образованную группу националистов”. Чтобы сохранить равновесие, автор их реабилитирует. Это были “независимые тори<sup>26</sup>, которые, подобно Шульгину<sup>27</sup>, под влиянием парламентской жизни все более отходили от широко субсидируемой секции чистых реакционеров, вроде Пуришкевича<sup>28</sup> и Маркова П<sup>29</sup>”. Отходили, но недалеко, и от “реакции”, и от “субсидии”.

Столыпин повернулся, но не вывернулся. Он сам и вместе с ним проф. Пэрс говорят о его “многочисленных врагах в столице” и об “интригах” против него: надо прибавить “при дворе”. Он окончательно поскользнулся на проведении “своей узко-понятой политики Великой России”, выдвинув вопросы о привилегиях Финляндии и о поляках в Юго-западном крае. Пока Столыпин занимался проведением во внедумском порядке своих аграрных законов и применением исключительных положений в духе правительственного террора, проф. Пэрс или одобрял его восторженно (“Россия ждала этого со времени крестьянского освобождения”), или смущенно извинял правительственный террор “энергией” Столыпина – и тем, что, все-таки, число правительственных казней было “меньше числа революционных убийств”! Теперь положение изменилось. Столыпин так же “драстически” поступил с Думой, с Государственным Советом и с самим императором, проводя в исключительном порядке свои “спорные” проекты. Он забыл, что “пленнику” нельзя декларировать независимости. И Гучков с ним окончательно разошелся, отказавшись от председательства в Думе: это значило – разрыв молчаливого договора о сотрудничестве. Проф. Пэрсу он потом говорил, что никакого договора и не было. Император подчинился, но и затаил раздражение: “пленники” так не поступают. Между прочим, и я тут опять провинился в глазах проф. Пэрса. “В лучшей, может быть, речи в моей жизни” (автор любит этого рода обобщения) я “прекрасно” защищал финляндцев в Думе; но “сделал большую тактическую ошибку, побудив партию

(к.-д.) отказаться от голосования, тогда как октябристы одни не могли изменить законопроект”. О, эти опальные теперь октябристы: если бы они тогда вспомнили тогда про свою мнимую принципиальность! Но, конкурируя в послушании с националистами, они предпочли демонстрировать особый вид “великороссийского” патриотизма (“узко-понятого”) – и не оставили нам никакого выбора.

По свидетельству Гучкова, Столыпин высказал Шульгину уверенность в том, что “будет убит полицейским агентом”. Помня случаи с Герценштейном<sup>30</sup> и Иоллосом<sup>31</sup>, а также и эпопею Азефа<sup>32</sup>, он, вероятно, знал, что говорил. Так и случилось: он был убит темным субъектом в киевском театре, в присутствии императора, которого, умирая, благословил. Все, не исключая Коковцева, отметили демонстративную нечувствительность царя перед лицом этой смерти. Когда Коковцев, занявший место Столыпина, намекнул императрице о верной службе покойного, она оборвала его (я цитирую русский текст): “не надо жалеть тех, кого не стало... Он уже окончил свою роль и должен был ступаться, так как ему нечего было больше исполнять... И вы не должны слепо продолжать то, что делал ваш предшественник... Опирайтесь на доверие государя”. Мавр сделал свое дело... Не знаю, предал ли проф. Пэрс Коковцева, напечатав в книге его слова: “с другой женой, которая не интересовалась бы политикой, Николай был бы отличным конституционным монархом”.

Как видим, вся конструкция автора “Падения монархии” и падает вместе с его неудачей – найти для нее опору в деятельности третьей Думы. Вынужденный хотя бы упомянуть, по возможности кратко, теневую сторону этого четырехлетнего эпизода, он поневоле наткнулся на факты, назойливо указывавшие не на период благополучия после усмирения революционеров, а на подземные раскаты новой грядущей революции, грозившей окончательной развязкой. Эта развязка уже потому должна была стать окончательной, что именно на примере третьей Думы окончательно выяснилось, что о примирении династии с любым народным представительством не может быть и речи. Эту Думу – особенно вначале, называли “лакейской”; октябристы старались, но не могли придать ей “оттенок благородства”. Чиновники, ставшие депутатами и “образовавшие ядро”, проявляли полное послушание. Деловая часть была поставлена образцово. В пределах того, что в Думе привыкли называть “вермишелью”, отведенная ей доля сотрудничества с властью могла продолжаться бесконечно, вызывая те же одобрения свыше. Но дело в том, что при всем желании “вермишелью” любое народное представительство (в этом проф. Пэрс совершенно прав) никак не могло ограничиться. За этими пределами сразу начиналась “политика”, хотя бы самая корректная, лояльная. Но и в рамках корректности и лояльности оказалось невозможным остаться. Выйти за эти пределы выпало на долю двум свежим людям, непривычным к петербургскому сановному этикету. Культурный наследник замоскворечных Тит Титычей и провинциальный губернатор, пересаженный в душную атмосферу Петербурга с “букетом деревенского здоровья, простоты и прямоты”, по характеристике проф. Пэрса, проявили в своем служении нетерпимую

для власти независимость. Один за другим, они были отброшены легким дуновением сверху. И конфликт снова вспыхнул во всей своей яркости и глубине – в самом очаге несостоявшегося примирения.

Для историка “падения монархии” тут в сущности не было бы ничего неожиданного. Но историк “падения династии” связан более тесным кругом наблюдения. Для него благополучие начинается и кончается около трона. И характерно, что, недовольный концом Столыпина, но воздерживающийся от прямого осуждения, автор прорывается такой фразой: “Большой человек (Столыпин) сделал больше, чем служить своему государю. Он спас его престол”.

Если “спасти престол” можно было одному человеку, то “один человек” мог и погубить его. И следующая глава книги называется: “Распутин”<sup>33</sup>. Ярче нельзя подчеркнуть, что автор продолжает сохранять свой кругозор. Но дальше картины благополучия в третьей Думе он все же идти не может. Деятельность четвертой Думы<sup>34</sup> слишком резко осложняется новыми факторами. Подземного рокота историк в них продолжает не слышать. Для него дело сводится прежде всего к выступлению новых личностей. “Роль” Столыпина и Гучкова, как выразилась императрица, отныне была “окончена”. На сцену выступала роль самой императрицы и Распутина. Как раз с этого момента усиливается интерес проф. Пэрса к событиям, ибо он “может точнее следить за тем, что случилось”.

Это опять отражается и на распределении материала в книге. То, что произошло до этого момента, изложено автором всего в четвертой части книги – 125 стр. из 500. Из остальных 375 стр. – 77 заняты рассказом об участии России в мировой войне. На остающихся трехстах имя Распутина почти не сходит со страниц книги. История Думы и смены министерств переплетаются с личной жизнью семьи. О стране просто некогда вспоминать в этой связи, и отдельные доносящиеся оттуда отклики являются неожиданностями среди сплетней неподвижных династических принципов с мелкими интересами проходимцев, постепенно заполняющих сцену. Для истории падения “династии” этого кругозора достаточно.

---

После убийства П.А. Столыпина и созыва четвертой Думы, задача профессора Пэрса значительно облегчается. Он уже не принужден иметь дело с разногласиями своих политических друзей. Правые под влиянием хода событий, постепенно влекут, и “левые” взгляды на приближение революции становятся общими. Одинаково сознается всеми и основная причина грозящей катастрофы: падение династии; точнее, политика императрицы. Все труднее становится уйти от вывода, что здесь – ключ положения. Из остальных факторов самый важный – война. Но война не создает катастрофы сама по себе. Она ее только ускоряет, обостряя противоречие между страной и властью.

Не все в этой связи причин с последствиями ясно для профессора Пэрса. Войну он описывает преимущественно с точки зрения военного



наблюдателя. Династию – с точки зрения внутренних отношений в царской семье. Получаются две картины: одна – светлая, другая – все более мрачная. Эта трудность осложняется тем, что автор, приступая к изложению “величайшего кризиса в русской истории”, не может забыть и своей прежней характеристики благополучия России в годы третьей Думы. Царь “понял, что в 1905 году он создал конституцию”. Он передал власть “от крайнего реакционера – конституционалисту Столыпину”. “Оппозиция правительству, практически общая всей стране, была вполне лояльной”. “Крестьяне чувствовали себя лучше, чем прежде; только им стало труднее получать необходимое из городов”. “Пищи было сколько угодно; вопрос был только, как ее доставить”. “Конечно, было и недовольство, но не выраженное и не принявшее еще политической формы”.

А с другой стороны, “ошибочно думать, что все, что случилось было неизбежно”. “Те, кто видел тогдашние возможности и понимали, как легко можно было направить дело – и оно, действительно было направлено – совершенно в обратном направлении, держатся другого взгляда”. Итак, остается искать виноватого. “Центральный ключ ко всему, что должно было случиться позднее, находим мы в письмах императрицы – и только там”. Проф. Пэрс разрабатывает материал этих писем так тщательно и полно, как никто раньше. Можно сказать, что эта черта – одно из положительных достоинств книги. Конечно, опираясь на этот источник, автор с негодованием отвергает все “нечистые подозрения” против императрицы, все “городские толки” о ее германofilстве, о ее отношении к Распутину. Она сама относилась к этим толкам “распущенной верхушки петербургского общества с заслуженным презрением”. Переносила эти толки “глупая” Анна Вырубова<sup>35</sup>.

Императрица замкнулась от всех в кругу семейной жизни. Ее уверенность в особом свойстве русской монархии ставила ее над всеми и выше всех. “Мы – помазанники Божии”, часто повторяет она в письмах. Первоначально она и ограничивается в этих письмах выражениями супружеских чувств и сведениями о маленьких событиях в семье, не думая вмешиваться в войну и политику. Потом, замечая, что царь слишком мягок и слаб для несения своего царственного долга, она “по-матерински” стремится его поддержать всей своей волей.

Но около императрицы стоит Распутин. Он лечит ее ребенка от неизлечимой болезни – своего рода гипнозом. Он обещает “царям”, если будут слушаться его приказаний, внушаемых самим Богом, победу над врагами и наступление благополучной эры царствования. Императрица религиозна и суеверна. Она ему подчиняется тем охотнее, чем Распутин усваивает ее основную монархическую идею. Отныне, – веления Распутина – веления Бога: непослушному грозят всякие бедствия. Царь, натура более прозаическая, пытается изредка напомнить, что, собственно, он – монарх, и что у него есть тоже своя воля. Но тогда напоминания в письмах становятся особенно настойчивы, повторяются дважды и трижды, императрица напоминает о Божьих карах, и Николай II подчиняется. Никакие слухам о распутной жизни Распутина, о злоупотреблениях влиянием, им приобретенным и т.д., императрица просто не верит.

Все это – клевета его врагов, а, следовательно, и врагов царственной четы. Отношение к “нашему Другу” становится, таким образом, критерием государственной пригодности того или другого политического деятеля.

Все это, конечно, было известно и до книги проф. Пэрса. Но ему принадлежит заслуга исчерпывающего подбора всех такого рода случаев. На основании их он с ужасающей отчетливостью изображает картину растущей изоляции царской четы: от великих князей и двора, от министров, от бывших друзей, от Думы, от всяких общественных кругов, и, наконец, от целой страны. Началось с того, что Распутин хотел сам “гипнотизировать” более влиятельных политических деятелей: Кокорцева, Родзянко<sup>36</sup>, вел. кн. Николая Николаевича<sup>37</sup>. Это удалось, Николай Николаевич отвечал: “пусть приедет (в главную квартиру), я его повешу”. И Николай Николаевич давно попал в разряд “врагов”. С Кокорцевым она не хотела кланяться. Дальше других пошел Родзянко, заставив царя выслушать доклад о письмах царицы к Распутину. Продолжение доклада было отменено, и Родзянко тоже попал в опалу. Его с Гучковым надо повесить. Тов. министра внутренних дел честный Джунковский<sup>38</sup> составил доклад о разгульном поведении Распутина. Джунковский был отставлен и т.д., и т.д. Затем от отставок дело перешло к назначениям – с разрешения или по ходатайству Распутина. “Русский император”, так резюмирует проф. Пэрс суть этого перехода, “был, таким образом, вынужден своей женой насмеяться над всей мыслящей Россией, над министрами, Думой, органами местного управления и общественным мнением, – и отправиться на фронт (вместо вел. кн. Николая Николаевича) выиграть войну без их помощи, оставив императрицу управлять вместо себя тылом”. “С течением времени, – прибавляет автор, – ее руководство и даже контроль становится все более абсолютными”. Результат – укрепление “идеи собственности на государство; традиционно унаследованной от московских великих князей”. “Мы не должны забывать, – прибавляет автор тут же, – что мы пишем историю русского правительства в двадцатом веке, во время Мировой войны в союзе с Францией и Англией”. “Но материал для рассказа – слишком убедителен”. Впечатления честных людей от сложившегося положения подтверждаются признаниями или “показаниями” негодяев, вроде Белецкого<sup>39</sup> или Протопопова<sup>40</sup>, перед следственной комиссией. Сомневаться – невозможно.

И вот следуют вереницей в этих показаниях через распутинскую “переднюю” на министерские места люди, все более мелкие, все более невежественные в поручаемых им делах, все более бессовестные. А за ними еще более мелкая сошка: посредники между Распутиным и его кандидатами: некий Андроников<sup>41</sup>, Манасевич-Мануйлов<sup>42</sup>, “пустоголовая” Анна Вырубова. Даже угодливый “старик” Горемыкин<sup>43</sup> оказывается как-то не к месту среди этой хищной стаи. “Хвостов<sup>44</sup> – вот, наконец, пост-любез, о котором я мечтала”, пишет императрица, выдвигая его на пост министра внутренних дел. “Абсолютно неопытный человек, с совершенно непригодным характером”, характеризует его одноименный министр, его дядя. Но императрица в восторге, – и настойчиво требует назначения

своего “честного Хвоста”, как она его ласково называет. И Хвостов назначен. Он потом покусится на убийство Распутина. Так министерство наполняется “своими” людьми, “которые – любят нашего Друга”.

Но нет возможности передать всех тех безобразий, которые историк “падения монархии” честно собирает в свою книгу. Даже люди, знакомые с этим грязным прошлым, не могут не поразиться мозаикой, когда мелкие кусочки собраны в одну яркую картину. Сам автор, как бы извиняется перед читателем. Он “не дал бы ни одной из этих подробностей, если бы не нужно было охарактеризовать фон в жизни человека, который сделался арбитром судеб России среди Мировой войны”. И проф. Пэрс приводит в дополнение целую страницу цитат из писем императрицы к царю, где “наш Друг” руководит политической государством, вмешиваясь и в мелочи, и в главное. “Остановить на три дня пассажирское движение”. 8 ноября Распутин сообщает план выступления русских в Константинополь и хлопочет, “молясь и крестясь”, о проходе войск через Румынию и Грецию. 15 ноября “под влиянием ночного сна, требует наступления на Ригу”, 12 декабря он “не может вспомнить точно” одного своего распоряжения, но императрица прибавляет: “мы должны всегда делать то, что он говорит”. 1 ноября она пишет: “наш Друг был всегда против войны, считая, что не стоило воевать из-за Балкан”. 8 августа: “наш Друг надеется, что мы не будем переходить через Карпаты”. 8 октября: “о, прикажите Брусилову<sup>45</sup> прекратить эту бесполезную резню”, и т.д.

Проф. Пэрс приводит и отклик Брусилова: на просьбу императрицы сообщить ей дату своего наступления, он ответил отказом. Приводится и известная жалоба ген. Алексеева<sup>46</sup>, что секретная карта военных операций, которая хранилась у него в главной квартире и единственная копия которой была вручена Николаю II, оказалась в кабинете императрицы, куда вход для Распутина был свободен. Конечно, проф. Пэрс совершенно правильно утверждает, что все слухи об “измене” самой императрицы вздорны, и цитирует ряд ее отзывов, резко враждебных имп. Вильгельму<sup>47</sup> и свидетельствующих об ее патриотизме по отношению к новой родине. Но отношения императрицы с германскими родственниками ставили ее иногда в деликатное положение, а настояния Распутина на скорейшем заключении мира подвергали испытанию ее безусловное повиновение советам “Друга”. Николай II не допускал до себя никаких влияний этого рода.

Наконец, и старый Горемыкин был смещен – без предупреждения – кандидатом Распутина и его друга митрополита Питирима<sup>48</sup> – печальной памяти Штюрмером<sup>49</sup>. “Ограниченная и нечестная креатура”, характеризует его проф. Пэрс – слишком еще мягко. Это был один из тех вредных ничтожеств, которым суждено было стать могильщиками династии. Но... “он любит указания императрицы”, и Николай II отправляет к нему через нее (и, следовательно, к Распутину) всех министров, которые “непрерывно хотят являться сюда (в главную квартиру) и отнимают все мое время”. “Императрица при таком положении не удержалась от рискованного сравнения себя в одном письме с великой Екатериной II...”

Таково было положение, при котором начинались не “заговоры”, а скорее разговоры о заговорах. Первый заговор – против Распутина – принадлежал, как сказано, тому самому Хвостову (младшему), которого он поставил в министры. Но этот заговор провалился и только повредил его инициаторам. Потом стали говорить об аресте императрицы во время ее приезда в главную квартиру, об аресте царя, об его отречении и о регентстве Михаила<sup>50</sup>, о привлечении вел. кн. Николая Николаевича к наследованию трона. Родзянко сообщил о своем разговоре с вел. кн. Марьей Павловной, наводившей мысль председателя на то, чтобы “Дума” устроила покушение на императора. Имелась и попытка военного заговора с участием Гучкова и ген. Крымова<sup>51</sup>, поведенная слишком вяло и предупрежденная революцией. Проф. Пэрс знает обо всем этом и приводит соответствующие сведения и слухи. Посыпались и предупреждения царю – от великих князей, от английского посла Бьюкенена<sup>52</sup>, от Родзянко и т.д. Царь относился к ним безучастно, как замороженный. Наступил, по выражению проф. Пэрса, “хаос”, и события продолжали разворачиваться автоматически. На Распутина пал первый удар. Проф. Пэрс излагает эту отвратительную историю со всеми мрачными подробностями. Он внимательно останавливается на жалкой фигуре другого могильщика – Протопопова.

Рекомендованный Распутиным Протопопов обещал императрице “расправиться с ними”. Обоим было понятно, с кем именно. Как раз тут Николай II пробует огрызнуться, но, после троекратного приказа императрицы, Протопопов назначен. «Самое важное их всех назначений», – говорит “глупая” Вырубова... С отчаянием в душе, императрица узнает, что Протопопову грозит отставка. Она спешит в главную квартиру и внушает царю поколебленную уверенность. “Голова идет кругом... Не отнимайте подставок, на которых я смогла бы отдохнуть... Они прогонят всех друзей, а потом и нас самих... Вы были один с нами двумя (она и Распутин)... Я ведь бьюсь за ваше царствование и за будущность баэби” (наследника). Здесь слышатся последние вопли... И Николай II извиняется за минуту нерешительности: “Я буду жесток и резок”».

Около 60 страниц остаются автору, чтобы рассказать историю двух революций. Из них половина посвящена дальнейшей судьбе царской семьи после отречения государя. Конечно, рассказ автора о революции чересчур краток и, по необходимости, неточен. Своим руководителем в этой части книги проф. Пэрс избирает А.Ф. Керенского, книги которого имеются на английском языке. Как это ни странно, но в сущности это соответствует благодущию автора, всегда чувствующего влечение к преобладающей власти. С моей “Историей второй революции”, за исключением предисловия, он не проявляет знакомства, считая ее “преждевременной”. Меня лично затрагивает лишь умолчание автора о моей роли в вопросе о выезде царя за границу – хотя, именно на меня сыпались главные обвинения правых, а также объяснение проф. Пэрсом моего ухода из Временного правительства “фатальным недостатком политической перспективы”, выразившимся в напоминании о союзной уступке России проливов. Автор забывает, что эти напоминания повторя-

лись и моим преемником. По Керенскому же, победа большевиков объясняется выстулением ген. Корнилова<sup>53</sup>. Других объяснений нет на полустраничке, описывающей большевистский переворот.

Значительно подробнее изложены последние месяцы жизни царской семьи в изгнании и трагедия убийства. Даже в этом пересказе она производит сильное и тяжелое впечатление. Автор тщательно собрал все слухи о попытках освобождения пленников; но отделить здесь слухи от действительности представляется невозможным.

Каково же общее суждение о книге проф. Пэрса? Это, прежде всего, честная книга, и этим объясняется отчасти сужение ее горизонта. Автор хочет говорить только о том, что знает. Известные ему данные изложены очень полно, но он слишком доверчиво относится к своим источникам, ценя их свежесть, но не критикуя степени их достоверности. Он хочет быть беспристрастным, но невольно руководится своей средней оценкой, не скрывая сочувствия политике Столыпина и Гучкова перед правыми и левыми в царский период – и политике Керенского перед соответствующими политическими оценками при революции. Но совет Феба Икару: “Серединой пройдешь безопасней” (*medio tutissimus ibis*), как раз в данных двух случаях не соответствует динамике исторического процесса. Стержень событий проходит по другим линиям. Отсюда – и отмеченные выше несоответствия между изображением автора и действительностью.

*Последние новости. 1939. 25 июня, 2, 9 июля.*

<sup>1</sup> Речь идет об издании: Падение царского режима: Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной комиссии Временного правительства. М.; Л., 1924–1927. Т. I–VII.

<sup>2</sup> См.: Милоков П.Н. История второй революции. София, 1921–1923. Т. I. Вып. I.

<sup>3</sup> Флоринский М.Т. (1894–1981), историк, экономист.

<sup>4</sup> Коковцев В.Н. (1853–1943), граф, государственный деятель. В 1904–1905 и в 1906–1914 гг. – министр финансов. С сентября 1911 по январь 1914 г. – председатель Совета Министров.

<sup>5</sup> Керенский А.Ф. (1881–1970), политический деятель, адвокат. С марта 1917 г. во Временном правительстве занимал пост министра юстиции (март–май), военного и морского министра (май–сентябрь), министра–председателя (с июля).

<sup>6</sup> Витте С.Ю. (1849–1915), граф, в 1892–1903 – министр финансов, в 1903–1906 – председатель Комитета и впоследствии Совета Министров и в 1906–1915 гг. – председатель Комитета финансов.

<sup>7</sup> Николай II и Александра Федоровна.

<sup>8</sup> Александр III (1845–1894), император.

<sup>9</sup> Русско–японская война (1904–1905 гг.), завершилась Портсмутским миром.

<sup>10</sup> Сазонов С.Д. (1860–1927), в 1910–1916 гг. – министр иностранных дел.

<sup>11</sup> Манифест 17 октября “Об усовершенствовании государственного порядка” обещал ввести гражданские свободы, слова, печати, неприкосновенности личности, а Государственную думу признать законодательным учреждением.

<sup>12</sup> Первая Государственная дума действовала с 27 апреля по 8 июля 1906 г.

<sup>13</sup> Трепов Д.Ф. (1855–1906), с января 1905 г. петербургский генерал-губернатор, далее – дворцовый комендант.

<sup>14</sup> Столыпин П.А. (1862–1911), в 1906–1911 гг. – министр внутренних дел и председатель Совета министров.

<sup>15</sup> Вторая Государственная дума действовала с начала 1907 по 3 июня 1907 г.

<sup>16</sup> Речь идет об ответе кадетов на тронную речь царя 27 апреля 1906 г., во многом совпадающем с программой кадетской партии.

- 17 Речь идет о Выборгском манифесте – Обращении “Народу от народных представителей”, принятом на совещании депутатов 9–10 (22–23) июля 1906 г. в Выборге после роспуска I Государственной думы.
- 18 Третья Государственная дума действовала с 1 ноября 1907 по 9 июня 1912 г.
- 19 Гучков А.И. (1862–1936), общественный и политический деятель, возглавил “Союз 17 Октября”, депутат III Государственной думы, октябрист; с марта 1910 по апрель 1911 гг. – председатель Государственной думы.
- 20 Алексеев М.И. (р. 1848), октябрист, депутат III и IV Государственных дум от Екатеринославской губернии, в Думах – председатель бюджетной комиссии.
- 21 Кржижановский С.Е. (р. 1861), в 1906 г. – товарищ министра внутренних дел. Известен как автор избирательного закона 3 июня 1907 г.; с 1907 г. – сенатор.
- 22 Шингарев А.И. (1869–1918), земской деятель, публицист, врач. Председатель Воронежского губернского комитета партии кадетов, с 1908 г. – член ЦК партии; депутат II–IV Государственных дум.
- 23 Гладстон У. (1809–1898), английский государственный деятель, в 1892–1894 – премьер-министр.
- 24 Львов Н.Н. (1867–1944), общественный и политический деятель, член “Союза Освобождения”.
- 25 Виноградов П.Г. (1854–1925), историк, профессор Московского, Оксфордского (с 1903 г.) университетов, автор работ по средневековой истории Англии.
- 26 Тори – политическая партия Англии, возникла в 70–80-е годы XVII в.
- 27 Шульгин В.В. (1878–1976), депутат II–IV Государственных дум, член Временного исполнительного комитета Государственной думы (1917 г.)
- 28 Пуришкевич В.М. (1870–1920), в 1905–1907 гг. – товарищ председателя “Союза русского народа”; в 1908–1917 гг. товарищ председателя Русского народного союза имени Михаила Архангела. Депутат II–IV Государственных дум.
- 29 Марков Н.Е. (Марков 2-ой) (1866–после 1931), депутат III и IV Государственных дум, лидер фракции правых.
- 30 Герценштейн М.Я. (1859–1906), экономист, депутат I Государственной думы, член партии кадетов. Убит черносотенцами.
- 31 Иоллос Г.Б. (1859–1907), юрист, журналист. В 1905–1906 гг. – редактор газеты “Русские ведомости”; депутат Государственной думы. Убит черносотенцами.
- 32 Азеф Е.Ф. (1869–1918), тайный агент Департамента полиции.
- 33 Распутин (Новых) Г.Е. (1872–1916), фаворит царя Николая II и царицы Александры Федоровны.
- 34 Четвертая Государственная дума действовала с 15 ноября 1912 по 25 февраля 1917 г.
- 35 Вырубова Анна (1884–1964), фрейлина императрицы Александры Федоровны.
- 36 Родзянко М.В. (1859–1924), лидер партии октябристов, депутат III и IV Государственных дум, председатель последней (с 1911 г.), член Временного комитета Государственной думы (февр. 1917).
- 37 Николай Николаевич Романов (1856–1926), вел. кн., генерал от кавалерии (1900), генерал-адъютант (1894). 20 июля 1914 г. назначен верховным главнокомандующим, 23 августа 1915 г. смещен с этой должности.
- 38 Джунковский В.Ф. (1865–1938), товарищ министра внутренних дел (1913–1915).
- 39 Белецкий С.П. (1873–1918), товарищ министра внутренних дел (1915–1916).
- 40 Протопопов А.Д. (1866–1918), товарищ министра внутренних дел (1916–1917), товарищ председателя IV Государственной думы, с сентября 1916 по февраль 1917 – министр внутренних дел.
- 41 Андроников М.М. (1875–1919), князь, чиновник особых поручений при МВД, числившийся по ведомству без жалованья.
- 42 Манасевич-Мануйлов (Мануйлов, Манусевич-Мануйлов) И.Ф. (1869–1918), журналист, сотрудник “Нового времени”, тайный агент Департамента полиции, начальник Канцелярии председателя Совета министров (с окт. 1916).
- 43 Горемыкин И.Л. (1839–1917), в 1895–1899 гг. – министр внутренних дел, председатель Совета министров.
- 44 Хвостов А.Н. (1872–1918), депутат IV Государственной думы; в 1915–1916 гг. – министр внутренних дел.

- <sup>45</sup> Брусилов А.А. (1853–1926), генерал от кавалерии. В первую мировую войну командовал 8-й армией в Галицийской битве, с 1916 г. – главнокомандующий Юго-Западным фронтом.
- <sup>46</sup> Алексеев М.В. (1871–1917), генерал от инфантерии. С 1915 г. начальник штаба Ставки, в марте–мае 1917 г. – верховный главнокомандующий.
- <sup>47</sup> Вильгельм II (1859–1918), император Германии, с 1888 г. – король Пруссии.
- <sup>48</sup> Питирим – митрополит петербургский и ладожский (с ноября 1915).
- <sup>49</sup> Штюрмер Б.С. (1848–1917), в 1916 – председатель Совета министров, министр внутренних дел и министр иностранных дел.
- <sup>50</sup> Михаил Александрович Романов (1878–1918), вел. кн., ген.-инспектр кавалерии. 3(16) марта 1917 г. отказался от престола.
- <sup>51</sup> Крымов А.М. (1871–1917), генерал-лейтенант.
- <sup>52</sup> Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924), английский дипломат, в 1910–1918 гг. – посол в России.
- <sup>53</sup> Корнилов Л.Г. (1870–1918), генерал, в июле–августе 1917 верховный главнокомандующий.

## П.Н. Милуков

### В.А. МАКЛАКОВ О КНИГЕ ПРОФ. ПЭРСА

К моим статьям о “Падении монархии” проф. Пэrsa мне приходится прибавить постскрипtum. В только что полученной книжке “Slavonic Review”<sup>1</sup> я прочел подробную рецензию В.А. Маклакова на ту же тему, но с другой точки зрения, ему свойственной. Мы оба отметили, что проф. Пэрс находится под влиянием своих политических друзей. Но я разумел под этим влияние октябристов (к которым В.А. Маклаков политически близок), а В.А. Маклаков обвиняет проф. Пэrsa в подчинении взглядам “кадетов” и, в частности, моим. Мы оба, в конце концов, сходимся в том, что автору разбираемой книги не удалось примирить противоположные взгляды его русских друзей, и, следуя тем и другим сразу, он впал в неизбежные противоречия. Но все же основной его взгляд, на события – октябристский (и маклаковский), а не “кадетский”. И мне бы не было надобности писать этой статье, если бы одобрением этого октябристского освещения событий В.А. Маклаков и ограничился. Но он идет дальше – и преследует проф. Пэrsa за его верность “либеральной легенде”, которую “мы сами и выдумали”. Ее надо всячески разрушить, чтобы понять ход событий. И В.А. Маклаков, как известно, давно этим занимается. А проф. Пэрс «повторяет старые либеральные лозунги, восхищается талантами первой Думы, ее “адресом” и другими грехами тех дней». Автор книги “позволил овладеть собой той версией, которую либералы внушили Европе. Эта версия нуждается в общем пересмотре, но проф. Пэрс не решился его произвести”. Со своей стороны В.А. Маклаков снова старается – в глазах Европы – искоренить “либеральную легенду”. Поэтому от разбора книги Пэrsa он переходит к своей любимой теме, критике кадетских провинностей. Правда, на этот раз он оговаривается, что “несправедливо порицать отдельные лично-

сти” за то, что было “общим явлением”. Но тут же продолжает “порицать к.-д. за тот факт, что наиболее ответственные между ними не захотели стать выше толпы и попытаться руководить ею”. Это сводится к тому же “порицанию личностей”.

Я не собираюсь переубеждать В.А. Маклакова. Если он не исправил своего прежнего взгляда на мою личную роль и после моих воспоминаний в “Русских записках”<sup>2</sup>, на которые ссылается, то, очевидно, спорить с ним бесполезно. Он остается во власти своих старых впечатлений, которые мне уже приходилось характеризовать печатно. Но в данной статье есть утверждения, которые сформулированы отчетливее, чем прежде, – и тем ярче подчеркивают существенные ошибки В.А. Маклакова в оценке событий. Книга проф. Пэрса принесла ту добавочную пользу, что вновь вскрыла разницу – и даже противоположность – тех точек зрения его политических друзей, которые чересчур сближены и сглажены в его мозаическом рассказе о внешнем ходе событий.

В.А. Маклаков соглашается с самоограничением автора избранной им темой. Мало того: он вместе с проф. Пэрсом выбирает и в этом ограниченном сюжете еще более тесный круг вопросов – о личной ответственности за катастрофу главных руководителей событий. Он признает, что при такой постановке отпадает даже его “прежний” взгляд на решающее значение войны. Он соглашается с признанием примиряющей роли цензурной Государственной Думы и с картиной растущего благосостояния при старом режиме. Отведя главных лиц драмы от общего исторического фона, так сказать, на первый план исторической рампы, он получает возможность свести свои объяснения к поведению двух элементов: кадетов и императора. В его упрощенной схеме оба фактора поочередно впадают в одну и ту же психологическую ошибку. Вначале “кадеты” не верят императору. В конце – император не верит “кадетам”. Отсюда происходят все бедствия. Но в нарушении этой основной предпосылки “доверия” виноваты в конце концов все-таки кадеты. *La confiance est une plante qui ne gerousse pas\**, цитирует В.А. Маклаков Бисмарка<sup>3</sup>. На суженых таким образом подмостках император играет отраженную и второстепенную роль. Главные “злодеи” маклаковской фабулы – все же кадеты.

Повторяю, спорить против такой степени предвзятости – бесполезно. Но позволительно еще и еще раз подчеркнуть некоторые факты, которые нельзя оспаривать, и которые в корне разрушают концепцию В.А. Маклакова.

Начнем с конца: с этого “недоверия” императора, которое справедливо заслужено “кадетами”. Одним ли “кадетам” не доверял Николай II? И только ли с опыта первой Думы началось его недоверие? Ведь он не доверял и Витте, не доверял Столыпину, не доверял Гучкову, Родзянке, Шипову<sup>4</sup> и т.д. Кому доверял он? По конструкции В.А. Маклакова выходит, что он отдался в полную власть императрицы и Распутина только тогда, когда все другие его “обманули”. Но, ведь, были другие имена, перед которыми давно уже пасовала его слабая воля.

\* Доверие – это растение, которое нельзя вырастить дважды (фр.).



В.А. Маклаков забыл Победоносцева<sup>5</sup>, кн. Мещерского...<sup>6</sup> Случаен ли был этот выбор?

Ответив на этот вопрос, В.А. Маклаков, может быть, пришел бы и к правильному выводу, почему императору “не доверяли”... не только кадеты. У Николая II была своя идея, основная идея его царствования, “лучшая мечта всей его жизни”, как он выразился Коковцеву, в решительный момент, когда приходилось выбирать между доверием и недоверием к к.-д. Этой “лучшей мечте” отвечали Победоносцев и Мещерский, Союз русского народа, даже “истинно русские извозчики”, но не отвечали Витте и Столыпин, – потому что то была “мечта” всех последних самодержцев – сохранить во что бы то ни стало свою неограниченную власть: “передать сыну то, что получил от отца”. Императрица получила власть потому, что она отдала всю свою волю осуществлению этой “мечты”. “Мы помазаны Богом”.

Но царь дал “конституцию”, возражает Маклаков. Тут его другая ошибка, столь же непростительная, как первая. Царь никогда не думал, что он дал конституцию. Манифест 17 октября? Это “была бы конституция”, – писал царь жене в условной форме, оправдываясь в своей вынужденной обстоятельствами подписи. В сознании царя, его уступка “конституцией” не была. Правда, в минуту опасности и одиночества, он подписал документ с “законодательной властью” Думы. Но достаточно вспомнить, как он упирался, как Витте вынудил подпись, и как, в конце концов, Николай II понимал эту власть. “Разве я, монарх, не вправе делать то, что хочу?”, – спросил он как бы с наивным удивлением своих советников. Он и “сделал, что хотел” – 3 июня 1907 года<sup>7</sup>. С тех пор вопрос о возвращении к “совещательной” Думе стал на очередь и сделался лишь вопросом времени.

Царь не дал и не хотел дать конституции: это кадеты понимали тогда; этого В.А. Маклаков не хочет понять и теперь. Отсюда их дальнейшая борьба; отсюда и царское недоверие авансом, смешение их с революционерами, республиканцами и т.д. В.А. Маклакову хотелось бы, чтобы кадеты как-то исхитрились, сделали хотя бы вид, что поверили в “конституцию”, и тем – понемножку, помаленьку – втащили бы конституцию в жизнь. Увы, этой тактики держались, но не могли провести ни Гучков, ни Столыпин. Гр. Коковцев проводил ее автоматически, потому что был аполитичен; но скоро и он потерял доверие... императрицы.

Есть, однако, точка на этом пути, дойдя до которой В.А. Маклаков начинает, к моему удивлению, хвалить к.-д.! Это их поведение в третьей и четвертой Думе. Тут В.А. Маклаков сходится с проф. Пэрсом. Но только с другой стороны. Я уже отметил, что в четвертой думе проф. Пэрсу стало легче согласовать свои дружеские симпатии с реальностью, потому что все его друзья полевели. А Маклаков одобряет к.-д. за то, что они... поправили. И тут уже мне приходится защищать проф. Пэрса от его критика. Проф. Пэрс все-таки “гладстонианец”, и есть вещи, которых он перенести не может, хотя бы и пришлось впасть в противоречия. В.А. Маклаков все гнет под свою предвзятую точку зрения – и потому последователен до полного извращения истины.

Четвертая Дума вся в целом составе постепенно радикализируется. Именно поэтому она становится “популярной”. В.А. Маклаков всячески доказывает ее “лояльность”. Пусть, вместе со всей страной, она критиковала военные порядки и мероприятия. Но, ведь, она и помогала войне. В стране “было недовольство”? Но “правительство взяло новый курс и несколько министров (каких!) получили отставку”. “Сотрудничество между властями и публикой расширилось”. Но “Дума откликнулась на это, создав Прогрессивный блок”<sup>8</sup>. В.А. Маклаков одобряет создание этого блока, не видя, что оно значит и к чему приведет. “Кадеты в первый раз заключили соглашение с умеренными конституционными партиями, с октябристами и даже с националистами”. Дошло даже до того, что царь посетил Думу. В.А. Макляков торжествует, переноса идиллию третьей Думы проф. Пэрса в четвертую. Этой ошибки даже проф. Пэрс уже не делает. Он знает, что при сложившемся положении, “всякая Дума кончает оппозицией”. Но В.А. Маклаков выступает на защиту “умеренности” думского “блока” от проф. Пэрса. Блок выступил с несвоевременной программой реформ, – замечает Пэрс. Нет, – отвечает В.А., – «это не верно. Многие реформы были осуществимы. Другие не спешны; блок не просил о реформе конституции, а довольствовался “министерством доверия, то есть условием *sine qua non* здоровой политической жизни»». Неосторожно сказано это “*sine qua non*”: это, ведь, и есть источник оппозиции. Правда, блок не просил “министерства, ответственного перед Думой”, но ведь, “доверие” министерству требовалось не от императора, а от страны, безусловно не доверявшей монарху. Осуществима ли была при этом “безусловная предпосылка” здоровой политической жизни? В.А. Маклаков забывает про удивление монарха, когда Бьюкенен напомнил ему про этого рода “доверие”. Не страна должна “доверять” ему, а сама должна “заслужить” его доверие... – оборвал он гордо посланника.

Но “блок был лоялен к власти”, – настаивает Маклаков. К какой власти? Ведь, министры, сторонники “блока”, только что получили отставку и были заменены распутинскими креатурами. А сам В.А. отмечает, что “блок” объявил им войну. Использование Распутина германцами он считает вероятым. Всю картину хаоса последних месяцев он также разделяет. Только роль “блока” он хочет выгородить от участия в борьбе против распутинцев и хаоса. И тут опять сказывается его основная ошибка. Проф. Пэрс, конечно, не прав, приписывая “блоку” в целом один из планов свержения императора. Но он ближе к истине, нежели его критик. Я припоминаю совещание руководителей “блока” в помещении торгово-промышленного съезда, где обсуждался вопрос о престолонаследии после низложения Николая II. О самой процедуре низложения там не говорилось, а только о его последствиях. Но об этом не говорилось потому, что мы считали Гучкова и Некрасова<sup>9</sup>, священными в секретную часть “плана”. Это и подтверждает Гучков в своем показании и в сообщениях Пэрсу. “Блок”, конечно, не хотел оставаться позади надвигавшихся событий. Он сыграл главную роль в со-

\* без чего нет (лат.).

ставлении кабинета февральской революции, а я заявил об этом решении “блока” в известной речи в Екатерининском зале. Все это, по конструкции В.А. Маклакова, должно было бы считаться каким-то срывом “лояльного” “блока” в революцию. У проф. Пэрса это – только естественное последствие занятой “блоком” политической позиции. И это правильно.

Подводя итог, В.А. Маклаков обвиняет проф. Пэрса в том, что он чересчур начитался Милюкова. Вот его слова с моими замечаниями в скобках. «Книга Пэрса многое изображает лучше и вернее (очевидно то, что больше соответствует взгляду самого В.А.). Но в своем понимании нашего прошлого он не мог отрешиться от версии тех, кому симпатизировал. (Это верно относительно друзей Маклакова). Сам, будучи либералом, “гладстонианцем”, он был близок к партии, которая представляла этот либерализм, то есть к кадетам (это уже не совсем верно). Он знал и ценил их лидера Милюкова, читал его книги и из них получил кадетскую версию (он получил ее из своих личных наблюдений, а книги мои читал недостаточно внимательно). Он даже не отказался от этой версии, когда заметил многие ее ошибки (смешав, как и В.А. Маклаков, Милюкова с партией). Подчинение этой версии сказалось в изображении либерального движения (оно, все же, изложено у Пэрса жизненнее и ближе к правде, нежели последовательная система его осуждения у В.А. Маклакова)».

Говорить ли об обвинении нас В.А. Маклаковым в нашей “связи с революцией”? Тут В.А. прав. Я согласен с ним, что мы “не остались нейтральными”: если не действиями, то моральной поддержкой (мы) были на стороне революции (как, впрочем, был тогда и сам В.А. Маклаков). Это правда. Вместе мы добыли этот манифест, который В.А. Маклаков упорно считает “конституционным”. Вместе мы боролись и дальше, не считая этой уступки достаточной, и не желая идти в плен к исполнителям непреклонной императорской воли. История, к несчастью, оправдала нас, а не В.А. Маклакова. Мы ставили условия, необходимые для избежания революционного исхода. Они не были приняты, – и не мы виновны, что революция воспоследовала. В последнюю минуту большинство четвертой Думы присоединилось к нам. Но новые, сильно смягченные условия, по той же причине, были отброшены вместе с последними министрами, еще понимавшими положение. И этот печальный исход, даже с точки зрения Маклакова, одобрявшего наше поведение в “блоке”, хотя и понявшего его по-своему, вполне отвечал нашей первоначальной оценке непоправимого вреда упрямой тактики падавшей династии. В.А. Маклаков видит мою (запоздалую) заслугу в попытке спасти монархию то уже при начавшейся революции. Но вся наша политика преследовала ту же цель, – если бы она была понята правильно. К сожалению, спасти монарха против его воли от последствий его поведения, – ни мы, ни кто-либо другой, включая и друзей Маклакова, – не имели возможности.

*Последние новости. 1919. 16 июля.*

- <sup>1</sup> Речь идет о журнале “Slavonic and East European review” (University of London, School of Slavonic and East European studios. London.).
- <sup>2</sup> “Русские записки”, общественно-политический и литературный журнал, издавался при ближайшем участии Н.Д. Авксентьева, И.И. Бунакова, М.В. Вишняка, В.В. Руднева. Париж. 1937–1939; 1938 г. № 4. Ред. П.Н. Милюков.
- <sup>3</sup> Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815–1898), князь, рейхсканцлер Германской империи в 1871–1890 гг.
- <sup>4</sup> Шипов Д.Н. (1851–1920), земский деятель.
- <sup>5</sup> Победоносцев К.П. (1827–1907), государственный деятель, с 1872 г. член Государственного совета, в 1880–1905 гг. оберпрокурор Синода.
- <sup>6</sup> Мещерский В.П. (1839–1914), князь, публицист.
- <sup>7</sup> Закон 3(16) июня 1907 г. означал третьеиюньский переворот, разгон II Государственной думы и изменение избирательного закона о выборах в Думу. Изменение по закону представительства в Думе помещиков и торгово-промышленной буржуазии и сокращение числа представителей крестьян и рабочих нарушало Манифест 17 октября 1905 г. и Основные законы 1906 г., по которым законы не могли издаваться без одобрения Государственного совета.
- <sup>8</sup> Прогрессивный блок был образован в 1915 г., объединял умеренно-правые и либеральные фракции IV Государственной думы и Группы Государственного совета.
- <sup>9</sup> Некрасов Н.В. (1879–1940), лидер левого крыла кадетской партии, депутат III и IV Государственных дум.

\* \* \*

Мало кто помнит, что по своему основному образованию прославленный адвокат и думский “златоуст”, один из кадетских лидеров Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) был историком.

За время пребывания в Московском университете Маклаков успел поучиться на трех факультетах, два из которых с блеском окончил. Быстро разочаровавшись в естественных науках, он перешел на историко-филологический факультет, где учился у В.О. Ключевского и П.Г. Виноградова. Под руководством последнего он написал работу, которая стала его первым опубликованным научным трудом – “Избрание жребием в Афинском государстве”<sup>1</sup>. Виноградов прочил ему большое будущее. Впоследствии Маклаков отдал дань своим наставникам, опубликовав о них биографические очерки<sup>2</sup>.

Однако научная карьера Маклакова не задалась, в результате он закончил еще один факультет – юридический. Во-первых, у него случилось очередное “недоразумение” с университетскими властями и попечитель учебного округа Н.П. Боголепов наложил вето на то, чтобы оставить Маклакова при университете “для подготовки к профессорскому званию”. Во-вторых, в мае 1895 года умер от болезни сердца отец, профессор-окулист, и вдруг выяснилось, что надо съезжать с казенной квартиры и вообще как-то разобраться с материальным положением семьи, которая, конечно, не была бедной, но существовала все-таки на заработки отца. А Василий Алексеевич, старший из братьев, еще не имел конкретных планов на жизнь и специальности, способной обеспечить жизнь на прежнем уровне.

Он, вероятно, мог добиться отмены запрета Боголепова – как не раз ему и его родственникам и знакомым удавалось разрешать различные конфликты с начальством; однако Маклакову не хотелось “вступать на

дорогу, где [он] должен бы был от власти и ее капризов зависеть”. К тому же, по его собственному признанию, Маклаков не чувствовал в себе настоящей тяги к научной работе.

Поэтому он, пройдя за год курс юридического факультета, и, как всегда, с блеском сдав экзамены, стал помощником присяжного поверенного. Остальное достаточно известно – блестящая адвокатская карьера и активное участие в общественном движении, которое привело его в партию кадетов, бессменным членом Центрального комитета которой он был с 1906 г. Маклаков был депутатом трех Государственных дум, начиная со 2-й; в Думе он стал одним из самых ярких кадетских ораторов.

После Февральской революции Маклаков, вместо “причитавшегося” ему поста министра юстиции, получил в конце концов назначение послом в Париж; в этой должности он пробыл до 1924 г., когда Франция признала СССР и посол несуществующей страны был вынужден сменить особняк на улице Гренелль на “Офис” по делам русских беженцев во Франции. Маклаков был главой этого учреждения, находившегося под двойной юрисдикцией – французского министерства иностранных дел и Лиги Наций, с перерывом на период нацистской оккупации, почти до конца своих дней.

Жизнь Маклакова в эмиграции, за исключением времени гражданской и второй мировой войн, небогата внешними событиями. Но в интеллектуальном отношении эмигрантский период, возможно, был наиболее плодотворным в его “литературной” биографии.

Идеей фикс Маклакова в годы эмиграции было уяснить – для себя и для истории, как и почему с Россией случилось то, что случилось? Где и когда свернула она на путь, ведущий к катастрофе? И, разумеется, кто виноват в том, что произошло?

Об этом, по сути, большинство его публикаций эмигрантского периода; первый серьезный подход к теме он предпринял 10 лет спустя после революции, в предисловии, на французском языке, к публикации извлечений из протоколов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по расследованию преступлений деятелей прежнего режима<sup>3</sup>. Эта вступительная статья вызвала бурную и противоречивую реакцию на страницах эмигрантской печати.

Вскоре один из редакторов “Современных записок” И.И. Бунаков-Фондаминский “соблазнил” Маклакова “изложить свое понимание нашего (к.-д.) партийного прошлого”. С 1929 г. журнал начал публиковать воспоминания Маклакова под названием “Из прошлого”. Публикация растянулась на несколько лет и завершилась в 1936 г. Собственно, это были не совсем воспоминания. Недалек от истины был постоянный критик Маклакова Марк Вишняк, характеризовавший его текст как “феноменологию” правого крыла кадетской партии – историософию предреволюционных событий с точки зрения правого кадета<sup>4</sup>. Из этой публикации “выросли” три книги Маклакова – “Власть и общечеловечность на закате старой России” (Париж, 1936. Т. 1–3), “Первая Государственная Дума” (Париж, 1939) и “Вторая Государственная Дума” (Париж, б.г.).

Остановлюсь только на некоторых принципиальных моментах и на отношении к взглядам Маклакова на русское прошлое его современников и нередко – “персонажей” его книг и статей. Ответственность за происшедшую катастрофу Маклаков возлагал на левых либералов, т.е. на собственную партию; особенно досталось лидеру партии П.Н. Милюкову и некоторым другим “доктринерам”; им вменялось в вину стремление использовать в своих целях революционное движение; не снимал он ответственности и с себя. В его изображении, в особенности в книге о второй Думе, П.А. Столыпин нередко выглядел большим конституционалистом и либералом, нежели товарищи Маклакова по партии.

Суть обвинений Маклакова в отношении политики кадетов в 1905–1907 гг. М.М. Карпович свел к шести основным пунктам:

“1. Максимализм программных требований партии, в особенности созыв Учредительного Собрания, что не могло быть осуществлено без полной капитуляции царского правительства.

2. Бескомпромиссное отношение партии к Витте и Столыпину, которые – по Маклакову – могли и должны были быть использованы как союзники, а не отброшены как враги.

3. Безоговорочное отрицание лидерами партии самой идеи участия кадетов в правительствах Витте и Столыпина.

4. Тенденция партии использовать Государственную Думу не для конструктивной законодательной работы, а как трибуну противоправительственной агитации.

5. Догматические требования немедленного пересмотра Основных Законов, имея в виду всеобщее избирательное право, ограничение компетенции Государственного Совета и ответственность министров.

6. Наконец, опубликование Выборгского воззвания было мерою явно революционного характера, так как и роспуск Государственной Думы и назначение новых выборов не противоречили конституции”<sup>5</sup>.

Статьи и книги Маклакова, в которых тотальной критике подвергся радикализм тактики русских либералов, подверглись столь же тотальной критике со стороны Милюкова, откликавшегося на маклаковские публикации на страницах “Последних новостей” и тех же “Современных записок”. Милюков в свою очередь обвинил Маклакова в доктринерстве; его схема представлялась лидеру кадетов умозрительной и не учитывающей конкретно-исторических обстоятельств. Политика – это искусство возможного; договориться с конкретными царскими министрами не смогли не только кадеты, но и гораздо более умеренные граф П.А. Гейден и Д.Н. Шипов; войти тогда в правительство означало политическую смерть. Подробно были разобраны и отвергнуты и другие обвинения Маклакова<sup>6</sup>.

Большинство читателей – и последующих историков – по-видимому, склонялось на сторону Милюкова; к милюковской критике, с еще более левых позиций присоединился один из редакторов “Современных записок” М.В. Вишняк. Любопытно, что оба они обвиняли Маклакова в чрезмерно правовом подходе к политике. Милюков считал своего оппонента “адвокатом” и в политике; адвокату свойственно видеть правду и другой стороны; политику это противопоказано – он должен быть

убежден, или, по крайней мере, убеждать других – только в своей правоте. Вишняк подчеркивал, что для Маклакова “оказалось абсолютном не право вообще, а очень ограниченная и узкая его ветвь – писанный закон царского времени”<sup>7</sup>.

С критиками Маклакова можно во многом согласиться; однако, “право” той или иной стороны зависела в конечном счете от точки зрения на революцию. Для Маклакова она – абсолютное зло; Миллюков, конечно, относился к революции отрицательно, но допускал, что ее можно использовать; Вишняк же был хотя и правым, но социалистом-революционером. То же самое относится к праву; изменять правовые нормы необходимо правовым путем, утверждал Маклаков; на этом зиждилось его неприятие Февраля, разорвавшего правовую преемственность с прежней государственностью. Для него, юриста, казалось очевидным, что даже провинциальные судьи, создававшие своими решениями те или иные прецеденты, постепенно изменяли правосознание общества, изменяли правовое поле в рамках существующей государственности.

Сильная сторона его размышлений, столь необычных для деятеля оппозиции – как раз понять правду противоположной стороны. Нельзя сказать, что он не замечал ошибок, недобросовестности и прямых преступлений “исторической” власти. Это отчетливо видно в той же “Второй Думе”; в том, что случилось с Россией, виноваты были все; но отвечать каждому надо было за свою собственную вину. Кадеты, по мнению Маклакова, своей вины не понимали. А вина их, в конечном счете сводилась к тому, что они пытались осуществить правильные идеалы неправильными методами – и взяли к тому же неверный темп, не сумев понять реальной готовности – точнее, неготовности, народа к либеральным преобразованиям. Правда бюрократов, консерваторов и т.д. заключалась в том, что они лучше знали страну и механизмы управления. Либералы раскачали лодку, будучи уверенными, что справятся с течением – и не сумели удержать руль; выброшенными за борт оказались все.

Кстати, опубликованные тексты Маклакова – лишь верхушка “айсберга”; в его личном собрании в Гуверовском институте из 26 коробок документов 14 составляет переписка; в письмах он был гораздо откровеннее и раскованнее, иногда – справедливее. В письме к М.М. Винаверу, характеризующем взаимоотношения власти и Первой думы, воспетой его корреспондентом и столь жестоко раскритикованной впоследствии им самим, Маклаков писал: “Неразумная линия прогрессивного общества находила свое и объяснение, и оправдание в неискренней политике власти. Обе стороны были неправы. Правительство неправо, когда во всем винит доктринерство и неуступчивость кадетов; это неправда, но будут неправы и кадеты, если они всю вину переложат на власть. Виноват на самом деле тот ров, который к этому времени уже был между властью и страной, то недоверие друг к другу, отсутствие общего языка, которое мешало совместным действиям”<sup>8</sup>.

Среди бумаг Маклакова в Гуверовском архиве хранится текст, представляющий немалый интерес для уяснения его исторических взглядов,

а также некоторых конкретных обстоятельств русской революции 1917 г. Это рецензия на книгу британского историка Бернарда Пэрса (Pares) “Падение русской монархии”, вышедшую в 1939 г. Текст был в свое время опубликован, но не в том виде, в котором он первоначально создавался, в различных изданиях и к тому же на разных языках. На наш взгляд, это нарушило его единство и, если угодно, своеобразное очарование. Ведь рецензию писал не только свидетель, но и участник событий, описанных в книге; более того – один из ее персонажей!

История текста такова. Пэрс предложил Маклакову написать рецензию на его книгу; Маклаков написал рецензию, перемежающуюся его личными воспоминаниями, вносящими уточнения и дополнения в изложение автора; в частности, это касалось эпизода, случившегося в день накануне революции – переговоров Маклакова с министрами Н.Н. Покровским и А.А. Риттихом о возможных путях преодоления надвигающейся катастрофы. “Я думал воспользоваться рецензией на книгу Пэрса, – писал позднее Маклаков, – где есть на него намек, чтобы спасти этот эпизод от забвения. Б. Пэрс однако нашел и, конечно, был прав, что этому рассказу не место в рецензии на его книгу. Он предложил мне напечатать его отдельно...”<sup>9</sup>

Таким образом, получилось, что текст Маклакова был искусственно расчленен. Часть его была опубликована в переводе на английский под названием “К падению царизма” в журнале “Slavonic and East European Review” в 1939 г.<sup>10</sup>; другую часть, где он рассказывает о переговорах с министрами, Маклаков отправил в “Современные записки”. Однако дело было в августе 1939 г. и война помешала ее публикации. Наконец, в 1946 г. этот мемуарный очерк Маклакова был опубликован в “преемнике” “Современных записок” – нью-йоркском “Новом журнале” под названием “Канун революции”<sup>11</sup>.

В настоящей публикации текст Маклакова впервые печатается в первоначальном виде на языке оригинала. Текст весьма любопытен для уяснения концепции Маклакова; тем более, что он является как бы хронологическим продолжением его известных книг, в которых события рассматриваются до 1907 г. В годы первой мировой войны партия кадетов была уже совсем не той, что в период революции 1905–1907 гг. Ее уже вряд ли можно было упрекнуть в отсутствии желания сотрудничать с властью. Однако начавшее было налаживаться сотрудничество быстро переросло в традиционную борьбу общественности с властью, что кончилось катастрофой для обеих сторон.

В известном смысле Маклаков снимает в рецензии на книгу Пэрса свое традиционное обвинение общественности в нежелании сотрудничать с исторической властью. Правда, снимает парадоксальным образом – по его мнению, когда власть стала в 1905 г. на конституционный путь, то “либеральной общественности в стране не оказалось; либералы английского типа, за которых принимали кадет, существовали только в теории”. Радикализм русских либералов Маклаков объяснял исторически; он снимал ответственность с личностей, полагая, что “причина не в них, а в нашей прошлой истории, она результат многовекового Самодержавия. Либералы, которые воспитались в



борьбе с Самодержавной Монархией, так же мало виноваты в нелояльности к Государю, как люди, которым не давали учиться, виноваты в безграмотности”. Упрекнуть кадетов “образца” 1915–1917 гг. можно лишь в том, писал Маклаков, несколько противореча себе, что их лидеры не смогли стать выше толпы и попытаться повести ее за собой. Из контекста совершенно ясно, что обвинение предъявлялось прежде всего Милюкову, который в известной речи 1 ноября 1916 г. «счел возможным цитировать строки немецкой газеты, где имя молодой императрицы соединялось со словом “измена”... это страшное слово произнесено было с трибуны Государственной Думы, и никаких возражений не вызвало; в глазах темной толпы “измена” императрицы стала доказана».

Впрочем, атаку на правительство продолжил два дня спустя сам Маклаков. “Наше правительство, – говорил он с трибуны Государственной Думы 3 ноября, – сейчас парализует, обессиливает силу целой России... Старый режим и интересы России теперь разошлись и перед каждым министром стоит дилемма: пусть он выбирает, служить ли России или служить режиму, служить тому и другому так же невозможно, как служить Маммоне и Богу”.

Любопытно, что атака оппозиции на правительство была вызвана в значительной степени слухами о его готовности заключить сепаратный мир с Германией. Маклаков предупреждал, под рукоплескания центра, левой и справа, и под крики “браво”: “позорного мира вничью Россия не простит никому”. Знал бы он тогда к а к о й мир подпишет Россия в марте 1918 г.! “Она знает, г., – продолжал Маклаков, – что если бы это свершилось – не Германия нас победила, а победили нас здесь, внутри, победил этот проклятый режим, представители которого сменяют друг друга на министерских местах; и тогда, г., Россия позовет всех к ответу, и она пощады не даст никому, я повторяю – никому...”

Для настроения Думы, избранной по стольшинскому третьейиюньскому закону, характерно, что эта недвусмысленная угроза, адресованная “на самый верх” была, как отмечено в стенограмме, встречена на этот раз п р о д о л ж и т е л ь н ы м и рукоплесканиями центра, левой и справа, и голосами: “браво”. Закончил Маклаков свое выступление ультиматумом: “мы заявляем этой власти: либо мы, либо они. Вместе наша жизнь невозможна”<sup>12</sup>.

Все же катастрофу можно было предотвратить, если бы план, разработанный Маклаковым совместно с Покровским и Риттихом – отставка правительства и образование своеобразного военного кабинета с популярным генералом в качестве премьера, удалось провести в жизнь, писал Маклаков более двадцати лет спустя после революции. В том, что это не удалось – виновата власть: “Гибель России оттуда и вышла, что для тех, кто тогда еще правил Россией, он был невозможен”. При публикации фрагмента о переговорах с министрами в “Новом журнале” Маклаков добавил несколько фраз, еще яснее подчеркивавших эту мысль: «...характерно, что в этот последний час “старого строя”, план избежать Революции был сорван не крайними левыми, но кадетской общественностью, а самую властью. Всю ответственность за Револю-

цию она как будто хотела сохранить за собою. Так кончилась старая тяжба власти с общественностью»<sup>13</sup>.

В рецензии Маклакова обращает на себя внимание то несоразмерно большое значение, которое он придает роли Распутина в истории падения монархии. Объясняется это, во-первых, тем, что таковы были *представления* современников, которые нередко играют в истории не меньшую (если не большую) роль, чем реалии, во-вторых, что в “удалении” Распутина Маклакову довелось принять некоторое участие. Эта история демонстрирует, в каком состоянии находился в то время “законник” Маклаков, если фактически стал соучастником убийства. В начале ноября 1916 г. к нему явился князь Феликс Юсупов, почему-то посчитавший его выступление 3 ноября антираспутинским и попросил помочь подыскать людей, которые убьют друга царской семьи. Это характеризовало как политическую наивность князя, для которого либералы и революционеры-террористы были одним миром мазаны, так и полную непрактичность в такого рода делах. Маклаков выпроводил Юсупова, объяснив, что у него не “контора наемных убийц”.

Однако позднее, когда дело пошло всерьез и к заговору подключились великий князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной думы В.М. Пуришкевич и некоторые другие лица, Маклаков стал по существу юрисконсультom заговорщиков и даже дал Юсупову возможное орудие убийства. В своих воспоминаниях об этом деле Маклаков писал, что “если бы дошло до суда, я подлежал бы уголовной ответственности, как пособник”. С адвокатской скрупулезностью он пояснял, что дал Юсупову не каучуковую палку, о которой рассказывал князь, а “кистень с двумя свинцовыми шарами на коротенькой гнущейся ручке”<sup>14</sup>.

Примечательно, что Маклаков в своих работах эмигрантского периода критиковал либералов, но почти не затрагивал революционеров, упоминая о них лишь мимоходом, как о “фоне”, на котором происходили события. Думаю, что постоянный зои́л Маклакова эсер Вишняк правильно уловил причину этого, когда в письме меньшевику Николаевскому писал, что Маклаков «НИКОГДА не был внутренне и политически нам близок. Когда он в течение десятилетий сражался с Милюковым и в левых кадетах видел главную беду России, – нас он расценивал, как такую накипь и зло, которые “ниже ватерлинии”, о которых и говорить не стоит – или безумцы или преступники». Именно потому, что он так расценивал “революционную демократию”, Маклаков, по мнению Вишняка, столь отрицательно отнесся к режиму Временного правительства, который, все-таки был единственным периодом «ВО ВСЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ, когда было некое подобие того, что в ИДЕЕ защищает “подлинный” либерал Маклаков»<sup>15</sup>.

Вишняк был безусловно прав – Маклаков совершенно не верил в возможность реализации либеральной идеи в России 1917 г., ибо Временное правительство пыталось “внедрить” демократию, будто не замечая, что имеет дело не со свободными людьми, сделавшими свободный выбор, а с “взбунтовавшимися рабами”. Именно Маклаков подсказал А.Ф. Керенскому высказывание К.С. Аксакова о “взбунтовавшихся рабах” для одной из его громовых речей 1917 г. “Рабы” были не вино-

ваты в своей темноте; виноваты были те, кто эту темноту не замечал; что же было говорить о других, эту темноту сознательно стремившихся использовать? Особенностью Маклакова как политика было то, что он, если идея вступала в противоречие с жизнью, предпочитал соотносить свои действия с реальностью.

Текст рецензии Маклакова на книгу Пэrsa воспроизводится по машинописной копии с авторской правкой, находящейся в личном собрании Маклакова в архиве Гуверовского института войны, революции и мира (Стэнфордский университет, Калифорния, США), коробка 16, папка 8 (Hoover Institution Archives, Stanford University, California, U.S.A., Vasily Maklakov Collection, Box 16, Folder 8). Текст печатается с разрешения Гуверовского архива. При публикации сохранены особенности орфографии Маклакова.

- <sup>1</sup> См.: Исследования по греческой истории / Под ред. П. Виноградова. М., 1894.
- <sup>2</sup> *Klyuchevsky // Slavonic and East European Review*. 1934. Vol. XIII. P. 320–329; Vinogradoff // *Ibid*. 1935. Vol. XIII. P. 633–640.
- <sup>3</sup> *La chute de regime Tsariste. Interrogatories des ministres de la Cour Imperiale Russe / Preface de V. Maklakoff*. P., 1927.
- <sup>4</sup> *Вишняк М.В.* “Современные записки”: Воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 193–196.
- <sup>5</sup> *Карпович М.* Два типа русского либерализма: Маклаков и Милоков // *Новый журнал*. Нью-Йорк. 1960. Кн. 60. С. 273.
- <sup>6</sup> См.: *Милоков П.Н.* Суд над кадетским либерализмом // *Современные записки*. 1930. Кн. 40; *Он же.* Либерализм, радикализм и революция // Там же. 1935. Кн. 57. Подробнее о полемике Маклакова и Милокова, а также об их личных и политических отношениях в период эмиграции см. в моих ст.: Маклаков и Милоков: два взгляда на русский либерализм // *Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы*. М., 1999; Милоков и Маклаков: к истории взаимоотношений. 1917–1939 // П.Н. Милоков: историк, политик, дипломат. М., 2000.
- <sup>7</sup> *Вишняк М.В.* Указ. соч. С. 196.
- <sup>8</sup> Hoover Institution Archivs (далее: HIA), Stanford University, Stanford, California, USA V. Maklakov Collection. Box. 15. Folder 2. В.А. Маклаков–М.М. Винаверу, 5 февраля 1924. (Частично процитировано в ст.: *Г.З. Иоффе и С.В. Кулешова* «В.А. Маклаков: вместо подчинения одних другим надо искать равновесие» // *Кентавр*. 1993. № 6. С. 67).
- <sup>9</sup> HIA. V. Maklakov Collection. 16–8. Письмо В.А. Маклакова в редакцию “Нового журнала”, б/д.
- <sup>10</sup> *On the Fall of Tsardom // Slavonic and East European Review*. XVIII (1939). P. 73–92.
- <sup>11</sup> *Канун революции // Новый журнал*. 1948. Кн. 14. С. 306–314.
- <sup>12</sup> Государственная Дума. Четвертый созыв: Стенографические отчеты, сессия V, заседание 2. 3.XI.1916. Стлб. 130, 131, 133, 135.
- <sup>13</sup> *Маклаков В.А.* Канун революции // *Новый журнал*. 1948. Кн. 14. С. 314.
- <sup>14</sup> *Маклаков В.А.* Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина // *Современные записки*. 1928. Кн. 34. С. 271–272; в личном архиве Маклакова в архиве Гуверовского Института хранятся его показания об убийстве Распутина, которые Маклаков дал следователю Н.А. Соколову, занимавшемуся делом об убийстве царской семьи. Соколов хотел изучить все обстоятельства, предшествовавшие убийству в Екатеринбурге; в основу цитированного очерка Маклакова легли его показания. См. также предисловие Маклакова к “дневнику” Пуришкевича в виде письма к его издателю Я.Е. Поволоцкому: Из Дневника В.М. Пуришкевича: Убийство Распутина. Париж, [1923]. С. 3–11.
- <sup>15</sup> М.В. Вишняк – Б.И. Николаевскому, 10 августа 1945. HIA. Boris Nicolaevsky Collection. 506–35.

О.В. Будницкий

О КНИГЕ Б. ПЭРСА  
“ПАДЕНИЕ РУССКОЙ МОНАРХИИ”\*

Когда русский читает книгу о России, написанную иностранцем, он больше интересуется не тем, что из нее может узнать, а тем, как иностранец понимает то, что русские знают; мы привыкли к тому, что издавна называлось “развесистой клюквой”. Книга Б. Перса другая: она захватывающе интересна для нас. Я далеко не со всем в ней согласен; в ней можно указать много мелких неточностей. Но изложение в общем так правильно, а по количеству фактов так ново, что трудно от нее оторваться.

Это неудивительно; ее писал человек, хорошо знавший Россию. Он не раз в ней жил и не простым наблюдателем, а участником ее работы в трудные годы. А люди познаются лучше всего на работе. Его положение иностранца ему было выгодно; оно ставило его вне наших политических лагерей. Он имел в каждом близких людей и мог по личному впечатлению исправлять партийные несправедливости. Не раз даже повторяя установившееся общее мнение, Перс в него вносит поправки; преклоняясь перед авторитетом, не отказывается видеть его ошибки и слабые стороны. Жалею, что он делает это недостаточно часто и остается под влиянием многих наших легенд. Много из того, что мы теперь называем “развесистой клюквой”, было в целях политической борьбы создано нами самими. Мы с этим постоянно встречаемся в суждениях о старой России.

Сюжет своей книги автор сам ограничил; она история “падения русской монархии”. Со смертью Александра III<sup>1</sup>, говорит автор, пало Самодержавие, ибо умер последний Самодержец. Заключение немного поспешно, но Монархия не была связана с Самодержавием. Объявление конституции в 1905 году<sup>2</sup> ее могло укрепить. По мнению многих, Николай II, не годившийся для Самодержца, мог быть хорошим конституционным монархом. Правда, противники Государя винили его и за крушение конституции. Его обвиняли, что он не сумел помириться с новым своим положением, распустил замечательную 1-ую Думу и сам толкнул Россию на путь Революции. Эта официальная либеральная версия долго господствовала; она окрашивает и многие отдельные суждения Перса. Но своим опытом он в общем ее преодолел. Для него 1907 год, 3-я Дума и управление Столыпина<sup>3</sup> вовсе не черная реакция, какими их представляли, не начало конца, а “выздоровление”. 4-я глава его книги так и озаглавлена: “Recovery and the third Duma”<sup>4</sup>. Автор правильно заключает, что в 1906 году потерпела неудачу только тогдашняя кадетская тактика, но что конституция сохранилась; признает, что Столыпин был боль-

---

\* Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 99-01-00188а).

шим человеком, а его аграрная реформа великим государственным делом; что деловая работа презираемой третьеиюньской Думы в области бюджета, на [одно слово нрзб.] боеспособности армии, конституцию укрепила, за что ей можно простить много грехов, вроде ее Финляндских законов<sup>5</sup>. И Перс заключает, что причиной крушения Монархии, а вместе с ней и России была только война.

Я этот взгляд давно разделяю. Россия, несмотря ни на что, была на пути к выздоровлению, а не к гибели; это выздоровление спасло бы Монархию; но такой войны Россия выдержать не могла. А между тем этого не понимали; из крупных государственных людей понимал один Витте<sup>6</sup>. Если в России никто войны не хотел, то ее встретили все-таки с энтузиазмом, о котором мы столько понаслышке знали при Турецкой войне<sup>7</sup>. В стране не было следов того равнодушия и даже пораженчества, которое мы наблюдали в Японской войне<sup>8</sup>. Автор сам ее видел; он описывает красочную картину восторга на площади перед Зимним Дворцом, когда там в день объявления войны увидели Государя. Было нечто еще более показательное: блестящий успех мобилизации, вызванный сочувствием населения. Война казалась моментом давно ожидаемого примирения страны и Монарха, чистилищем, в котором Россия очистится от ослаблявшей ее внутренней розни. В атмосфере подъема прошел прием депутатов и незабываемое заседание Думы 26 июля. Страна не ограничилась криками радости. Она принялась за работу: были сразу созданы общественные организации, стоявшие первое время вне всякой политики<sup>9</sup>; всякая политическая оппозиция смолкла. Даже те холодные души, которые выливали на общество некоторые бестактные распоряжения власти, тотчас забывались.

Патриотическое одушевление не было лишь кратковременным настроением, которое быстро проходит. Скоро начались неудачи на фронте, беспорядки в тылу; неподготовленность, отсутствие орудий, снарядов и обуви; плохая санитарная помощь. Обнаруживалась неумелость власти справиться с этим, вредные трения между военным начальством и тылом. Те же самые явления были везде, и везде с ними справились. Дух страны вынес их и у нас. Перс это ясно показывает. На обнаружившиеся беспорядки отвечали не криками злорадства и возмущения, а деловой помощью власти. В стране было недовольство, но не было ни паники, ни отчаяния. И правительство сумело взять новый курс; часть министров была уволена. Усилилось широкое сотрудничество власти и общества; создались пресловутые Особые Комитеты<sup>10</sup>, которые для наших нравов были столь новым явлением. А в политической области дума ответила характерным образованием “Прогрессивного Блока”<sup>11</sup>. Практически он может быть имел мало значения, но был важным и отрадным симптомом; впервые в России образовался политический центр, а русский либерализм разорвал с революционными партиями. Они в Блок не вошли. Вдохновители блока – кадеты – заключили впервые соглашение с умеренными конституционными партиями, октябристами и даже националистами. Если бы такая комбинация была осуществлена тогда, когда она была особенно полезна, в эпо-

ху 1-й Государственной Думы, все пошло бы иначе. Блок был лояльным к власти. Перс его упрекает, что он намечал несвоевременную программу реформ. В этом он заблуждается. Многие из этих реформ были возможны, а с другими не торопились; они были лишь знаменем, путеводной звездой. Важно, что в лице этого Блока, который объединил большинство, Дума во время войны не боролась с правительством; не требовала конституционных реформ; кадеты отказались от своего всегдашнего требования – парламентаризма. Блок просил только “министерства доверия”, т.е. такого, которому народ имел бы возможность доверять, т.е. просил аксиомы здоровой государственной жизни.

Все эти меры тотчас дали свои результаты. Страна перенесла военный разгром весны [19]15-го года, стремительное отступление фронта, потерю русских земель. Все это отразилось на настроении войска. Перс наблюдал на фронте этот подъем; его в разных воспоминаниях признавали и немцы. Это было так очевидно, что Перс собирался писать статью под заглавием “Recovery”<sup>12</sup>. Остановили Россию в этом подъеме не немцы, не общественность, не революционные силы; ее на этот раз своими безумствами погубила Монархия. Виноватой оказалась она<sup>13</sup>.

Начало гибели совпало с роковым решением Государя осенью 1915 года принять на себя командование армией. Мотивы этого решения были высоки; Государь шел не за лаврами. Он отдавал себя искупительной жертвой. Здесь началась область мистики; потому что его не смогли остановить ни доводы разума, ни просьбы правительства, ни сопротивление общества. Он пошел наперекор почти всем, обнаружил упрямство и твердость, которые ему были несвойственны. Двое его в этом решении поддержали – и перевесили всех: Государыня и Распутин<sup>14</sup>. Началось их господство, которое в один год привело к революции.

Последние месяцы Монархии вспоминаются сейчас таким же кошмаром, как и сама Революция. Эти месяцы ее подготовили. События сливаются в одну картину ощущения неотвратимой беды. Начинают увольнять хороших министров, необъяснимые назначения неизвестных людей: покровительство негодяям, вмешательство в судебные дела, прекращение по Высочайшему повелению начатых процессов; увольнение несогласных с таким прекращением министров юстиции. Расправа с церковными иерархами. Среди этого какие-то безумные меры; ненужный призыв запасных, которые были оторваны от летних работ, но которых было некуда поместить и потому вернули в деревню обратно. Скопление призывных войск в Петербурге; из них вышло позднее восстание. Все это вызывало удивление и потом возмущение; общество, которое все выносило ради войны, молчать больше не хочет. Протесты идут отовсюду; даже от таких столпов консерватизма, как государственный Совет или союз дворянства. Думский прогрессивный блок объявляет, что с правительством будет бороться, требует отставки премьера. Великие князья протестуют, просят Государя изменить эту политику. На все отвечают новыми вызовами или репрессиями. Хаос отражается в глубине населения; ползут зловещие слухи об измене, о немцеком происхождении Императрицы, о подготовке сепаратного мира. Слухи доходят до фронта. Начинаются пораженческие настроения, или

по крайней мере равнодушие к исходу войны. Не видят законного выхода; и вот начинаются мечтания о дворцовом перевороте; все его ждут; с необычайной быстротой раскупаются издания об убийстве Павла<sup>15</sup>. Как грозное предостережение происходит действительно убийство Распутина. Оно безумие власти только усилило. И когда 26 февраля бунт разразился, ему не удивились. Все были готовы.

Страницы книги, посвященные этому, полны интереса. Автор превосходно использовал для этого данные послереволюционных изданий. С тех пор, как начался этот кошмар, т.е. с отъезда Государя на фронт, начались и ежедневные письма к нему Императрицы. По ним и другим аналогичным источникам Перс восстановил всю картину событий. Он показал лишний раз вздорность клевет и сплетен об измене, о сепаратном мире, о каких-либо недостойных мотивах в тогдашней политике. В этом, пожалуй, главная трагедия этого времени. И Государь, и Государыня полны самоотвержения и лучших намерений; они искренне хотят служить стране, которую этим старанием губят. О себе нисколько не думают; так было и раньше; любопытен факт, который мне пришлось установить уже при Революции в качестве Председателя Комиссии, которая определяла имущественное положение Императорского дома, отделяла личное их достояние от государственного. Государь лично ничего не имел. В Революции он все потерял. Ничего не вывез, не спрятал, когда мог это сделать, как это сделало много других. Но это мимоходом. Автор книги своим анализом искусно расчленяет явления; то, что казалось необъяснимым хаосом, становится ясной клинической картиной. Мы видим теперь, какие руки управляли событиями. Император доверился Императрице; она подчинилась Распутину, а за ним стоял сонм полоумных людей или недостойных шарлатанов и аферистов, которые не теряя времени наживались на разрухе власти и горе России. В тени за ними, вероятно, действовали и скрытые агенты Германии. Многие и сейчас не хотят этому верить; нет-де прямых доказательств. В этом отсутствии прямых доказательств, признавался мне А.Н. Хвостов<sup>16</sup> при своем увольнении с поста Министра Внутренних Дел, хотя в этом участии не сомневался. Не было ли той же картины после Революции, когда большевики приняли ее углублять и подкапываться под Временное Правительство? Ведь немцы не скрывали, что пустили в Россию Ленина, как пускают заразу, а большевики явно не гнушались немецкими деньгами. Неужели немцы (из джентльменства) пропустили бы случай использовать в своих интересах и Распутина? Другие актеры, другая *mise en scene*<sup>17</sup> – но пьеса вся та же. Со своими врагами немцы воевали в тылу. Это они попробовали всюду. В других государствах нашлись энергичные люди, которые этому весьма быстро положили конец. В России они этот прием довели до конца.

Таково общее содержание книги Перса; я не собираюсь ее пересказывать и ослаблять впечатление. Но прежде чем перейти к основному моему замечанию, хочу сделать одну поправку и одно дополнение.

Описывая темную страничку истории несостоявшихся замыслов на дворцовый переворот, автор допустил одну ошибку; он говорит на стр. 427, будто один из таких планов исходил от “Прогрессивного Бло-

ка". Этого не было, а главное, быть не могло; такое предположение не соответствует политической линии Блока. История этих замыслов вообще очень темна. С.П. Мельгунов посвятил ей особую книгу<sup>18</sup>, которая не значится в источниках Перса. Но и она не все разъяснила. В данном случае г. Перс вопреки своему обыкновению не указывает источников; он ссылается только на сказанную 27 декабря речь Милюкова<sup>19</sup> о "приближающейся буре". Здесь он впадает в ошибку, на которую я считаю своим долгом указать, потому что невольно сам ввел автора в заблуждение. Он смешал разные вещи.

Ссылаясь на мою статью "Дополнение к рассказам Юсупова и Пуришкевича об убийстве Распутина"<sup>20</sup>, г. Перс передает с моих будто бы слов (стр. 403), что накануне убийства Распутина я рассказал о предстоящем убийстве Керенскому<sup>21</sup>, на что он с негодованием мне отвечал: "Разве вы не понимаете, что это убийство Монархию укрепит?" Здесь он несколько спутал. Подобный разговор у меня действительно был, но не накануне, а после убийства Распутина; я в своей статье его приводил как иллюстрацию того, как расценивали роль Распутина левые партии. Но конфиденций Керенскому я не делал и не имел основания делать. Но перед самым отъездом в Москву накануне убийства, встретив в Думе Милюкова, я его как лидера партии действительно предупредил, не входя ни в какие подробности, что на другой день Распутин будет убит. Помню, как он был озадачен. На другой день, когда я был уже в Москве, Милюков использовал мое предупреждение и сказал с трибуны загадочную фразу, "воздух насыщен электричеством, и неизвестно, куда сегодня может пасть молния". Это нетрудно восстановить по стенографическим отчетам этого заседания 17 декабря 1916 г. Когда через день узнали про убийство Распутина, то вспомнили эту фразу и увидели в ней доказательство редкой осведомленности или пророческой дальновидности Милюкова. Как видно, дело объясняется проще; но конечно, эта фраза ничем не доказывает причастности Прогрессивного Блока к разговорам против Государя.

Теперь позволю себе сделать одно дополнение. Перс упомянул на стр. 440, будто накануне Революции два члена правительства, Покровский<sup>22</sup> и Ритгих<sup>23</sup>, ища соглашения с Думой, приезжали в нее и говорили со мной и другими. Представители же Думы им объяснили, что не могут поддерживать кабинета, члены которого бы не были ответственны перед премьером. Это неточно; но раз названо мое имя, это дает мне повод рассказать об одном эпизоде этого дня; на мое участие в нем есть намек в "Воспоминаниях" Палеолога<sup>24</sup> и в "Днях" Шульгина<sup>25</sup>. Сущность его не была нигде печатно изложена; я его последний свидетель; знают о нем, и то только от меня, несколько близких друзей. Перс меня извинит, что я пользуюсь его книгой, чтобы внести в его рассказ одно характерное добавление. Мне приходится начать несколько издали.

Известно, что ближайшим поводом к восстанию в Петербурге был продовольственный кризис; в булочных не хватало хлеба и потому народ вышел на улицу. Потом выяснилось, что недостатка в муке не было вовсе, но что под влиянием слухов, которым все тогда верили, началась паника среди хозяев, которые торопились делать запасы для кух-



ни, раскупили и запрятали все продовольствие и создали видимость голода. Все это было искусственно. Но в стране продовольственный кризис все-таки был. Опытные люди, которые умели определять урожай по количеству хлебных барж, проходивших по Волге, с тревогой давно стали указывать, что подвоз хлеба остановился. Они предсказывали его недостаток и для столиц, и для фронта. На внутреннее прокормление шел хлеб только помещичьих хозяйств; крестьяне своего продавать не хотели и на базар не везли. Причины этого явления были очень различны, из которых многие с политикой ничего общего не имели. Крестьянин меньше нуждался, стал лучше питаться; водка была запрещена, кабаки закрыты, деньги все становились дешевле, и крестьянину не было надобности торопиться свой хлеб продавать. А главное, правительство под прямым влиянием нашей общественности приняло меру, от которой зло только росло. Здесь был, конечно, не злой умысел с ее стороны, а практическая ее неумелость. Она прибегла к мере, к которой прибегали в европейских странах, но только в других условиях. Правительство покупало хлеб и одновременно, чтобы вести борьбу против спекуляции, прибегло к простейшему средству – назначению твердых цен. Случилось то, что в таких случаях постоянно бывает: хлеб с рынка исчез вовсе. Узнавая про низкую цену, крестьяне уезжали с базара. Предложение отменить или повысить твердые цены встречало сопротивление нашей общественности, в нем усматривали интриги злополучных помещиков. А обструкцию крестьян одни искренно, а другие неискренно объясняли тем, что они не верят этому правительству. По крайней мере, когда уже после отречения Государя Милюков на митинге в Таврическом Дворце говорил речь, в которой представлял новых Министров, он сказал с торжеством: “народ, который не давал хлеба при Протопопове<sup>26</sup>, повезет его Шингареву”<sup>27</sup>. Надо добавить, что через несколько дней Шингарев удвоил, если не утроил твердые цены.

Когда в начале ноября Прогрессивный Блок стал бороться с правительством, он не отказался от борьбы и на этой почве. Заведующим продовольствием был назначен Риттих; человек дельный и умный, он не раз просил Думу, авторитет которой в стране тогда был очень велик, ему этим авторитетом помочь. Но Дума, клейма и обличия неумелость власти, которая не умеет страну накормить, помогать ей не хотела; на неумелое и бездарное правительство, она в противоречии с собой возлагала трудную операцию извлечь хлеб из крестьянских амбаров. Крестьяне же, рассчитывая, что твердые цены непременно повысятся, хлеб не отдавали; отобрать его у них силой можно было бы только большевистскими способами, о чем тогда никто не мог и помыслить.

В Думе у нас была особая крестьянская группа; в ней объединялись по своим крестьянским вопросам депутаты от крестьян, входившие политически в разнообразные партии. У них были свои общие интересы и своя особая психология. В мае 1916 г. мне пришлось в Думе быть докладчиком по крестьянскому вопросу; я потратил не один вечер с этой группой, стараясь объяснить крестьянам мой доклад и привлечь к нему их сочувствие. Отсюда у меня установились с этой группой особые отношения, и она меня даже просила стать ее председателем; просьба сви-

детельствовала о политической невинности их. Мне и пришло в голову о продовольственной забастовке крестьян поговорить с этой группой; как они думают, почему крестьяне не дают хлеба и как помочь этой беде? Мы назначили собрание группы, и я целый вечер с ними беседовал; выслушал от них массу мелких, но очень деловых и практических замечаний; убедился, что дело даже не в том, что крестьяне не верят правительству, а в том, что кроме главной причины, невыгодной и несправедливой цены и местные власти, как полагается, делают разные глупости. Многие советы их показались мне так интересны, что я им предложил сообщить их непосредственно Риттиху; они сначала стеснялись, потом согласились. Риттих назначил совещание с ними на субботу (24 февраля) рано утром. Я сам на нем присутствовать не хотел. Прибавлю, как курьез, характерный для настроения этого времени, что когда группа по обычаю вывесила в зале приглашение своим членам на это собрание, то Председатель Думы Родзянко<sup>28</sup>, узнав о цели собрания, пришел в негодование. Он усмотрел в этом интригу Министра, желание входить в тайное соглашение с партиями за спиной Председателя и т.д. Я должен был его успокоить, рассказав, как было дело.

В эти дни уже начались беспорядки на улицах и стрельба по толпе; все началось на почве продовольственного кризиса в одном Петербурге, заслонившего своей остротой общий кризис. Чтобы разрешить мелкий вопрос Петербурга, правительство приняло постановление передать его продовольствие городскому самоуправлению, т.е. приняло по старым понятиям либеральную меру, которой самоуправление давно добивалось. Придя в Думу в субботу, я узнал от крестьян, что их совещание с Риттихом состоялось и что они им в целом очень довольны. Заседание Думы уже началось. Риттих докладывал Думе о принятом накануне правительством постановлении, но вместо ожидаемого удовольствия выслушал речи, исполненные негодования на правительство, которое, испортив положение, хочет теперь ответственность свалить на общественность и т.д. Он такого нападения не ожидал. После озлобленных речей, вызванных, конечно, не столько самым предложением Риттиха, сколько общим ходом событий, заседание Думы было прервано до вторника.

Я пошел в Министерский павильон узнать у Риттиха, как прошло его совещание с крестьянской группой; он выразил свое удовольствие, благодарил меня, что я это устроил, но вдруг неожиданно зарыдал, как ребенок. “Я не могу больше, — буквально всхлипывал он, — мы вчера добились от правительства всего, чего Дума желает. А она нас же ругает. Так нельзя управлять... Чего добивается Дума?” И т.д. Я долго его успокаивал. Дума не против него, тем более не против России; но может ли она верить правительству, пока в нем сидит Протопопов и т.п.? Это были банальные фразы, но Риттих понемногу успокоился, и мы на этом расстались.

Вечером события стали более грозны. Беспорядки увеличивались, оказались случаи, когда войска не стреляли, а братались с толпой. Движение возрастало и крепло. В воскресенье утром ряд повесток и телефонных звонков экстренно звали меня в Думу на заседание фракций и

групп; на повестках стоял вопрос об экстренном созыве Думы вместо вторника в понеделник ввиду грозных событий. Тут же неожиданно последовал телефонный звонок от Покровского, Министра Иностран-ных Дел; он просил меня заехать поговорить со мной и самому выбрать для меня час. Я выбрал 12 ч. Не помню, успел ли я вызвать кого-либо или, как вспоминает Шульгин в своих “Днях”, они пришли сами, но ко мне до этого пришли П.Б. Струве<sup>29</sup> и Шульгин. Я успел с ними об-меняться мнениями о том, что говорить Покровскому. Потом неожиданно заехал Терещенко<sup>30</sup> и довез меня до Покровского. Входя к нему, я встретил Палеолога и Карлотти<sup>31</sup>, которые от него выходили. “Вы за-чем здесь?” – “Не знаю, я вызван Министром”. – “Ah, il est grandement temps” – помню, ответил Палеолог. Об этой встрече он говорит в сво-их воспоминаниях<sup>32</sup>.

У Покровского в кабинете сидел Риттих; Покровский спросил, не возражаю ли я против его присутствия при нашем разговоре. Мне тог-да стало ясно, кому я обязан был приглашением. Покровский начал из-далека; “Видите, каково положение. Ни Дума одна, ни правительство одно друг без друга ничего сделать не могут. А между тем” и т.д. Я его перебил: “Не тратьте времени понапрасну. Я понимаю, что Вам инте-ресно; на каких условиях Вам Дума сможет помочь?” – “Да”. “Я не уполномочен никем, говорю свое личное мнение и самых близких лю-дей. Да и оно годно только сейчас; завтра для него может стать поздно. Сейчас в Думе идут совещания, чтобы собраться на завтра. Завтра сама Дума Вам поставит другие условия. Вы должны ее предупредить. Берите на себя инициативу. Поставьте завтра же Думу перед таким совер-шившимся фактом, который она сможет принять”. – “Что же, по Ваше-му, нужно сделать?” “Прежде всего отставка всего кабинета; не отдель-ных министров, а всего кабинета, чтобы было ясно, что хотят идти но-вым путем. Дальше сейчас же пусть будет назначен новый премьер, по-пулярный в стране. И пусть он получит поручение составить кабинет по своему усмотрению. На это дайте ему срок самый короткий: три дня. А на эти три дня прекратите заседания Думы; в данной обстановке собра-ние Думы принесет только вред. Через три дня пусть новый кабинет явится перед Думой и изложит программу”. – Они слушали, не возра-жая. “Но кого же Вы хотите в премьеры? Очевидно, общественного де-ятеля, парламентария?” Они так удивились, когда я сообщил: “Нет, сре-ди них подходящих и умелых людей я не вижу. Но нельзя и бюрократа. Это поставит вопрос: почему не парламентария? Берите человека, ко-торый будет символом этого нового Министерства. Это Министерство войны, войны до конца. Назначьте премьером умного и популярного генерала. Такой у Вас есть – Алексеев<sup>33</sup>. Ему поверит и Дума, и страна. Пусть берет в министры умелых и популярных людей, они существуют. Это все те, кого выгнали при Распутине. Возвратите Коковцева<sup>34</sup>, Са-зонова<sup>35</sup>, Наумова<sup>36</sup>, Самарина<sup>37</sup> и др. Пусть они явятся в Думу с крат-кой, но определенной программой; все для войны, но все, что нужно, без исключения. Пусть заявят, что будут опираться на Думу; пусть объ-

вяют суровую программу сокращений, лишений, жертв – но только все для войны. Такому правительству и такой программе ни в чем не откажет Дума. Но торопитесь; это уже последняя ставка”.

Они с удивлением переглядывались между собой: “И только?” Я говорю: “И только, но это должно быть Вашей программой, Вашим поводом. Вы должны сами это принести от себя. Если спрашивать Думу и общество, они потребуют гораздо большего”. Они стали говорить вполголоса между собой; к кому надо ехать, кому именно телеграфировать, с кем срочно поговорить. Разговаривали долго и серьезно. Наконец Покровский сказал: “Для нас эта программа приемлема; мы надемся получить на нее согласие и Государя. Но как ни стараться, в один день этого сделать нельзя. Такие указы завтра появиться не могут”. Я спросил: “но успеете ли вы с этим ко вторнику, к дню собрания Думы?” – “Да, ко вторнику можно надеяться”. “Тогда не теряйте времени; я же буду стараться, чтобы заседание на завтра назначено не было, если это удастся, то и вы со своей стороны делайте все”.

Мы расстались на этом; казалось, какой-то план был все-таки найден. Я пошел в Думу; там был полный развал. Спорили об экстренном созыве Думы на понедельник. Образовалось два направления: за и против. В Прогрессивном Блоке голоса раскололись. Кадеты были за созыв, октябристы им возражали. Заседали все вместе: прогрессисты, недавно вышедшие из Блока, снова вернулись и настаивали на созыве Думы. Я стал возражать. Я не мог сделать ни одного намека о моем разговоре с Покровским; я доказывал только, что мы не готовы, что у Думы нет общего мнения, что надо время, чтобы его подготовить, что от экстренного созыва Думы страна будет ждать очень многого, чего дать мы на завтра не сможем и т.д. Мои выступления раздражали кадетов; меня пригласили во фракцию, чтобы я объяснился: чего я хочу? Но и им я не мог сказать больше: “на завтра одних речей мало, а у нас готового нет ничего”. Некоторые колебались, другие сердились; помню, как один депутат, потом бывший Министром, человек очень богатый, который от Революции мог только все потерять и потерял, отозвал меня в сторону и с упреком мне говорил<sup>38</sup>: “что вы делаете? На фабриках сейчас происходят выборы депутатов. Мы накануне революции, а Вы ее хотите сорвать”<sup>39</sup>. Таково было тогда настроение.

В этих разговорах и спорах время прошло. Все утомились. Действительно, у Думы ничего готового не было; созвать ее с пустыми руками для одного красноречия моменту не соответствовало бы. Было больше 8 часов вечера, когда Председатель Думы вопрос решил своей властью. “Созвать Думу на завтра я уже не успею. Время прошло. Значит, все остается по-прежнему”. Я вернулся домой и позвонил Покровскому. К телефону подошла его жена; сам он ушел в заседание Совета Министров. Я просил ее немедленно ему передать, что Думы завтра не будет; пусть теперь он, Покровский, свое обещание держит. Просил его позвонить мне, как только вернется из заседания Совета Министров. Он долго не звонил, я лег спать. Рано утром меня разбудил телефон. У аппарата был товарищ Председателя Думы – Некрасов<sup>40</sup>. “Идите сейчас же в Думу”. “Что случилось?” “Дума распущена”. Я думал, что началось осуществ-

ление плана: “Кто же премьер?” Некрасов не понимал: “Какой премьер? Почему?” “Разве министерство не получило отставки?” “Нисколько”. “На сколько же распущена Дума?” “Без обозначения срока. Но идите скорее; Волынский полк взбунтовался, убил офицеров и вышел на улицу”.

Я пришел в Думу. Все собирались. Родзянко рассылал свои последние телеграммы. Я позвонил из Думы Покровскому: что все это значит? Он ответил успокоительным тоном: “одно желание Ваше исполнено, занятия Думы прерваны. А об остальном мы будем иметь суждение в среду”. Я не понимал, не шутит ли он. “Вы знаете, что теперь происходит?” “Что же?” “Войска взбунтовались”. “Я ничего не слышал”. “Тогда с Вами больше не о чем говорить”, – и я трубку повесил. Началась уже официальная Революция.

Потом уже в эмиграции я вспоминал эту историю с Покровским и Риттихом. Они мне тогда рассказали, что в Совете Министров нашлось только 4 человека, которые с этим планом были согласны. Остальные его не хотели. Покровский рассказывал также, что говорил в тот день не только со мной, но и с другими<sup>41</sup>. Советы были различны. Теперь дело прошлого. Думаю, что если можно было еще Россию спасти от революции, то только подобным этому планом. Гибель России оттуда и вышла, что для тех, кто тогда еще правил Россией, он был невозможен. Если бы он был возможен, Россия до Революции вообще не дошла бы<sup>42</sup>.

И вот, переживая все это прошлое, интересно и правдиво описанное Персом, остаешься перед той же загадкой. Как могло это случиться? Как трехвековая династия и могучая еще недавно Россия могли рухнуть из-за Распутина?

Конечно, все было бы просто, если бы Распутин был симптомом общего состояния государства. Так это и старались представить разнообразные ненавистники старой России. Они уверяли, что в ней все было гнило; ее отживший самодержавный порядок, светское общество, уживавшее за развратным Распутиным, бездарная и продажная бюрократия, и на вершине всего Императорского чета, которая из-за Распутина чуть ли не изменила России. Революция была необходима такой сгнившей стране, как огонь, чтобы испелить эту заразу; и потому она была благодетельна.

Так говорили, но мы знаем, что это неправда. И я рад, что книга Перса только иллюстрация этого. Не только народ был здоров, если он мог так долго выдерживать и войну, и первые неудачи; но и государственный аппарат и правящий класс вовсе не сгнили. В России было уже не отжившее Самодержавие, ибо только партийное пристрастие может отрицать перемену после 1905 года, а молодой конституционный строй, который, к сожалению, слишком медленно, но все же начиная укрепляться; в центре государственного аппарата была новая сила – народное представительство, которое за 8-летнее существование многому научилось и от многих своих недостатков исцелилось. И наша старая бюрократия была не бездарна и не продажна, хотя в ней, конечно, исключения были; зато среди нее были знающие, энергичные, честные и умелые люди, до которых оказалось далеко деятелям Революционного

времени; все в России тогда было еще полно жизни и возможностей развития. Распутин был симптомом совсем не русского высшего класса или правящей верхушки, а только “болячки” на поверхности здорового русского общества. Были испорченные праздною жизнью светские дамы, которым по контрасту или по нездоровому любопытству нравились беспутство и грубость Распутина; но таких было немного; настоящее же общество смотрело на него с отвращением, за что Распутин это общество ненавидел. Но зато около Распутина совершался отбор. Когда стало ясно, что через него можно делать карьеру и зарабатывать деньги, к нему устремились те подонки страны, которые бывают везде – аферисты, карьеристы и проходимцы. Они его окружили тесным кольцом; его окружение было худшим из того, что было в стране. Зато сколько людей погубили карьеру потому, что к его помощи прибегать не хотели! Распутин сам по себе не имел бы никакого значения и силы, если бы Государь и Государыня их ему не дали. Все дело было в них, в их отношении к нему как человеку.

Но как ни непонятно и ни соблазнительно их увлечение им, в нем не было позорных, грязных мотивов. Из окружавшей Распутина грязи Государь и Государыня сами вышли чисты. И в этом, пожалуй, самая трагическая сторона происшедшего.

Императрица была совсем не похожа на светских беспутниц; она была противоположностью им своими строгими нравами, характером Викторянского воспитания<sup>43</sup>. Распутин завладел ее душою и волею на другой почве.

Нельзя отрицать, во-первых, его необъяснимого целебного влияния на опасное нездоровье наследника. Иллюстраций этого влияния много. В 1912 г., когда доктора падали духом, одна телеграмма Распутина его исцелила. Что это было? Случайность, внушение, магнетическая сила, радиоактивность, которую еще не разгадали? Или, как во время войны говорили, сообщники Распутина давали наследнику вредные снадобья, чтобы Распутин мог затем его исцелять? Где правда – мы не узнаем. Но для Государыни, дрожавшей над больным ужасной наследственностью сыном, которая на своих глазах видела от Распутина исцеления, Распутин стал единственным исцелителем ее мальчика.

Он мог бы и остаться на этой роли целителя; был бы за это приближен, обласкан, осыпан золотом и все-таки был бы без влияния на Государя. Но таинственной, исцеляющей силе Распутина Государыня дала сама простейшее объяснение, которое было сродни ее мистической, религиозной натуре; она сочла его “чудотворцем”, т.е. святым человеком. Есть нечто трагическое в том, что религиозная и чистая Императрица, болезненно осуждавшая всякий разврат, увидела святого в таком грязном человеке, каким был Распутин. Но когда фанатическую веру можно было разрушить словами? Во всех разоблачениях против Распутина Императрица стала видеть если не гонение на святого, то низкую зависть, ложь, клевету, и она искренне ненавидела его врагов и клеветников, кто бы они ни были: иерарх, министр, преданные люди, или ее родная сестра. Открыть ей глаза было нельзя. Как относился к этим разоблачениям Государь, который не был так экзальтирован, – останется

тайной. Но, если он иногда и сомневался в Распутинской святости, то все-таки знал, что в этом Императрица и ему не поверит; ее вера в Распутина оказалась бы сильнее ее страстной любви к Государю.

Но и в этой вере могло и не быть ничего страшного. Пусть Распутин казался им “святым” человеком. “Святые” государством не управляют, политических советов не преподносят. Но Распутин стал их советчиком. Почему? Потому, что, как правильно указывал Перс, он для них был самым несомненным представителем русского народа. Это была другая мистика Императрицы, которую разделял и Император. Они оба не любили ни Двора, ни придворных, ни светского общества; но зато питали слабость к людям из простого народа; любили с ними беседовать в тех редких случаях, когда это им удавалось. Воспоминания Мосолова<sup>44</sup> дают много образцов этого. В Распутине они увидели близ себя олицетворение того народа, который был вверен их управлению. Он стал для них подлинным “гласом народа”.

Что мог советовать им этот голос народа? Распутин был слишком невежествен, чтобы не только советовать, но просто понимать вопросы государственной жизни. Они не интересовали его. В воспоминаниях Мосолова есть одна красочная страница. И Мосолов, и шеф его гр. Фредерикс<sup>45</sup> Распутина терпеть не могли: однако – печальное признание – с одобрения Фредерикса Мосолов, чтобы наблюдать за Распутиным, не смутился войти с ним в дружбу, разговаривать с ним, пить с ним вино. Он пошел даже дальше. Во время войны он сам придумал сумбурный проект децентрализации управления и пожелал заручиться согласием Распутина его перед Государем поддержать. Напрасные старания. Как он ему свой проект ни растолковывал, Распутин ничего понять в нем не мог. Такому некультурному человеку было бы трудно влиять на ход государственных дел. Да его и слушали далеко не всегда; так, как он ни был против войны, войну все-таки начали; все слухи о сепаратном мире оказались сплошной клеветой. Но Распутин ценил свое положение, боялся его потерять; он поэтому ненавидел и устранял всех тех, в ком мог видеть врага. Отсюда его ненависть к Государственной думе и ко всем независимым людям, которые подчиняться ему не хотели. И когда с отъездом Государя на фронт влияние Императрицы усилилось, сказала и пагубная работа Распутина. Императрица начинала ненавидеть всех, кого Распутин боялся, добивалась увольнения тех, кто не ценил “нашего друга”; Распутин наглед, стал не мириться даже с теми, кто просто перед ним не угодничал. Потому все те, кто не способен был пойти на унижение перед ним, кто соблюдал достоинство власти, не считал для Распутина все дозволенным, должны были уйти. Так появилась “министерская чехарда”, удаление лучших и дельных, тот подбор худших и недостойных, который привел к катастрофе.

Как ни грустна эта картина, в основе ее нет низких мотивов, за которые можно бы порицать Государя. Он и тогда оставался кем был, способным к самопожертвованию, которое он одиноково показал и отправившись командовать армией, и через 15 месяцев, сойдя с трона ради России. В его душу вообще трудно проникнуть. Он был сдержанным, замкнутым, недоверчивым; умел хорошо скрывать свои ощущения, не

показывать вида, но все воспринимать и ничего не забывать. Того, что он думал после своего отречения, наблюдая результаты своего несчастного царствования, он никому не поведал, даже своему дневнику. При всей своей простоте, приветливости, умении людей очаровывать, он был глубоко одинок; единственным близким ему человеком, которому он верил всецело, была Императрица, чистая и страстная женщина, преданная ему безгранично, но по характеру его настоящий злой гений. Ненормальные отношения к Распутину были нездоровым плодом его душевного одиночества, недоверия ко всем окружающим и к себе самому; он сам называл себя неудачником.

Но вот в чем загадка. Такие явления еще понятны на той высоте, где стоят удаленные от всех “Самодержцы”. Но в 1905 году у нас была конституция; права Монарха были ограничены “представительством”; голос народа имел свое законное выражение; в Думе сидели крестьяне не хуже Распутина. Деятельность Монарха при таком строе течет в узаконенном русле. Как при нем могла появиться потребность в “Распутине”?

Либеральный канон давал на это определенный ответ. Государь будто бы не признавал конституционного строя; будто бы продолжал считать себя Самодержцем. И когда была созвана замечательная 1-я Дума, он без всякого основания ее распустил; и тогда начался тот разлад между ним и страной, который привел к катастрофе.

Такое упрощенное объяснение искажает перспективы не меньше, как и противоположное объяснение сторонников старого, будто Революцию искусственно и умышленно сделали те, кто к ней стремился. Ответственность за происшедшее лежит и на тех, кто Революции не хотел, и даже воображал, что ее предотвращает. Книга Перса многое показывает вернее и лучше. Но в понимании нашего прошлого Перс не мог преодолеть версии тех, кому лично сочувствовал. Сам либерал, “гладстонианец”<sup>46</sup>, он был близок к партии, которая этот либерализм представляла, т.е. к кадетам. Он знал и ценил лидера их Милюкова, читал его книги, и из них усвоил кадетскую версию. Он ее не покинул даже тогда, когда многие ее ошибки заметил; подчинение ей сказалось в изложении Освободительного Движения, где у него много мелкостей, но характерных неточностей; я не буду о них говорить, ибо не здесь интерес его книги.

Перс видит в кадетях представителей английского либерализма. Так и должно было быть; это было настоящим кадетским призванием; если бы так было на деле, то и Распутин не вышел бы из роли “целителя”. Но дело, к несчастью, было не так. Кадеты подобною партией не оказались. Маленькая иллюстрация этого из самой книги Перса. Он в книге описывает визит русских парламентариев в Англию в 1909 году; Милюков на банкете в Гильдгалле сказал вызвавшую аплодисменты и общее одобрение фразу – что кадеты “оппозиция Его Величества”, а не “Его Величеству”. Это совпадало с английским пониманием оппозиции. Но ведь даже для этого времени это для кадетов было неправдой. Перс вспоминает по этому поводу (стр. 200), как газета [пропуск в тексте], приветствуя нас, резко оскорбительно отозвалась о нашем Государе.



“Оппозиция Его Величества” не могла бы оставить этого без возражения. Оно и было написано. Но Перс вспоминает, что настояли на нем не кадеты, и что, напротив, Милюков против него возражал. Оно потому и появилось без подписей. Могу добавить, что даже этот протест в России кадетская партия осуждала. А между тем это происходило в 1909 году, когда партия многому научилась и приблизилась к понятию оппозиции.

А что было раньше, в 1905 году, когда от кадет зависело поведение первой Думы и “судьба конституции”? Они были не лояльной оппозицией, а шли в союзе с революционными партиями. До объявления конституции это еще могло быть понятно; но и после они продолжали идти тем же путем, превращая Думу из государственного установления в орган революционной стихии. Конечно, кадеты ни по взглядам, ни по характеру революционерами не были; это было только их злополучною “тактикой”, желанием, которое сейчас в своих Воспоминаниях признает Милюков<sup>47</sup>, не разрывать с Революцией. У кадет не было и революционной программы; но они хотели ввести сразу полный демократический строй и шли к этому в союзе с революционной стихией. Это не было тактикой лояльного либерализма. Проявление этого родства с революцией можно видеть на бесчисленных бестактностях 1-й Государственной Думы. Сам Перс многие из них обличает; но он их считает отдельными ошибками и как будто не видит, что они прямой результат этой тактики. Так, например, настаивая на амнистии для всех политических преступлений, кадеты отказались одновременно с этим хотя бы на будущее время морально осудить политический террор. И несмотря на эту позицию, когда правительство повело секретные переговоры об образовании нового министерства, которое могло бы встретить в Думе поддержку<sup>48</sup>, кадеты ставили непременным условием предоставление всей власти себе, с кадетским премьером – Муромцевым<sup>49</sup> или Милюковым. И, несмотря на такую претензию, когда Государь, пользуясь своей прерогативой, распустил Думу, кадеты объявили роспуск незаконным и в знаменитом воззвании<sup>50</sup> призывали население не платить податей и не давать рекрутов до созыва Думы. И этот нелояльный акт был Муромцевым подписан, а Милюковым инспирирован.

Я не хочу углубляться в историю. Но не трудно понять результаты, к которым эта тактика привела.

Во-первых, она задерживала установление конституционного строя, а времени не было; всего 8 лет оставалось тогда до войны, и тактика кадет их заместителям затруднила задачу. А во-вторых, она роковым образом повлияла на психологию Государя. Прием и манера имеют значение даже тогда, когда речь идет о международных сношениях, где имеют дело с государствами, т.е. с коллективами. Здесь же имели дело с одним человеком – Монархом, от которого и при “конституции” зависело многое; что же можно было придумать более вредного, бестактного, “титлеровского”, чем была эта тактика, для такого человека, каким был Государь с той властью, которую он еще сохранял.

Хотя Николай II Самодержцем по характеру не был, но благоговел перед памятью и политикой своего отца, который по близоручному суж-

дению этого времени будто бы Самодержавие укрепил. Он решил следовать этой политике и об этом сказал не только в своем Манифесте, но и в знаменитой речи о “бессмысленных мечтаниях”, произнесенной в январе [18]95 года в Зимнем Дворце. Потом, в [18]96 году при коронации он присягал Самодержавию. 10 лет он пытался проводить эту политику, которая ему была не по характеру и не по силам. Но ввиду необходимости, уступая напору революционных настроений и убеждениям либеральной общественности, так же, как через 12 лет, чтобы избежать пролития крови, во имя блага России, он отрекся от трона, так 17 октября 1905 года он отрекся от Самодержавия и обещал конституцию. Он разрывал этим со старыми заветами и старыми нравами, привычным кругом своих старых советников и вступал на новый путь реформатора. Что бы ни выводил либеральный канон из того, что слова “конституция” он не любил, он понимал, что он дал ее и куда этим шел. В доказательство этого понимания сам Перс ссылается на знаменательные письма его к Императрице-Матери<sup>51</sup>. Но путь реформатора был для него еще более труден, чем путь традиционного Самодержца. Перед ним было тогда два открытых врага: Революция, которая хотела социальной Республики, а не конституционной Монархии, и те притворно или искренно преданные лично ему сторонники старого, которые грозили бедами от возведенных необходимых либеральных реформ. Разумный либерализм должен был бы поддержать Государя против обоих этих врагов, дать ему почувствовать, что для возведенных реформ он в либеральном обществе имеет опору. В этом было призвание либеральной, т.е. кадетской партии в это время. Мы знаем, что она вместо этого делала. Мы это видим и в книге Перса сквозь официальную кадетскую версию. Достаточно сказать, что в происшедшем тогда же вооруженном столкновении власти с организованными революционными силами кадеты не остались даже нейтральными; если не активными действиями, то моральным сочувствием и поддержкой, они стали на стороне революции. Это было далеко от того, что должны были бы делать те либералы английского типа, какими считает их Перс. Государь этого поведения их не забыл.

Можно сказать в объяснение этого, что это было смутное переходное время, когда конституция была только обещана, что не было еще ни ее, ни избранной Думы. Но в апреле 1906 года было уже и то, и другое. Конституция была октроирована. Была избрана и созвана Дума. Главную роль в ней играли кадеты, блестящая элита страны, в лице самых знаменитых своих представителей. Государь пошел им навстречу. В тронной речи обещал охранять данную им конституцию и, отбросив старые предубеждения, приветствовал в лице либеральных депутатов “лучших людей”, призвал на их совместную с собою работу благословение Божие и только напомнил, что России “кроме свободы” нужен и “основанный на праве порядок”. Мы знаем, чем на это ответила Дума. Кадетская партия, в угоду революционной идеологии, объявила данную конституцию “насилением над народом”. Дума же единогласно в ответном адресе потребовала уничтожения Верхней Палаты, подчинения себе Министров, заявляя, что иначе не может спокойно работать. Можно

ли удивляться, что Государь после этого адреса потерял веру в этих “лучших людей”, в их лояльность, разумность и даже искренность их советов. Они не без основания казались ему тоже революционерами, только менее откровенными. Доверие к ним он тогда потерял, и надолго. “La confiance est une plante qui ne gerousse pas” – раз сказал Бисмарк<sup>52</sup>. А если Государь был сдержан и молчалив, то он был злопамятен. Да, в своем недоверии к кадетской лояльности он был, к сожалению, прав. Так он остался между двух стульев. Он отошел от традиционной политики, от прежней опоры трона, послушал либеральных советов, а в либеральном обществе опоры не получил. Он не мог не почувствовать себя одиноким и, что еще хуже: обманутым. Этого он не забыл всем тем, кто советовал ему путь конституции.

И это не скоро окончилось. В 1907 г., уже после государственного переворота 3 июня, получилась лояльная Дума. По сравнению с предыдущей она оказалась полезна и стране, и конституции. Однако полного доверия Государя к себе и она не вернула, после своего первого ложного шага, в котором проявилась прежняя кадетская тактика. Перс о нем говорит с сожалением. По конституционным законам Монарх уже не носил титула “неограниченный”. Но титул “Самодержавного”, принятый в XV в. в память освобождения России от татарского ига, он сохранил; он был включен во все церковные тексты. Сами депутаты его не отрицали, так как при вступлении в Думу подписывали торжественное обещание, упоминая его. Но этот титул либеральное общество не любило; разговорный язык по традиции придавал ему другое значение, противопоставлял его понятию “конституция”. Это было неправильно, но все-таки в угоду этой привычке октябристы вместе с кадетами, под их влиянием, отвергли предложение включить этот титул даже не в текст, а только в заголовок адреса. Со стороны Думы, которая лояльность свою афишировала, это отрицание за Государем его законного титула, нарушение тем конституции было ложным шагом. Сам по себе он ничего не менял, но Государя задел, подорвал доверие к лояльности и “октябристов”, а также Столыпина, который им покровительствовал, как раньше он потерял доверие к Витте. Так продолжала увеличиваться щель между государем и либеральными партиями. Доверие его переходило к “националистам”, которые своими националистическими законопроектами принесли России много вреда.

Но если Государь терял доверие к тому новому общественному слою, который с 1905 года был призван к государственной деятельности и к профессиональным “политикам”, к прессе, то зато он полностью сохранил веру в “народ”. Без этого он бы не начал войны и не пошел бы сам командовать армией. Но именно потому, что эту веру в него он сохранил, он стал слушать тех, кто ему давно говорил, что ни “общественность”, ни “Дума” не представляют народа, что за ними народ не идет. Так подготавливалась почва к росту политического влияния истинного “голоса народа” Распутина.

Конечно, была доля правды в том, то Дума этой таинственной “воли народа” не выражала; для этого она была слишком культурна. Это и не было нужно для того, чтобы дуалистическая конституция могла рабо-

тать правильно, давать свои результаты и изменять понемногу правовой, моральный и даже хозяйственный облик страны. Сам Распутин не приобрел тогда всей своей силы, мог только “ходатайствовать” перед Министрами за своих протезе; ему самому против воли пришлось вернуться в Сибирь. Но когда 3-я Дума, не довольствуясь возможностью негласно влиять на Государя, публично в лице своего бывшего председателя и лидера октябристов Гучкова<sup>53</sup> поставила на обсуждение вопрос о Распутине, это имело два результата. Государь был этим унижен и оскорблен, ибо свои отношения к Распутину считал своим личным делом. А потом, раз попытка Думы свалить Распутина цели не достигла, она как все неудавшиеся атаки привела к результатам обратным; она укрепила Распутина. А зато сам Распутин, боясь за себя, увидев в Думе опасность, ее возненавидел и эту ненависть умело передал Императрице.

И все-таки, несмотря на эти препятствия, дело конституции побеждало в России. Дума пустила в стране глубокие корни. Они давали и результаты. Органические реформы вроде земельной или расширения местного самоуправления осуществились. Экономический подъем России был прямо чудесен. Отменить конституционный порядок становилось труднее; у Думы появились защитники, не только в массах, но и наверху. Но раньше, чем этот благотворительный процесс завершился, на Россию свалилась тяжесть войны.

В начале войны картина меняется к лучшему. Не только либеральная общественность, но и когда-то революционные массы перед внешней опасностью свое настоящее лицо показали. Поведение и тех и других было безупречно. Но прежнее недоверие к ним не исчезало. Государь старого не забыл; да и влияние Распутина с 1913 года уже окрепло. Рука, которую правительству протянула общественность, встречается со скрытым подозрением. Мудрено ли, что когда начались неудачи, в которых, конечно, было виновато правительство, то недоверие к обществу с его стороны становится оскорбительным и раздражает общественность. Повторяется в обратном смысле картина 1905 и 1906 годов, когда либерализм грубо оттолкнул руку власти.

А тут в разгар неудач Государь принимает решение ехать на фронт. Внешним поводом была необходимость уничтожить двоевластие, раздоры фронта и тыла. Решающим моментом для самого Государя было его желание принести личную жертву. Но у других были и другие мотивы. Императрица давно завидовала популярности Великого Князя<sup>54</sup>, подозревала его в замыслах против Государя, Распутин и его окружение понимали, как выгоден будет для них отъезд Государя. А единодушные протесты и скрытые угрозы общественности производили на государя обратное впечатление; они его в его решении укрепляли; лояльности либерального общества к Государю больше не верили.

А когда Императрица в тылу осталась одна, постепенно забирая власть над Министрами, она обо всем стала судить уже по “Распутину”, страстно ненавидя все, что было России полезно, и общественные организации, и Думу, и Прогрессивный Блок, и всех популярных людей. Тогда началась вакханалия проходимцев разного рода. Но и здесь не все было потеряно. По письмам Государя можно видеть, что он не сразу

этому влиянию поддавался. Он Думы не хотел раздражать; сделал по отношению к ней дружеский жест; в Думу приехал и этим на время усмирил оппозиционные страсти. Роковое назначение Протопопова Министром Внутренних Дел было вовсе не вызовом, а скорее уступкою Думе; ведь он был товарищем Председателя Думы; главой заграничной парламентской делегации, сам Председатель Думы Родзянко рекомендовал его когда-то в Министры Торговли.

Но настроение в стране так повышалось, что Дума не хотела оставаться зади него. Она выбрала пунктом для нападения Штюрмера<sup>55</sup> и Протопопова; она была уже настолько популярна в стране, что могла им открыто войну объявить. Но, начиная войну с ними, Милюков 1 ноября<sup>56</sup> счел возможным в своей речи цитировать строки немецкой газеты, где имя молодой Императрицы соединялось со словом “измена”. Слухи об измене давно ходили в темном народе; без малейшего основания подзревали, что она, как “немка”, может помогать Германии. “Но во имени твоём звук чуждый не взлюбя” – писал когда-то Пушкин, когда Баркляя-де-Толли обвиняли в измене<sup>57</sup>. Но теперь это страшное слово произнесено было с трибуны Государственной думы, и никаких возражений не вызвало; в глазах темной толпы “измена” Императрицы стала доказана. Какая была цель в серьезной речи произносить это ненужное и несправедливое слово? Его хотели из стенограммы изъять, но этим только придали этому слову еще большую огласку, а обвинению большую определенность. Государь знал прекрасно, что теперь знают все, т.е. что это было напраслиной, незаслуженным и оскорбительным обвинением. О каком же доверии к лояльности Думы могла быть после этого речь? Вместо борьбы с правительством возникла борьба Думы с Монархом, натравливание толпы на Государыню, носившую немецкое имя. Мудрено ли, что после такой выходки Думы у Государя возросло доверие и жалость к оклеветанной Императрице, уменьшилась сила в чем-нибудь ей отказать. О слабом характере Государя можно жалеть. Но было неразумно с ним не считаться. И после этого мы быстро шли к катастрофе. В обществе стали думать, а особенно говорить и просто болтать о дворцовом перевороте, даже о цареубийстве, а государя в ответ на это подбили с Думой покончить и конституцию уничтожить. Никто из двух противников не успел своей цели добиться, когда Революция разразилась. Конечно, в такой атмосфере ничего нельзя было остановить планами примирения, о котором старались. После же революции кадеты убедили и Михаила<sup>58</sup> отречься. Трон остался вакантным. Милюков был против этого, и это его заслуга. Но этот его запоздалый жест прежней тактике не соответствовал.

И когда мы теперь вспоминаем печальную историю русской конституции и виним за все одного Государя и только старый режим, мы не вполне справедливы. Значительную долю вины несет на себе и непримиримость либерального общества. Его представители, конечно, зла не хотели, как его не хотел ни Государь, ни Государыня. Несчастье было в том, то когда Государя в 1905 году убедили встать на конституционный путь, начать эру либеральных реформ, то либеральной общественности в стране не оказалось; либералы английского типа, за которых принима-

ли кадет, существовали только в теории. Кадеты были умные, талантливые и хорошие люди, превосходно в деталях знали историю Английских государственных реформ, но в них не было духа лояльного либерализма, который бы мог им помочь играть первую роль в Монархической Конституции. Наблюдательный Перс это видит. На стр. 112 своей книги, говоря об аграрной реформе, он с огорчением отмечает, что либералы в этом вопросе в угоду революционерам шли против собственных взглядов. Но он не замечает, что это было не частным случаем, а общей кадетской тактикой. Ее либерализм не дал конституции развиваться нормальным путем и завел Россию в тупик. Это было настолько общим явлением, что несправедливо было бы обвинять за это отдельных людей; причина не в них, а в нашей прошлой истории, она результат многовекового Самодержавия. Либералы, которые воспитались в борьбе с Самодержавной Монархией, так же мало виноваты в нелояльности к Государю, как люди, которым не давали учиться, виноваты в безграмотности. Кадет можно упрекнуть только в том, что наиболее ответственные из них не захотели стать выше толпы и попытаться ее вести за собой. Они уверяли, будто для того, чтобы конституция могла правильно действовать, необходимо сначала ввести всеобщее избирательное право, уничтожить вторую палату и сделать Министров ответственными. Только после этого они будут лояльными. До этого же они с революцией разрываться не хотели. Этой позицией они и делали конституционную Монархию невозможной; а когда Монархия пала, они пали с нею. Послужили они одной революции; это видно в самой книге Перса, но до конца он этого не хочет признать; во многих местах он повторяет старый либеральный канон, восхищается талантами первой Государственной Думы, ее адресом, и другими грехами этого времени. Он поддался версии, которую русские либералы внушали Европе. Эта версия сейчас подлежит общему пересмотру, но на него Перс не решился. Это замечание, которое я могу сделать его интереснейшей книге.

<sup>1</sup> Александр III – российский император в 1881–1894 гг.

<sup>2</sup> Маклаков имеет в виду Манифест 17 октября 1905 г.; Основные законы, принятые в апреле 1906 г., он считал фактической конституцией.

<sup>3</sup> Recovery and the third Duma (англ.) – выздоровление и третья Дума.

<sup>4</sup> Столыпин П.А. (1862–1911) – председатель Совета министров и министр внутренних дел в 1906–1911 гг.

<sup>5</sup> Очевидно, Маклаков имеет в виду закон 17 июня 1910 г. о порядке издания касающихся Финляндии законов общеимперского значения, направленный фактически на ликвидацию ее автономии.

<sup>6</sup> Витте С.Ю. (1849–1915), граф (1905) – министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), председатель Комитета министров (1903–1905), с октября 1905 по апрель 1906 – первый “конституционный” премьер-министр (председатель Совета министров).

<sup>7</sup> Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 гг.

<sup>8</sup> Речь идет о русско-японской войне 1904–1905 гг.

<sup>9</sup> Общественные организации – имеются в виду Земский и городской союзы, созданные в 1914 г. с целью помощи в организации тыла в годы войны.

<sup>10</sup> Очевидно, Маклаков “объединил” Особое совещание по обороне государства под председательством военного министра, в состав которого входили представители ведомств, Государственного совета, Государственной думы, промышленности и “сведущие лица” по усмотрению министра, начавшее функционировать с мая 1915 г., и военно-промыш-

ленные комитеты, общественные организации, созданные также в 1915 г. для более эффективной мобилизации промышленности для военных нужд.

- 11 Соглашение о создании “Прогрессивного блока” подписали 22 августа прогрессивные националисты (группа В.В. Шульгина), группа центра, земцы-октябристы, фракция “Союза 17 октября”, кадеты, прогрессисты. Кроме того, в “Прогрессивный блок” вошли 3 фракции Государственного совета. Всего в блок входили 236 из 420 депутатов Государственной думы.
- 12 Recovery (англ.) – выздоровление.
- 13 Далее зачеркнута фраза “В этом трагедия этого времени”.
- 14 Распутин (Новых) Г.Е. (1864 или 1865–1916) – крестьянин Тобольской губернии, авантюрист, пользовавшийся репутацией целителя и провидца; был близок к царской семье.
- 15 Имеется в виду убийство императора (1796–1801) Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.
- 16 Хвостов А.Н. (1872–1918) – вологодский, затем нижегородский губернатор; депутат (4-й Государственной думы, председатель бюро фракции правых; в 1915–1916 – министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов.
- 17 mise en scene – мизансцена (франц).
- 18 Несомненно, речь идет о книге историка и политического деятеля С.П. Мельгунова (1879–1956) “На путях к дворцовому перевороту: Заговоры перед революцией 1917 года” (Париж, 1931).
- 19 Милоков П.Н. (1859–1943) – историк; признанный лидер партии кадетов, депутат 3-й и 4-й Государственных дум.
- 20 Статья Маклакова “Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина” была опубликована в парижских “Современных записках” (1928. Кн. XXXIV).
- 21 Керенский А.Ф. (1881–1970) – адвокат, лидер фракций трудовиков в 4-й Государственной думе. Министр-председатель Временного правительства в июле–октябре 1917 г.
- 22 Покровский Н.Н. (1865–1930) – крупный чиновник, служил в основном по министерству финансов; в 1914–1916 – член Государственного совета, в январе–ноябре 1916 – государственный контролер; 30 ноября 1916 г. назначен министром иностранных дел, оказавшись последней главой МИДа в царском правительстве.
- 23 Ритгих А.А. (1868–1930) – в 1905–1912 – директор Департамента государственных земельных имуществ и управляющий комитета по землеустроительным делам; активный участник проведения столыпинской аграрной реформы. В 1912–1916 – товарищ главноуправляющего землеустройства и земледелия, с ноября 1916 – управляющий министерство, а с января 1917 г. – министр земледелия.
- 24 Палеолог Жорж Морис (1859–1944) – французский дипломат; в 1912–1914 – директор Политического департамента МИД Франции, в 1914–1917 – посол Франции в Россия, в 1920–1921 – генеральный секретарь МИД Франции. Его воспоминания о пребывании в Россия впервые были опубликованы в 1922 (*La Russie des Tsars Pendant la Grande Guerre*. P., 1922 Vol. 3.; последнее по времени и наиболее полное издание на рус. языке под названием “Царская Россия накануне революции” [М., 1991]).
- 25 Шульгин В.В. (1878–1976) – помещик, по образованию юрист; публицист, затем редактор газеты правонационалистического направления “Киевлянин”; депутат 2–4-й Государственных Дум. В 1918–1920 – один из идеологов и активный участник белого движения. С 1920 г. в эмиграции. Мемуарно-публицистическая книга Шульгина “Дни” вышла отдельным изданием в Белграде в 1925 г.
- 26 Протопопов А.Д. (1866–1918) – крупный землевладелец и промышленник, депутат 3-й и 4-й Государственных дум, товарищ председателя 4-й Думы с 1914 г., октябрист. В сентябре 1916 г. был назначен министром внутренних дел по ходатайству Г.Е. Распутина, что было расценено депутатами Думы как предательство. Расстрелян большевиками.
- 27 Шингарев А.И. (1869–1918) – один из лидеров партии кадетов, член ее ЦК с 1908 г., депутат 2–4-й Государственных дум. В 1917 г. занимал посты министра земледелия (март–апрель) и финансов (май–июль) Временного правительства. В ноябре 1917 г. арестован как член ЦК партии кадетов. Убит в Мариинской больнице революционными матросами в ночь на 7 января 1918 г.
- 28 Родзянко М.В. (1859–1924) – крупный землевладелец. Член Государственного совета от екатеринославского земства. Октябрист; депутат и председатель 3-й (с марта 1911) и 4-й Государственных дум. В 1917 г. – председатель Временного комитета Государственной думы.

- <sup>29</sup> Струве П.Б. (1870–1944) – публицист, философ, экономист. Прodelал эволюцию от “легального марксизма” к правому крылу русского либерализма.
- <sup>30</sup> Терещенко М.И. (1886–1956) – крупный землевладелец, владелец сахарных заводов и финансист; депутат 4-й Государственной думы; в 1917 г. занимал в составе Временного правительства посты министра финансов (март–май) и иностранных дел (май–октябрь).
- <sup>31</sup> Карлотти де Рипарбелла – посол Италии в России.
- <sup>32</sup> Ah, il est grandement temps (франц.) – давно пора. Палеолог записал в дневнике свой короткий разговор с Маклаковым при этой встрече: “Возвращаясь около часу ночи из Министерства иностранных дел, я встречаю одного из корифеев кадетской партии Василия Маклакова: – Мы имеем теперь дело с крупным политическим движением. Все измучены настоящим режимом. Если император не даст стране скорых и широких реформ, волнение перейдет в восстание. А от восстания до революции один только шаг. – Я вполне с вами согласен и я сильно боюсь, что Романовы нашли в Протопопове своего Полюньяка... Но если события будут развиваться скорым темпом, вам, наверное, придется играть в них роль. Я умоляю вас не забыть только об элементарных обязанностях, которые налагает на Россию война. – Вы можете положитьсь на меня” // *Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 457.*
- <sup>33</sup> Алексеев М.В. (1857–1918) – генерал от инфантерии, в 1915–1917 – начальник штаба Верховного главнокомандования, в марте–мае 1917 – Верховный главнокомандующий. Один из зачинателей белого движения.
- <sup>34</sup> Коковцов В.Н. (1853–1943), граф – министр финансов (1904–1905, 1906–1914), председатель Совета министров (1911–1914).
- <sup>35</sup> Сазонов С.Д. (1860–1927) – карьерный дипломат, министр иностранных дел в 1910–1916 гг.; после Февральской революции – посол Временного правительства в Лондоне. Возглавлял внешнеполитические ведомства в правительствах А.В. Колчака и А.И. Деникина; член “Русского политического совещания” в Париже.
- <sup>36</sup> Наумов А.Н. (1868–1950) – с ноября 1915 г. управляющий Министерством земледелия; в январе–июле 1916 – министр земледелия.
- <sup>37</sup> Самарин А.Д. (1871–1932) – в 1908–1915 – московский губернский предводитель дворянства, с 1912 – член Гос. совета. В июле–сентябре 1915 – исполняющий должность обер-прокурора Святейшего Синода. Ему приписывалось авторство письма Николаю II, подписанного группой министров, с просьбой об оставлении вел. кн. Николая Николаевича верховным главнокомандующим. Выступал за формирование “министерства доверия”.
- <sup>38</sup> Зачеркнуто “со злобой сказал”.
- <sup>39</sup> Депутат, потом бывший министром – речь идет или о М.И. Терещенко (см. прим. 30) или, скорее всего, о другом коллеге Маклакова по 4-й Думе, крупном текстильном фабриканте и одном из лидеров русской буржуазии А.И. Коновалове (1875–1948), занимавшем во Временном правительстве посты министра торговли и промышленности (март–июль) и заместителя министра-председателя (сентябрь–октябрь 1917 г.). Коновалов, в отличие от Терещенко, ставшего и в эмиграции крупным финансистом, пострадал от революции в материальном отношении гораздо сильнее.
- <sup>40</sup> Некрасов Н.В. (1879–1940) – профессор Томского университета, один из лидеров левого крыла партии кадетов, депутат 3-й и 4-й Государственных дум; в составе Временного правительства занимал посты министра путей сообщения, заместителя министра-председателя и министра финансов.
- <sup>41</sup> В тексте публикации в “Новом журнале” добавлено: “между прочим, с Н. Савичем”.
- <sup>42</sup> Текст, опубликованный в “Новом журнале”, завершается следующим фрагментом: “Я совсем не уверен, что если бы правительство этот план приняло, и во вторник был бы объявлен кабинет Алексеева, то Дума этим удовлетворялась бы; возможно, что нет; в 1906 г. первая Дума не хотела же Министерства Шипова. Однако вспоминать существование Прогрессивного Блока, благоразумие тогдашних кадетов, опасность войны и патриотическое настроение Думы, такую карту надо было сыграть. Она давала большие надежды, чем Революция, полное падение исторической власти, а для борьбы с “большевизмом” и “немцами” идеалистический кабинет кн. Львова. Но характерно, что в этот последний час “старого строя”, план избежать Революции был сорван не крайними левыми, не кадетской общественностью, а самой властью. Вся ответственность за Революцию она как будто хотела сохранить за собою. Так кончилась старая тжжба власти с общественностью”. (Новый журнал. 1948. Кн. 14. С. 313–314).



- 43 Характером Викторианского воспитания – будущая российская императрица, принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская воспитывалась при британском дворе.
- 44 Воспоминания генерал-лейтенанта А.А. Мосолова (1854–после 1933), в 1900–1916 гг. начальника канцелярии Министерства императорского двора, были опубликованы в Риге на русском языке в 1937 г. под названием “При дворе императора”. Пэрс ссылается на издание: *Mosolov A.A. At the Court of the Last Tsar. Methuen, 1935.*
- 45 Фредерикс В.Б. (1838–1927), граф (1913) – генерал от кавалерия, в 1897–1917 гг. министр императорского двора и уделов.
- 46 “Гладстонианец” – производное от имени Уильяма Гладстона (1809–1898) – британского политического деятеля, лидера Либеральной партии с 1868 г., премьер-министра Великобритании в 1868–1874, 1880–1885, 1886 и 1892–1894 гг.
- 47 Речь идет о воспоминаниях П.Н. Миллюкова “Роковые годы”, публиковавшихся в парижских “Русских записках” (1938. № 4–19; 1939. № 20/21).
- 48 Речь идет о переговорах, которые в июне 1906 г. вели с кадетами параллельно, с одной стороны, дворцовый комендант, фаворит Николая II Д.Ф. Трепов, с другой – министр внутренних дел П.А. Столыпин и министр иностранных дел А.П. Извольский.
- 49 Муромцев С.А. (1850–1910) – юрист и общественный деятель, член партии кадетов, председатель 1-й Государственной думы.
- 50 “Знаменитом воззвании” – речь идет об обращении к народу большой группы депутатов 1-й Думы, принятом по инициативе кадетов после ее роспуска 8 июля 1906 г. Поскольку обращение, в котором население призывалось к отказу от уплаты налогов, выполнения воинской повинности и т.д. было подписано в Выборге, оно получило название “Выборгского воззвания”.
- 51 Пэрс ссылался на издание *The Secret Letters of Tsar Nicholas (Correspondence with his Mother). T. & A. Constable, Edinburgh. 1938.* (Секретные письма царя Николая: Его переписка с матерью).
- 52 *La confiance est une plante qui ne gerousse pas* (франц.): доверие – это растение, которое нельзя вырастить дважды. Бисмарк, Отто фон (1815–1898) – канцлер Германской империи в 1871–1890 гг.
- 53 Гучков А.И. (1862–1936) – крупный промышленник; один из основателей и признанный лидер “Союза 17 октября”. Депутат 3-й Государственной думы, с марта 1910 по март 1911 г. – ее председатель. В годы первой мировой войны – председатель Центрального военно-промышленного комитета. Военный и морской министр в первом составе Временного правительства. Оказал финансовую поддержку Добровольческой армии на начальном этапе ее формирования. С 1919 г. – в эмиграции.
- 54 Великий князь – Николай Николаевич (младший) (1856–1929) – внук императора Николая I, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа в 1905–1914 гг. Главнокомандующий русской армией в 1914–1915 гг. В августе 1915 г. уволен с поста верховного главнокомандующего, назначен наместником Кавказа и главнокомандующим Кавказской армией.
- 55 Штормер Б.В. (1848–1917) – бывший нижегородский и ярославский губернатор, с 1904 г. – член Государственного совета, был назначен председателем Совета министров 20 января 1916 г. По своим интеллектуальным, волевым, да и возрастным данным он явно не соответствовал занимаемому посту, во всяком случае в период войны; на заседании Думы Штормер был обвинен в германофильстве и 10 ноября 1916 г. уволен в отставку. После Февральской революции арестован, умер в Петропавловской крепости.
- 56 Имеется в виду антиправительственная речь П.Н. Миллюкова 1 ноября 1916 г., каждый период которой заканчивался риторическим вопросом: “Что это: глупость или измена?”
- 57 Не совсем точная цитата из стихотворения А.С. Пушкина “Полководец” (1835), посвященного М.Б. Барклай-де-Толли, главнокомандующему русской армией в начале Отечественной войны 1812 г., смещенному со своего поста в угоду общественному мнению. В оригинале: “И в имени твоём звук чуждый не взлюбя”.
- 58 Михаил Александрович (1878–1918) – великий князь, сын императора Александра III. 3 марта 1917 г. великий князь Михаил Александрович, в пользу которого отрекся накануне от престола Николай II, отказался принять власть. Впрочем, отказ был мотивирован условно и Михаил соглашался “воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего” выраженная Учредительным Собранием.

## ПИСЬМА АКАДЕМИКА П.Г. ВИНОГРАДОВА И.В. ШКЛОВСКОМУ (ДИОНЕО)\*

В самом начале 1926 г. журнал “Голос минувшего” откликнулся на скорбную весть о кончине одного из известнейших российских историков конце XIX – начала XX в. Павла Гавриловича Виноградова двумя статьями-воспоминаниями. Автором первой был бывший студент, а впоследствии известный историк А.А. Кизеветтер, который представил читателям сохранившийся в его памяти облик ученого-педагога и общественного деятеля<sup>1</sup>. Вторая статья была написана российским журналистом И.В. Шкловским, долгое время жившим в Англии и достаточно часто контактировавшим с Виноградовым в период после революции 1917 г. Его очерк довольно верно характеризовал настроения историка в это время и мнение Виноградова о причинах и последствиях произошедшего на родине. И все же... Если изложение и интерпретация Шкловским основных положений Виноградова, высказанных им на страницах сборника “Воссоздание России” и “Британской энциклопедии”, не вызывают возражения, то передача позиции Павла Гавриловича в переписке со Шкловским по поводу написания последним книги о “третьем элементе” по заказу фонда Карнеги не совсем точна. В этом легко убедиться, сравнив оценки Шкловского и сами письма, которые хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Поскольку эмигрантские издания являются раритетами в российских библиотеках, то вполне позволительно привести длинную выдержку из статьи Шкловского в журнале “Голос минувшего”.

«В 1921 году в Америке задуман был широкий план издания ряда книг, представляющих собой экономическую и социальную историю великой войны. Редактором серии книг, касающихся России, назначен был П.Г. Виноградов, который и пригласил русских писателей и ученых, распределив между ними темы. Так как мне досталось тогда писать книгу о третьем элементе во время войны, то с 1922 г. мы часто начали встречаться и переписываться с П.Г. Виноградовым. Воспитанные люди узнают прежде всего по тому, что они отвечают на письма, говорят англичане. Один из русофобов, подписывавшийся в английских журналах русским псевдонимом Ланин – (Диллон), перечисляя великие грехи русской интеллигенции, отмечает, между прочим, что она не считает надобным отвечать на письма. Это замечание, конечно, ни в коем случае не относилось к П.Г. Виноградову. Бесконечно занятый всегда научными работами, лекциями и вообще литературной работой (он, например, вел русский отдел в томах 30, 31, 32 “Британской энциклопедии”), – он всегда аккуратно, обстоятельно и собственноручно отвечал на письма. Так как русский ученый страдал глазами, то его почерк становился все более и более неразборчивым; но прибывало ли письмо, когда П[авел] Г[аврилович] находился в Оксфорде, в Риме, или в Па-

\* Работа выполнена при поддержке Московского общественного научного фонда (МОНФ).

лермо, – он тотчас же отвечал, придерживаясь английского правила, что на письма отвечают не позже, как через день. Перед тем, как П.Г. Виноградов уехал в последний раз в Париж, я написал ему. Дело шло о научных трудах проф. А. Венгера в Мюнхене. На письмо это я в первый раз не получил ответа. И вот, несколько дней тому назад, секретарь П.Г. Виноградова переслал мне ответ на мое письмо, найденное в бумагах покойного. Письмо было им написано, запечатано, но окружающие забыли отправить. Почерк этого предсмертного письма едва можно было разобрать, но оно отличается обычной для П.Г. Виноградова точностью и обстоятельностью. Человек, сохранивший до конца жизни наружность кистометра, был не только большой ученый, но еще *европеец* в лучшем смысле слова. (...)

Теперь приведу один пример, показывающий, как ревниво защищал в последние годы П.Г. Виноградов Россию от всяких “обид”, иногда совершенно мнимых. Передо мною письмо Пав[ла] Гав[риловича] от 25 июня 1922 г. относительно одной главы моей книги, написанной для серии “Economic and Social History of the World War”. Дело идет об обстановке, при которой жили крестьяне до войны. По мнению П[авла] Г[авриловича], картины, набросанные мной “страдают односторонностью”. «У иностранца, который прочтет главу, – писал П.Г. Виноградов, – возникает вопрос: “как до сих пор могло просуществовать это общество?”». Враги России и русского народа возмут, – предсказывал Виноградов, “целые страницы” из этой книги. “Ответственность остается на авторе, – продолжает П[авел] Гав[рилович], – и я, как редактор, мог только устранить или несколько смягчить крайности”. Письмо это меня крайне смутило тогда. Конечно, я писал книгу очень быстро, и какая-нибудь неуклюжая фраза могла вырваться; но план и тезисы были тщательно выработаны и продуманы. Мне всегда казалось, что я, как старый народник, склонен идеализировать деревню, в особенности ту, которую знаю хорошо с детства, т.е. деревню украинскую. И вдруг оказывается, что у меня “вышел памфлет на всю крестьянскую Россию”. В чем дело? Я свиделся с Пав[лом] Гав[риловичем] и увидел “ужасные” места. То были не мои слова, а две выдержки из отчетов земских врачей. В первой выдержке говорится: “Нет в мире такой культурной страны, где все неблагоприятные капитальные условия, подрывающие физические и духовные силы населения, соединились бы с такой силой как в России. Жилище, питание, условия труда, водоснабжение, состояние почвы, – все это является грубым нарушением элементарных правил санитарии”. И иллюстрируя это основное положение, взятое из отчета земского врача, я привел выдержку из книги “Умирающая деревня” с описанием избы зажиточного крестьянина Воронежской губернии. В помещении с 229,2 куб. ар. воздуха – жили 22 человека, так что на каждого приходилось 9,5 куб. ар., или в шесть раз меньше, чем полагается по гигиене. “Больные, старые, хилые и малолетние члены семьи отправляют свои нужды в избе, тут же стряпают, сушат одежду, обувь, сбрую и курят махорку... Рано утром, после ночи, воздух у многих избях бывает так плох, так зловонен и переполнен всевозможными испарениями людей, животных, земляного пола и грязной одежды, что у вошедшего

с улицы непривычного человека захватывает дух, начинает кружиться голова и теснить в груди чуть не до обморока. Это и есть, по всей вероятности, тот сказочный дух, который везде различишь и в котором, по народной поговорке, хоть топор вешай”. Таковы были “страшные” места, смутившие Павла Гавриловича. Читатель, вероятно, вспомнит, что книга “Умирающая деревня”, вышедшая в 1909 году, принадлежит А.И. Шингареву. На это обстоятельство я указал тогда Виноградову. Ненависть к большевикам и страстная любовь к России, в соединении, вероятно, с болезненным, затаенным сознанием “отступничества”<sup>2</sup>, все это, мне кажется, затуманило на момент пронизательность и прозорливость большого ученого. Остался только патриот, ревниво относившийся к чести родины и, без всякого основания, страшась, что враг воспользуется как-нибудь даже не моим мнением, а выдержкой из книги Шингарева для подкрепления утверждения: “Разве не правы были большевики, и т.д.”»<sup>3</sup>.

Теперь посмотрим, как предстает данный эпизод в письмах. Впервые Виноградов известил Шкловского о плане издания по истории первой мировой войны, финансируемого фондом Карнеги, открыткой, посланной из Италии 10 февраля 1922 г. Приглашая его принять участие в написании одной из книг, Павел Гаврилович предупреждал: “Имейте в виду, что история должна быть социальная, а не литературная. Материалы литературные могут, конечно, быть использованы”<sup>4</sup>. В следующей открытке, посланной из отеля Villa Ludovisi в Риме, Виноградов продолжал обсуждение предложенного проекта и проспекта книги Шкловского. “Нельзя ли ввести в программу главы о расширении столичных и провинциальных изданий и их относительного влияния на публику, а также о формах пропаганды в народе, – интересовался историк. – Имейте в виду, что большевистский период исключается из плана издания. В остальном программа интересная и я надеюсь, что пройдет у издателей”<sup>5</sup>.

С весны, когда Виноградов вернулся в Оксфорд, началась редакторская работа над рукописью. Плохое зрение Виноградова и мелкий почерк Шкловского определили ее порядок: присланный текст перепечатывался на машинке М.Т. Флоринским, а затем редактировался Виноградовым. Поскольку Шкловский писал по-русски, а текст должен был быть представлен на английском языке, то Павел Гаврилович в письме 19 мая предложил: “Что касается перевода, то разрешите поручить его Г-же Звягинцевой. Она страшно нуждается и сидит в настоящее время без работы. Переводчик она вполне компетентный”<sup>6</sup>. Однако Шкловский предпочел воспользоваться услугами К.Д. Набокова.

В следующем письме от 1 июля Виноградов вновь извинялся за медленное продвижение дел из-за плохого зрения. Однако он успел к этому времени просмотреть две главы, заметив, что “написаны они, кажется, живо и талантливо”, но выходят за рамки темы “История России в 1914–1917 гг.” Деликатно указывая на обилие общеизвестных фактов в рукописи, Виноградов писал, что книга хоть и рассчитана на

иностранный читателя, но на того, которому они уже хорошо знакомы. Заметим, что эти слова выходили из-под пера историка, который к этому времени опубликовал в Англии не только несколько статей с оценками деятельности земцев в России, но и довольно объемную написанную по-английски брошюру, в которой освещалась как история земств, так и их работа в годы Первой мировой войны<sup>7</sup>. Поэтому Виноградов считал себя вправе высказать некоторые замечания, отражающие его собственное видение проблемы. Он писал, что «желательно подчеркнуть где-нибудь, что и в административных, и в цензовых сферах земства было немало людей демократичных и полезных по своей деятельности – Н. Милютин<sup>8</sup>, Унковский<sup>9</sup>, Самарин<sup>10</sup>, Шипов<sup>11</sup>, принадлежавших этим кругам. Беда России была в том, что дельные люди были разделены потоком недоверия и вражды, который образовался вследствие долгих годов правительственной опеки. То ограниченное самоуправление, которое было предоставлено земству, само по себе могло бы сослужить полезную политическую службу в России, как и в Англии или Германии, если бы цензовые и бюрократические ограничения не были бы углублены, как в Ирландии, культурной непримиримостью. Если Вы писали для иностранцев, то надо постараться объяснить им, что и в эпоху “царизма” происходила великая государственная работа, к сожалению, под знаком дуализма. А то может получиться такой вывод, что большевики и в самом деле правы, растоптав всю историческую традицию России»<sup>12</sup>. Тем самым Виноградов пытался провести свою давнюю мысль о культурной пропасти между образованным меньшинством общества и основной массой народа, “дуализме культуры”, как главной психологической причине революционных потрясений в России<sup>13</sup>.

В двух письмах от 4 и 6 июня Виноградов обещал ускорить чтение с тем, чтобы закончить исправления и сокращения текста к 1 июля, а также обещал похлопотать о гонораре за 200 страниц. Однако он вынужден был объяснить, что сложности связаны с оформлением платежных документов через фонд. Расчет осуществлялся, как объяснил Виноградов в следующем письме, “по числу английских страниц переведенного текста”. Все же ему удалось добиться для Шкловского около 200 фунтов в счет утвержденных русских страниц. Думается, что данный момент тоже немаловажен для понимания дальнейших разногласий между автором и редактором.

На нарастание разногласий в оценке значимости вычеркиваемого Виноградовым текста указывает следующее письмо от 19 июня. Павел Гаврилович отмечал в нем, что он вычеркивает лишний материал о школе и учителях, выходящий за рамки обозначенного периода. “Ваши общие аргументы нигде не изменены”, – уверял он Шкловского. Вновь обосновывая свое отличное от авторского видения проблемы, Виноградов ссылаясь на собственный опыт работы гласным Московской городской думы, где он с 1898 по 1901 г. возглавлял училищную комиссию. “Я нисколько не расположен отстаивать политику правительства в школьном деле, – писал он, – я достаточно ознакомился с нею в те семь лет, когда мне пришлось работать по начальному образованию в Московской Думе. Но необходимо было указать на конструктивные, хотя и неудачные попытки

консерваторов вроде Рачинского<sup>14</sup>. Иначе будут упрекать в замалчивании и в несправедливости. Считаете ли Вы возможным прибавить к характеристике церк[овно]-приходской школы 2–3 страницы о направлении Рачинского? На англичан оно произвело сильное впечатление (см. напр. отчет Darlington'a в Board of Education)<sup>15</sup>.

Следующим было уже упомянутое самим Шкловским в воспоминаниях письмо от 25 июня. В конце его Виноградов предупреждал, что текст будет просматривать еще профессор Шотуель, издатель фонда.

Для характеристики взглядов Виноградова важны два публикуемые письма.

*А.В. Антощенко*  
Corpus Christi College  
30-VI-22

Многоуважаемый Исаак Владимирович,

Очень жаль, что наши взгляды настроены на различный лад, но в теперешнем состоянии русского общества в этом нет ничего мудреного. Мне представляется, что Вы пишете слишком черное по черному и поэтому выходит односторонне. Ведь и у Глеба Успенского<sup>16</sup> изображаются не только звериные черты русских крестьян, но и их жизнь под “властью земли”, в которой есть законный смысл и достоинство. Про Толстого<sup>17</sup> и говорить нечего – и в повестях, и в сказках, он вывел ряд праведников наряду с служителями “тьмы”. В народе есть и религия, и благочестие, хотя и не в славянофильском, богомазном смысле. Ю. Самарин писал об этом баронессе Раден<sup>18</sup> гораздо лучше, чем проповедовал Хомяков<sup>19</sup>.

Пишу конечно не для того, чтобы переубедить Вас – когда нам теперь переучиваться, – а чтобы оберечь успех книги, которой грозят различные опасности. Шотвелю<sup>20</sup>, как представителю американской публики, она может показаться “не на тему” – он только что забраковал работу одного австрийского историка, который слишком увлекся стратегическими соображениями. Вы в последних, конечно, не повинны, но американцам может показаться пласт слишком глубоко уязвимым в XIX веке.

А затем нежелательным дать материал врагам России – прежде всего большевикам, а кроме того и полякам, немцам, последователям Биконсфильда<sup>21</sup> в Англии и т.п. В этом объяснение различных урезок и сокращений. Будем надеяться “for the best”<sup>22</sup>!

Преданный Вам, П. Виноградов<sup>22</sup>

И следующее письмо, которое писалось после представленной в воспоминаниях Шкловского встречи.

Field Cottage, Road's Hill  
Oxford  
17-VII-22

\* на лучшее (англ.).

Я ничего не имею против восстановления большей части отмеченных красным карандашом мест и пошло листки К.Д. Набокову<sup>23</sup> с соответствующими распоряжениями. Страницы были вычеркнуты с точки зрения необходимости придерживаться эпохи и темы. Сами по себе отмеченные места не возбуждают никаких сомнений и действительно могут пригодиться для последующего. Упоминание о 1847 г. лучше однако устранить “страха ради иудейского”, а также во избежание повторений.

Что касается общего суждения о “черноте” впечатления, то трудно, подводя его, избежать субъективности в подготовке и оценке. Третий элемент изображен Вами не только с отрицательной, но и положительной стороны и, я думаю, получилось впечатление не только от отвлеченности, непримиримости и непрактичности его образа мыслей, но и от самоотверженности и подвижничества его деятельности. Я лично удручен преимущественно полным отсутствием правительства и цензурой России, с одной стороны, “народа” – с другой. Нечего говорить хомяковские стихи о неправде черной и литературные отражения русской жизни у Щедрина<sup>24</sup>, Чехова<sup>25</sup> и др[угих] дают Вам много оправдательных документов, а то, что происходит сейчас в Совдепии более удручительно, чем самые удручительные характеристики прежнего. Но я все-таки вспоминаю столько хорошего из годов своей молодости и среднего возраста как раз из цензовых кругов, и, с другой стороны, настолько верю Толстому, Достоевскому<sup>26</sup>, Ключевскому<sup>27</sup>, что все-таки подвожу итог с некоторым, может быть мечтательным, оптимизмом.

Возвращаясь к прежним вопросам. Я передал Шотуелю первые три главы в переводе Набокова, предпослав им объяснения относительно общего характера книги. Он прислал свои замечания, на которые я ответил. Прилагаю выписки из этой переписки. Вы увидите из нее, что мои опасения относительно соответствия темы оказались основательными. Надеюсь, что Вы найдете возможным произвести кое-какие “adjustments”<sup>\*</sup> в указанном Шотуелем направлении. Он не только представляет точку зрения американского читателя, но и хорошо знаком с взглядами и настроениями уполномоченных фонда.

Преданный Вам, П. Виноградов

Правоту редакторских оценок Виноградова подтвердило дальнейшее развитие событий. В письме от 25 июля Павел Гаврилович высказал свои соображения относительно размеров и характера вступления и заключения, а в письме от 14 августа выразил уверенность в положительном решении вопроса о публикации книги. Однако в письме от 21 сентября, посланном Шкловскому после своего возвращения из Праги, Виноградов писал, что Шотуель требует более точного приведения текста в соответствие с темой и планом. При чем от этого зависела, как сообщал редактор, уплата оставшегося вознаграждения и публикация книги. Поэтому Виноградов указывал, что «необходимо произвести те

\* коррективы, исправления (англ.).

“certain additions and adjustments”<sup>\*</sup>, упомянутые в предыдущем моем письме к Вам.

Главные возражения Шотуеля сводятся к двум: 1) работа распространяется “too far a field”<sup>\*\*</sup>; 2) в первой ее части недостаточно выяснена связь с войной 1914–1917 гг. Чтобы устранить эти недостатки, – советовал Павел Гаврилович, – нужно, мне кажется, сделать следующее:

1) изменить заглавия. Я предлагаю: *The psychology of the Russian Zemstvos' workers and the War*<sup>\*\*\*</sup>.

2) Сократить вводные характеристики различных направлений за время XIX в.

3) Прибавить, по возможности, сведения о прямом участии учителей и статистиков во время войны. По последнему пункту ожидаю от Вас дополнений, насколько возможно “matter of facts”<sup>\*\*\*\*</sup>. О 1-м и 2-м похлопочу сам.

Ваш, П. Виноградов»<sup>28</sup>.

Это последнее из хранящихся в РГАЛИ писем Виноградова к Шкловскому, но и незавершенная коллекция корреспонденции раскрывает “маленькие интимные черты”, которые, как справедливо заметил журналист, “помогут дорисовать портрет первоклассного ученого с заслуженным мировым именем”<sup>29</sup>.

<sup>1</sup> См.: *Кизеветтер А.А.* Научная и общественная деятельность П.Г. Виноградова // *Голос минувшего*. 1926. № 2. С. 245–248.

<sup>2</sup> Имеется в виду отступничество союзников по Антанте, которое резко критиковалось П.Г. Виноградовым после родившейся в Версале инициативы усадить за стол переговоров на Принцевых островах представителей всех сил, сражающихся в гражданской войне в России. См.: *Vinogradoff P. Russia* // *Enciclopedia Britannica*. 12th edition. 1922. Vol. XXXII. P. 328.

<sup>3</sup> *Дионео [Шкловский И.В.]*. П.Г. Виноградов и революция // *Голос минувшего*. 1926. № 2. С. 249–251, 255–257.

<sup>4</sup> Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1390. Оп. 2. Ед. хр. 47. Л. 1 об. (Далее: РГАЛИ).

<sup>5</sup> Там же. Л. 2.

<sup>6</sup> Там же. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 3. Еще одна черта, характеризующая личность Виноградова.

<sup>7</sup> См.: *Vinogradoff P.* Growth of provincial self government // *Times*. 1915. April 26. P. 3; *Idem.* Self-government in Russia. L., 1915; тема широко освещалась Виноградовым в других статьях и лекциях: *The reforming work of the czar Alexander II*; *The meaning of the present development in Russia* // *Lectures on the history of the nineteenth century*. Cambridge, 1902; *The peasant caste in Russia* // *Independent Review*. 1904. Vol. IV. N 13; *The Russian problem* // *Yale Review*. 1914. Vol. IV. № 1. Анализ оценок Виноградовым земского самоуправления в России см.: *Антощенко А.В.* *Голос минувшего* // *Земский вестник*. 1997. № 2. С. 21–27.

<sup>8</sup> Миллютин Николай Алексеевич (1818–1872) – государственный деятель, представитель либеральной бюрократии, активный участник подготовки крестьянской реформы, член Редакционных комиссий. Виноградов высоко оценивал его вклад в разработку ре-

\* определенные дополнения и исправления (англ.).

\*\* слишком далеко за пределы темы (англ.).

\*\*\* психология российских земцев и [первая мировая] война (англ.).

\*\*\*\* фактического свойства (англ.).



- форм 1860-х годов. См.: *Vinogradoff P. The reforming work of the czar Alexander II. P. 247, 249; Idem. Self-government in Russia. P. 49.*
- <sup>9</sup> Унковский Алексей Михайлович (1828–1893) – общественный деятель, в 1857–1859 гг. предводитель дворянства Тверской губернии, автор либеральной программы отмены крепостного права. Виноградов отмечал его среди сторонников осуществления реформ 1860-х годов. См.: *Vinogradoff P. Self-government in Russia. P. 51.*
- <sup>10</sup> Самарин Юрий Федорович (1819–1876) – общественный деятель, историк и публицист, один из лидеров славянофильства. Одна из Ильчестерских лекций Виноградова, прочитанных в Оксфорде в 1891 г. называлась “Ю. Самарин и русская политика”. С ее содержанием историк познакомил английских читателей во время первой мировой войны, опубликовав статью: *A prophetic career // The British Review. 1915. Vol. XII. № 1. P. 3–14.*
- <sup>11</sup> Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920) – видный земский деятель, в 1893–1904 гг. председатель Московской земской управы, один из организаторов партии октябристов. Виноградов был лично знаком с Шиповым, высоко ценил его общественную деятельность и поддерживал, хотя и не во всем, политическую программу октябристов.
- <sup>12</sup> РГАЛИ. Ф. 1390. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 6–7 об.
- <sup>13</sup> Ср.: *Виноградов П.Г. Политические письма // Русские ведомости. 1905. 5 августа; Idem. Western and Eastern ideals in Russia // The Fortnightly Review. 1919. May 1. P. 676.*
- <sup>14</sup> Рачинский Сергей Александрович (1833–1902) – педагог, общественный деятель. Виноградов критиковал его взгляды на народное образование, т.к. считал, что правительство поддерживало развитие церковно-приходских школ в ущерб земским. См.: *Vinogradoff P. Self-government in Russia. P. 79.*
- <sup>15</sup> РГАЛИ. Ф. 1390. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 13–13 об. В брошюре о самоуправлении в России Виноградов ссылался на статью Дарлингтона “Education in Russia” (Образование в России), помещенную в 33 томе специальных докладов комитета по образованию. См.: *Vinogradoff P. Self-government in Russia. P. 79, fn. 1.*
- <sup>16</sup> Успенский Глеб Иванович (1843–1902) – писатель. Подобным же образом Виноградов характеризовал изображение крестьянства Успенским в своем выступлении “За и против республики”. См.: В России желательна республика. Статья П.Г. Виноградова. 1918 г. / Вступл., публ. и ком. *А.В. Антощенко // Исторический архив. 1997. № 2. С. 56. Ср.: Vinogradoff P. Western and Eastern ideals in Russia. P. 676.*
- <sup>17</sup> Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – писатель. Виноградов ссылался на его произведения при характеристике психологии русского народа. См.: *Vinogradoff P. The Russian revolution. Its religious aspect // Land and Water. 1917. August 2. P. 44.*
- <sup>18</sup> Раден Эдита Федоровна (1820–1885) – баронесса. Ее салон в Михайловском замке стал местом общения передовых общественных деятелей и либеральных представителей придворных кругов и высшей бюрократии. В упоминавшейся статье Виноградова о Самарине цитируется одно из писем Юрия Федоровича Раден. См.: *Vinogradoff P. A prophetic career. P. 14.*
- <sup>19</sup> Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – религиозный философ, публицист, поэт, драматург, писатель, историк, один из основателей славянофильства. Одна из Ильчестерских лекций Виноградов была посвящена ему (“А. Хомяков и богословие славянофильства”). Об изменении оценок славянофильства Виноградовым см.: *Антощенко А.В. П.Г. Виноградов о славянофилах, традиции и новации в развитии России // Российская интеллигенция: традиции и новации. Иваново, 1997. С. 315–318.*
- <sup>20</sup> Шотвель (допустима также русская транскрипция Шотуель – Shotwell) Джеймс Томас (1874–1965) – американский историк, редактор фонда Карнеги.
- <sup>21</sup> Дизраели (Disraeli) Бенджамин, лорд Биконсфилд (Beaconsfield) (1804–1881) – английский государственный деятель и писатель, считавший Россию главным противником в восточной политике Великобритании. Виноградов в своих статьях периода первой мировой стремился доказать, что “после 1871 г. распря между Россией и Англией стала анахронизмом” и “традиции биконсфилдовской эры” должны уйти и уходят в прошлое. См.: *Виноградов П.Г. Англия и Россия // Биржевые ведомости. 1915. 15(28) января; Он же. Английское общественное мнение и война // Там же. 1915. 27 февраля (12 марта), 28 февраля (13 марта); Он же. Мечты о мире // Там же. 1916. 22 марта (4 апреля), 23 марта (5 апреля). Однако в очерке о России для “Британской энциклопедии” он вынужден был констатировать, что “реорганизация России на имперских путях была*

- неприятна для многих английских консерваторов, которые все еще были под влиянием идей Дизраэли” (Ibid. P. 328).
- 22 РГАЛИ. Ф. 1390. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 15–16 об.
- 23 Набоков Константин Дмитриевич (?–1929) – дипломат, до сентября 1919 г. исполнял обязанности поверенного в делах в Лондоне. Вместе со Шкловским входил в состав комитета Русско-британского 1917 г. Братства. Комитет с июля по декабрь 1919 г. возглавлял Виноградов.
- 24 Щедрин Н. – псевдоним писателя Салтыкова Михаила Евграфовича (1826–1889). Виноградов не обращался к его образам в своих публицистических статьях. Однако начало одной из его статей в “Освобождения” (“Комическая фигура”), подписанной “авв”, напоминает стилистику щедринской сатиры. Ср.: Освобождение. 1903. 18 сентября (1 октября). № 7(31). С. 113.
- 25 Чехов Антон Павлович (1860–1904) – писатель, драматург. Психологические характеристики Чеховым российской интеллигенции использовались Виноградовым в его публицистических статьях. См.: *Виноградов П.Г. Политические письма // Русские ведомости. 1905. 5 августа; Idem. The Russian revolution. Its religious aspect. P. 43.*
- 26 Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – писатель. Виноградов неоднократно ссыался на его произведения для характеристики психологического портрета российской интеллигенции. См.: *Виноградов П.Г. Политические письма // Русские ведомости. 1905. 5 августа; Idem. The Russian revolution. Its religious aspect. P. 43.* В дневнике 1920 г. сохранились записи Виноградова о впечатлении от чтения “Бесов”, на основе которых историком затем была дана психологическая характеристика большевизма. Ср. выдержки из дневника в: *Антощенко А.В. Московский ученый за рубежом: Гарвардская коллекция материалов архива академика П.Г. Виноградова // Археографический ежегодник, 1997. М., 1997. С. 297 и Vinogradoff P. Russia at the cross-road // The Contemporary Review. 1921. Vol. CXIX. P. 745.* Неудивительно, что попытка Шкловского раскрыть значение творчества Достоевского на основе многочисленных отсылок к другим исследователям вызвала едкое замечание Виноградова: “Достоевский слишком своеобразен, чтобы объяснять его взгляды выписками из других авторов”. – РГАЛИ. Ф. 1390. Оп. 2. Ед. хр. 47. Л. 5.
- 27 Ключевский Василий Осипович (1841–1911) – историк. Виноградов называл Ключевского одним из талантливейших исследователей прошлого, наряду с Момзенем и Мэтландом оказавшим наиболее существенное влияние на развитие его исторических взглядов. См.: *Fisher H.A.L. A memoir // Collected Papers of Paul Vinogradoff. Oxford, 1928. Vol. 1. P. 69.*
- 28 РГАЛИ. Ф. 1390. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 24–24 об.
- 29 *Дионео [Шкловский И.В.]. П.Г. Виноградов и революция. С. 257.*

## ИЗ АРХИВА А.В. ФЛОРОВСКОГО КОНСПЕКТ СТАТЬИ «ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ “РУССКОЙ ИСТОРИИ ИЛИ ИСТОРИИ РОССИИ”»

Русская историческая наука в XX в. в силу политических обстоятельств разделилась на два лагеря, каждый из которых пристально следил за другим, соотнося достигнутые исследовательские результаты как с развитием мировой науки, так и с основными итогами работы русских ученых в эмиграции и в СССР. Историческая наука в эмиграции, неразрывно связанная с отечественной традицией, развивалась и достигла серьезных успехов, в первую очередь в процессе осмысления хода исторического развития Руси–России, в создании законченных курсов, очерков отечественной истории. Подвергались переосмыслению и вклад корифеев в развитие историографии, и основные методологиче-

ские исследовательские приемы. Конечно, развитие исторической науки за рубежом имело свои отличительные характеристики. Об этом говорил на одном из съездов А.В. Флоровский: “Русские ученые за границей не только представители русской науки, которым привелось выполнить высокую роль ознакомления западного мира с плодами русского научного труда, но они и орудие нормального и интенсивного питания русской научной деятельности. Пребывание многих десятков русских ученых за границей в различных центрах научной работы в вынужденной для них и, может быть, в тягостной длительной научной командировке должно быть залогом возможно быстрого восстановления нормальной жизни и деятельности в России (когда она освободится от советской власти и вновь оживет)”<sup>1</sup>.

Русские ученые оказались разбросанными по разным странам и континентам, однако, подлинные научные центры в довоенный период сложились в европейских столицах. В первую очередь надо назвать Париж, Прагу, Белград, Берлин, Софию. При этом Прага играла роль научно-организационного и издательского центра, особенно в области гуманитарных наук, с которым тесно сотрудничали Белград и София, так что в 20–30 годы ученых, работавших в этих трех городах, можно рассматривать как единое научное сообщество. Они тесно общались, переписывались, принимали участие в научных изданиях, конференциях, читали лекции и проводили публичные семинары во всех трех восточноевропейских столицах. Прекрасным подтверждением тому служат такие издания, как “Сборник в честь на Васил Златарски” (София, 1925); периодические издания: “Записки Русского научного института в Белграде”, “Сборники Русского исторического общества в Праге”, “Slavia”, “Анналы семинара им. Кондакова” и др. Постоянными их участниками были русские пражане: Кизеветтер, Шмурло, Флоровский; из Софии: Бицилли, Мякотин, Попруженко; из Белграда: Струве, Спекторский, Мошин, Соловьев, Острогорский.

Подтверждение тесного научного сотрудничества мы находим и в эпистолярном наследии русского зарубежья. Одну из уникальных коллекций составляет фонд А.В. Флоровского в Архиве РАН. Благодаря тому, что в 60-е годы этот фонд был передан на родину, исследователи могут познакомиться с перелистной, которую А.В. Флоровский вел на протяжении более 5 десятков лет с наиболее значительными русскими историками: Милуковым, Вернадским, Струве, Шмурло, Бицилли, Спекторским, Тарановским, Кизеветтером, Острогорским и др.

В том же личном фонде сохранились черновики и наброски работ русского исследователя, многие из которых не увидели свет, другие были опубликованы на иностранных языках, либо были озвучены лишь в устной форме – как лекции, выступления. Надо заметить, что даже увидевшие свет работы Флоровского, мало доступны современному читателю. Среди рукописей наиболее интересными для развития историографической мысли представляются: “Русская наука в эмиграции”, “Историческая наука в России 1921–1931”, “Азийские основы русской истории”, “Русская историческая энциклопедия” (398 стр.). Некоторые из сохранившихся в рукописи работ были опубликованы, иногда в сокра-

ценном, переработанном виде, иногда под другими названиями, иные сохранились лишь в архивном фонде<sup>2</sup>.

Знакомство с творческим наследием и архивным собранием Антония Васильевича позволяет сделать вывод, что это был не только крупный ученый, но и прекрасный популяризатор и организатор исторического знания. Он много внимания уделял вопросам историографии и методологии науки.

Антоний Васильевич Флоровский принадлежит к послереволюционной волне русской эмиграции. Он попал за границу уже сформировавшимся и достаточно известным ученым, однако расцвет его научной деятельности несомненно связан с годами, прожитыми в Праге, где он не только занимался исследованиями, но и много сил отдавал преподавательской и общественной работе.

Родился А.В. Флоровский в 1884 г. в Елизаветграде в семье священника, окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета, где учился у В. Истринского, Э. Штерна, Е. Щепкина. Первая опубликованная монография: "Крестьянский вопрос в Законодательной комиссии 1767 г." XVIII в. была посвящена и его магистерская диссертация (защищена в 1915 г., а в 1916 г. после публикации эта работа – "Состав Законодательной комиссии 1767–1774 гг." была удостоена Уваровской премии Академии наук). С 1916 г. Флоровский – профессор по кафедре русской истории Новороссийского университета и одновременно он ведет курсы русской истории на Высших женских курсах в Одессе. Преподавательской работой он занимался в разных учебных заведениях вплоть до эмиграции. Уже в молодости Флоровский много сил отдавал общественной и организаторской работе: в Библиографическом одесском обществе, в Славянском благотворительном обществе и др. В 1921 г. Флоровский становится директором Одесской публичной библиотеки.

В 1922 г. начался изгнанныческий путь семьи Флоровских. Родители Антония Васильевича остались в Софии, где отец становится приходским священником, а сам он ищет работу сначала в Сербии, но безуспешно. С 1923 г. Флоровский трудится на Русском юридическом факультете в Праге, читает лекции по русской истории для студентов Карлова университета, где в 1933 г. получает звание профессора философии. В 1936 г. по всем российским академическим правилам Антоний Васильевич защищает докторскую диссертацию на заседании Русской академической группы по теме: "Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X–XVIII вв.)". Этот основной научный труд Флоровского вышел в свет в двух томах (Прага, 1935 г.). Оппонентами на защите были П.Н. Милюков, Я. Бидло, В. Францев.

В 1957 г. русский ученый получил степень доктора исторических наук Чехословакии. В Карловом университете Флоровский с 1948 по 1957 г. был ординарным профессором кафедры русской истории. В декабре 1946 г. он получил советское гражданство, но остался до самой смерти, до 1968 года, жить в Праге. В 50–60-е годы он вступает в более тесные контакты с советскими учеными, публикуется в отечественных

журналах: “Археографическом ежегоднике”, “Трудах Отдела древнерусской литературы”, “Славянских сборниках”.

В эмиграции Антоний Васильевич вел активную общественную и организационную работу: был членом Славянского института, Русского Исторического общества (с 1938 по 1940 г. был его председателем), семинара им. Кондакова (в 1947–1952 гг. – руководитель), Русского заграничного исторического архива (с 1933 г. по 1945 г. – председатель Ученого совета). Выполняя все эти важные и хлопотные обязанности, А.В. Флоровский находился в теснейшем контакте практически со всеми крупными русскими учеными (о чем свидетельствует и его обширная переписка). Причем многие молодые, начинающие исследователи искали его совета и поддержки и неизменно находили их. С годами складывались прочные и плодотворные творческие связи. Примером такой многолетней дружбы являются отношения А.В. Флоровского с молодыми русскими учеными из Югославии – В. Мошиным и А. Соловьевым. Когда в начале 20-х годов их переписка только начиналась, Мошин, не будучи лично знаком с Флоровским, обращается к нему “Уважаемый профессор, коллега”, просит совета и отзыва на свою работу о “нормандском вопросе”, в послевоенные годы В. Мошин – доктор наук, а позднее и академик – признанный международный авторитет в области славянской палеографии, стал одним из постоянных корреспондентов Флоровского, они обсуждают в письмах творческие планы, состояние исторических исследований. Переписка является для нас очень ценным источником по истории развития науки, позволяет реконструировать научный и общественный контекст.

А.В. Флоровский выступал как представитель русской эмигрантской науки в ряде международных профессиональных организаций: входил в состав правления Федерации исторических обществ Восточной Европы и славянских стран, неизменно участвовал в съездах славистов, византистов, русских академических организаций за границей. Организационная работа давала ученому дополнительный материал и стимул для обобщения результатов русской исторической науки, для раздумий о путях ее развития и методологии исторических исследований. В архиве ученого есть несколько интересных набросков по этой тематике. Помимо выше указанных, к кругу историографических работ относятся рецензии (Отзыв о книге Милюкова “Очерки по русской культуре”, “Отзыв на Воспоминания Н.П. Кондакова” и др.), конспекты лекций (“Русско-чешские связи” – выступления в Белграде, “Россия в борьбе за освобождение славян”), в которых Флоровский вступает в полемику с другими авторами.

Флоровский много внимания уделял вопросам развития историографии. Им было создано несколько систематических обзоров исторической литературы, вышедшей как в СССР, так и в эмиграции. Ученый хорошо себе представлял специфику работы ученых за границей – отсутствие источниковой базы, неполнота книжных фондов, оторванность от научной аудитории, многих толкали на занятия местной историей (стран пребывания), изучение современных историко-политиче-

ских процессов, создание схематических, слабо подкрепленных эмпирическим материалом построений<sup>3</sup>.

Интересно, что основные обобщающие работы по истории и методологии исторической науки были опубликованы Флоровским на иностранных языках в ведущих научных изданиях: “The Work of Russian Emigres in History (1921–1927)” *Slavic Review*. 1928. Vol. XIX; “Recent Surveys of Russian History” // *Slavic Review*. 1934. Vol. XII; “La littérature historique soviétique-russe. Comptendu. 1921–1931” // *Bulletin d'Information de la Société d' Ethnographie*. P., 1935. Vol. VI–VII.

К числу подобных работ принадлежит и статья Флоровского в “Журнале Восточноевропейских исследований” (*Zeitschrift für östereuropäische Geschichte*, 1935. Bd. 9), опубликованная на немецком языке – «Предмет и содержание “Истории России” или “российской истории”». (*Gegenstand und Inhalt der “Geschichte Rußland” oder der “russischen Geschichte”*), развернутый конспект которой сохранился в архиве ученого и который мы публикуем ниже. Статья писалась в конце 1934 г., затем была опубликована в немецком журнале в 1935 г. Работая над ее подготовкой, автор консультировался с коллегами, спрашивая их мнения по поводу основных положений своей работы, о чем и свидетельствует приписка к рукописи “Мной набросана схема ответа – правильна ли она – жду Вашего суждения и суда”. К сожалению, мы не смогли установить к кому в данном случае обращался Флоровский.

Основная мысль ученого заключается в том, что в СССР в исторической науке произошло засилье марксистской идеологии, которое “направлено к сокращению прежних схем русской истории и к замене их марксистско-ленинской классовой и экономической схемой”. Русская наука в эмиграции не может делать вид, что все осталось по-прежнему и проигнорировать советский опыт. Продолжая и развивая традиции российской историографии, ученые-эмигранты должны дать достойный ответ вызовам “школы Покровского”.

Именно исходя из сопоставления советской историографии и русской науки в эмиграции, Флоровский анализирует наиболее полные и обобщающие труды, увидевшие свет к 1934 г. в первую очередь работы Е.Ф. Шмурло, Г. Вернадского, П.Н. Милокова. Книга Е.Ф. Шмурло “История России 862–1917”, напечатанная в Мюнхене в 1922 г. – одна из первых попыток в эмиграции дать популярное и научное, систематическое освещение истории Отечества. Весь исторический процесс Шмурло подразделяет на шесть, сменяющих друг друга эпох, которые в свою очередь делятся на периоды. Несомненными достоинствами работы Шмурло являются: обобщение огромного фактического материала, стремление вписать историю России в систему европейских и азиатских народов, внимание к соотношению “истории народа” и “истории государства”, роль которого для России была неизменно велика. Новым был и социокультурный подход автора, особенно применительно к эпохе нового времени. Книга пользовалась популярностью как у русских, так и у зарубежных читателей. В 1928–1929 гг. она была переведена на итальянский язык и издана в Риме в двух частях. В предисловии автор определяет свою задачу так: “...наша книга должна дать почувствовать

в чем состояла историческая миссия России... почувствовать биение тех материальных и духовных сил, что объединяют отдельные народности в единый мировой организм”.

Высоко оценивая труд Шмурло, Флоровский видит его слабые стороны в том, что вне его внимания остаются сферы экономического, хозяйственного и социального развития России. При всем интересе к области развития культуры, мало места уделяется церковной истории<sup>4</sup>. Несомненно при всех достоинствах труд Шмурло представляет собой схему изложения истории России, к которой Флоровскому есть что добавить.

Далее ученый обращается к другому обобщающему полотну – совместному труду П.Н. Милюкова и французских ученых Сеньобосса и Эйзенманна, их “Истории России” в трех томах, изданной на французском языке в 1932–1933 гг. и адресованной в первую очередь европейскому читателю, что накладывало на нее специфические обязательства<sup>5</sup>.

Как и в книге Шмурло, здесь основное внимание уделено изложению политической истории России, при чем внимание к вопросам государственного строительства, к роли государства вообще характерно для Милюкова как исследователя. Более того он “недооценивал органическое развитие России... экономические процессы, что приводило к гипертрофированному представлению о роли государства”<sup>6</sup>. Обращал на это обстоятельство внимание и А. Флоровский, также считая недостатком труда Милюкова и его французских соавторов уклон к “истории европеизируемой России”, ими оставлена без должного внимания и “русско-азиатская проблема”.

В отличие и от Шмурло, и от Милюкова этой проблеме уделяется повышенное внимание у другого из анализируемых Флоровским авторов – Г. Вернадского. Ученый рассматривает три его работы: “Опыт истории Евразии с половины VI в. до настоящего времени” (Берлин, 1934), “Начертание русской истории” (Прага, 1927), “History of Russia” (New Haven, 1929). Положительными чертами работ Вернадского Флоровский считает: рассмотрение проблем взаимодействия России и “азиатского элемента”, характеристику всего комплекса экономического, хозяйственного и социального развития народа и государства, который был необходим, по мнению Флоровского, для обобщающих трудов.

Однако, эти достоинства существенно нивелируются применением малонаучных евразийских формулировок и излишней модернизацией исторических процессов, что по мнению Флоровского, в известной мере, сближает книги Вернадского с советской историографией, а главное, “история России подменяется историей народов СССР”<sup>7</sup>.

Флоровскому несомненно были близки некоторые положения Вернадского. Так, он использует термин “месторазвитие” – один из основополагающих в евразийстве. Причем он понимает его в трактовке скорее Вернадского, чем П. Савицкого. Вернадский определяет “месторазвитие” как географическую среду, которая “налагает печать своих особенностей на человеческие общезития, развивающиеся в этой среде”<sup>8</sup>. Флоровский так же придает “месторазвитию” важнейшее значе-

ние. Он пишет: “Я не евразиец, но – евразийцы во многом правы, когда настойчиво проводят идею как о определяющей роли месторазвития, так и о значении Азиатских стихий в истории России. Азия в России и Россия в Азии – это проблема, органически важная в русской истории – и ее игнорирование и чисто-западническое истолкование исторических процессов – ошибочно” (см. ниже).

Разделяют оба историка – и Флоровский, и Вернадский – и тезис о неразрывном единстве трех ветвей восточно-славянского этноса, по сути дела, составлявших единый народ, вошедший в историю под именем – русского народа. Вернадский пишет: “С исторической точки зрения, совершенно ясно, что и украинцы, и белорусы суть ветви единого русского народа... Стремление совершенного культурно-государственного раскола русской народности на три различных народа вызывается не причинами этнически-историческими, а лишь причинами партийно-политического характера”<sup>9</sup>.

Отстаиванию этого положения в своей статье много места уделил и А.В. Флоровский. Оценивая труды коллег, и считая, что их работы “не в полной мере” отвечают вызовам советской историографии, главное место в своем анализе проблемы ученый уделяет формулированию основополагающих положений целостной концепции истории России. Он пытается задать основные параметры такой общей схемы, которой надлежало бы соответствовать каждому курсу истории России. Не пересказывая размышлений ученого, выделим лишь некоторые моменты. История русского народа, русская история значительно шире по своему “предмету”, чем история России. Судьба русского народа сложилась “более творчески счастливо”, чем белорусского и украинского, и задача исследователя выяснить корни этих процессов, важных для всего населения Восточной Европы. Это необходимо сделать еще и потому, что только знание истории позволит “учесть органическую подготовку тех явлений, которые привели к расцвету центробежных сил в последние десятилетия истории России”.

Флоровский последовательно отстаивает задачу сбалансированного, комплексного освещения как истории хозяйственно-экономических, так и политико-социальных процессов в истории России, не впадая в крайности формационного учения, и не преувеличивая значение государственного строительства для судеб страны. Социально-экономические процессы необходимо изучать, “но не ради вскрытия классовых конфликтов”. Важно, что развитие производительных сил и его эффекты в социальной и политической, и культурной областях рассматриваются Флоровским в неразрывном гармоническом единстве. Он говорит об “историческом явлении России как явлении государства с экономической, политической мощью и радиацией”. В данном контексте “радиация” трактуется как воздействие на внешнее окружение.

Нельзя не согласиться с Флоровским и в утверждении, что изучая культурную и духовную жизнь, историки в основном следили за “продуктами”, за “вершинами художественного творчества”, в то время как задачей исследователя является изучение общих путей духовного развития в переплетении и преломлении с политическими, социальными и



материальными воздействиями. Или как лаконично пишет Флоровский: “Иски идей и идеологий”.

В целом в своих размышлениях о путях русской истории он стремится гармонизировать подходы, избежать крайностей и односторонности. Если марксистские ученые абсолютизируют роль коллектива, массы, то буржуазные ученые, представители позитивизма склонны придавать повышенное значение фигурам и лицам, их единоличной воле в судьбе народов. Флоровский подчеркивает – делатель и двигатель истории России и коллектив, и личность. Оба: не один лишь коллектив или стихии, но и личность. При этом личность – коллективная-индивидуальная”. В этом Флоровский опирается на книгу Федотова “Святые Древней Руси”, вышедшую в 1931 г., где последовательно проводится принцип освящения истории эпохи сквозь призму личной судьбы святых подвижников.

А.В. Флоровский пристально следил за развитием науки как в СССР, так и за его пределами, при этом он стремился быть объективным в оценках реальных успехов исследователей. Сталкиваясь с учеными-марксистами на международных съездах и конференциях, Флоровский приходит к грустному для себя выводу:

“На языке марксистов, мы – обломки старой буржуазной прогнившей историографии, еще живой, но обреченной на исчезновение...”<sup>10</sup> Сейчас мы переживаем процесс возвращения трудов русских ученых-эмигрантов к соотечественникам, период восстановления целостности исторической научной традиции.

*Е.А. Бондарева*

### **А.В. Флоровский**

## **ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ “РУССКОЙ ИСТОРИИ ИЛИ ИСТОРИИ РОССИИ”<sup>11</sup>**

### **(Основные положения доклада)**

1. Работа марксистской историографии в СССР в области построения новой схемы истолкования и изображения русского исторического процесса.

2. Ответы на вопрос о предмете и содержании истории России или русской истории, даваемые исторической наукой вне СССР в условиях свободного ее развития, представителями независимой русской исторической науки, в частности (“Histoire de Russie” под ред. проф. Миллюкова–Сеньобоса и Эйзенманна, курсы проф. Шмурло, книги Вернадского и пр.).

3. Историческое явление России во всей сложности как предмет русской истории. Содержание русской истории как истории сложного исторического явления, определяется:

- А) проблемой “месторазвития” (европейско-азиатского),
- Б) взаимодействием различных народных элементов, в особенности восточно-славянских,
- В) политическими формами государственной жизни,
- Г) социально-экономическими процессами, а равно процессами разворачивания и радиации русских производительных сил,
- Д) русским культурным творчеством вообще, в частности, в его скрещении с путями политического, социального и материально-культурного процессов,
- Е) участие на всех этапах истории России и во всех ее формах не только коллективного, но индивидуального творчества как движущей силы.

### **Основные положения доклада**

1. В настоящее время в Советской России производится систематическая перестройка основных схем истолкования и изображения русского исторического процесса (истории России и русской истории) в смысле последовательного проведения единой историко-марксистской точки зрения и принципов экономического и классового объяснения исторических явлений. Вместе с тем такое построение русской истории приобретает значение монолитной официальной исторической доктрины и устраняет активную разработку истории России в ее целом под иным углом зрения.
2. При таком положении дела исторической науки в Советской России совершенно естественно и необходимо встает вопрос как разрешаются (...) проблемы общего построения истории России или русской истории вне пределов России, т.е. в условиях независимого развития исторической мысли, которая должна не упускать из виду необходимость учета в своей работе как всего исторического опыта последних десятилетий послереволюционной поры вообще, так и в особенности огромной работы в Советской России в этой области, направленной к сокрушению прежних схем русской истории и к попутной замене их на русской – во всяком случае территории (да и вне ее – переворот Покровского!) марксистско-ленинской классовой и экономической схемой.
3. Обзор новейших общих курсов истории России или русской истории, вышедших в свет за последние десять лет на русском и на иностранных языках не дает основания утверждать, что этот опыт послереволюционной поры действительно учитывается в полной мере. Во всяком случае, это суждение в полной мере относится к работам, вышедшим из под пера русских историков-эмигрантов, из которых прежде всего и надлежало бы услышать авторитетный и систематически-обоснованный ответ на вопрос, что же русская историческая наука в условиях свободного развития может противопоставить, как свое понимание истории России со стороны ее построений и схемы, марксистско-ленинскому ее истолкованию. Краткий просмотр курсов: Шмурло, Милюкова–Сеньбоса и Эйзенманна и др. Их особенности со стороны

общих констатаций, предмет и содержание истории России или русской истории в этих курсах.

4. Критический обзор курсов дает основание для формулировки такой общей схемы, которой надлежало бы соответствовать каждому курсу истории России или русской истории:

А) Предметом “истории России” или “русской истории” должно быть историческое явление “Россия” во всей его сложности, т.е. со стороны историко-географической, геополитической, собственно-политической, социально-экономической и духовно-культурной.

В) Историческое явление России, Россия, как историческое явление (прошло несколько основных этапов своего развития и раскрытия и каждый из них должен в исторической схеме России занимать соответственное его значению место. *Текст в скобках был зачеркнут автором. – Е.Б.*) покрывает собою все этапы и все формы исторического прошлого русского народа и русского государственного строительства. Даже не ставя украинского или белорусского вопросов во всей их сложности и не предрешая их в ту или иную сторону, надлежит считать историю “Украины” и “Белоруссии” совершенно необходимым составным элементом “истории России” или “русской истории” как по соображениям органического единства целого ряда основных и длительных процессов в жизни всего населения Восточной Европы, так и по соображениям необходимости широко учесть органическую подготовку тех явлений, которые привели к расцвету центробежных сил в последние десятилетия истории России, как государства и культурного мира.

(В этом смысле доктрина Грушевского<sup>12</sup>, изложенная в его известной статье “Звичайна схема”, не представляется правильно применимой. Но для нашего вопроса существенно другое: необходимость учесть... *Текст в скобках не окончен и зачеркнут автором. – Е.Б.*)

Наоборот, – “история России” или “русская история” не только не должны быть освобождены от украинского или белорусского исторического материала, но этот материал должен занять там достойное себя место, и не играть роль лишь служебного привеска, на что совершенно правильно обратил внимание Грушевский, использовав такое положение в курсах историй в обратном нам смысле. Само собой разумеется, что если стоять на позиции доктрины о национальном единстве русского (триединого) народа и русской (триединой. – *Зачеркнуто. – Е.Б.*) культуры (а эту доктрину принимают и Шмурло и авторы франц. курса и др.), то совершенно непоследовательно было бы следить за историческими судьбами только той части этого единого народа, которая оказалась политически наиболее сильной и культурно наиболее творчески-счастливой.

С) От старых времен мы любили повторять, что русская история есть в своей основе история колонизационных процессов, колонизационной деятельности русского народа. Этот тезис имеет несомненную историческую основу и вне колонизационных процессов нельзя ни понять, ни объяснить многие основные явления исторической жизни России (и в области политического строительства, и в области внешней политики, и в области созидания русской жизни.)

А если это так, то из этого должен быть сделан вывод, что месторазвитие русской истории играет огромную роль в истории России и вне его нельзя действовать историку. А месторазвитие это – европейско-азиатские пространства. Я не евразиец, но – евразийцы во многом правы, когда настойчиво проводят идею как о определяющей роли месторазвития, так и о значении Азиатских стихий в истории России. Азия в России и Россия в Азии – это проблема, органически важная в русской истории – и ее игнорирование и чисто-западническое истолкование исторических процессов – ошибочно.

Д) Политическая, государственная жизнь России всегда была предметом сосредоточенного внимания историков России. В данном случае не приходится говорить о недостатках этой стороны русского исторического прошлого, но законно говорить о его переоценке, правда, в условном смысле, а именно в том, что эти государственно-политические формы жизни слишком исключительно поглощают внимание историков, не оставляя места для других (примеры – фр. Ист. или Шмурло). Нужно сказать, что в современной советской историографии можно наблюдать обратное – доктрина о первенстве социально-экономических и классовых процессов затемняет вопросы политических форм, политического фона для развития этих процессов. Нам не надлежит следовать этому примеру, но не надлежит закрывать глаза и на всю сложность жизненных явлений “России” как исторического объекта в целом.

Е) Социально-экономические проблемы неизбежно входят в состав истории России, но не ради вскрытия классовых конфликтов! необходимо должны входить и проблемы собственно экономические: развитие производительных сил страны: и само по себе важно, и по эффектам социальным и политическим, и общекультурным, историческое явление России – есть явление государства – с экономической, политической мощью и радиацией. (жизнь Моск. Руси непредставима достойно вне северной морской торговли, промыслов на севере и в Сибири и пр. Выделено *Флоровским*. – *Е.Б.*)

Ф) Культурное творчество = духовная жизнь: не со стороны его и ее продуктов, весьма ценных и интересных, но со стороны общих путей духовного развития в их преломлении с путями политическими, и социальными и материальными, не вершины только художественного творчества, но – разные его пути, – разные его формы и выражения, – иски идей и идеологий.

Д) Наконец: делатель и двигатель истории России или русской истории: коллектив и личность. Оба: не один лишь коллектив или стихии, но и личность. При этом личность – коллективная (Святые! По Фелотову) – индивидуальная.

И) Ясно из всего сказанного, что историческое явление России не совсем совпадает с термином Россия. Его давность, да, – но связь с государством, империей т.е. с одной лишь фазой в развитии русской истории. Посему – не лучше ли вести речь – о русской истории. А предметом ее: историческое явление России во всех ее сроках, и областях. Содержание же = формулируется нами выше.

Итак: марк.-ленинская идеология в области построения русской истории.

**Требуем:** организованного обдумывания, что же действительно есть предмет и содержание русской истории.

Мной набросана схема ответа – правильна ли она – жду Вашего суждения и суда.

<sup>1</sup> Из Арх. Флоровского. Речь 1923 г. в Праге на собрании историков. Цит. по: *Пацунто В.Т.* Русские историки эмигранты в Европе. М., 1992. С. 240.

<sup>2</sup> *Флоровский А.В.* Историческая наука на съезде русских ученых в Праге осенью 1924 года // *Slavia*. 1925. V. 3; *La litterature russe d'emigration. Compte-tendu 1921–1926 // Bulletin d'Information de la Societe d'Ethnographie*. ВНЕО. 1928. Т. 1. Русская историческая наука в эмиграции (1920–1930) // Тр. V съезда РАОЗГ. София. 1931. Ч. 1. *Historical Studies in Soviet Russia // Slavic Review*, 1935. Т. XIII, № 38. Наследие Чингисхана в русской истории // Голос минувшего на чужой стороне. 1927. V(XVІІІ).

<sup>3</sup> *Флоровский А.В.* Русская историческая наука в эмиграции (1920–1930) // Тр. V съезда РАОЗГ. София, 1931. Ч. 1.

<sup>4</sup> *Florovskiy A.* Gegenstand und Inhalt der “Geschichte Rußland” oder der “russischen Geschichte” // *ZOG*. 1935. Bd. 9. S. 326–327.

<sup>5</sup> *Milioukov P., Seignobos Ch., Eisenmann L.* Historie de Russie. Т. 1–3. Р., 1932–1933.

<sup>6</sup> *Вандалковская М.Г.* П.Н. Милоков и А.А. Кизеветтер // *История и политика*. М., 1992. С. 284.

<sup>7</sup> *Florovskiy A.* Gegenstand. S. 328.

<sup>8</sup> *Вернадский Г.* Начертание русской истории. СПб., 2000. С. 14.

<sup>9</sup> Там же. С. 280–281.

<sup>10</sup> *Florovsky A.* La litterature... *Bulletin d'information des sciences historiques en Europe Orientale // Varsovie*, 1934. Т. VI. Ф. 34. С. 171.

<sup>11</sup> Архив РАН. Ф. 1609. Оп. 1. № 51. С. 1–9.

<sup>12</sup> *Грушевский М.С.* (1866–1934) – зав. кафедрой всеобщей истории Львовского университета, сторонник политической независимости Украины, с 1919 года по 1924 – в эмиграции. В Вене создал Украинский социологический институт, по разрешению Советской власти вернулся в СССР, главный труд “История Украины–Руси”. В 13 кн.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

<i>М.Г. Вандалковская.</i> История исторической науки в творчестве Милицы Васильевны Нечкиной .....	3
<i>А.В. Сидоров.</i> Теоретико-концептуальные проблемы историографии на страницах научной периодики России первой половины 1920-х годов .....	11
<i>А.М. Дубровский.</i> “Лично я считаю ее доклад немарксистским” (доклад М.В. Нечкиной о причинах отсталости России и его обсуждение в 1941 г.) .....	40
<i>В.Л. Мальков.</i> Всемирная генеральная история XX века глазами английского историка .....	72

### ИСТОРИКИ И ИХ ТРУДЫ

<i>А.Н. Шаханов.</i> “...В моих работах ничего не может устареть”: Д.И. Иловайский .....	90
<i>Р.А. Киреева.</i> Историческая наука России XIX века в трактовке К.Д. Каверина .....	126
<i>Н.В. Иллерицкая.</i> Некоторые вопросы истории России в трудах В.И. Сергеевича, А.Д. Градовского и Ф.И. Леонтовича .....	149
<i>М.Ф. Румянцева.</i> “Чужое Я” в историческом познании: И.И. Лапшин и А.С. Лаппо-Данилевский .....	161
<i>В.П. Корзун, А.В. Свешников.</i> Третий угол (И.М. Гревс в пространстве переписки “Из двух углов” В.И. Иванова и М.О. Гершензона) .....	175
<i>А.Н. Сахаров.</i> “Се тебе талант Владыка вверяет” (Антон Владимирович Карташев) .....	187
<i>В.Э. Багдасарян.</i> Николай Иванович Ульянов .....	211
<i>Д.М. Колеватов.</i> Исторические взгляды М.А. Гудошникова .....	228

## ИСТОРИЯ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

<i>Д.А. Гутнов. Русская высшая школа общественных наук в Париже. 1901–1906 гг.</i> .....	242
--	-----

## ПУБЛИКАЦИИ

<i>Б. Пэрс. “Падение русской монархии”: pro et contra (П.Н. Милюков и В.А. Маклаков о книге Б. Пэрса) (подг. М.Г. Вандалковская, О.В. Будницкий)</i> .....	261
<i>Письма академика П.Г. Виноградова И.В. Шкловскому (Дионео) (подг. А.В. Антощенко)</i> .....	317
<i>Из архива А.В. Флоровского. Конспект статьи «Предмет и содержание “русской истории или истории России” (подг. Е.А. Бондарева)</i> .....	325

Научное издание

**ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ  
2001**

**Историографический вестник**

*Утверждено к печати  
Ученым советом  
Института российской истории  
Российской академии наук*

*Зав. редакцией Н.Л. Петрова  
Редактор В.Д. Лебедев  
Художественный редактор В.Ю. Яковлев  
Технический редактор В.В. Лебедева  
Корректоры  
З.Д. Алексеева, Г.В. Дубовицкая*



ЛР № 020297 от 23.06.1997

Налоговая льгота –  
общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Подписано к печати 22.10.2001  
Формат 60×90 1/16. Гарнитура Таймс  
Печать офсетная  
Усл.печ.л. 21,5. Усл.кр.-отт. 21,5. Уч.-изд.л. 26,8  
Тип. зак. 4413

Издательство “Наука”  
117997 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90  
E-mail:secret@naukaran.ru  
Internet:www.naukaran.ru

Санкт-Петербургская типография “Наука”  
199034, Санкт-Петербург В-234, 9-я линия, 12

ISBN 5-02-008764-5



9 785020 087644

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ “НАУКА”  
ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГИ:

**СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИИ.  
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ**

20 л.

Сборник – коллективное исследование теоретических и исторических проблем собственности применительно к докапиталистической России (IX–XVIII вв.), труд исторического профиля. Авторы в очерковой форме, используя обширный круг источников и богатый историографический материал, накопленный в XIX–XX вв., особенно за последние два десятилетия ушедшего века, рассматривают теоретико-методологические аспекты категории “собственность” феодальной эпохи, складывание и функционирование во времени разных видов собственности в России, такие проблемы, как собственность и власть, труд и собственность, разные виды собственности на рынке, становление купеческого капитала и его функционирование, предпосылки возникновения собственности буржуазного типа.

Для историков и более широкого круга читателей.